This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

ПАМЯТЬ СЛАВЫ АРХІЕПИСКОПА ИННОКЕНТІЯ
ЕЛЕЦКАЯ
БИБЛІОТЕКА-
ЧИТАЛЬНЯ

VII, 118.

СОЧИНЕНІЯ

А. С. ХОМЯКОВА

I

МОСКВА
Университетская типографія, на Страстномъ бульварѣ.
1900.

СОЧИНЕНІЯ

А. С. ХОМЯКОВА.

Khomiakov, A. S.
32

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

Алексѣя Степановича

ХОМЯКОВА.

ЕЛЕЦКАЯ БИБЛІОТЕКА ЧИТАЛЬНЯ

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

Дополненное.

Томъ первый.

Съ портретомъ.

МОСКВА.
Университетская типографія, на Страстномъ бульварѣ.
1900.

393

PG3337
K4
v. 1

Въ память столѣтія архіепископа Евфросинія
Елецкая
Библіотека-
читальня

Нынѣшнее изданіе сочиненій А. С. Хомякова значительно дополнено противъ двухъ прежнихъ (1861 и 1882 годовъ). Въ него вошли также его стихи, обѣ трагедіи и собраніе писемъ къ разнымъ лицамъ. *Изд.*

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Мнѣніе иностранцевъ объ Россіи. Стран.

Причины зложелательства.—Наши путешественники.—Иго подражательности. — Довѣрчивость къ Западу. — Наше раздвоеніе. — Языкъ.—Отрѣшенность науки..... 3

Мнѣніе Русскихъ объ иностранцахъ.

Эклектизмъ подражательности. — Анализъ и синтезъ. — Гегелева система исторіи.—Карамзинъ. — Гоголь. — Суворовскій маіоръ.— Ученіе о женщинѣ и бракѣ.—Черезполосность.—Годуновъ и Михаилъ Ѳедоровичъ. — Борьба жизни съ образованностью. — Надежда возрожденія..... 31

О возможности Русской художественной школы.

Народность искусства.—Народность науки.—Будущее торжество Русскаго начала.—Еврейство.—Цѣльность Русской жизни.—Выгоды нашего положенія.—Народное художество.—Перевоспитаніе. 73

Письмо объ Англіи.

Переѣздъ изъ Остенда.—Воскресенье въ Лондонѣ.—Гостепріимство.—Одежда.—Анекдотъ о чиновникахъ въ Индіи.—Веселость.— Любовь къ лѣсу.—Виги и торіи.—Народное Саксонское начало.— Исторія Англійскаго христіанства. — Торизмъ. — Недовѣріе къ уму.—Сходство съ Россіею.—Успѣхи и опасности вигизма..... 105

По поводу Гумбольдта.

Смѣшеніе факта съ его разумѣніемъ.—Очеркъ Западной исторіи.— Книга Макса Штирнера. — Древнее Русское общество. — Петръ Первый. — Ничтожество Русской науки. — Личность въ художествѣ.—Икона.—Отсутствіе преданія.—Мірскія сходки.—Нашъ вигизмъ.—Возвратъ къ Русской жизни.—Самовоспитаніе..... 148

Аристотель и всемірная выставка.

Значеніе Петра Перваго.—Лужа стоячей воды.—Хрустальный дворецъ.—Условія плодотворной дѣятельности.—Въ чемъ быть нашей дѣятельности?—Бѣглецы..... 177

Стран.

По поводу статьи И. В. Киреевскаго «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи».

Анализъ Европейскаго міра. — Слова св. Климента.—Олимпъ и Пантеонъ. —Всехристіанство. — Зависимость Протестантства отъ Латинства. — Обзоръ Русской древней жизни. — Византія.—Ходъ Православія въ Россіи. —Дружина и земщина.—Общность жизни.—Русское отношеніе къ христіанству. — Корни старообрядства.—Междоусобія.—Значеніе церкви.—Недостатки древней Руси.—Домострой.—Идея христіанства въ древней Руси.—Монастыри.—Ходъ и степени сознанія.—Недостатокъ сознанія въ древней Руси.... 197

По поводу отрывковъ найденныхъ въ бумагахъ И. В. Киреевскаго.

Кантъ.—Логика Гегеля.—Развитіе нравственное. — Заслуга Германской философіи.—Воля.—Вѣра.—Зрячесть разума. — Законъ любви..... 263

О современныхъ явленіяхъ въ области философіи.

Споръ объ общинѣ.—Ходъ Германской философіи.—Ошибка Гегеля.— Фейербахъ.—Гегель—продолжатель Лютера.—Исторія матеріализма.—Жизнь животныхъ.—Безвольность.—Философскій лексиконъ Гогоцкаго..... 287

Письмо о философіи къ Ю. Ѳ. Самарину.

Пространство и время.—Вѣра.— Сила.—явленіе.—Свобода.—Значеніе воли.—Разумность воли.—Міръ явленій..... 321

Объ общественномъ воспитаніи въ Россіи..... 350

Къ Сербамъ. Посланіе изъ Москвы..... 377

МНѢНІЕ ИНОСТРАНЦЕВЪ

о

РОССІИ.

ЕЛЕЦКАЯ БИБЛІОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ

Мнѣніе иностранцевъ о Россіи *).

Въ Европѣ стали много говорить и писать о Россіи. Оно и неудивительно: у насъ такъ много говорятъ и пишутъ о Европѣ, что Европейцамъ хоть изъ вѣжливости слѣдовало заняться Россіею. Всякій Русскій путешественникъ, возвращаясь изъ-за границы, спрашиваетъ у своихъ знакомыхъ домосѣдовъ: «читали ли они, что̀ написалъ о насъ лордъ такой-то, маркизъ такой-то, книгопродавецъ такой-то, докторъ такой-то?» Домосѣдъ, разумѣется, всегда отвѣчаетъ, что не читалъ. — «Жаль, очень жаль, прелюбопытная книга: сколько новаго, сколько умнаго, сколько дѣльнаго! Конечно, есть и вздоръ, многое преувеличено; но сколько правды! — любопытная книга». Домосѣдъ разспрашиваетъ о содержаніи любопытной книги, и выходитъ на повѣрку, что лордъ насъ отдѣлалъ такъ, какъ бы желалъ отдѣлать Ирландскихъ крестьянъ; что маркизъ поступаетъ съ нами, какъ его предки съ виленями; что книгопродавецъ обращается съ нами хуже, чѣмъ съ сочинителями, у которыхъ онъ покупаетъ рукописи; а докторъ насъ уничтожаетъ пуще, чѣмъ своихъ больныхъ. И сколько во всемъ этомъ вздора, сколько невѣжества! Какая путаница въ понятіяхъ и даже въ словахъ, какая безстыдная ложь, какая наглая злоба! Поневолѣ родится чувство досады, поневолѣ спрашиваешь: на чемъ основана такая злость, чѣмъ мы ее заслужили? Вспомнишь, какъ того-то мы спасли отъ неизбѣжной гибели; какъ другого, порабощеннаго, мы подняли, укрѣпили; какъ третьяго, побѣдивъ, мы спасли отъ мщенья, и т. д. Досада намъ позволительна; но досада скоро смѣняется другимъ, лучшимъ чувствомъ — грустью истинной и сердечной. Въ насъ живетъ желаніе человѣческаго сочув-

*) Напечатано въ „Москвитянинѣ“ 1845 года, въ книгѣ 4-й.

ствія; въ насъ безпрестанно говоритъ теплое участіе къ судьбѣ нашей иноземной братіи, къ ея страданьямъ, такъ же какъ къ ея успѣхамъ; къ ея надеждамъ, такъ же какъ къ ея славѣ. И на это сочувствіе, и на это дружеское стремленіе мы никогда не находимъ отвѣта: ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и безпристрастія. Всегда одинъ отзывъ—насмѣшка и ругательство; всегда одно чувство—смѣшеніе страха съ презрѣніемъ. Не того желалъ бы человѣкъ отъ человѣка.

Трудно объяснить эти враждебныя чувства въ Западныхъ народахъ, которые развили у себя столько сѣмянъ добра и подвинули такъ далеко человѣчество по путямъ разумнаго просвѣщенія. Европа не разъ показывала сочувствіе даже съ племенами дикими, совершенно чуждыми ей и несвязанными съ нею никакими связями кровнаго или духовнаго родства. Конечно, въ этомъ сочувствіи высказывалось все-таки какое-то презрѣніе, какая-то аристократическая гордость крови или, лучше сказать, кожи; конечно, Европеецъ, вѣчно толкующій о человѣчествѣ, никогда не доходилъ вполнѣ до идеи человѣка; но все-таки, хоть изрѣдка, высказывалось сочувствіе и какая-то способность къ любви. Странно, что Россія одна имѣетъ какъ будто бы привилегію пробуждать худшія чувства Европейскаго сердца. Кажется, у насъ и кровь Индо-Европейская, какъ и у нашихъ Западныхъ сосѣдей, и кожа Индо-Европейская (а кожа, какъ извѣстно, дѣло великой важности, совершенно измѣняющее всѣ нравственныя отношенія людей другъ съ другомъ), и языкъ Индо-Европейскій, да еще какой! самый чистѣйшій и чуть-чуть не Индѣйскій; а все-таки мы своимъ сосѣдямъ не братья.

Недоброжелательство къ намъ другихъ народовъ очевидно основывается на двухъ причинахъ: на глубокомъ сознаніи различія во всѣхъ началахъ духовнаго и общественнаго развитія Россіи и Западной Европы, и на невольной досадѣ предъ этою самостоятельною силою, которая потребовала и взяла всѣ права равенства въ обществѣ Европейскихъ народовъ. Отказать намъ въ нашихъ правахъ они не могутъ: мы для этого слишкомъ сильны; но и признать наши права заслуженными они также не могутъ, потому что всякое про-

свѣщеніе и всякое духовное начало, не вполнѣ еще проникнутыя человѣческою любовью, имѣютъ свою гордость и свою исключительность. Поэтому полной любви и братства мы ожидать не можемъ, но мы могли бы и должны ожидать уваженія. Къ несчастію, если только справедливы разсказы о новѣйшихъ отзывахъ Европейской литературы, мы и того не пріобрѣли. Нерѣдко насъ посѣщаютъ путешественники, снабжающіе Европу свѣдѣніями о Россіи. Кто побудетъ мѣсяцъ, кто три, кто (хотя это очень рѣдко) почти годъ, и всякій, возвратясь, спѣшитъ насъ оцѣнить и словесно, и печатно. Иной пожилъ, можетъ быть, болѣе года, даже и нѣсколько годовъ, и, разумѣется, слова такого оцѣнщика уже внушаютъ безконечное уваженіе и довѣренность. А гдѣ же пробылъ онъ во все это время? По всей вѣроятности, въ какомъ нибудь тѣсномъ кружкѣ такихъ же иностранцевъ, какъ онъ самъ. Что видѣлъ? Вѣроятно одинъ какой-нибудь приморскій городъ, а произноситъ онъ свой приговоръ, какъ будто бы ему извѣстна вдоль и поперекъ вся наша безконечная, вся наша разнообразная Русь.

Къ этому надобно еще прибавить, что почти ни одинъ изъ этихъ Европейскихъ писателей не зналъ даже Русскаго языка, не только народнаго, но и литературнаго, и слѣдовательно не имѣлъ никакой возможности оцѣнить смыслъ явленій современныхъ такъ, какъ они представляются въ глазахъ самаго народа; и тогда можно будетъ судить, какъ жалки, какъ ничтожны были бы данныя, на которыхъ основываются всѣ эти приговоры, если бы дѣйствительно они не основывались на другой данной, извиняющей отчасти опрометчивость иностранныхъ писателей, — именно на собственныхъ нашихъ показаніяхъ о себѣ. Еще прежде чѣмъ иностранецъ побываетъ въ Россіи, онъ уже узнаётъ ее по множеству нашихъ путешественниковъ, которые такъ усердно мѣряютъ большія дороги всей Европы съ равною пользою для просвѣщенія Россіи вообще и для своего просвѣщенія въ особенности. Вотъ первый источникъ свѣдѣнія Европы о Россіи. Я очень далекъ ото того, чтобы отвергать пользу и даже необходимость путешествій. Много прекраснаго, много истинно-человѣческаго скрывается въ этой, повидимому, пустой и безплод-

И вотъ онъ пріѣхалъ въ Россію, и вотъ онъ заговорилъ со всѣмъ нашимъ образованнымъ обществомъ. Принятый ласково и радушно, онъ сталъ прислушиваться къ нашимъ откровеннымъ рѣчамъ и услышалъ тоже самое, что̀ слышалъ за границею отъ путешественниковъ. То, что̀ было за границею выраженіемъ невольнаго благоговѣнія передъ дивными памятниками другихъ народовъ, является уже въ Россіи не только какъ выраженіе невольнаго чувства, но и какъ дѣло утонченной вѣжливости. Не хвастаться же дома! Впрочемъ я очень отъ этого далекъ, чтобы роптать на нашу народную скромность. Это чувство прекрасное, благородное, высокое; строгій судъ надъ собою возвышаетъ народъ такъ же, какъ онъ возвышаетъ человѣка. Благоговѣніе передъ всѣмъ великимъ обличаетъ сочувствіе со всѣмъ великимъ и обѣщаетъ великое въ будущемъ. Избави Богъ отъ людей самодовольныхъ и отъ самодовольства народнаго; но надобно признаться, что всякая добродѣтель имѣетъ свою крайность, въ которой она становится нѣсколько похожею на порокъ. Быть можетъ, мы впадаемъ иногда и въ эту крайность, которая, безъ сомнѣнія, лучше самохвальства, но все таки не заслуживаетъ похвалы и унижаетъ насъ въ глазахъ Западныхъ народовъ. Наша сила внушаетъ зависть; собственное признаніе въ нашемъ духовномъ и умственномъ безсиліи лишаетъ насъ уваженія: вотъ объясненіе всѣхъ отзывовъ Запада о насъ.

Смиреніе человѣка, такъ же какъ и смиреніе народа, могутъ имѣть два значенія совершенно противоположныя. Человѣкъ или народъ сознаётъ святость и величіе закона нравственнаго или духовнаго, которому подчиняетъ онъ свое существованіе; но въ тоже время признаётъ, что этотъ законъ проявленъ имъ въ жизни недостаточно или дурно, что его личныя страсти и личныя слабости исказили прекрасное и святое дѣло. Такое смиреніе велико; такое признаніе возвышаетъ и укрѣпляетъ духъ; такое самоосужденіе внушаетъ невольно уваженіе другимъ людямъ и другимъ народамъ. Но не таково смиреніе человѣка или народа, который сознаётся не только въ собственномъ безсиліи, но въ безсиліи или неполнотѣ нравственнаго или духовнаго закона, лежавшаго

въ основѣ его жизни. Это не смиреніе, а отреченіе. Человѣкъ разрываетъ всѣ связи съ своей прошедшей жизнію, онъ перестаетъ быть самимъ собою; а если онъ говоритъ отъ имени народа, то уже тѣмъ самымъ онъ отъ народа отрекается.

Конечно, говорятъ, что какое бы ни было мнѣніе человѣка, онъ не перестаетъ принадлежать землѣ, давшей ему бытіе. Русскаго, что бы онъ ни дѣлалъ, какъ бы ни прикидывался иностранцемъ, узнаютъ всегда. Какъ? по выдавшимся слегка скуламъ, по неопредѣленной формѣ носа, по рисунку и цвѣту глазъ? Это признаки породы, а не народа. По невольной особенности мысли? по невольной рѣзкости или мягкости поступковъ? по обороту рѣчей? И это не народность. Это только звенья, обломки разорванной исторической цѣпи, на которую ропщетъ гордый произволъ, да скинуть не можетъ. Это тоже признаки породы, хотя въ другомъ смыслѣ, породы исторической, а не чисто физической; ибо органы человѣческіе развиваются, вѣроятно, столько же подъ вліяніемъ исторіи, сколько подъ грубо вещественными вліяніями климата или пищи. Принадлежать народу значитъ съ полною и разумною волею сознавать и любить нравственный и духовный законъ, проявлявшійся (хотя разумѣется не сполна) въ его историческомъ развитіи. Неуваженіе къ этому закону унижаетъ неизбѣжно народъ въ глазахъ другихъ народовъ. Намъ случается впадать въ эту крайность; но въ тоже время ошибка наша простительна: это не грѣхъ злой воли, а грѣхъ невѣдѣнія. Мы Россіи не знаемъ.

Человѣку трудно узнать самого себя. Даже въ физическомъ отношеніи человѣкъ безъ зеркала лица своего не узнаетъ, а умственнаго зеркала, гдѣ бы отразилась его духовная и нравственная физіономія, онъ еще не выдумалъ; точно также трудно и народу себя узнать. Наша Западно-Европейская братія разбита на множество племенъ и государствъ; каждое изучаетъ и опредѣляетъ своего сосѣда, и этотъ трудъ совершается уже нѣсколько вѣковъ, а едва ли хоть одинъ народъ опредѣленъ или понятъ вполнѣ. Такъ, напримѣръ, величайшая и безспорно первая во всѣхъ отношеніяхъ изъ державъ Запада, Англія, не была постигнута до сихъ поръ ни своими, ни иноземными

писателями. Вездѣ она является какъ созданіе какого-то условнаго и мертваго формализма, какой-то душеубійственной борьбы интересовъ, какого-то холоднаго расчета, подчиненія разумнаго начала существующему факту, и все это съ примѣсью народной и особенно личной гордости, слегка смягченной какими-то полупорочными добродѣтелями. И дѣйствительно, такова Англія въ ея фактической исторіи, въ ея условныхъ учрежденіяхъ, въ ея внѣшней политикѣ, во всемъ, чѣмъ она гордится и чему завидуютъ другіе народы. Но не такова внутренняя Англія, полная жизни духовной и силы, полная разума и любви; не Англія большинства на выборахъ, но единогласія въ судѣ присяжныхъ; не дикая Англія, покрытая замками бароновъ, но духовная Англія, не позволявшая епископамъ укрѣплять свои жилища; не Англія Остъ-Индской Компаніи, но Англія миссіонеровъ; не Англія Питтовъ, но Вильберфорсовъ, Англія, у которой есть еще преданіе, поэзія, святость домашняго быта, теплота сердца и Диккенсъ, меньшой братъ нашего Гоголя; наконецъ, старая веселая Англія Шекспира (merry old England). Эта Англія во многомъ не похожа на остальной Западъ, и она не понята ни имъ, ни самими Англичанами. Вы ея не найдете ни въ Юмѣ, ни въ Галламѣ, ни въ Гизо, ни въ Дальманѣ, ни въ документально вѣрномъ и нестерпимо скучномъ Ланпенбергѣ, ни въ нравоописателяхъ, ни въ путешественникахъ. Она сильна не учрежденіями своими, но несмотря на учрежденія свои. Остается только вопросъ: что̀ возьметъ верхъ, всеубивающій ли формализмъ или уцѣлѣвшая сила жизни, еще богатая и способная, если не создать, то по крайней мѣрѣ принять новое начало развитія? Въ примѣрѣ Англіи можно видѣть, что Западные народы не вполнѣ еще познали другъ друга. Еще менѣе могли они познать себя въ своей совокупности; ибо, не смотря на разницу племенъ, нарѣчій и общественныхъ формъ, они всѣ выросли на одной почвѣ и изъ однихъ началъ. Мы, вышедшіе изъ началъ другихъ, можемъ удобнѣе узнать и оцѣнить Западъ и его исторію, чѣмъ онъ самъ; но въ тоже время, видя всю трудность самопознанія, мы имѣемъ полное право извинить неясность нашего знанія о Россіи. Европа, можетъ быть, узнаетъ насъ лучше насъ самихъ,

когда узнаетъ. Впрочемъ, все это относится только къ познанію наукообразному, къ опредѣленію логическому. Есть другое высшее познаніе, познаніе жизненное, которое можетъ и должно принадлежать всякому народу.

Много вѣковъ прошло, и историческая жизнь Россіи развилась не безъ славы, не смотря на тяжелыя испытанія и на страданья многовѣковыя. Широко раскинулись предѣлы государства, уже и тогда обширнѣйшаго въ цѣломъ мірѣ. Жили въ ней и просвѣщеніе, и сила духа, которыя одни могли такъ побѣдоносно выдерживать такіе сильные удары и такую долгую борьбу; но въ тревогахъ боевой и треволненной жизни, въ невольномъ отчужденіи отъ сообщества другихъ народовъ, Россія отстала отъ своей Западной братіи въ развитіи вещественнаго знанія, въ усовершенствованіяхъ науки и искусства. Между тѣмъ жажда знанія давно уже пробудилась, и наука явилась на призывъ великаго генія, измѣнившаго судьбу государства. Отовсюду стали стекаться къ намъ множество ученыхъ иностранцевъ со всѣми разнообразными изобрѣтеніями Запада. Множество было отдано Русскихъ на выучку къ этимъ новымъ учителямъ, и разумѣется, по Русской смышленности, они выучились довольно легко; но наука еще не пустила крѣпкихъ корней. Въ ученіе къ иностранцамъ отдавались люди, принадлежавшіе къ высшему и служилому сословію; другія заботы, другія привычки, наслѣдственныя и родовыя, отвлекали ихъ отъ поприща, на которое они были призваны новыми государственными потребностями. Въ наукѣ видѣли они только обязанность свою и много-много общественную пользу. Съ дальнихъ береговъ Сѣвернаго Океана, изъ рядовъ простыхъ крестьянъ-рыбаковъ, вышелъ новый преобразователь. Много натерпѣлся онъ въ жизни своей для науки, много настрадался, но сила души его восторжествовала. Онъ полюбилъ науку ради науки самой и завоевалъ ее для Россіи. Быстры были наши успѣхи; жадно принимали мы всякое открытіе, всякое знаніе, всякую мысль и, какъ бы ни былъ самолюбивъ Западъ, онъ можетъ не стыдиться своихъ учениковъ. Но мы еще не пріобрѣли права на собственное мышленіе, или если пріобрѣли, то мало имъ воспользовались. Наша ученическая довѣрчивость все перенимаетъ, все повторяетъ, всему подражаетъ,

не разбирая, что̀ принадлежитъ къ положительному знанію, что̀ къ догадкѣ, что̀ къ обще-человѣческой истинѣ и что̀ къ мѣстному, всегда полу-лживому направленію мысли; но и за эту ошибку насъ строго судить не должно. Есть невольное, почти неотразимое обаяніе въ этомъ богатомъ и великомъ мірѣ Западнаго просвѣщенія. Строгаго анализа нельзя требовать отъ народа въ первыя минуты его посвященія въ тайну науки. Ошибки были неизбѣжны для первыхъ преобразователей. Великій геній Ломоносова подчинился вліянію своихъ ничтожныхъ современниковъ въ поэзіи Германской. Понимая строгую послѣдовательность и, такъ сказать, рабство науки (которая познаётъ только то, что̀ уже есть), онъ не понялъ свободы художества, которое не воспринимаетъ, но творитъ, и отъ того надолго пошло наше художество по стезямъ рабскаго подражанія. Въ народахъ, развивающихся самобытно, богатство содержанія предшествуетъ усовершенствованію формы. У насъ пошло наоборотъ. Поэзія наша содержаніемъ скудна, красотою же наружной формы равняется съ самыми богатыми словесностями и не уступаетъ ни одной. Разгадка этого исключительнаго явленія довольно проста. Свобода мысли у насъ была закована страстью къ подражанію, а внѣшняя форма поэзіи (языкъ) была выработана вѣками самобытной Русской жизни. Языкъ словесности, языкъ такъ называемаго общества (т. е. языкъ городской) во всѣхъ почти земляхъ Европы мало принадлежалъ народу. Онъ былъ плодомъ городской образованности, и отъ этого происходитъ какая-то вялость и неповоротливость всѣхъ Европейскихъ нарѣчій. Тому съ небольшимъ полвѣка, во Франціи не было еще почти ни одной округи (за исключеніемъ окрестностей Парижа), гдѣ бы говорили по-французски. Все государство представляло соединеніе дикихъ и нестройныхъ говоровъ, не имѣющихъ ничего общаго съ языкомъ словесности. За то Французскій языкъ, созданіе городовъ, быть можетъ и не совсѣмъ скудный для выраженія мысли, безъ сомнѣнія богатый для выраженія мелкихъ житейскихъ и общественныхъ потребностей, носитъ на себѣ характеръ жалкаго безсилія, когда хочетъ выразить живое разнообразіе природы. Рожденный въ городскихъ стѣнахъ, только по слухамъ зналъ онъ

о привольѣ полей; о просторѣ Божьяго міра, о живой и мужественной простотѣ сельскаго человѣка. Въ новѣйшее время его стали, такъ сказать, вывозить за городъ и показывать ему села и поля, и рощи, и всю красоту поднебесную. Въ этомъ-то и состоитъ не довольно замѣченная особенность слога современныхъ намъ Французскихъ писателей; но мертвому языку жизни не привьешь. Пороки Французскаго языка болѣе или менѣе принадлежали всѣмъ языкамъ Европы. Одна только Россія представляетъ рѣдкое явленіе великаго народа, говорящаго языкомъ своей словесности, но говорящаго, можетъ быть, лучше своей словесности. Скудость содержанія дана была нашимъ прививнымъ просвѣщеніемъ; чудная красота формы была дана народною жизнью. Этого не должна забывать критика художества.

Направленіе, данное намъ почти за полтора столѣтія, продолжается и до нашего времени. Принимая все безъ разбора, добродушно признавая просвѣщеніемъ всякое явленіе Западнаго міра, всякую новую систему и новый оттѣнокъ системы, всякую новую моду и оттѣнокъ моды, всякій плодъ досуга Нѣмецкихъ философовъ и Французскихъ портныхъ, всякое измѣненіе въ мысли или въ бытѣ, мы еще не осмѣлились ни разу хоть вѣжливо, хоть робко, хоть съ полу-сомнѣніемъ спросить у Запада: все ли то правда, что́ онъ говоритъ? все ли то прекрасно, что́ онъ дѣлаетъ? Ежедневно, въ своемъ безпрестанномъ волненіи, называетъ онъ свои мысли ложью, замѣняя старую ложь можетъ быть новою, и старое безобразіе можетъ быть новымъ, и при всякой перемѣнѣ мы съ нимъ вмѣстѣ осуждаемъ прошедшее, хвалимъ настоящее и ждемъ отъ него новаго приговора, чтобы снова перемѣнить наши мысли. Какъ будто бы не постигая разницы между науками положительными, какова, напр., математика или изученіе вещественной природы, и науками догадочными, мы принимаемъ всѣ съ одинаковою вѣрою. Такъ, напр., мы вѣримъ на слово, что процессъ философскаго мышленія совершался въ Германіи совершенно послѣдовательно, хотя логическое первенство субъекта передъ объектомъ у Шеллинга основано на ошибкѣ въ исторіи философской терминологіи, и никакая сила человѣческая не свяжетъ Феноменологіи Ге-

геля съ его Логикой. Мы вѣримъ, что статистика имѣетъ какое-нибудь значеніе отдѣльно отъ исторіи, что политическая экономія существуетъ самобытно, отдѣльно отъ чисто-нравственныхъ побужденій, и что, наконецъ, наука права, наука, которою такъ гордится Европа, которая такъ усовершенствована, такъ обработана, которая стоитъ на такихъ твердыхъ и несокрушимыхъ основахъ, имѣетъ дѣйствительно право на имя науки, дѣйствительную основу, дѣйствительное содержаніе.

Разумѣется, я говорю не о наукѣ правъ, т. е. закона обычнаго или писаннаго, въ его положительномъ развитіи. Эта наука тоже называется наукою права, но она имѣетъ историческое значеніе и слѣдовательно неоспоримое достоинство. Я говорю о наукѣ права, какъ права самобытнаго, самостоятельнаго, носящаго въ себѣ свои собственныя начала и законы своего опредѣленія. Въ этомъ смыслѣ она не можетъ выдержать самаго легкаго анализа. Самостоятельная наука должна имѣть свои начала въ самой себѣ. Какія же начала безусловнаго права? Человѣкъ является въ совокупности силъ умственныхъ и тѣлесныхъ. Въ этомъ отношеніи онъ можетъ быть предметомъ науки чисто-опытной, человѣкознанія (антропологіи), но его силы не имѣютъ еще характера права. Эти силы могутъ быть ограничены извнѣ, силами природы, или силами другихъ людей; но и сила человѣка въ ограниченіи своемъ еще не имѣетъ значенія права. Это только сила стѣсненная. Для того, чтобы сила сдѣлалась правомъ, надобно, чтобы она получила свои границы отъ закона, не отъ закона внѣшняго, который опять не что иное какъ сила (какъ напр. завоеваніе), но отъ закона внутренняго, признаннаго самимъ человѣкомъ. Этотъ признанный законъ есть признанная имъ нравственная обязанность. Она, и только она, даетъ силамъ человѣка значеніе права. Слѣдовательно, наука о правѣ получаетъ нѣкоторое разумное значеніе только въ смыслѣ науки о самопризнаваемыхъ предѣлахъ силы человѣческой, т. е. о нравственныхъ обязанностяхъ; точно такъ, какъ геометрія не есть наука о пространствѣ, но о формахъ пространства. Съ другой стороны, понятіе объ обязанности находится въ прямой зависимости

отъ общаго понятія человѣка о всечеловѣческой или всемірной нравственной истинѣ, и слѣдовательно, не можетъ быть предметомъ отдѣльнымъ для самобытной науки. Очевидно, что наука о нравственныхъ обязанностяхъ, возводящихъ силу человѣка въ право, не только находится въ прямой зависимости отъ понятія о всемірной истинѣ, будь оно философское или религіозное, но составляетъ только часть изъ его общей системы философской или религіозной. И такъ, можетъ существовать наука права по такой-то философіи или по такой-то вѣрѣ; но наука права самобытнаго есть прямая и яркая безсмыслица, и разумное толкованіе о правѣ можетъ основываться только на объявленныхъ началахъ всемірнаго знанія или вѣрованія, которыя принимаетъ такой-то или другой человѣкъ.

Если бы эти простыя истины были признаны, многія явленія ученой Западной словесности исчезли бы сами собою, не обративъ на себя вниманія, котораго они вовсе не заслуживаютъ. Такъ, напр., понятно бы стало, что идея о правѣ не можетъ разумно соединяться съ идеею общества, основаннаго единственно на личной пользѣ, огражденной договоромъ. Личная польза, какъ бы себя ни ограждала, имѣетъ только значеніе силы, употребленной съ разсчетомъ на барышъ. Она никогда не можетъ взойти до понятія о правѣ, и употребленіе слова права въ такомъ обществѣ есть не что иное, какъ злоупотребленіе и перенесеніе на торговую компанію понятія, принадлежащаго только нравственному обществу.

Также точно безсмысленные толки о такъ называемомъ освобожденіи женщины или вовсе не существовали бы, или приняли бы совсѣмъ другой, разумный характеръ, котораго они лишены до сихъ поръ, если только можно признать, что они до сихъ поръ существуютъ. Многіе нападали на эти мнимыя права женщинъ, многіе заступались за нихъ, и во всемъ этомъ краснорѣчивомъ разглагольствованіи, возмутившемъ столько добрыхъ душъ и слабыхъ головъ, не были ни разу высказаны тѣ начала нравственной обязанности и истины, признанной за всемірную, на которыхъ могла бы опереться идея о правѣ и на которыхъ могъ бы по крайней мѣрѣ происходить разумный споръ. Очевидно, всѣ толки пошли отъ чувства

справедливости, возмущеннаго дѣйствительностію жизни; но свѣтъ здраваго разума не осіялъ людей, поднявшихъ вопросъ. Противники не отдали справедливости доброму чувству (положимъ хоть и съ примѣсью страсти), которое высказалось въ первыхъ требованіяхъ освободителей женщины. Защитники не поняли всей нелѣпости своего требованія въ отдѣльности отъ общей системы правды и обязанности; и драма слѣпыхъ бойцовъ, которые пускали въ голову другъ другу надутыя фразы, была осыпана громкими рукоплесканіями Западно-Европейской публики, повторенными, быть можетъ и у насъ. Весь споръ происходилъ очевидно не въ области права писаннаго или наукообразнаго, но въ области права обычнаго; и спорящіе забыли только объ одномъ—объ опредѣленіи этого обычнаго права и объ отдѣленіи въ немъ его основъ, его положеній, отъ его злоупотребленій. Дѣйствительнымъ же предметомъ спора были, безсознательно для спорящихъ писателей и для рукоплещущей публики—не права женщины и мужчины, но ихъ нравственныя обязанности, опредѣляющія ихъ взаимныя права; обязанности, которыхъ тождество для женщины и для мужчины очевидно всякому разумному существу. Этого-то и не замѣтили, весьма естественно, вслѣдствіе привычки разсматривать право, какъ нѣчто самостоятельное, и вслѣдствіе слѣпой вѣры въ несуществующую науку.

Вообще, все мною сказанное о самобытной наукѣ отвлеченнаго права и о ложныхъ ея приложеніяхъ въ движеніи умственной жизни Западныхъ народовъ, сказано только какъ примѣръ той слѣпой довѣрчивости, съ которою мы принимаемъ всѣ притязанія Западной мысли, и какъ доказательство нашего умственнаго порабощенія. Есть, конечно, нѣкоторые мыслители, которые, проникнувъ въ самый смыслъ науки, думаютъ, что пора и нашему мышленію освободиться; что пора намъ рабствовать только истинѣ, а не авторитету Западной личности, и черпать не только изъ прежнихъ или современныхъ школъ, но и изъ того сокровища разума, которое Богъ положилъ въ нашемъ чувствѣ и смыслѣ, какъ и во всякомъ смыслѣ и чувствѣ человѣческомъ. Но безспорно, большинство нашихъ просвѣщенныхъ людей въ Россіи и особенно служителей науки находятъ до сихъ поръ, что прили-

чіе, скромность и, вѣроятно, умственное спокойствіе повелѣваютъ намъ принимать только готовые выводы, не пускаясь еще въ темную и страшную глубину аналитическихъ вопросовъ. Споръ между этими двумя мнѣніями еще не рѣшенъ, и неизвѣстно, кто будетъ оправданъ—ученый или репетиторъ.

Предлагая свои сомнѣнія объ истинѣ не только нѣкоторыхъ выводовъ, но и нѣкоторыхъ отраслей науки Западной, я стараюсь выразиться съ приличною робостью и смиреніемъ, чувствуя (не безъ страха), что я подвергаюсь строгому приговору, изреченному г. Молчалинымъ:

„Какъ намъ смѣть,
„Свое сужденіе имѣть!"

Вѣдь и въ наукѣ не безъ Молчалиныхъ.

То довѣрчивое поклоненіе, съ которымъ мы до сихъ поръ слѣдимъ за Западною Европейскою образованностію, было, разумѣется, еще сильнѣе, еще довѣрчивѣе въ то время, когда мы еще только начинали съ нею знакомиться, когда все ея величіе и блескъ впервыя стали поражать наши глаза, когда ея слабости, ея неполнота, ея внутренняя нестройность были еще совсѣмъ недоступны нашей критикѣ и когда самъ Западъ еще не начиналъ (какъ онъ очевидно теперь начинаетъ) сомнѣваться въ самомъ себѣ. И теперь мы стараемся подражать, но уже подражаніе наше имѣетъ изрѣдка кое-какія притязанія на оригинальность. Въ первые и, такъ сказать, наши ученическіе годы мы старались не только быть подражателями, но обратиться въ простой сколокъ съ Западнаго міра. Не для чего толковать о томъ, удалось ли намъ это, или до какой степени удалось. Уже одной страсти ко всему иноземному, уже одного ревностнаго желанія уподобиться во всемъ нашимъ иностраннымъ образцамъ было достаточно, чтобы оторвать насъ отъ своихъ коренныхъ источниковъ умственной и духовной жизни. Продолжая въ глубинѣ сердца любить родную землю, мы уже всѣми силами ума своего отрывались отъ ея исторіи и отъ ея духовной сущности. Часто говорятъ, что и всѣ народы, такъ же какъ и мы, были подражателями; что Германцы точно такъ же приняли науку и искусство отъ Рима, какъ мы отъ Романо-Германскаго

міра. Это возраженіе уничтожается однимъ словомъ. Правда, что Римъ передалъ просвѣщеніе Германцу; но неправда, чтобы онъ передалъ его такъ же, какъ Германецъ Россіи. Не Франкъ-завоеватель просвѣтилъ Галла, но побѣжденный Галлъ Франка. Не отъ Норманна получилъ просвѣщеніе свое Саксонецъ (за исключеніемъ, можетъ быть, нѣкоторыхъ ничтожныхъ улучшеній во внѣшнемъ бытѣ), но побѣжденный Саксонецъ передалъ просвѣщеніе свое побѣдителю Норманну. Это доказывается не только исторіею, но и языковѣдѣніемъ. Тамъ просвѣщеніе вездѣ переходило отъ низшихъ или, по крайней мѣрѣ, среднихъ слоевъ общества въ высшіе, проникая почти весь его составъ одною силою умственнаго развитія, однимъ дыханіемъ общей жизни. Не такъ было у насъ. Одно только высшее сословіе могло воспользоваться и воспользовалось новыми пріобрѣтеніями знанія. Старое по своему родовому происхожденію отъ служилыхъ людей, новое по своему характеру сословія, оно приняло въ себя все богатство новаго просвѣщенія, поглощая его въ одномъ себѣ, замыкая его въ своемъ кругѣ и замыкаясь само этою новою, почти внѣшнею силою. Всѣ другія сословія остались чуждыми новому движенію. Они не могли воспользоваться сокровищами науки, которая привозилась къ намъ какъ заграничный товаръ, доступный только для немногихъ, для досужихъ, для богатыхъ. Они не могли, а многіе изъ нихъ и не хотѣли, ею воспользоваться. Если даже частное усовершенствованіе, если всякое отдѣльное изобрѣтеніе, даже въ наукахъ прикладныхъ, носитъ на себѣ печать земли, въ которой оно возникло и, такъ сказать, часть ея духа: то тѣмъ болѣе цѣлая образованность, или цѣлая система знанія запечатлѣвается мѣстнымъ характеромъ той области, въ которой она развивалась, и передаетъ этотъ духъ и этотъ характеръ всякой землѣ, которая ее усвоиваетъ и даетъ ей права гражданства. Темное чувство этой невидимой и въ то время еще несознанной опасности удаляло отъ новаго просвѣщенія множество людей и цѣлыя сословія, для которыхъ оно могло бы быть доступно, и это удаленіе, которое спасло насъ отъ полнаго разрыва со всею нашею историческою жизнію, мы можемъ и должны признать за особенное счастіе. Оно безспорно пронес-

ходило изъ добраго начала, изъ того неопредѣленнаго ясновидѣнія разума человѣческаго, которое предугадываетъ многое, чему еще не можетъ дать ни имени, ни положительнаго очертанія. Къ счастію, для подкрѣпленія этого темнаго, но спасительнаго чувства, образованность иноземная, переходя къ намъ, привязалась упорно (вѣроятно она иначе сдѣлать не могла) къ тѣмъ видимымъ и вещественнымъ формамъ, въ которыя она была облечена у Западныхъ народовъ. Ея нерусскія и необщечеловѣческія начала обличались уже и тѣмъ, что не могли и не хотѣли разстаться съ своимъ Западнымъ нарядомъ. Между тѣмъ тѣ люди или сословія, въ которыхъ или жажда знанія была сильнѣе, или привязанность къ исторической старинѣ менѣе сильна, отдѣлялись все болѣе и болѣе отъ тѣхъ, которые не могли или не хотѣли послѣдовать за ними по ново-открытымъ путямъ. Казалось бы, что раздвоеніе должно было быть сильнѣе въ первые годы, когда фанатизмъ подражанія Западу былъ ревностнѣе и страстнѣе, чѣмъ въ послѣдующее время; но на дѣлѣ выходило иначе. Многіе сначала были подражателями поневолѣ и роптали на горькую необходимость науки. Всѣ, даже тѣ, которые бросились съ полнымъ сознаніемъ и страстною волею въ пути иноземнаго просвѣщенія, принадлежали Западному міру только мыслію своею, а жизнью, обычаемъ и сочувствіемъ они еще принадлежали родимой старинѣ. Люди прежняго вѣка еще не успѣли сойти въ гробъ, воспоминанія дѣтства еще связаны были съ воспоминаніями о другомъ порядкѣ вещей и мысли. Еще сильны были няньки да дядьки, да весь Русскій домъ, который не успѣлъ передѣлаться на иностранный ладъ. Но разъ принятое направленіе должно было развиваться все болѣе и болѣе уже подъ вліяніемъ не только страсти, но и логической необходимости. Старики вымирали, дома перелаживались, Европейство утверждалось, дѣти и внуки просвѣщеннаго поколѣнія были просвѣщеннѣе своихъ предшественниковъ. Система просвѣщенія, принятая извнѣ, приносила съ собою свои умственные плоды въ гордости, которая пренебрегала всѣмъ роднымъ, и свои жизненные плоды — въ оскудѣніи всѣхъ самыхъ естественныхъ сочувствій. Раздвоеніе утвердилось надолго.

Очевидно, что при такомъ гордомъ самодовольствіи людей просвѣщенныхъ, даже формальное, наукообразное знаніе ихъ о Россіи должно было ограничиться весьма тѣсными предѣлами, ибо въ нихъ исчезло самое желаніе знать ее; но еще болѣе должно было пострадать другое высшее, жизненное знаніе, необходимое для общества такъ же, какъ и для человѣка. Общество, такъ же какъ человѣкъ, сознаётъ себя не по логическимъ путямъ. Его сознаніе есть самая его жизнь; оно лежитъ въ единствѣ обычаевъ, въ тождествѣ нравственныхъ или умственныхъ побужденій, въ живомъ и безпрерывномъ размѣнѣ мысли, во всемъ томъ безпрестанномъ волненіи, которымъ зиждутся народъ и его внутренняя исторія. Оно принадлежитъ только личности народа, какъ внутреннее, жизненное сознаніе человѣка принадлежитъ только собственной его личности. Оно недоступно ни для иностранца, ни для тѣхъ членовъ общества, которые волею или неволею отъ него уединились. Это жизненное сознаніе, такъ же какъ его отсутствіе, выражается во всемъ. Иностранецъ, какъ бы онъ ни овладѣлъ чужимъ языкомъ, никогда не обогатитъ его словесности: онъ всегда будетъ писателемъ безжизненнымъ и безсильнымъ. Ему останутся всегда чуждыми тѣ необъяснимыя прихоти нарѣчія, въ которыхъ выражается вся прелесть, вся оригинальность, вся подвижность народной физіономіи. Намъ, Русскимъ, это особенно замѣтно: и въ неудачныхъ попыткахъ нашихъ соотечественниковъ выражать свои благопріобрѣтенныя мысли на благопріобрѣтенныхъ языкахъ, и въ неудачныхъ попыткахъ многихъ Русскихъ писателей, рожденныхъ не въ Россіи, блеснуть на поприщѣ нашей словесности слишкомъ поздно и слишкомъ книжно пріобрѣтеннымъ знаніемъ Русскаго языка. Языкъ, чтобы быть послушнымъ и художественнымъ орудіемъ нашей мысли, долженъ быть не только частью нашего знанія, но частью нашей жизни, частью насъ самихъ. Отъ того-то иностранецъ или человѣкъ, удаленный отъ живаго говора народнаго, долженъ довольствоваться языкомъ книжнымъ. Пусть на немъ выражаетъ онъ мысль свою, и можетъ быть, достоинствомъ мысли сколько нибудь выкупится вялость выраженія; но для избѣжанія всеобщаго смѣха, пусть

онъ удержится отъ всякихъ притязаній на поддѣлку подъ живую рѣчь. Мы видѣли этому недавній примѣръ. Московское нарѣчіе часто замѣняетъ буквы *а* и *я* въ родительномъ падежѣ именъ мужескаго рода, обозначающихъ предметы неодушевленные, буквами *у* и *ю*; вздумалось инымъ литераторамъ поддѣлаться подъ эту особенность нарѣчія, которое составляетъ главную основу нашего разговорнаго и книжнаго языка, и пошли они вездѣ, безъ разбора, изгонять буквы *а* и *я* изъ родительнаго падежа и замѣнять ихъ буквами *у* и *ю*. Намѣреніе было доброе и очевидно лестное для насъ, Москвичей; но, къ несчастію, литераторы-нововводители не знали, что по большей части буква *у* не имѣетъ никакого права становиться на мѣсто *а*, потому что звукъ, которымъ Московское нарѣчіе оканчиваетъ родительный падежъ мужскихъ именъ, есть, по большей части, звукъ средній, котораго нельзя выражать звукомъ *у*; что, сверхъ того, самое употребленіе слова, болѣе или менѣе опредѣленное, измѣняетъ окончаніе этаго падежа (такъ, напр., при указаніи и при опредѣленныхъ прилагательныхъ, *а* сохраняетъ почти все свое полнозвучіе), и что, наконецъ, не всѣ согласныя одинаково терпятъ послѣ себя измѣненіе буквы *а* въ букву *у* или въ средній звукъ (такъ, напр., *п* не всегда допускаетъ эту перемѣну, буква *в* допускаетъ весьма рѣдко, буква *б* не допускаетъ почти никогда). Общій смѣхъ читателей былъ наградою за попытку, которая, можетъ быть, заслуживала благодарности; но эта неудача должна служить урокомъ для тѣхъ, которые думаютъ, что вдали отъ живой рѣчи можно поддѣлаться подъ ея прихотливое разнообразіе. Она вообще не дается ни иностранцу, ни колонисту, какъ замѣтилъ одинъ Англійскій критикъ Американскому писателю. Точно такія же причины объясняютъ другую, истинно грустную неудачу. Давно уже люди благонамѣренные и человѣколюбивые, истинные ревнители просвѣщенія, замѣтили недостатокъ книгъ для народнаго чтенія. Усердно и не безъ искусства старались они пособить этому недостатку и издали много книгъ, которыя принесли бы, вѣроятно, немалую пользу, если бы народъ ихъ покупалъ или, покупая, читалъ. Къ несчастію, умственная пища, приготовленная просвѣщенною благонамѣренностью, до сихъ

поръ очевидно не соотвѣтствуетъ потребностямъ благодѣтельствованнаго народа. И эта неудача происходитъ также отъ отсутствія живаго сочувствія и живаго сознанія. Русскій человѣкъ, какъ извѣстно, охотно принимаетъ науку; но онъ вѣритъ также и въ свой природный разумъ.

Наука должна расширять область человѣческаго знанія, обогощать его данными и выводами; но она должна помнить, что ей самой приходится многому и многому учиться у жизни. Безъ жизни она такъ же скудна, какъ жизнь безъ нея, можетъ быть еще скуднѣе. Темное чувство этой истины живетъ и въ томъ человѣкѣ, котораго разумъ не обогащенъ познаніями. Поэтому ученый долженъ говорить съ неученымъ не снисходительно, какъ высшій съ низшимъ, не жалкой фистулой, какъ взрослый съ младенцемъ; но просто и благородно, какъ мыслящій съ мыслящимъ. Онъ долженъ говорить собственнымъ своимъ языкомъ, а не поддѣлываться подъ чужой, который называетъ народнымъ. Эта поддѣлка не что иное, какъ гримаса. Эта народность не доходитъ до деревни и не переходитъ за околицу барскаго двора. Прежде же всего надобно узнать, т. е. полюбить ту жизнь, которую хотимъ обогатить наукою. Эта жизнь, полная силы преданія и вѣры, создала громаду Россіи прежде, чѣмъ иностранная наука пришла позолотить ея верхушки. Эта жизнь хранитъ много сокровищъ не для насъ однихъ, но можетъ быть, и для многихъ, если не для всѣхъ народовъ.

По мѣрѣ того, какъ высшіе слои общества, отрываясь отъ условій историческаго развитія, погружались все болѣе и болѣе въ образованность, истекающую изъ иноземнаго начала; по мѣрѣ того, какъ ихъ отторженіе становилось все рѣзче и рѣзче, умственная дѣятельность ослабѣла и въ низшихъ слояхъ. Для нихъ нѣтъ отвлеченной науки, отвлеченнаго знанія; для нихъ возможно только общее просвѣщеніе жизни, а это общее просвѣщеніе, проявляемое только въ постоянномъ круговращеніи мысли (подобномъ кровообращенію въ человѣческомъ тѣлѣ) становится невозможнымъ при раздвоеніи въ мысленномъ строеніи общества. Въ высшихъ сословіяхъ проявлялось знаніе, но знаніе вполнѣ отрѣшенное отъ жизни; въ низшихъ — жизнь, никогда не восходящая до сознанія.

Художеству истинному, живому, свободно творящему, а не подражательному, не было мѣста, ибо въ немъ является сочетаніе жизни и знанія, — образъ самопознающейся жизни. Примиреніе было невозможно: наука, хотя и односторонняя, не могла отказаться отъ своей гордости, ибо она чувствовала себя лучшимъ плодомъ великаго Запада; жизнь не могла отказаться отъ своего упорства, ибо она чувствовала, что создала великую Россію. Оба начала оставались безплодными въ своей болѣзненной односторонности.

На первый взглядъ безсиліе жизни, отрѣшенной отъ знанія и отъ художества, покажется понятнѣе, чѣмъ безсиліе знанія отрѣшеннаго отъ жизни; ибо жизнь имѣетъ характеръ мѣстный, знаніе же — характеръ общій, всечеловѣческій. Добросовѣстное или безпристрастное разсмотрѣніе вопроса разрѣшаетъ эти сомнѣнія. Наука раздѣляется на науку положительную или простое изученіе законовъ видимой природы и на науку догадочную или изученіе законовъ духа человѣческаго и его проявленій. Изучать законы своего духа можетъ человѣкъ только въ полнотѣ своей духовной, слѣдовательно личной и общественной жизни; ибо только въ этой полнотѣ можетъ онъ видѣть ихъ проявленіе. И такъ, вторая и, можетъ быть, важнѣйшая отрасль науки дѣлается почти невозможною при внутреннемъ раздвоеніи общественнаго просвѣщенія. Сверхъ того, наука, въ своей, можетъ быть, подчиненной формѣ опыта или наблюденія, есть опять только плодъ стремленія духа человѣческаго къ знанію, плодъ жизни, отчасти созрѣвающей, слѣдовательно въ обоихъ случаяхъ она требуетъ жизненной основы. У насъ она не была плодомъ нашей мѣстной, исторической жизни. Съ другой стороны, самымъ перенесеніемъ своимъ въ Россію и на нашу почву, она отторгалась отъ своихъ западныхъ корней и отъ жизни, которая ее произвела.

Въ такомъ-то видѣ представлялись до сихъ поръ у насъ просвѣщеніе и общество, принявшее его въ себя: оба носили на себѣ какой-то характеръ колоніальный, характеръ безжизненнаго сиротства, въ которомъ всѣ лучшія требованія души невольно уступаютъ мѣсто эгоистическому самодовольству и эгоистической расчетливости.

Такова худшая и самая неутѣшительная сторона нашего высшаго просвѣщенія; но не должно забывать, что нѣтъ почти такого явленія въ мірѣ, которое бы подчинялось какому-нибудь одному закону и не подвергалось въ тоже время вліянію другихъ часто противоположныхъ законовъ. Характеръ, который я назвалъ колоніальнымъ, составляетъ, безъ сомнѣнія главную и преобладающую черту науки, принятой нами отъ Запада, и общества нашего, во сколько оно эту науку приняло; но исторія, но привычки, но воспоминанія, но любовь къ своей землѣ, но безпрестанныя сношенія съ мѣстною жизнію не вполнѣ утратили свои права. Отъ этого остатка собственно нашей народной жизни въ насъ происходятъ всѣ лучшія явленія нашей образованности, нашего художества, нашего быта, все, что въ насъ немертво, небезсильно, небезплодно. Къ несчастію, сѣмена добраго въ насъ самихъ вполнѣ развиться не могутъ отъ нашего внутренняго раздвоенія, и намъ недоступно то жизненное сознаніе Россіи, которое составляетъ необходимое и, можетъ быть, главное средоточіе народнаго просвѣщенія. Отъ этого для насъ невозможны ни справедливая оцѣнка самихъ себя, ни ясное и здравое понятіе о многихъ и, можетъ быть, самыхъ важныхъ явленіяхъ нашей исторіи. Этому не трудно бы было найти примѣръ. Недавно неутомимѣйшій изъ историковъ нашихъ, въ жизнеописаніи великаго полководца, сдѣлалъ сравненіе между Петромъ I-мъ и Екатериною II-ю и призналъ въ Петрѣ генія, а въ Екатеринѣ только необыкновенный умъ. На это въ одномъ изъ нашихъ журналовъ отвѣчалъ критикъ весьма дѣльною статьею, въ которой выставлены промахи историка, какъ кажется, мало свѣдущаго въ дѣлѣ военномъ, и возобновлено сравненіе между Петромъ и Екатериною, только съ совершенно другимъ выводомъ. Въ Екатеринѣ признается геній, а въ Петрѣ гораздо болѣе необычайная сила воли, чѣмъ геній. Кажется, наука можетъ согласиться и съ критикомъ, и съ историкомъ, безъ большого ущерба и безъ большой пользы для себя: тонкія различія между необыкновенною волею и геніемъ, между геніемъ и необыкновеннымъ умомъ принадлежатъ къ вопросамъ личнаго убѣжденія и мало обогащаютъ положительное знаніе. Но въ этомъ спорѣ высказаны факты довольно лю-

бопытные. Критикъ, разбирая дѣла Петровы, дѣлаетъ слѣдующее заключеніе, основанное на довольно вѣрныхъ численныхъ данныхъ: «Государство было истощено, народонаселеніе истреблено, природные жители бросали кровъ родной и бѣжали далеко отъ родины. Въ селеніяхъ оставались старый да малый, и нищета дошла до крайности».

На это редакція журнала дѣлаетъ слѣдующее примѣчаніе: «Между дѣйствіями Петра и Екатерины лежитъ полвѣка; а если взглянуть на Россію въ томъ видѣ, какъ оставилъ ее Петръ (въ подлинникѣ сказано: «считалъ», вѣроятно опечатка), и на Россію, какъ приняла Екатерина, то можно подумать, что между этими двумя эпохами протекли столѣтія». Со всѣмъ этимъ можно согласиться; но спрашивается: если такая огромная перемѣна произошла съ Россіею между концомъ царствованія Петра и началомъ царствованія Екатерины II-й, кому же должно приписать эту перемѣну? Конечно не Екатеринѣ I-ой, не Петру II-му (отрадно, но слишкомъ на короткое время блеснувшему для Россіи) и не Аннѣ Ивановнѣ, къ несчастію, связавшей имя свое съ ужасами Бирона. Вся слава этаго возрожденія принадлежитъ очевидно Елисаветѣ, той самой, при которой Россія покорила всю восточную Пруссію съ Берлиномъ включительно, при которой выстроены наши лучшія зданія, при которой основанъ Московскій Университетъ и при которой старый завѣтъ Мономаха утвержденъ закономъ, вѣчно памятнымъ для насъ и завиднымъ для Запада. А объ Елисаветѣ не упомянуто ни полсловомъ. Есть въ исторіи Русской эпохи боевой славы, великихъ напряженій, громкихъ дѣяній, блеска и шума въ мірѣ. Кто ихъ не знаетъ? Но есть другія лучшія эпохи, эпохи, въ которыхъ работа внутренняго роста государственнаго и народнаго происходила ровно, свободно, легко и, такъ сказать, весело, наполняя свѣжею кровью вещественный составъ общества, наполняя новыми силами его составъ духовный. И объ этихъ эпохахъ никто не говоритъ. Таково царствованіе Елисаветы Петровны, таково время царя Алексѣя Михайловича (хоть онъ и забавлялся купаньемъ стольниковъ, опоздавшихъ на службу и, можетъ быть, слишкомъ часто, соколиною охотою), таково царствованіе послѣдняго изъ вѣнценосцевъ Рюрикова рода

(хоть онъ и любилъ, можетъ быть черезъ чуръ, звонъ колоколовъ). Объ нихъ мало говорятъ историки, но долго помнитъ народъ; надъ ихъ лѣтописью засыпаютъ дѣти, но задумываются мужи. При нихъ благоденственно развивается внутренняя самобытная мощь страны, и славны тѣ царскія имена, съ которыми связана память этихъ великихъ эпохъ. Не помнить объ нихъ значитъ не имѣть истиннаго знанія и истиннаго просвѣщенія.

Просвѣщеніе не есть только сводъ и собраніе положительныхъ знаній: оно глубже и шире такого тѣснаго опредѣленія. Истинное просвѣщеніе есть разумное просвѣтлѣніе всего духовнаго состава въ человѣкѣ или народѣ. Оно можетъ соединяться съ наукою, ибо наука есть одно изъ его явленій, но оно сильно и безъ наукообразнаго знанія; наука же (одностороннее его развитіе) безсильна и ничтожна безъ него. Нѣкогда оно было и у насъ, не смотря на нашу бѣдность въ наукообразномъ развитіи, и отъ него остались великіе, но слишкомъ мало замѣченные слѣды. Я не говорю о чужихъ краяхъ. Сравненіе съ ними слишкомъ затруднительно и слишкомъ подвержено спорамъ, потому что всякому образованному Русскому все-таки естественно кажется, что человѣкъ, который говоритъ только по-французски или по-нѣмецки, образованнѣе того, кто говоритъ только по-русски; но если сравнить безпристрастно Среднюю или Сѣверную Россію съ Западною, то мысль моя будетъ довольно ясна. Нѣтъ сомнѣнія, что просвѣщеніе Западнаго Русса далеко уступаетъ во всѣхъ отношеніяхъ просвѣщенію его Восточнаго брата; а между тѣмъ образованное общество въ Западной Россіи, конечно, не уступаетъ намъ нисколько въ знаніяхъ, а въ старину далеко и далеко насъ превосходило. Откуда же эта разница? Не очевидно ли отъ того, что на Западѣ Россіи рано произошло раздвоеніе между жизнію народною и знаніемъ высшаго сословія, тогда какъ у насъ, при всей скудости наукообразнаго знанія, живое начало просвѣщенія долго соединяло въ одно цѣльное единство весь общественный организмъ. Разумное просвѣтленіе духа человѣческаго есть тотъ живой корень, изъ котораго развиваются и наукообразное знаніе, и такъ называемая цивилизація или

образованность; оно есть самая жизнь духа въ ея лучшихъ и возвышеннѣйшихъ стремленіяхъ. Наука не заключаетъ еще въ себѣ живыхъ началъ образованности. Нерѣдко случается намъ видѣть многостороннихъ ученыхъ, которыхъ нельзя назвать образованными людьми. Наука можетъ разниться степенями своими по состояніямъ, по богатству, по досугамъ и по другимъ случайностямъ жизни; просвѣщеніе есть общее достояніе и сила цѣлаго общества и цѣлаго народа. Этою силою отстоялся Русскій человѣкъ отъ многихъ бѣдъ въ прошедшемъ, и этою силою будетъ онъ крѣпокъ въ будущемъ. Россія приняла въ свое великое лоно много разныхъ племенъ, Финновъ при-Балтійскихъ, при-Волжскихъ Татаръ, Сибирскихъ Тунгузовъ, Бурятъ и др.; но имя, бытіе и значеніе получила она отъ Русскаго народа (т. е. человѣка Великой, Малой, Бѣлой Руси). Остальные должны съ нимъ слиться вполнѣ: разумные, если поймутъ эту необходимость; великіе, если соединятся съ этою великою личностью; ничтожные, если вздумаютъ удерживать свою мелкую самобытность. Русское просвѣщеніе— жизнь Россіи.

Наука подвинулась у насъ довольно далеко. Она начинаетъ отрѣшаться отъ мѣстныхъ иноземныхъ началъ, съ которыми она была смѣшана въ своемъ первомъ возрастѣ. Мужаясь и укрѣпляясь, она должна стремиться и уже стремится къ соединенію съ Русскимъ просвѣщеніемъ; она начинаетъ черпать изъ этого роднаго источника, котораго прозрачная глубина (созданіе чистаго и ранняго Христіанства) одна можетъ исцѣлить глубокую рану нашего внутренняго раздвоенія *). Намъ уже позволительно надѣяться на свою живую науку, на свое свободное художество, на свое крѣпкое просвѣщеніе, соединяющее въ одно жизнь и знаніе; и точно такъ, какъ мысль иноземная являлась у насъ въ своей иноземной формѣ, точно также просвѣщеніе родное проявится въ образахъ и, такъ

*) Вмѣсто словъ: „одна можетъ исцѣлить глубокую рану нашего внутренняго раздвоенія", въ подлинной рукописи стоитъ слѣдующее: „богаче и живительнѣе мелководныхъ и мутныхъ потоковъ Запада, которыхъ бурное стремленіе обманываетъ еще многихъ ложнымъ призракомъ силы".

Прим. изд.

сказать, въ нарядѣ Русской жизни. Видимое есть всегда только оболочка внутренней мысли. Обрядъ дѣло великое: это художественный символъ внутренняго единства, у насъ—единства народа, широко раскинувшагося отъ береговъ Вислы и горъ Карпатскихъ до береговъ Тихаго Океана. Нѣтъ сомнѣнія, что наука совершитъ то, что она разумно начала́ и что она соединится съ истиннымъ просвѣщеніемъ Россіи посредствомъ строгаго анализа въ путяхъ историческихъ, посредствомъ теплаго сочувствія въ изученіи современнаго, посредствомъ безпристрастной оцѣнки всякой истины, откуда бы она ни являлась, и любви ко всему доброму, гдѣ бы оно ни высказывалось.

Тогда будетъ и у насъ то жизненное сознаніе, которое необходимо всякому народу и которое обширнѣе и сильнѣе сознанія формальнаго и логическаго. Тогда и крайнее наше теперешнее смиреніе передъ всѣмъ иноземнымъ и наши попытки на хвастовство, въ которыхъ самоуниженіе проглядываетъ еще ярче, чѣмъ въ откровенномъ смиреніи, замѣнятся спокойнымъ и разумнымъ уваженіемъ нашихъ исконныхъ началъ. Тогда мы не будемъ сбивать съ толку иноземцевъ ложными показаніями о самихъ себѣ, и Западная Европа забудетъ или предастъ презрѣнію тѣхъ жалкихъ писателей, о которыхъ одинъ разсказъ уже внушаетъ намъ тяжелое чувство досады, нѣсколько самолюбивой, и грусти истинно человѣческой.

МНѢНІЕ РУССКИХЪ

ОБЪ

ИНОСТРАНЦАХЪ.

Мнѣніе Русскихъ объ иностранцахъ *).

Et tu quoque! И ты на меня нападаешь, и ты меня обвиняешь въ несправедливости къ Русскимъ и въ пристрастномъ судѣ надъ иностранцами. Ты говоришь, что время безусловнаго поклоненія всему Западному миновалось, что мы осуждаемъ строго, иногда даже слишкомъ строго, недостатки, ошибки и пороки нашихъ Европейскихъ братій, и что съ своей стороны они часто говорятъ о нашей Руси съ уваженіемъ и доброжелательствомъ. Скажу тебѣ сперва нѣсколько словъ въ отвѣтъ на вторую твою критику: твои цитаты изъ иностранныхъ писателей не доказываютъ ровно ничего. Кому неизвѣстно, что иногда случается Французу, или Нѣмцу, или Англичанину, отозваться о Россіи съ какимъ-то милостивымъ снисхожденіемъ, нѣсколько похожимъ на доброжелательство; но чтожъ изъ этого? Я могъ бы тебѣ даже назвать Нѣмецкаго путешественника Блазіуса, который съ рѣдкимъ умомъ и безпристрастіемъ такъ оцѣнилъ Россію, что большей части изъ насъ Русскихъ можно бы было у него поучиться; но что же это доказываетъ? Дѣло не въ исключеніяхъ — они не имѣютъ никакой важности — будь они въ видѣ добраго слова, изрѣдка вымолвленнаго какимъ нибудь избраннымъ умомъ, будь они въ видѣ какой нибудь остервенѣлой клеветы или нелѣпости, вырвавшейся изъ низкой души или низкой страсти иностранца. Пусть Нѣмецкій проповѣдникъ сказалъ, что въ дни освобожденія Европы отъ Наполеона доблестные Германцы шли впередъ, сокрушая полчища вражія, а что за ними вслѣдъ ползли (krochen) 200.000 Русскихъ, которые болѣе мѣшали, чѣмъ

---

*) Напечатано въ Московскомъ Сборникѣ 1846 года, изданіи В. А. Панова.

помогали подвигамъ сыновъ Германіи; пусть Англійскій духовный журналъ (Church Q. R.) объявляетъ, что лучшій кавалерійскій полкъ въ Россіи убѣжитъ передъ любою сотнею Лондонскихъ сидѣльцевъ, въ первый разъ посаженныхъ на лошадь; пусть Французскій духовный журналъ (Univers Catholique) печатаетъ, что, по ученію церкви Греческой и Русской, стоитъ только сварить тѣло покойника въ винѣ, чтобы доставить ему царство небесное, — какое до этого дѣло? Не по мелочамъ и не по исключеніямъ должно судить. Мнѣніе Запада о Россіи выражается въ цѣлой физіономіи его литературы, а не въ отдѣльныхъ и никѣмъ незамѣчаемыхъ явленіяхъ. Оно выражается въ громадномъ успѣхѣ всѣхъ тѣхъ книгъ, которыхъ единственное содержаніе есть ругательство надъ Россіею, а единственное достоинство — явно высказанная ненависть къ ней; оно выражается въ тонѣ и въ отзывахъ всѣхъ Европейскихъ журналовъ, вѣрно отражающихъ общественное мнѣніе Запада. Вспомни обо всемъ этомъ и скажи по совѣсти — былъ-ли я правъ? Тебѣ не хотѣлось бы сознаться въ истинѣ моихъ словъ; тебѣ, какъ Русскому человѣку, жаждущему человѣческаго сочувствія, хотѣлось бы увѣриться въ сочувствіи Западныхъ народовъ къ намъ; тебѣ больно встрѣчать вражду тамъ, гдѣ ты желалъ бы встрѣтить чувство братской любви. Все это прекрасно, все это дѣлаетъ честь тебѣ. Но повѣрь мнѣ, всякое самообольщеніе вредно. Истину должно признавать, какъ бы она ни была для насъ горька; надобно ей глядѣть въ глаза прямо, и въ этомъ зеркалѣ всегда прочтешь какой-нибудь полезный урокъ, какой нибудь справедливый укоръ за ошибку, вольную или невольную. Въ статьѣ моей «Мнѣніе иностранцевъ о Россіи» я отдалъ добросовѣстный отчетъ въ чувствахъ, которыя Западъ питаетъ къ намъ. Я сказалъ, что это смѣсь страха и ненависти, которые внушены нашею вещественною силою, съ неуваженіемъ, которое внушено нашимъ собственнымъ неуваженіемъ къ себѣ. Это горькая, но полезная истина. Nosce te ipsum (знай самого себя): начало премудрости. Я не винилъ иностранцевъ, ихъ ложныя сужденія внушены имъ нами самими; но я не винилъ и насъ, — ибо наша ошибка была плодомъ нашего историческаго развитія. Пора признаться, пора и одуматься.

Ты неправъ и въ другомъ своемъ обвиненіи. Правда, мы, повидимому, строже прежняго судимъ явленія Западнаго міра, мы даже часто судимъ слишкомъ строго. «Вотъ это, говоримъ мы, хорошо и достойно подражанія; но вотъ это дурно, недостойно народовъ просвѣщенныхъ и противно человѣческому чувству: этого мы избѣгаемъ». Въ своихъ одностороннихъ сужденіяхъ, утративъ понятіе объ жизненномъ единствѣ, мы часто произвольно отдѣляемъ жизненныя явленія, которыя въ дѣйствительности неразлучны другъ съ другомъ и связаны между собою узами неизбѣжной зависимости. Такимъ образомъ мы даемъ себѣ видъ строгихъ и безпристрастныхъ судей, свободныхъ отъ прежняго рабскаго поклоненія и отъ прежней безразборчивой подражательности. Но все это не иное что, какъ обманъ. Насъ уже нельзя назвать поклонниками Франціи, или Англіи, или Германіи—мы не принадлежимъ никакой отдѣльной школѣ: мы эклектики въ своемъ поклоненіи; но точно такъ же рабски преклоняемъ колѣна предъ своими кумирами. Свобода мысли и сужденій невозможна безъ твердыхъ основъ, безъ данныхъ, сознанныхъ или созданныхъ самобытною дѣятельностію духа, безъ такихъ данныхъ, въ которыя онъ вѣритъ съ твердою вѣрою разума, съ теплою вѣрою сердца. Гдѣ эти данныя у насъ? Эклектизмъ не спасаетъ отъ суевѣрія, и едва ли даже суевѣріе эклектизма не самое упорное изо всѣхъ: оно соединяется съ какою-то самодовольною гордостью и утѣшаетъ себя мнимою дѣятельностію лѣниваго разсудка. Въ статьѣ моей, напечатанной въ 4-мъ № Москвитянина, я показалъ историческій ходъ новѣйшей науки и ея развитія въ Россіи; я показалъ иноземное начало этой науки, ея исключительность и необходимое послѣдствіе ея односторонняго развитія — глубокій и до сихъ поръ неисцѣленный разрывъ въ умственной и духовной сущности Россіи, разрывъ между ея самобытною жизнію и ея прививнымъ просвѣщеніемъ. Отъ этого разрыва произошли въ жизни безсознательность и неподвижность, въ наукѣ безсиліе и безжизненность. Едва ли эти положенія можно чѣмъ нибудь оспорить.

Поверхностный взглядъ на наше просвѣщеніе и на то общество, въ которомъ оно заключено, очень обманчивъ.

Познанія, повидимому, такъ разнообразны и обширны, умственныя способности такъ развиты, ясность и быстрота понятій доведены до такой высокой степени, что изумишься по неволѣ. Чего бы, кажется, не ожидать отъ такого остроумія, отъ такого мысленнаго богатства? Какихъ великихъ открытій въ наукѣ, какихъ чудныхъ приложеній въ жизни, какихъ быстрыхъ шаговъ впередъ для цѣлой массы народа и для всего человѣчества? А что же выходитъ на повѣрку? Всѣ эти познанія, вся эта умственная живость остаются безъ плода. Я не говорю уже, что они безплодны до сихъ поръ для человѣчества, безплодны для народа, которому они совершенно чужды, но они остались безплодны для самой науки. Въ этомъ мы можемъ и должны сознаться съ смиреннымъ убѣжденіемъ. Весь этотъ блескъ ума едва ли выдумалъ порядочную мышеловку. Таково послѣдствіе разрыва между просвѣщеніемъ и жизнію. При немъ умственное развитіе заключается въ самые тѣсные предѣлы. Разумъ безъ силы и полноты остается въ мертвенномъ усыпленіи, и всѣ способности человѣка исчезаютъ въ одностороннемъ развитіи поверхностнаго разсудка, лишеннаго всякой творческой силы. Всеразлагающій анализъ въ наукѣ, но анализъ безъ глубины и важности, безнадежный скептицизмъ въ жизни, холодная и жалкая иронія, смѣющаяся надъ всѣмъ и надъ собою въ обществѣ, — таковы единственныя принадлежности той степени просвѣщенія, которой мы покуда достигли. Но умъ человѣческій не можетъ оставаться въ этомъ мертвенномъ безсиліи. Лишенная самобытныхъ началъ, неспособная создать себѣ собственную творческую дѣятельность, оторванная отъ жизни народной, наша наука питается безпрестаннымъ приливомъ изъ тѣхъ областей, въ которыхъ она возникла и изъ которыхъ къ намъ перенесена. Она всегда учена заднимъ числомъ; а общество, которое служитъ ей сосудомъ, по неволѣ и безсознательно питаетъ раболѣпное почтеніе къ тому міру, отъ котораго получаетъ свою умственную пищу. Какъ бы оно, повидимому, ни гордилось, какъ бы оно строго ни судило о разнообразныхъ явленіяхъ Запада, которыхъ часто не понимаетъ (какъ разсудокъ вообще никогда не понимаетъ жизненной полноты), оно болѣе чѣмъ когда

нибудь рабствуетъ безсознательно передъ своими Западными учителями, и къ несчастію еще рабствуетъ охотно, потому что для его гордости отраднѣе поклоняться жизни, которую оно захотѣло (хотя и неудачно) къ себѣ привить, чѣмъ смириться, хоть на время, передъ тою жизнію, съ которою оно захотѣло (и къ несчастью слишкомъ удачно) разорвать всѣ свои связи.

Признавъ нѣкоторое развитіе способностей аналитическихъ въ нашемъ, такъ называемомъ, просвѣщенномъ обществѣ, повидимому, допустилъ я и возможность неограниченнаго наукообразнаго развитія, ибо анализъ составляетъ всю сущность науки; но дѣйствительно такой выводъ былъ бы ложный. Въ успѣхахъ науки строгій и всеразлагающій анализъ постоянно сопровождается творческою силою синтеза, тѣмъ ясновидящимъ гаданіемъ, которое въ людяхъ, одаренныхъ геніемъ, далеко опережаетъ медленную повѣрку опыта и анализа, предчувствуя и предсказывая будущіе выводы и всю полноту и величіе еще несозданной науки. Это явленіе есть явленіе жизненное; оно замѣтно въ Кеплерахъ, въ Ньютонахъ, въ Лейбницахъ, въ Кювье и въ другихъ имъ подобныхъ подвижникахъ мысли; но оно невозможно тамъ, гдѣ жизнь изсякла или заглохла. Сверхъ того, самая способность аналитическая раздѣляется на многія степени, и высшія изъ нихъ доступны только тому человѣку или тому обществу, которые чувствуютъ въ себѣ богатство жизни, не боящейся анализа и его всеразлагающей силы. У нихъ, и только у нихъ, наука имѣетъ истинную и внутреннюю свободу, необходимую для ея развитія и процвѣтанія. У насъ анализъ возможенъ, но только въ своихъ низшихъ степеняхъ. При нашей ученической зависимости отъ Западнаго міра, мы только и можемъ позволить себѣ поверхностную повѣрку его частныхъ выводовъ и никогда не можемъ осмѣлиться подвергнуть строгому допросу общія начала или основы его системъ. Я уже показалъ это въ отношеніи къ философіи, къ политической экономіи и къ статистикѣ, показалъ подробнѣе въ отношеніи къ праву, и могъ бы показать еще съ бо̀льшею подробностію въ отношеніи къ наукамъ историческимъ, которыя, по общему мнѣнію, особенно процвѣтаютъ въ нашъ вѣкъ, но которыя дѣй-

ствительно находятся въ состояніи жалкаго безсилія и едва заслуживаютъ имя науки.

Грубый партикуляризмъ или изложеніе происшествій въ ихъ случайномъ сцѣпленіи, безъ всякой внутренней связи: такова общая система исторіи въ томъ видѣ, въ которомъ она до сихъ поръ является на Западѣ. Бо́льшее или меньшее остроуміе писателя, болѣе или менѣе художественный разсказъ, бо́льшая или меньшая вѣрность съ подлинными документами, бо́льшая или меньшая тонкость или удача въ частныхъ догадкахъ — составляютъ единственное различіе между современными историческими произведеніями: система же остается все таже, у Ранке, какъ у Галлама, у Гфрёрера такъ же какъ у Неандера, у Тьери и Шлоссера такъ же, какъ у Тьера въ его занимательной, но мелкой и бливорукой исторіи великихъ происшествій недавно-минувшаго времени. Были на Западѣ попытки выйти изъ этого тѣснаго круга и возвысить исторію до степени истинной науки; иныя попытки были въ смыслѣ религіозномъ, иныя въ смыслѣ философскомъ; но всѣ эти попытки, не смотря на большее или меньшее достоинство писателей (напр., Боссюэта и Лео) остались безуспѣшными. Яснѣе другихъ понялъ жалкое состояніе историческихъ наукъ послѣдній изъ великихъ философовъ Германіи, человѣкъ, который сокрушилъ все зданіе Западной философіи, положивъ на него послѣдній камень, — Гегель. Онъ старался создать исторію, соотвѣтствующую требованіямъ человѣческаго разума и создалъ систематическій призракъ, въ которомъ строгая логическая послѣдовательность или мнимая необходимость служитъ только маскою, за которою прячется неограниченный произволъ ученаго систематика. Онъ просто понялъ исторію наизворотъ, принявъ современность или результатъ вообще за существенное и необходимое, къ которому необходимо стремилось прошедшее; между тѣмъ какъ современное или результатъ могутъ быть поняты разумно только тогда, когда они являются какъ выводъ изъ данныхъ, предшествовавшихъ имъ въ порядкѣ времени. Его система историческая, основанная на какомъ-то мистическомъ понятіи о собирательномъ духѣ собирательнаго человѣчества, не могла быть принята: она была осыпана похвалами и отчасти заслуживала ихъ не

только по остроумію частныхъ выводовъ, но и по глубокимъ требованіямъ, высказаннымъ Гегелемъ въ этой части науки, какъ и во всѣхъ другихъ; но она осталась безъ плодовъ, по той простой причинѣ, что она дѣйствительно безплодна и смѣшна; она идетъ подъ рядъ къ его математическимъ системамъ (см. разсужденіе объ узловыхъ линіяхъ въ отдѣленіи логики, о количествѣ), по которымъ формула факта признается за его причину, и по которымъ земля кружится около солнца не вслѣдствіе борьбы противоположныхъ силъ, а вслѣдствіе формулы элипсиса (изъ чего слѣдуетъ заключить, что ядро и бомба летятъ не вслѣдствіе порохового взрыва, а вслѣдствіе формулы параболоида). Историческая система Гегеля такъ же не разумна, какъ и его математическія умозрѣнія; но она безконечно важна потому, что доказываетъ, какъ глубоко этотъ великій умъ понималъ ничтожность современной исторической науки *). Послѣ неудачи великаго мыслителя, прежній партикуляризмъ остался опять единственною системою.

Положеніе наше въ отношеніи къ исторіи было особенно выгодно. Воззрѣніе историка на прошедшую судьбу и жизнь человѣчества зависитъ по необходимости отъ самой жизни народа или общества народовъ, которому онъ принадлежитъ; по этому самому нѣкоторая односторонность въ понятіяхъ и сужденіяхъ историческихъ неизбѣжна, какъ слѣдствіе односторонности, принадлежащей всякому народу или всякому обществу народовъ. Сдѣланное однимъ пополняется и усовершенствуется другими народами, по мѣрѣ ихъ вступленія на поприще дѣятельности въ наукахъ и просвѣщеніи. Это пополненіе трудовъ нашихъ Европейскихъ братій было нашимъ дѣломъ и нашею обязанностію. Къ тому же, самая исторія Запада, едва ли не важнѣйшая часть всемірной исторіи, невозможная для Западныхъ писателей (ибо въ ихъ крови, несознательно для нихъ

*) Впрочемъ въ математикѣ, какъ и въ исторіи, замѣтенъ у Гегеля тотъ коренной недостатокъ, который лежитъ въ самой основѣ его логики, именно болѣе или менѣе сознательное смѣшеніе того, что въ логическомъ порядкѣ есть слѣдствіе, съ тѣмъ, что ему предшествуетъ, какъ причина или исходный моментъ. Такъ напр., незамѣченное присутствіе идеи существа (Daseyn), момента очевидно выводнаго, обращаетъ въ ничто первоначальное бытіе (Seyn), и изъ этой ошибки развивается вся логика Гегеля.

самихъ, живутъ и кипятъ страсти, пороки, предразсудки и ошибки предшествовавшихъ имъ поколѣній), была возможна только для насъ; но и въ этомъ дѣлѣ, не смотря на всѣ выгоды своего положенія, не смотря на явную потребность въ самой наукѣ,—сдѣлали ли мы хоть одинъ шагъ? Отъ насъ нельзя ожидать, чтобы мы могли значительно обогатить науку спеціальными открытіями, увеличеніемъ и очищеніемъ матеріаловъ или усовершенствованіемъ прагматизма: число истинно ученыхъ людей и тружениковъ, посвящающихъ жизнь свою наукамъ, у насъ такъ ограниченно или, лучше сказать, такъ ничтожно, что весь итогъ ихъ частныхъ трудовъ не можетъ почти ничего прибавить къ трудамъ безчисленныхъ спеціалистовъ Запада. Но намъ возможны, и возможнѣе даже, чѣмъ Западнымъ писателямъ (по крайней мѣрѣ по части историческихъ наукъ) обобщеніе вопросовъ, выводы изъ частныхъ изслѣдованій и живое пониманіе минувшихъ событій. Между тѣмъ, въ этомъ дѣлѣ, кажется, намъ похвалиться нечѣмъ. Подвинули ли мы или попытались ли подвинуть исторію изъ прежняго безсмысленнаго партикуляризма и постигнуть смыслъ ея великихъ явленій? Я не скажу, разрѣшили ли мы, но подняли ли хоть одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которыми полна судьба человѣчества? Догадались ли мы, что до сихъ поръ исторія не представляетъ ничего, кромѣ хаоса происшествій, связанныхъ кое-какъ на живую нитку непонятною случайностью? Поняли ли мы или хоть намекнули, что̀ такое народъ—единственный и постоянный дѣйствователь исторіи? Догадались ли мы, что каждый народъ представляетъ такое же живое лицо, какъ и каждый человѣкъ, и что внутренняя его жизнь есть не что иное, какъ развитіе какого-нибудь нравственнаго или умственнаго начала, осуществляемаго обществомъ, такаго начала, которое опредѣляетъ судьбу государствъ, возвышая и укрѣпляя ихъ присущею въ немъ истиною, или убивая присущею въ немъ ложью? Стоитъ только взглянуть на всѣ наши историческіе труды, не смотря на достоинство многихъ, чтобы убѣдиться въ противномъ. Самыя важныя явленія въ жизни человѣчества и великихъ народовъ, управлявшихъ его судьбами, остались незамѣченными. Такъ напр., критика историче-

ская не замѣтила, что, при переходѣ просвѣщенія съ Востока на Западъ, не все было чистымъ барышемъ, и что, не смотря на великія усовершенствованія въ художествѣ, въ наукѣ и въ народномъ бытѣ, многое утратилось или обмелѣло въ мысляхъ и познаніяхъ человѣческихъ, особенно при переходѣ изъ Эллады въ Римъ и отъ Рима къ романизированнымъ племенамъ Запада. Такъ не обратили еще вниманія на разноначальность просвѣщенія въ древней Эллядѣ. Такъ, при всѣхъ глубокихъ и остроумныхъ изслѣдованіяхъ и догадкахъ Нибура, первая исторія Рима не получила еще никакаго живаго содержанія, и никто не замѣтилъ этого недостатка, можетъ быть за исключеніемъ профессора Крюкова, слишкомъ рано умершаго для друзей своихъ, для Московскаго Университета и для наукъ. Такъ въ исторіи позднѣйшаго Рима непонято раздѣленіе ея на эпоху цесарей и императоровъ, раздѣленіе, повидимому, случайное, но глубоко-истинное, ибо оно основано на освобожденіи провинцій отъ столицы. Такъ раздѣленіе имперіи на двѣ половины, уже появляющееся въ Дуумвиратѣ (мнимомъ Тріумвиратѣ) послѣ перваго Кесаря, потомъ яснѣе выразившееся послѣ Діоклетіана и при преемникахъ Константина и оставившее неизгладимыя черты въ духовной исторіи человѣчества отдѣленіемъ Востока отъ Запада, является постоянно дѣломъ грубой случайности, между тѣмъ какъ, очевидно, оно происходило отъ древнихъ началъ (отъ разницы между просвѣщеніемъ Эллинскимъ и Римскимъ) и было неизбѣжнымъ и великимъ ихъ послѣдствіемъ. Такъ исторія Восточной Имперіи, затоптанная въ грязь гордымъ презрѣніемъ Запада, не получила еще должнаго признанія въ землѣ, которой вся духовная жизнь ведетъ начало свое отъ Византійскихъ проповѣдниковъ. Такъ не умѣли или не осмѣлились мы сказать, что должны же были быть скрытыя сѣмена силы и величія въ томъ государствѣ, которое выдержало побѣдоносно первый напоръ всѣхъ народовъ (за исключеніемъ Франковъ и Бургундцевъ), уничтожившихъ такъ быстро существованіе Западно-Римской имперіи, которое потомъ отбилось отъ второго, не менѣе сильнаго нападенія Аваровъ, Болгаръ и всего разлива Славянскаго; которое, будучи затоплено и почти

покорено Славянскими дружинами, нашло въ себѣ и въ своемъ духѣ столько энергіи, что могло усвоить, принять въ свои нѣдра и эллинизировать своихъ побѣдителей; которое боролось не безъ славы и часто не безъ успѣха со всею громадною силою молодого Ислама, и билось въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ, такъ сказать, противъ когтей и пасти чудовища, уничтожившаго однимъ ударомъ хвоста Германское царство Вестъ-Готѳовъ и едва не сокрушившаго всю силу Запада на поляхъ Пуатьерскихъ; которое наконецъ пережило, въ продолженіе почти цѣлаго тысячелѣтія, своего Западнаго брата, не смотря на несравненно-бо̀льшія опасности, на длинныя, слабыя и беззащитныя границы и на внутреннее разногласіе между началами чистаго просвѣщенія и основами общественнаго устройства *). Такъ въ исторіи Западной Европы не замѣчены нравственные двигатели и физіономія народовъ, опредѣлявшіе его судьбу, именно: характеръ Франковъ, уже развращенныхъ до костей и мозга вліяніемъ Рима, еще прежде завоеванія Галліи дружинами Франковъ Поморскихъ (Меровингами), и Аріанство, котораго борьба съ соборнымъ исповѣданіемъ опредѣлила всю политическую и духовную исторію Запада. Такъ въ позднѣйшую эпоху незамѣчена прямая историческая связь между Протестанствомъ, его распространеніемъ и областями, въ которыхъ оно утвердилось, съ тѣми насильственными путями, по которымъ Христіанство распространялось въ народахъ Германскихъ и съ тѣмъ видомъ Римской односторонности, съ которымъ оно къ нимъ явилось первоначально. Не было бы конца исчисленію тѣхъ вопросовъ, которые призываютъ наше вниманіе и требуютъ отъ насъ разрѣшенія, — ибо все поле исторіи ждетъ переработки; а мы еще ничего не сдѣлали, подвигаясь раболѣпно въ колеяхъ, уже прорѣзанныхъ Западомъ и не замѣчая его односторонности. Всѣ наши труды, изъ которыхъ конечно многіе заслуживаютъ уваженія, представляютъ только количественное или, такъ сказать, географическое прибавленіе къ трудамъ Западныхъ ученыхъ, не

*) Такъ понято переселеніе народовъ Германскихъ, которое было не что иное, какъ слѣдствіе освобожденія Восточно-Европейскихъ, т. е. Славянскихъ, племенъ отъ насильственной Германской аристократіи.

прибавляя ничего ни къ стройности исторіи, ни къ внутреннему ея содержанію. Одинъ Карамзинъ, по безконечному значенію своему для жизни Русской и по величію памятника, имъ воздвигнутаго, можетъ казаться исключеніемъ. Я говорю не объ огромномъ сборѣ матеріаловъ, имъ разобранныхъ, и не о добросовѣстномъ ихъ сличеніи (это дѣло прекрасное, но дѣло терпѣнія, которому доставлены были всѣ вспомогательныя средства), я говорю о томъ духѣ жизни, который вѣетъ надъ всѣми его сказаніями—въ немъ видна Россія. Но она видна не въ разсказѣ событій, въ которомъ преобладаетъ характеръ безсвязнаго партикуляризма, всегда обращающаго вниманіе только на личности, и не въ сужденіяхъ часто одностороннихъ,—всегда проникнутыхъ ложною системою,—а видна въ немъ самомъ, въ живомъ и краснорѣчивомъ разсказчикѣ, въ которомъ такъ постоянно и такъ пламенно бьется Русское сердце, кипитъ Русская кровь и чувство Русской духовной силы, и силы вещественной, которое въ народахъ есть слѣдствіе духовной. За исключеніемъ его великаго матеріальнаго труда, Карамзинъ еще болѣе принадлежитъ искусству, чѣмъ наукѣ, и это не унижаетъ его достоинства: нелѣпо бы было требовать всего отъ одного дѣятеля. Изъ современныхъ ученыхъ нѣкоторые поняли подвигъ, къ которому Русское просвѣщеніе призвано въ исторіи; они готовятъ будущіе труды своихъ преемниковъ, освобождая мало по малу науку изъ тѣсныхъ предѣловъ, въ которые она до сихъ поръ заключена невольною односторонностью народовъ, предшествовавшихъ намъ въ знаніи, и добровольною односторонностью нашей подражательности; но этихъ поборниковъ внутренней свободы въ наукѣ немного, и имъ предстоитъ нелегкая борьба.

Тяжело налегло на насъ просвѣщеніе или, лучше сказать, знаніе (ибо просвѣщеніе имѣетъ высшее значеніе), которое приняли мы извнѣ. Много подавлено подъ нимъ (разумѣется, подавлено на время) сѣмянъ истиннаго просвѣщенія, добра и жизни. Это выражается всего яснѣе скудостью и безхарактерностью искусства въ такомъ народѣ, который далъ столько прекрасныхъ задатковъ искусству еще въ тѣ эпохи, когда бурная жизнь общества, вѣчно потрясаемаго иноземною гро-

зою, не позволяла полнаго и самобытнаго развитія. Безспорно, нашъ вѣкъ не есть вѣкъ художества. Художникъ (я говорю о художникѣ слова такъ же, какъ о художникѣ формы и звука) занимаетъ весьма низкую ступень въ современномъ движеніи общественной мысли. Истинная въ своемъ началѣ, ложная въ своемъ приложеніи, односторонне высказанная и дурно понятая система Германскихъ критиковъ о свободѣ искусства приноситъ довольно жалкіе плоды. Рабство передъ авторитетами и передъ условными формами красоты замѣнилось другимъ рабствомъ. Художникъ обратился въ актера художествъ. Нищій-лицедѣй, онъ стоитъ передъ публикой-милліономъ и требуетъ отъ него задачи или старается угадать его современную прихоть. «Прикажи,—я буду Индѣйцемъ или древнимъ Грекомъ, или Византійцемъ - Христіаниномъ! Прикажи,—я напишу тебѣ сонмы Ангеловъ, являющіеся въ облакахъ глазамъ созерцателя-пустынника, или Зевса и Геру на вершинахъ Иды, или землетрясеніе, или Баварію въ вѣнцѣ небывалыхъ торжествъ! Потребуй,—я спою славу твоего величія и скажу, что ты преславная земля, всемірный великанъ, у котораго одинъ глазъ во лбу—Парижъ; или пропою пѣснь Христіанскаго смиренія, или сочиню романъ, чтобы воспользоваться внезапнымъ страхомъ, напавшимъ на тебя, какъ бы іезуиты не украли у тебя всѣхъ денегъ изъ кармана. Я на все готовъ!» И милліонъ-вдохновитель приказываетъ, и художникъ-актеръ ломается болѣе или менѣе удачно въ заданной ему роли, и милліонъ хлопаетъ въ ладоши, принимая это за художество. Нѣмецкіе критики были правы, проповѣдуя свободу искусства; но они не поняли вполнѣ, а ученики ихъ поняли еще меньше, что свобода есть качество чисто отрицательное, не дающее само по себѣ никакого содержанія, и художники современные, давъ полную волю своей безразборчивой любви ко всѣмъ возможнымъ формамъ прекраснаго, доказали только то, что въ душѣ ихъ нѣтъ никакого внутренняго содержанія, которое стремилось бы выразиться въ самобытныхъ образахъ и могло бы ихъ создать. Я уже это и прежде говорилъ и, кажется, ты соглашался со мною. Но явленія Западнаго міра не должны бы были еще относиться къ намъ: народъ народу не примѣръ. Когда

на всемъ Западѣ (за исключеніемъ Англіи) замерло искусство, тогда оно возстало въ полномъ блескѣ въ Германіи. Если перекипѣвшая жизнь Западнаго міра оставила ему внутреннюю скудость скептическаго анализа и холодъ сердца, много надѣявшагося, но обманутаго въ своихъ надеждахъ, какое бы казалось дѣло намъ до этого? Наша жизнь не перекипѣла, и наши духовныя силы еще бодры и свѣжи. Дѣйствительно, единственное высокое современное художественное явленіе (въ художествѣ слова) принадлежитъ намъ. Этою радостію подарила насъ Малороссія, менѣе Средней Россіи принявшая въ себя наплывъ чужеземныхъ началъ. Между тѣмъ какъ Западная (Бѣлая) Россія, сокрушенная ими, обезсилѣла, повидимому, надолго, какъ Малороссія мало ими потрясена въ своей внутренней жизни, — собственно Средней или Великой Руси предстоитъ борьба съ иноземнымъ просвѣщеніемъ и съ его рабскою подражательностію. Принявъ въ себя познанія во всей ихъ полнотѣ, она должна достигнуть и достигнетъ самобытности въ мысли. Къ счастію, время не ушло, и не только борьба возможна, но и побѣда несомнѣнна. Впрочемъ, такія переходныя эпохи не совсѣмъ благопріятны для искусствъ.

Оцѣнка нашего просвѣщенія, мною теперь высказываемая, сдѣлана уже весьма многими и ясна для всѣхъ, хотя, можетъ быть, не всѣ отдали себѣ ясный отчетъ въ ней. Такое внутреннее сознаніе необходимо должно сопровождаться невольнымъ смиреніемъ; и смиреніе, въ такомъ случаѣ, есть дань истинѣ и лучшимъ побужденіямъ разума человѣческаго. Поэтому, какъ бы ни притворялись мы (т. е. наша наука и общество, которое ее въ себя воплотило), какую бы личину ни надѣвали, мы дѣйствительно ставимъ Западный міръ гораздо выше себя и признаёмъ его несравненное превосходство. Во многихъ это сознаніе является откровенно и заслуживаетъ уваженія; ибо современники невиноваты въ наслѣдственномъ отчужденіи своемъ отъ жизни народной и отъ высокихъ началъ, которыя она въ себѣ содержала и содержитъ; а благоговѣніе передъ высокимъ развитіемъ просвѣщенія, хотя неполнаго и болѣзненнаго на Западѣ, и передъ жизнію, изъ которой оно возникло, свидѣтельствуетъ о высо-

кихъ стремленіяхъ и требованіяхъ души. Въ другихъ тоже самое чувство прячется отъ поверхностнаго наблюденія подъ какимъ-то видомъ самодовольства и даже хвастливости народной; но это самодовольство и хвастливость унизительны. Въ нихъ видны признаки самодовольнаго обмана или внутренняго огрубенія. Люди, оторванные отъ жизни народной и слѣдовательно отъ истиннаго просвѣщенія, лишенные всякаго прошедшаго, бѣдные наукою, не признающіе тѣхъ великихъ духовныхъ началъ, которыя скрываетъ въ себѣ жизнь Россіи и которыя время и исторія должны вызвать наружу, не имѣютъ разумныхъ правъ на самохвальство и гордость передъ тѣмъ міромъ, изъ котораго почерпали они свою умственную жизнь, хоть неполную, хоть и скудную.

Раболѣпные подражатели въ жизни, вѣчные школьники въ мысли, они въ своей гордости, основанной на вещественномъ величіи Россіи, напоминаютъ только гордость школьника-барченка передъ бѣднымъ учителемъ. Слова ихъ изобличаются во лжи всею ихъ жизнію. За то, это раболѣпство передъ иноземными народами явно не только для Русскаго народа, но и для наблюдателей иностранныхъ. Они видятъ нашъ разрывъ съ прошедшею жизнію и говорятъ о немъ часто, Русскіе съ тяжкимъ упрекомъ, а иностранцы съ насмѣшливымъ состраданіемъ. Такъ, напр., ты самъ знаешь, что остроумный Французъ говорилъ: «Vous autres Russes, vous me paraissez un singulier peuple. Enfans de noble race, vous-vous amusez à jouer le rôle d'enfans trouvés» *).

Это колкое замѣчаніе очень справедливо. Оно въ немногихъ словахъ выражаетъ фактъ, который безпрестанно является намъ въ разныхъ видахъ и влечетъ за собою неизчислимыя послѣдствія. Часто видимъ людей Русскихъ и, разумѣется, принадлежащихъ къ высшему образованію, которые безъ всякой необходимости оставляютъ Россію и дѣлаются постоянными жителями чужихъ краевъ. Правда, такихъ выходцевъ осуждаютъ, и осуждаютъ даже очень строго. Мнѣ кажется, они болѣе заслуживаютъ сожалѣнія, чѣмъ осужденія: отечества человѣкъ не броситъ безъ необходимости и

*) Странный вы народъ Русскіе. Вы потомки великаго историческаго рода, а разыгрываете добровольно роль безродныхъ найденышей.

не измѣнить ему безъ сильной страсти; но никакая страсть не движетъ нашими равнодушными выходцами. Можно сказать, что они не бросаютъ отечества, или лучше, что у нихъ никогда отечества не было. Вѣдь отечество находится не въ географіи. Эта не та земля, на которой мы живемъ и родились и которая въ ландкартахъ обводится зеленой или желтой краскою. Отечество также не условная вещь. Это не та земля, къ которой я приписанъ, даже не та, которою я пользуюсь и которая мнѣ давала съ дѣтства такія-то или такія-то права и такія-то или такія-то привиллегіи. Это та страна и тотъ народъ, создавшій страну, съ которыми срослась вся моя жизнь, все мое духовное существованіе, вся цѣлость моей человѣческой дѣятельности. Это тотъ народъ, съ которымъ я связанъ всѣми жилами сердца и отъ котораго оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло. Тотъ, кто бросаетъ отечество въ безуміи страсти, виновенъ передъ нравственнымъ судомъ, какъ всякій преступникъ, пожертвовавшій какою бы то ни было святынею вспышкѣ требованія эгоистическаго. Но разрывъ съ жизнію, разрывъ съ прошедшимъ и раздоръ съ современнымъ лишаютъ насъ большей части отечества; и люди, въ которыхъ съ особенною силою выражается это отчужденіе, заслуживаютъ еще болѣе сожалѣнія, чѣмъ порицанія. Они жалки, какъ всякій человѣкъ, не имѣющій отечества, жалки какъ Жидъ или Цыганъ, или еще жалче, потому что Жидъ еще находитъ отечество въ исключительности своей религіи, а Цыганъ въ исключительности своего племени. Они жертва ложнаго развитія.

За всѣмъ тѣмъ, не смотря на наше явное или худо скрытое смиреніе передъ Западомъ, не смотря на сознаваемую нами скудость нашего существованія, образованность наша имѣетъ и свою гордость, гордость рѣзкую, непріязненную и вполнѣ убѣжденную въ своихъ разумныхъ правахъ. Эту гордость бережетъ она для домашняго обихода, для сношеній съ жизнію, отъ которой оторвалась. Тутъ она является представительницею инаго, высшаго міра; тутъ она смѣла и самоувѣренна, тутъ гордость ея получаетъ особый характеръ. Какъ гордость рода опирается на воспоминаніи о томъ, что «пред-

ки наши Римъ спасли», такъ эта гордость опирается на всѣхъ, болѣе или менѣе справедливыхъ правахъ Запада.

«Правда, мы ничего не выдумали, не изобрѣли и не создали; за то, чего не изобрѣли и не создали наши учители, наши, такъ сказать, братья по мысли на Западѣ?» Образованность наша забываетъ только одно, именно то, что это братство не существуетъ. Тамъ на Западѣ образованность— плодъ жизни, и она жива; у насъ она заносная, невыработанная и незаслуженная трудомъ мысли, и мертва. Жизнь уже потому, что жива, имѣетъ право на уваженіе, а жизнь создала нашу Россію.

Впрочемъ это соперничество между историческою жизнію съ одной стороны и прививною образованностію съ другой было неизбѣжно. Такія два начала не могли существовать въ одной и той же землѣ и оставаться другъ къ другу равнодушными: каждое должно было стараться побороть или передѣлать стихію, ему противоположную. Въ этой неизбѣжной борьбѣ выгода была на сторонѣ образованности. Отъ жизни оторвались всѣ ея высшіе представители, весь кругъ, въ которомъ замыкается и сосредоточивается все внутреннее движеніе общественнаго тѣла, въ которомъ выражается его самосознаніе. Разрозненная жизнь ослабла и сопротивлялась напору ложной образованности только громадою своей неподвижной силы. Гордая образованность, сама по себѣ ничтожная и безсильная, но вѣчно черпающая изъ живыхъ источниковъ Западной жизни и мысли, вела борьбу неутомимо и сознательно, губя, мало-по-малу, лучшія начала жизни и считая свои губительные успѣхи истиннымъ благодѣяніемъ, вѣря своей непогрѣшимости и пренебрегая жизнію, которой не знаетъ и знать не хочетъ. Между тѣмъ, общество продолжало во многихъ отношеніяхъ, повидимому, преуспѣвать и крѣпнуть. Но даже и эти явленія, чисто внѣшнія, нисколько не исцѣляющія внутренняго духовнаго раздора и его разрушительной болѣзни, происходили отъ сокрытыхъ и уцѣлѣвшихъ внутреннихъ силъ жизни, не подвергнувшихся или не вполнѣ подвергнувшихся разрушительному дѣйствію чужеземнаго наплыва. Ты самъ помнишь того стараго барина, который, отслуживъ свою очередь, переѣхалъ къ намъ съ Сѣвера въ Мо-

скву. Онъ прожилъ лѣтъ двѣнадцать подъ Московскими колоколами и полюбилъ душою все то, чего прежде не понималъ. Помнишь ты и то, какъ пріѣхалъ къ нему сынокъ проситься за границу и какъ часто у нихъ происходили споры обо всемъ Русскомъ и не-Русскомъ въ Россіи. Разъ случилось, что сынъ сказалъ ему: «развѣ не нашему просвѣщенному времени принадлежитъ слава побѣдъ и самое имя великаго Суворова?» Старикъ обратился къ осьмидесятилѣтнему отставному маіору, давно уже отпустившему сѣдую бороду, и спросилъ съ улыбкою: «что̀, Трофимъ Михайловичъ, похожи были Суворовъ и его набожные солдатики на моего Мишеля и его пріятелей?» Разговоръ кончился общимъ смѣхомъ и долгимъ, басистымъ хохотомъ сѣдого маіора, которому эта мысль показалась нестерпимо-смѣшною. Молодой денди сконфузился. Точно такаго же рода вопросъ и съ такимъ же отвѣтомъ могъ бы быть приложенъ и ко всему великому, совершенному нами, если бы мы только умѣли глядѣть въ глубь происшествій, а не останавливали бы своего наблюденія на самой ихъ верхушкѣ. Но эти простыя истины ясны для некнижнаго ума и недоступны для нашего просвѣщенія. Перенесенное какъ готовый плодъ, какъ вещь, какъ формула изъ чужой стороны, оно не понимаетъ ни жизни, изъ которой оно возникло, ни своей зависимости отъ нея; оно вообще ни съ какою жизнію и ни съ чѣмъ живымъ сочувствовать не можетъ. Ему доступны только одни результаты, въ которыхъ скрывается и исчезаетъ все предшествовавшее имъ жизненное движеніе. Такъ вообще весь Западъ представляется ему въ своемъ устройствѣ общественномъ и въ своемъ художественномъ или ученомъ развитіи, какъ сухая формула, которую можно перенести на какую угодно почву, исправивъ мелкія ошибки, разграфивъ по статьямъ и свѣривъ статью съ статьею, какъ простую конторскую книгу, между тѣмъ какъ самъ Западъ созданъ не наукою, а бурною и треволненною исторіею и въ глазахъ строгаго разсудка не можетъ выдержать ни малѣйшей аналитической повѣрки. Это, конечно, говорится мною не въ попрекъ, а въ похвалу. Мелкое мѣрило разсудка ничтожно для проявленій цѣлости человѣческой, и только то право въ его глазахъ, что̀ къ жизни

не годно. На Западѣ всякое учрежденіе, такъ же какъ и всякая система, содержитъ въ себѣ отвѣтъ на какой-нибудь жизненный вопросъ, заданный прежними вѣками. Борьба между племенами завоевательнымъ и завоеваннымъ, борьба между дикимъ и воинственнымъ барономъ, бичемъ селъ и ихъ безсильныхъ жителей, и промышленнымъ городскимъ барономъ (т. е. феодальною городскою общиною), врагомъ тѣхъ же безсильныхъ жителей сельскихъ; борьба между христіанскимъ чувствомъ, отвергающимъ христіанское ученіе и мнимохристіанскимъ ученіемъ, отвергающимъ христіанскую жизнь; борьба между свободою мысли человѣческой и насиліемъ схоластическаго преданія, — все это нестройное и отчасти безсмысленное прошедшее выпечаталось въ настоящемъ, разрѣшаясь или находя мнимое примиреніе въ условныхъ и временныхъ формахъ. Жизнь вездѣ предшествовала наукѣ, и наука безсознательно отражаетъ то прошедшее, надъ которымъ часто смѣется. Такъ до нашего времени мнимая наука права, о которой я говорилъ въ своей статьѣ, не чувствуетъ, что она есть не что иное, какъ желаніе обратить въ самобытныя и твердыя начала факты, выведенные изъ борьбы тѣсной Римской государственности съ дикими понятіями Германца о неограниченныхъ правахъ личности. Такъ все соціалистическое и коммунистическое движеніе съ его гордыми притязаніями на логическую послѣдовательность есть не что иное, какъ жалкая попытка слабыхъ умовъ, желавшихъ найти разумныя формы для безсмысленнаго содержанія, завѣщаннаго прежними вѣками. Впрочемъ, эта попытка имѣетъ свое относительное достоинство и свой относительный смыслъ въ той мѣстности, въ которой она явилась; нелѣпы только вѣрованіе въ нее и возведеніе ея до общихъ человѣческихъ началъ. Я сказалъ уже о безсмысленности всего спора объ освобожденіи женщины, спора, который занимаетъ такое важное мѣсто въ новомъ соціализмѣ. Я сказалъ, что споръ, который идетъ, повидимому, о правахъ, шелъ дѣйствительно о взаимныхъ обязанностяхъ мужчины и женщины. Онъ, очевидно, не заслуживаетъ мѣста въ наукѣ, но весьма важенъ въ отношеніи къ жизни народовъ; ибо въ немъ отражается

великій фактъ нравственной исторіи. Жоржъ-Зандъ переводитъ въ сознаніе и въ области науки только ту мысль, которая была проявлена въ жизни Нинономю (Ninon d'Enclos) и которой относительная справедливость къ обществу была доказана истиннымъ уваженіемъ общества къ этой дерзкологической женщинѣ. Точно также всѣ сужденія коммунистовъ объ уничтоженіи брака представляютъ, не смотря на свою дѣйствительную нелѣпость, совершенно законный выводъ изъ той общественной жизни, изъ которой возникли. Въ развитіи внутренней исторіи Запада обычай находился безпрестанно въ раздорѣ съ законами, повидимому, признаваемыми обществомъ; а бракъ, носящій лицемѣрно названіе освященное Христіанствомъ, былъ уже давно не что иное, какъ гражданское постановленіе, снабжающее дворянскіе роды болѣе или менѣе законными наслѣдниками для родовыхъ имуществъ. Таковъ, говорю я, былъ приговоръ общества, давно уже признанный, хотя и скрываемый общественнымъ лицемѣріемъ. Когда безусловная законность наслѣдственнаго права подверглась разбору и отрицанію (также вслѣдствіе жизненнаго, а не наукобразнаго процесса), неминуемо тому же отрицанію долженъ былъ подвергнуться и бракъ. Наука воображала, что дѣйствуетъ свободно, между тѣмъ какъ принимала опредѣленіе, данное предшествовавшею жизнію, и смѣшивала понятія, совершенно противоположныя другъ другу.

Точно тоже можно бы было прослѣдить и во Французскихъ ученикахъ соціалистической школы и въ Нѣмецкихъ перродкахъ школы художественно-философской, когда они толкуютъ о возстановленіи правъ тѣла человѣческаго, аки бы подавленнаго притязаніями духа. При всемъ безсиліи ихъ разсужденій, при всей ихъ логической ничтожности, они представляютъ также фактъ весьма важный, именно стремленіе освятить приговоромъ науки приговоръ, давно уже сдѣланный жизнію. Въ самой идеѣ коммунизма проявляется односторонность, которая лежитъ не столько въ разумѣ мыслителей, сколько въ односторонности понятій, завѣщанныхъ прежнею исторіею Западныхъ народовъ. Наука старается только дать отвѣтъ на вопросъ, заданный жизнію, и отвѣтъ выходитъ односторонній и неудовлетворительный, потому что одно-

сторонность лежала уже въ вопросѣ, заданномъ тому 13 вѣковъ назадъ Германскою дружиною, завоевавшею Римскій міръ. Мыслители Западные вертятся въ безысходномъ кругѣ, потому только, что идея общины имъ недоступна. Они не могутъ идти никакъ дальше ассоціаціи (дружины). Таковъ окончательный результатъ, болѣе или менѣе высказанный ими, и можетъ быть всѣхъ яснѣе выраженный Англійскимъ писателемъ, который называетъ теперешнее общественное состояніе стадообразіемъ (gregariousness) и смотритъ на дружину (association) какъ на золотую, лучшую и едва достижимую цѣль человѣчества. Наконецъ, въ той наукѣ, которая наименѣе (разумѣется кромѣ точныхъ наукъ) зависитъ отъ жизни, въ томъ народѣ, который наименѣе имѣетъ дѣло съ знанію, — въ философіи и въ Нѣмцѣ - философѣ любопытно прослѣдить явленіе жизненной привычки. Гегель въ своей геніальной Феноменологіи дошелъ до крайняго предѣла, котораго могла только достигнуть философія по избранному ею пути: онъ достигъ до ея самоуничтоженія. Выводъ былъ простъ и ясенъ, заслуга безсмертна. И за всѣмъ тѣмъ его строгій логическій умъ не понялъ своего собственнаго вывода. Быть безъ философіи! отказаться отъ завѣта столькихъ вѣковъ! оставить свою, т. е. ново-Нѣмецкую жизнь безъ всякаго содержанія! Это было невозможностью. Гегель въ невольномъ самообманѣ создалъ колоссальный призракъ своей Логики, свидѣтельствуя о великости своего генія—великости своей ошибки.

Таковы отношенія жизни къ наукѣ, таковы они въ добрѣ и злѣ. Нинона, завѣщающая библіотеку Вольтеру, представляетъ эти отношенія въ довольно ясномъ символѣ; но это непонятно для общества, отрѣшившагося отъ жизни.

Достояніе такого общества есть тѣсная разсудочность, мертвая и мертвящая. Она — необходимое послѣдствіе сильныхъ и коренныхъ реформъ или революцій, особенно такихъ реформъ, которыя совершены быстро и насильственно. Такова причина, почему на Западѣ она составляетъ въ наше время отличительную характеристику Франціи, утратившей болѣе другихъ народовъ жизненное историческое свое начало. Нѣтъ сомнѣнія, что какая-то мелкость и скудость ду-

ховной жизни была издавна принадлежностію этой земли, не имѣвшей никогда ни истиннаго художества (кромѣ зодчества среднихъ вѣковъ), ни истинной поэзіи; но она очевидно еще болѣе обнищала, оторвавшись отъ прошедшаго въ кровавомъ переворотѣ, окончившемъ прошлое столѣтіе. Быть можетъ, со временемъ пробьется новая жизнь во Франціи изъ такихъ началъ, которыя до сихъ поръ не являлись на поприще историческое и будутъ вызваны новымъ ходомъ всего обще-человѣческаго просвѣщенія; но очевидно, что послѣ кроваваго переворота, положившаго конецъ прежней Французской монархіи, Франція еще не проявила въ себѣ тѣхъ жизненныхъ силъ, которыя могли бы создать въ общественныхъ учрежденіяхъ, въ искусствахъ или въ наукахъ, новыя и самобытныя формы для духовной дѣятельности человѣческой. Революція была не что иное, какъ голое отрицаніе, дающее отрицательную свободу, но не вносящее никакого новаго содержанія, и Франція нашего времени живетъ займами изъ богатствъ чужой мысли (Англійской или Нѣмецкой), искажая чужія системы ложнымъ пониманіемъ, обобщая частное въ своихъ поверхностныхъ и ложныхъ приложеніяхъ, размельчая и дробя все цѣльное и живое и подводя все великое подъ мелкій уровень разсудочнаго формализма. Примѣръ тому я уже показалъ въ искаженіи суда присяжныхъ, который Франція приняла не понявъ и перевела изъ области живыхъ и нравственныхъ учрежденій въ сухую и мертвую коллегіальность. Послѣдствія этой перемѣны извѣстны всѣмъ, кому сколько нибудь знакома юридическая исторія Англіи и Франціи; но причина и характеръ самой перемѣны не были до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, замѣчены. Въ этомъ состояніи просвѣщенія и общества во Франціи можно найти причину того особеннаго сочувствія, которое наше просвѣщеніе, не смотря на свой эклектизмъ, оказываетъ къ ней. Отсутствіе жизни составляетъ связь, соединяющую ихъ. За всѣмъ тѣмъ должно признать превосходство Французскаго просвѣщенія передъ нашимъ. Во-первыхъ, оно не совсѣмъ разорвало связь съ прошедшимъ; во-вторыхъ, оно имѣетъ гораздо болѣе характеръ явленія всенароднаго и слѣдовательно не

сопровождается внутреннимъ раздоромъ, убивающимъ всякую возможность плодотворной дѣятельности. Честь полной безжизненности остается за нами.

То внутреннее сознаніе, которое гораздо шире логическаго и которое составляетъ личность всякаго человѣка такъ же, какъ и всякаго народа, — утрачено нами. Но и тѣсное логическое сознаніе о нашей народной жизни недоступно намъ по многимъ причинамъ: по нашему гордому презрѣнію къ этой жизни, по неспособности чисто-разсудочной образованности понимать живыя явленія и даже по отсутствію данныхъ, которыя могли бы быть подвергнуты аналитическому разложенію. Не говорю, чтобы этихъ данныхъ не было, но они всѣ таковы, что не могутъ быть поняты умомъ, воспитаннымъ иноземною мыслію и закованнымъ въ иноземныя системы, не имѣющія ничего общаго съ началами нашей древней духовной жизни и нашего древняго просвѣщенія.

Нетрудно бы найти множество примѣровъ этой непонятливости; но я тебѣ упомяну только объ одномъ, особенно разительномъ и важномъ. Въ недавнемъ времени хозяйственное зло черезполосности вызвало мѣры къ его уничтоженію. Мѣры эти состояли только въ назначеніи сроковъ и въ выборѣ посредниковъ. За тѣмъ, все остальное предоставлено разуму, а отчасти и неразумію, самихъ владѣльцевъ: ничего принудительнаго, ничего стѣсняющаго, ничего формальнаго. Всякій размѣнъ позволенъ, всякое печатное толкованіе о дѣлѣ размежеванія допущено; сроки довольно длинные, посредники совершенно безъ власти; весь вопросъ и его разрѣшеніе отданы общему смыслу. Ты знаешь, точно такъ же какъ я, каковы были толки нашего просвѣщеннаго общества и какая полная была увѣренность въ неудачѣ. «Сроки? ими никто не воспользуется. Размѣны? ихъ никто дѣлать не будетъ, всякій заупрямится. Увѣщанія? да, уломаешь оброчнаго крестьянина или мелкаго помѣщика! Посредникъ? какъ же! послушаются его, когда онъ не имѣетъ никакой власти! Посредникъ просто смѣшное лицо. Едва ли составится хоть одна полюбовная сказка: вѣдь для сказки нужно общее согласіе, а возможное-ли дѣло общее

согласіе? Добро бы еще большинство! Безъ принужденія — просто ничего не будетъ». Таковы были толки нашего просвѣщенія, а каковъ былъ результатъ, ты самъ знаешь. Смѣло можно сказать, что онъ вполнѣ оправдалъ избранный путь и что успѣхъ превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія даже тѣхъ людей, которые знаютъ разумъ Русской жизни и вѣрятъ въ него. Нѣтъ сомнѣнія, что успѣхъ былъ бы еще полнѣе, если бы не встрѣтилось чисто вещественное затрудненіе въ недостаточномъ числѣ землемѣровъ и въ недостаткѣ прежнихъ плановъ, которые или утрачены или зарыты въ грудахъ другихъ бумагъ. Но каковъ онъ есть, онъ уже представляетъ одно изъ важнѣйшихъ явленій въ нашемъ хозяйственномъ бытѣ и одно изъ важнѣйшихъ явленій нашего нравственнаго быта. Побѣждены были такія затрудненія, которыхъ, казалось, и устранить нельзя. Положены были сказки съ общаго согласія, и размежеваны дачи, въ которыхъ было около ста дачниковъ; переселены цѣлыя деревни; придуманы самыя неожиданныя сдѣлки, и значительныя (хотя дѣйствительно временныя) денежныя пожертвованія сдѣланы владѣльцами - помѣщиками, едва ли еще не чаще крестьянами. Но важнѣе денежныхъ пожертвованій было то, что во многихъ и многихъ случаяхъ самолюбіе и привычки были принесены въ жертву общей пользѣ. Въ иныхъ мѣстахъ за основаніе раздѣла принято владѣніе, въ другихъ крѣпости, въ другихъ показанія стариковъ и память о старинѣ. Но вездѣ сохранена справедливость, не только та мертвая справедливость, которую оправдываетъ законникъ-формалистъ, но та живая правда, съ которою согласуется и которой покоряется человѣческая совѣсть. И замѣть, что успѣхи пошли гораздо быстрѣе съ назначенія посредника, этого безвластнаго и, по прежнему мнѣнію, ничтожнаго лица. Я называю такое явленіе однимъ изъ самыхъ утѣшительныхъ и поучительныхъ въ нашемъ нравственномъ бытѣ. Просвѣщеніе наше, если бы хотѣло что-нибудь узнать, узнало бы по немъ много: оно могло бы понять сколько-нибудь Русскій духъ и его покорность передъ нравственными началами. Назначеніе посредника и его успѣхъ есть только повтореніе многихъ исконныхъ фактовъ Русской юри-

дической жизни. Самое безвластіе посредника заключаетъ въ себѣ великую власть; оно оставляетъ при немъ одно только значеніе безстрастной справедливости и примиряющаго доброжелательства. Просвѣщенная критика должна бы узнать въ посредникахъ и успѣхѣ ихъ дѣйствія—тѣже самыя чувства и тѣже начала, которыя въ старину создали судъ третями, т. е. лицами, представляющими истца и отвѣтчика, но истца и отвѣтчика, отрѣшенныхъ отъ слѣпоты своекорыстныхъ страстей, — и судъ поротниками или цѣловальниками или присяжными, перешедшій въ Англію и сохранившійся въ Англійскомъ судѣ присяжныхъ. Вездѣ проявляется таже высоконравственная покорность передъ безстрастнымъ разумомъ, таже прекрасная вѣра въ совѣсть и въ достоинство человѣческое. Трудно, и едва ли возможно найти, начало болѣе благородное и плодотворное. Въ немъ наука могла бы и должна узнать завѣтъ глубокой древности и общества, связаннаго еще узами истиннаго братства, а не условнаго договора; въ немъ же могла бы она узнать и различіе двухъ понятій о законности формальной и о законности духовной или истинной. Такія познанія необходимы не только для современной нашей жизни, но и для уразумѣнія нашей жизни прошедшей или великихъ фактовъ нашей исторіи. Имъ только могла бы уясниться вся бурная эпоха, раздѣляющая кончину послѣдняго изъ преемниковъ Рюрика и перваго изъ царственнаго рода Романовыхъ.

Недавно, въ одномъ изъ нашихъ журналовъ, была напечатана критика на Пушкинскаго Годунова и на ложныя понятія объ исторіи Годунова, переданныя Карамзинымъ Пушкину. Можно согласиться со многими положеніями и догадками критика, оставляя въ сторонѣ его промахи по части художественной (напр. смѣшное названіе мелодраматическаго героя, данное Пушкинскому Годунову, въ которомъ очевидно преобладаетъ эпическое начало); можно согласиться, что въ Годуновѣ не было собственно такъ называемой геніальности, и что если бы онъ былъ одаренъ большею силою духа и съумѣлъ увлечь Россію въ новые пути дѣятельности и жизни, не та бы была судьба его самого и его несчастныхъ дѣтей. Это замѣчаніе не безъ достоинства, но оно далеко не исчерпываетъ предмета. Нѣтъ народа, кото-

рый бы требовалъ постоянной геніальности въ своихъ правителяхъ; и въ сынѣ Ѳеодора Никитича Романова, умирителѣ треволненной Россіи, незабвенномъ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ, возведенномъ на престолъ путемъ избранія, такъ же какъ Годуновъ, трудно найти признаки геніальности, въ которой отказываютъ царю Борису. Разница между отношеніями народа къ первому и ко второму избраннику (ибо Шуйскаго, какъ незаконно избраннаго, должно исключить) происходила отъ чисто-нравственныхъ началъ, понятныхъ только въ нашей исторіи и совершенно чуждыхъ Западному міру. Это была разница между законностью формальною и законностью истинною. Россія видѣла въ Годуновѣ человѣка, который втерся въ ея выборъ, отстранивъ всякую возможность другого выбора: тутъ была законность внѣшняя — призракъ законности. Въ Михаилѣ видѣла она человѣка, котораго избрала сама, съ полнымъ сознаніемъ и волею, и которому добродушно и разумно повѣрила судьбу свою, такъ же какъ тѣмъ самымъ избраніемъ повѣрила судьбу своего потомства — его роду: тутъ была законность внутренняя и истинная. Это чувство отражается безсознательно и въ Карамзинѣ, и въ отзывахъ его о Годуновѣ. Въ немъ безпрестанно невольно выражается какое-то негодованіе на плутню Годунова, если можно употребить такое выраженіе о такомъ великомъ историческомъ происшествіи. И выраженія этого негодованія были даже часто предметомъ критики, повидимому справедливой; но и тутъ, какъ и вездѣ, Карамзинъ-историкъ, художникъ, сохраняетъ свое достоинство. Въ немъ Россія выражается безсознательно: и онъ, какъ самый народъ, хотѣлъ бы, да не можетъ, любить Годунова; и онъ, какъ народъ, искалъ и не находилъ законности истинной въ формальномъ призракѣ законности. Это чувство принадлежитъ собственно Россіи, какъ общинѣ живой и органической; оно не принадлежитъ и не могло принадлежать условнымъ и случайнымъ обществамъ Запада, лежащимъ на беззаконной основѣ завоеванія.

Въ этомъ отношеніи можно бы исключить Англію изъ остального Запада, но это исключеніе было бы понятно только при исторіи Англіи, взятой съ совершенно новой

точки зрѣнія. Я прибавлю только, что въ сравненіи съ другими землями Европы, Англія есть по преимуществу земля живая. Когда я сказалъ въ моей статьѣ, что она сильна не учрежденіями своими, но не смотря на учрежденія свои,—я подвергся нападеніемъ моихъ читателей. Д'Израэли, котораго я тогда еще не читалъ, сказалъ точно тоже и еще сильнѣе: «English manners save England from English laws». И Англичане поняли всю справедливость этихъ словъ. Но такое воззрѣніе не можетъ быть доступнымъ нашему просвѣщенію. Его односторонней разсудочности доступенъ только формализмъ во всѣхъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, будь это въ наукѣ, или обществѣ, или художествѣ.

При разрывѣ между самобытною нашею жизнію и привозною наукою, эти два начала, какъ я сказалъ, не могли оставаться совершенно чуждыми другъ другу: между ними происходила постоянная борьба. Жизнь сопротивлялась вліянію иноземнаго или, такъ сказать, колоніальнаго начала, только своею неподвижностію; прямого же вліянія на него не имѣла, развѣ только тѣмъ, что мѣшала ему тѣснѣе сродниться и слиться окончательно съ какою нибудь изъ Западныхъ народностей. Просвѣщеніе же дѣйствовало постоянно, признавая жизнь или, лучше сказать, составъ народный за грубый матеріалъ, подлежащій обработкѣ для того, чтобы вышло изъ него что-нибудь дѣльное и разумное. Оно дѣйствительно не признавало Россіи существующею, а только имѣющею существовать. Вся эта громада, которая уже такъ много имѣла и будетъ всегда такъ много имѣть вліянія на судьбу человѣчества, являлась ему какимъ-то случайнымъ скопленіемъ человѣческихъ единицъ, связанныхъ или сбитыхъ въ одно цѣлое внѣшними и случайными дѣйствователями; жизни же внутренней и сильной, разумной и духовной, создавшей ее, оно какъ будто бы и не предполагало; а когда и предполагало, то принимало за какое-то хаотическое броженіе, которому изрекало приговоръ въ словѣ презрѣнія или насмѣшки. Разумѣется, эти понятія, эти приговоры никогда не облекались въ опредѣленный образъ и, такъ сказать, въ формальныя рѣшенія. Ихъ должно искать въ общемъ ходѣ образованности и въ каждой ея подробности. Случайно и безсознательно

вырвавшіяся слова часто яснѣе выказываютъ мысль, чѣмъ обдуманный и обсужденный приговоръ; въ нихъ всегда менѣе лицемѣрія, болѣе искренняго чувства, и часто болѣе общаго мнѣнія, чѣмъ личнаго. А такими словами наполнена вся наша словесность отъ Земледѣльческой Газеты, которая частехонько представляетъ Русскаго крестьянина какимъ-то безсмысленнымъ и почти безсловеснымъ животнымъ, до изящнѣйшихъ выраженій нашего общества, которое великодушно допускаетъ въ Русскомъ человѣкѣ умъ, понятливость, смышленность и нѣкоторое добродушіе, впрочемъ безъ всякихъ убѣжденій и разумныхъ началъ, т. е. порядочные матеріалы для будущаго человѣка, а все-таки еще не человѣка. Такими же словами богатъ нашъ общественный разговоръ, отъ бесѣды мелкаго чиновника, питающаго глубочайшее презрѣніе къ бородачу, до тѣхъ недосягаемыхъ круговъ и салоновъ, въ которыхъ патріотическая любовь снисходительно собирается приготовить для души того же бородача духовное и умственное содержаніе, котораго она еще до сихъ поръ лишена, а для его жизни вещественное благополучіе по новѣйшимъ иностраннымъ образцамъ. Это не частныя ошибки, это мнѣніе общее, болѣе или менѣе ясно выговаривающееся; но если бы принимать это и за частныя ошибки, то должно помнить, что есть заблужденія частныя, которыя возможны только при извѣстномъ заблужденіи общества. Таковъ, напр., презрительный отзывъ одного изъ нашихъ журналовъ о Русской сказкѣ и пѣснѣ; въ немъ утверждали, что Пушкинъ въ своей балладѣ и въ сказочныхъ отрывкахъ исчерпалъ все богатство нашей народной поэзіи, а Лермонтовъ, въ прекрасной сказкѣ объ опричникѣ и купеческомъ сынѣ, далеко перешелъ за ея предѣлы, между тѣмъ какъ ни тотъ, ни другой, кажется, даже не поняли вполнѣ ни ея неисчерпаемыхъ богатствъ, ни даже ея неподражаемаго языка. Дѣйствительно, ея почти безконечная область обозначается съ одной стороны чудными стихами:

„Высота ль, высота ль поднебесная;
Глубота ль, глубота ль Окіанъ-море;
Широко раздолье по всей землѣ!“

стихами, полными несокрушимой силы, въ которые облеклась душа великаго народа, призваннаго на безпримѣрныя судьбы,—а съ другой стихами:

„Высота ль, высота ль потолочная",

въ которыхъ таже сила вспоминаетъ съ добродушною ироніею о своемъ прежнемъ молодомъ разгулѣ, не скорбя: потому что чувствуетъ себя цѣлою и несокрушимою и знаетъ, что она только призвана ходомъ историческихъ судебъ на другое, болѣе смиренное поприще.

Ты скажешь, что ошибка критика зависѣла отъ его личной ограниченности или безвкусія; что онъ могъ, какъ лицо, не понять всего величія нашего пѣсеннаго міра, въ которомъ отражается и величіе Русскаго народа, и смиренное добродушіе Русскаго человѣка, и вся внутренняя жизнь того мірового явленія, которое мы называемъ Россіей; что онъ могъ не понять Ильи Муромца, идеала гигантской силы, всегда покорной разуму и нравственному закону, идеала, конечно, неполнаго, но которому ни одна народная поэзія не представляетъ ровнаго; точно такъ же какъ онъ не понялъ словъ сказки объ Алешѣ Поповичѣ, притворившемся калѣкою «еле живъ идетъ» и принялъ за выраженіе трусости — живой оборотъ, который былъ бы понятенъ крестьянскому десятилѣтнему мальчику. Ты скажешь, что всего этого могъ онъ не понять по личной своей недогадливости и что общее мнѣніе не должно отвѣчать за ошибки журнальнаго критика. Мнѣ до лица дѣла нѣтъ; но я думаю, ты согласишься, любезный другъ, что такого рода ошибки объ Англійскихъ или Нѣмецкихъ пѣсняхъ были бы невозможны въ Германіи и въ Англіи; что тамъ никто бы не осмѣлился отозваться такимъ образомъ о балладахъ Чеви-Чесъ (Chevy-Chaze) или сраженіи при Оттербурнѣ (Otterburne-battle) или о Нибелунгахъ и сказкахъ о Дитрихѣ Бернскомъ, не смотря на то, что они далеко уступаютъ нашей Русской сказкѣ и пѣснѣ; ты признаешься, что есть какое-то глубокое почтеніе или, лучше сказать, благоговѣніе передъ голосомъ народной старины, которое въ Англіи и Германіи обязательно для всякого писателя и охраняетъ его отъ его собственной ограниченности. И вотъ почему такія ошибки

или, лучше сказать, возможность такихъ ошибокъ представляетъ явную улику противъ нашего просвѣщенія. Впрочемъ, не для чего доказывать слишкомъ явную истину.

Естественнымъ и необходимымъ послѣдствіемъ такихъ понятій и такого презрѣнія къ жизни было то, что наука и общество могли, безъ всякихъ упрековъ совѣсти, безъ всякаго внутренняго сомнѣнія, безпрестанно стремиться къ ея преобразованію. Попытки казались безопасными, потому что хаоса не испортишь, а стремленіе было благодѣтельно, ибо все наше просвѣщеніе отправлялось отъ глубокаго убѣжденія въ своемъ превосходствѣ и въ нравственной ничтожности той человѣческой массы, на которую оно хотѣло дѣйствовать. Высокія явленія ея нравственной жизни были почти неизвѣстны и нисколько не оцѣнены. Всякій членъ общества думалъ также, какъ изящный повѣствователь нашего времени, что любая дѣвочка изъ любаго общественнаго заведенія можетъ и должна произвести духовный переворотъ во всякой общинѣ Русскихъ дикарей. Никому и въ голову не приходило, что изъ этихъ общинъ чуть-чуть не Австралійцевъ, еще не слыхавшихъ о христіанскомъ законѣ, выходили и выходятъ безпрестанно Паисіи, Серафимы и множество другихъ духовныхъ дѣлателей, которыхъ нравственная высота должна изумлять даже тѣхъ, кто не сочувствуетъ ихъ стремленіямъ; что изъ этихъ общинъ льются потоки благодѣяній, что изъ нихъ являются безпрестанно высокіе примѣры самопожертвованія, что въ тяжелыя годины военнаго испытанія онѣ спасали Россію не только своимъ мужествомъ, но и разумнымъ согласіемъ, а въ мирныя времена отличаются вездѣ, гдѣ еще неиспорчены, неподражаемою мудростью и глубокимъ смысломъ своихъ внутреннихъ учрежденій и обычаевъ. Этому можно бы научиться изъ исторіи, изъ наблюденія даже поверхностнаго, или хоть изъ Нѣмца Блазіуса; но надобно хотѣть учиться.

До сихъ поръ всѣ попытки, сдѣланныя просвѣщеніемъ для преобразованія жизни, остались безуспѣшными. Хорошо бы было, если бы можно было сказать и безвредными; но этого сказать нельзя. Эти неудачи и частный вредъ, сопровождавшій ихъ, можно было предвидѣть. Упорство жизни проистекало отъ разумнаго, хотя и несознаннаго источника.

Она не могла отдать себѣ отчета въ своемъ чувствѣ, но чувствовала въ образованности нашей и въ соприкосновеніи съ нею что-то холодное и мертвенькое, а отвращеніе всего живого къ мертвому есть законъ природы вещественной и умственной.

Мнимая дѣятельность или мнимая движимость этой образованности не была не только тѣмъ благороднымъ и могучимъ стремленіемъ, въ которомъ проявляется энергія духа, познавшаго свое величіе и порывающагося (иногда даже ошибочными путями) къ предназначенной ему цѣли, но она не была даже тѣмъ бодрымъ и самобытнымъ движеніемъ, которымъ всякое Божіе созданіе выражаетъ свою внутреннюю, жизненную силу; нѣтъ: она въ областяхъ умственнаго міра была тѣмъ невольнымъ движеніемъ, тою сыпучестью, которая сообщается вѣтромъ водѣ или степному песку; а вѣтромъ было для нея дуновеніе Западной мысли. Наше просвѣщеніе мечтало о воспитаніи другихъ тогда, когда оно само, лишенное всякаго внутренняго убѣжденія, мѣняло и мѣняетъ безпрестанно свое собственное воспитаніе, и когда едва ли не всякое десятилѣтіе могло бы благодарить Бога, что десятилѣтію протекшему не удалось никого воспитать. Такъ люди, которымъ теперь лѣтъ около пятидесяти и которые по впечатлѣніямъ, принятымъ въ молодости, принадлежатъ къ школѣ Нѣмецко-мистическихъ гуманистовъ, смотрятъ съ улыбкою презрѣнія на уцѣлѣвшихъ семидесяти - лѣтниковъ энциклопедической школы, которой жалкіе остатки встрѣчаются еще неожиданно не только въ глуши деревень, но и въ лучшихъ обществахъ, какъ гніющіе памятники недавней старины. Такъ тридцатилѣтніе соціалисты... Впрочемъ продолжать нечего: общество само себя можетъ исповѣдывать. Грустно только видѣть, что эта шаткость и это безсиліе убѣжденій сопровождаются величайшею самоувѣренностью, которая всегда готова брать на себя изготовленіе умственной пищи для народа. Это жалко и смѣшно, да къ счастію оно же и мертво и потому самому не прививается къ жизни. За всѣмъ тѣмъ не все проходитъ безъ вреда, кое-что и остается. Кое-гдѣ вѣтеръ нагонитъ воду или песокъ на какой-нибудь уголокъ доброй земли, когда-то плодо-

родной и богатой собственною растительностью и затопить или засушить его надолго, если не навсегда.

Я сказалъ, что всякая система, какъ и всякое учрежденіе Запада, содержитъ въ себѣ рѣшеніе какого нибудь вопроса, заданнаго жизнію прежнихъ вѣковъ. Перенесеніе этихъ системъ на новую народную почву небезопасно и рѣдко бываетъ безвредно. Тутъ, гдѣ вопросъ еще не возникалъ, онъ непремѣнно возникнетъ, хотя можетъ быть и въ другой формѣ, если только имѣлъ возможность возникнуть при условіяхъ этого общества. Если же общество таково, что вопросъ разумно возникать не могъ (а таково отношеніе почти всѣхъ вопросовъ Запада къ Россіи), въ жизни умственной народа непремѣнно произойдетъ (конечно, кратковременное, но болѣзненное и крайне-безсмысленное) движеніе, подобное тому жизненному разстройству, которымъ сопровождается введеніе началъ неорганическихъ, даже отчасти и безвредныхъ, въ органическое тѣло. Этихъ примѣровъ не мало, и найти ихъ легко; но главный, самый яркій, самый общій во всей нашей наукѣ, образованности и бытѣ—это формализмъ, неизбѣжный, какъ подражаніе чужеземнымъ образцамъ, понятымъ въ видѣ готоваго результата, независимо отъ умственнаго историческаго движенія, которымъ они произведены. Формализмъ имѣетъ и долженъ имѣть постоянное притязаніе замѣнять собою всякую нравственную и духовную силу и находить всякій законъ, всякую охрану и даже всякое начало движенія въ голыхъ и вещественныхъ формулахъ, прилаженныхъ къ вещественнымъ требованіямъ и побужденіямъ человѣческимъ. Жизненную гармонію замѣняетъ онъ, такъ сказать, полицейскою симметріею въ наукѣ, гдѣ онъ болѣе боится заблужденій, чѣмъ ищетъ истины; въ искусствѣ, гдѣ онъ болѣе избѣгаетъ неправильности, почти всегда сопровождающей всякое геніальное явленіе, чѣмъ стремится къ красотѣ или къ облеченію внутренней красоты духовной въ формы, ею созданныя и ей соотвѣтствующія; въ бытѣ, гдѣ онъ вытѣсняетъ и замѣняетъ всякое теплое и свободное изліяніе души холоднымъ и мертвымъ призракомъ благочинія. Таковъ характеръ формализма; таковъ онъ былъ въ схоластической философіи, оставившей слѣды свои въ новѣй-

шей Германской философіи, которую, за всѣмъ тѣмъ, можно считать однимъ изъ величайшихъ явленій человѣческаго мышленія; таковъ онъ былъ въ такъ называемой классической литературѣ XVIII вѣка; таковъ въ пластическихъ художествахъ школъ, славившихся еще недавно; таковъ въ обществахъ, сохраняющихъ слишкомъ строго формы, отъ которыхъ уже отлетѣлъ духъ, ихъ создавшій (какъ, напр., въ Китаѣ и въ позднѣйшей Византіи), или въ обществахъ, не сознавшихъ своихъ собственныхъ духовныхъ началъ и принимающихъ извнѣ формы, созданныя другими началами. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи современная Франція представляетъ намъ поучительный примѣръ. Лишенная собственной жизненной силы, или еще не познавъ ея, она переноситъ къ себѣ со всевозможнымъ усердіемъ Англійскія учрежденія, прилаживая ихъ къ себѣ, т. е. искажая ихъ съ самою наивною увѣренностію и перенося къ себѣ призракъ жизни, которой у нея нѣтъ. За то при этомъ перенесеніи исчезаетъ весь смыслъ образца, и вся его простота замѣняется безтолковою многосложностію. Газеты представляли недавно яркое доказательство тому въ исчисленіи чиновниковъ Англійскихъ и Французскихъ.

Кстати объ этомъ предметѣ. Любезный другъ, я желалъ бы, чтобы наши читатели и литераторы поняли нѣсколько поснѣе смыслъ явленія, весьма замѣчательнаго въ нашей современной словесности, такого явленія, на которое уже наши журналы обратили свое поверхностное наблюденіе, говоря то *за*, то *противъ* него. Это явленіе есть довольно постоянное нападеніе на чиновника и насмѣшка надъ нимъ. Едва ли не Гоголь подалъ этотъ соблазнительный примѣръ, за которымъ всѣ послѣдовали со всевозможнымъ усердіемъ. Эта ревность подражанія доказываетъ разумность перваго нападенія, а пошлость подражанія доказываетъ, что смыслъ нападенія непонятъ. Для того, чтобы оцѣнить это явленіе, надобно сперва понять — что̀ такое чиновникъ. Въ обществѣ, разумѣется, я бы повторилъ забавное опредѣленіе, сдѣланное человѣкомъ, весьма заслуженнымъ и почтенныхъ лѣтъ. На вопросъ «что̀ такое чиновникъ?» онъ отвѣчалъ, смѣючись: «для васъ, неслужащей молодежи, чиновникъ — всякій тотъ,

кто служитъ (разумѣется въ гражданской службѣ), а для меня служащаго—тотъ, кто ниже меня чиномъ». Но въ дѣльной бесѣдѣ съ тобою я поищу начала для опредѣленія, кототорое бы было построже и полнѣе. Во-первыхъ, это слово въ своемъ литературномъ значеніи принадлежитъ болѣе къ языку общества, чѣмъ къ языку права и закона; во-вторыхъ, ты можешь замѣтить, что оно никогда не относится къ нѣкоторымъ должностямъ, повидимому входящимъ въ тотъ же служебный кругъ, — ни къ посреднику, ни къ предводителю, ни къ городскому головѣ, ни къ попечителю училищъ, ни къ профессору, ни къ совѣстному судьѣ; что оно вообще болѣе относится къ инымъ разрядамъ, чѣмъ къ другимъ, и всегда болѣе къ вещественнымъ формамъ, чѣмъ къ тѣмъ, въ которыхъ выражается умственное или нравственное направленіе. И въ этомъ различіи ты можешь замѣтить какое-то особенное чувство, которымъ опредѣляется слово *чиновникъ*, во сколько могутъ быть опредѣлены слова, получившія свой смыслъ единственно отъ обычая, какъ, напр., хорошій тонъ, комфортъ и т. д. Очевидно, что все это нисколько не касается до службы, необходимаго условія всякой гражданственности истинной или ложной (ибо служба постоянная или повременная есть всегдашняя принадлежность всякаго гражданина и содержитъ въ себѣ освященіе правъ, данныхъ ему обществомъ), но касается только до какого-то особеннаго отношенія особенныхъ лицъ къ народной жизни и къ просвѣщенному обществу. Глядя съ этой точки зрѣнія, можно понять всю нравственную истину Гоголя и всю законность его глубокой, хотя добродушной и безжелчной, ироніи, и всю незаконность и слабость его подражателей. «Чиновникъ», какъ это весьма хорошо понялъ одинъ изъ нашихъ журналовъ, который потомъ какъ будто испугался своей похвальной рѣчи этому осмѣянному лицу, «есть нѣчто посредствующее между просвѣщеніемъ и жизнію, впрочемъ, не принадлежащее ни тому, ни другой». Гоголь художникъ, созданный жизнію, имѣлъ право понять и воплотить мертвенность этого лица въ тѣ неподражаемые образы Дмухановскаго и другихъ, которые, въ его повѣстяхъ или въ комедіяхъ, являются съ такою яркою печатью поэтической истины. Но

это право нисколько не принадлежало его подражателямъ— литераторамъ, созданнымъ или воспитаннымъ чужеземною образованностію. Такова причина, почему и подражанія ихъ, не смотря на талантъ писателей, выходятъ такими блѣдными и безсильными. Мертвенность человѣка, черта разительная и достойная комедіи, даетъ жизни право насмѣшки и осужденія надъ нимъ, но она не даетъ этого права нашему просвѣщенію, которое само въ себѣ собственной жизни еще не имѣетъ. Общество не должно бы смѣяться ни надъ орудіемъ, которое оно само создаетъ, ни надъ путемъ, по которому человѣкъ въ него вступаетъ, ни надъ тѣмъ, такъ сказать, химическимъ процессомъ, посредствомъ котораго лицо, нѣкогда принадлежавшее жизни, перегоняется въ безцвѣтный призракъ просвѣщеннаго человѣка. Впрочемъ, довольно объ этомъ предметѣ, котораго я коснулся мимоходомъ, и обратимся къ формализму. Я сказалъ, что онъ мертвый результатъ подражанія, и прибавлю, что онъ результатъ мертвящій. Отстраняя дѣятельность духовную и самобытность свободной мысли и теплаго чувства, всегда надѣясь найти средства обойтись безъ нихъ и часто обманывая людей своими обѣщаніями, онъ погружаетъ мало-по-малу своихъ суевѣрныхъ поклонниковъ въ тяжелый и безчувственный сонъ, изъ котораго или вовсе не просыпаются, впадая въ совершенное омертвѣніе, или просыпаются горькими, ядовито-насмѣшливыми и въ тоже время самодовольными скептиками, утратившими вѣру въ формулу, такъ же какъ и въ жизнь, въ общество, такъ же какъ въ людей. Имъ остается спасаться только въ гастрономіи (по нашему, обжорствѣ), какъ это весьма справедливо представлено въ героѣ поэмы г. Майкова *(Двѣ Судьбы)*, человѣкѣ, утратившемъ вѣру въ наше формальное просвѣщеніе и не познавшемъ ни просвѣщенія истиннаго, ни народной жизни. Да и трудно, очень трудно вырваться изъ очарованнаго круга, очерченнаго около каждаго личнаго ума историческимъ развитіемъ нашей образованности. Съ дѣтства лепечемъ мы чужестранныя слова и питаемся чужестранною мыслію; съ дѣтства привыкаемъ мы мѣрить все окружающее насъ на мѣрило, которое къ намъ не идетъ, привыкаемъ смѣшивать явленія

самыя противоположныя: общину съ коммуною, наше прежнее боярство съ баронствомъ, религіозность съ вѣрою, семейность свою съ феодальнымъ понятіемъ Англичанина объ домѣ (home) или съ Нѣмецкою кухонно-сантиментальною домашностью (Häuslichkeit), лишаемся живого сочувствія съ жизнію и возможности логическаго пониманія ея. Какіе же намъ остаются пути или средства къ достиженію истины?

За всѣмъ тѣмъ мы можемъ и должны ея достигнуть. Борьба между жизнію и иноземною образованностію началась съ самаго того времени, въ которое встрѣтились въ Россіи эти два противоположныя начала. Она была скрытою причиною и скрытымъ содержаніемъ многихъ явленій нашего историческаго и бытового движенія и нашей литературы; вездѣ она выражалась въ двухъ противоположныхъ стремленіяхъ: къ самобытности съ одной стороны, къ подражательности съ другой. Вообще можно замѣтить, что всѣ лучшіе и сильнѣйшіе умы, всѣ тѣ, которые ощущали въ себѣ живые источники мысли и чувства, принадлежали къ первому стремленію; вся бездарность и безсиліе—ко второму. Первое представляется Ломоносовымъ, не смотря на то, что самъ великій основатель науки въ Россіи отчасти подчинился невольно вліянію иноземному; второе въ Тредьяковскомъ, презрителѣ всего Русскаго, одежды, обычаевъ и языка, которые онъ называлъ мужицкими. Это не система, а фактъ историческій. Правда, что многіе, даже даровитые, даже великіе дѣятели нашей умственной жизни, были, слабостью молодости, соблазномъ жизни общественной и особенно, такъ называемаго, высшаго просвѣщенія, увлечены въ худшее стремленіе; но всѣ отъ него отставали, обращаясь къ высшему, къ болѣе плодотворному началу. Таково было развитіе Карамзина и Пушкина.

Но прежняя борьба была неполная, безсознательная; теперь наступаетъ и наступило время для яснѣйшаго сознанія и для полнаго разрѣшенія давнишняго вопроса. Съ одной стороны, мы овладѣли наукою, т. е. всѣми ея внѣшними результатами, и намъ остается только развить въ самихъ себѣ жизненное начало, дабы и начала науки не оставались мертвыми, какъ до сихъ поръ; съ другой, мы уже начинаемъ сознавать яснѣе безсиліе и

безплодность всякой подражательности, будь она явно рабская, т. е. привязанная къ одной какой-нибудь школѣ, или свободная, т. е. эклектическая. Этому можетъ и долженъ научить насъ опытъ. Наконецъ, внутреннее колебаніе и духовное замираніе Западнаго міра, теряющаго вѣру въ свои прежнія начала и безсильно стремящагося создать новыя по путямъ чисто-аналитическимъ, можетъ и должно служить намъ урокомъ, обличая передъ нами слабость нашихъ прежнихъ образцовъ и ничтожность нашего стремленія. Прежнее стремленіе нашей образованности кончило свой срокъ. Оно было заблужденіемъ невольнымъ, можетъ быть, неизбѣжнымъ нашихъ школьныхъ годовъ. Я не говорю, чтобы не только всѣ, но даже большинство получило уже новыя убѣжденія и сознало бы внутреннюю духовную жизнь Русскаго народа—какъ единственное и плодотворное начало для будущаго просвѣщенія; но можно утвердительно сказать, что изъ даровитыхъ и просвѣщенныхъ людей не осталось ни одного, кто бы не сомнѣвался въ разумности нашихъ прежнихъ путей. Остаются только еще привычки,—къ несчастію слишкомъ крѣпкая цѣпь и которая вдругъ порваться не можетъ; остается въ большинствѣ глубокое невѣдѣніе тѣхъ древнихъ, живыхъ и вѣчно-новыхъ началъ, къ которымъ должно возвратиться; остается гордость, которая сознаётъ или, по крайней мѣрѣ, подозрѣваетъ въ себѣ ошибку, да признаться въ ней не хочетъ ни себѣ, ни другимъ; остается, наконецъ, скептицизмъ, тотъ, о которомъ я уже говорилъ, который потерялъ вѣру въ силу формальной науки и не можетъ еще повѣрить плодотворной силѣ жизни. Вотъ препятствія, съ которыми должно бороться и которыя не могутъ долго устоять противъ убѣжденія истиннаго и глубокаго. Ими объясняется упорство, съ которымъ многіе добросовѣстные и далеко небездарные люди отстаиваютъ прежнее направленіе нашей образованности. Иные изъ нихъ выставляютъ съ гордымъ самодовольствіемъ наши успѣхи въ наукѣ и художествахъ; но добросовѣстная оцѣнка всего, что мы сдѣлали по этимъ частямъ, не должна бы намъ внушать другаго чувства, кромѣ смиренія, а разумная критика легко можетъ показать, что задатки, данные искусству неученою Русью, далеко еще

не оправданы ученою Россіею. Другіе хвалятся историческимъ развитіемъ нашимъ; но отвѣтъ старика сынку въ разговорѣ о Суворовѣ можетъ быть легко приложенъ ко всему остальному и во всѣхъ случаяхъ будетъ равно вѣренъ. Другіе еще извиняютъ насъ нашею будто весьма недавней образованностью, но полтораста лѣтъ могли бы и должны бы (если бы направленіе взятое было неложно) довести наше просвѣщеніе до высокихъ результатовъ, или по крайней мѣрѣ вызвать зародыши великаго развитія въ будущемъ; а мы, кажется, этимъ похвастаться не можемъ. Наконецъ, нашлись и такіе люди, которые рѣшились безъ дальнихъ умозрѣній назвать всѣхъ своихъ противниковъ грязными варварами, спрятаться за одно великое имя Петра. Это умно, благородно, учено, доказываетъ одинаковое уваженіе къ наукѣ и ея правамъ на анализъ, къ исторіи и ея постоянному развитію, къ человѣческой мысли и ея праву на самобытность. Эти люди могутъ оставаться безъ возраженія и безъ отвѣта,—они сами себѣ улика.

Всѣ такія явленія неизбѣжны, но всѣ они по внутренней своей слабости доказываютъ, что эпоха перерожденія въ нашемъ просвѣщеніи наступила. Еще важнѣе явленія, доказывающія, что мы начали понимать не только темнымъ инстинктомъ, но истиннымъ и наукообразнымъ разумѣніемъ, всю шаткость и безплодность духовнаго міра на Западѣ. Очевидно, что онъ самъ сомнѣвается въ себѣ и ищетъ новыхъ началъ, утративъ вѣру въ прежнія, и только утѣшаетъ себя тѣмъ, что называетъ нашу эпоху—эпохою перехода, не понимая, что это самое названіе доказываетъ уже отсутствіе убѣжденій: ибо тамъ, гдѣ есть убѣжденіе и вѣра, тамъ есть уже радостныя чувства жизни, узнавшей новыя цѣли, а не горькое чувство перехода неизвѣстнаго. Но намъ предоставлено было возвести инстинктивныя сомнѣнія Западнаго міра въ наукообразныя отрицанія,—и этотъ подвигъ должно считать лучшею заслугою нашей современной науки, заслугою, которую наше образованное общество начало уже оцѣнять, хотя конечно оцѣнило не вполнѣ. Такъ, напримѣръ, прекрасныя и глубокомысленныя статьи Ивана Васильевича Киреевскаго:

о современномъ состояніи Европейскаго просвѣщенія*), статьи, въ которыхъ строгая логика согрѣта теплымъ чувствомъ всеобщей любви и которымъ, конечно, современная журналистика Европы не можетъ представить ничего равнаго, пробудили многія новыя мысли во многихъ и были радушно привѣтствованы всѣми. Со временемъ эти статьи будутъ поняты еще полнѣе; выводы, въ нихъ заключенные, получатъ по большей части значеніе несомнѣнныхъ истинъ. Но, разумѣется, анализъ на этомъ остановиться не можетъ: онъ пойдетъ далѣе и покажетъ, что современная шаткость духовнаго міра на Западѣ — не случайное и преходящее явленіе, но необходимое послѣдствіе внутренняго раздора, лежащаго въ основѣ мысли и въ составѣ обществъ; онъ покажетъ, что начало той мертвенности, которая выражается въ XIX вѣкѣ, заключалось уже въ составѣ Германскихъ завоевательныхъ дружинъ и Римскаго завоеваннаго міра съ одной стороны и въ односторонности Римско-Протестантскаго ученія съ другой: ибо законъ развитія общественнаго лежитъ въ его первоначальныхъ зародышахъ, а законъ развитія умственнаго—въ вѣрѣ народной, т. е. въ высшей нормѣ его духовныхъ понятій. Этой истины доказывать не нужно; ибо тотъ, кто не понимаетъ, что иное должно было быть развитіе просвѣщенія при соборныхъ ученіяхъ, а иное было бы подъ вліяніемъ Аріанства или Несторіанства, тотъ не дошелъ еще до исторической азбуки. Примѣромъ же можно бы представить въ самомъ Западномъ мірѣ Англію, которой современная жизненность и исключительное значеніе объясняются только тѣмъ, что она (т. е. Англо-Саксонская Англія) никогда не была вполнѣ завоевана, никогда не была вполнѣ Римскою и никогда вполнѣ Протестантскою. При этомъ будущемъ успѣхѣ анализа и, безъ сомнѣнія, съ нимъ вмѣстѣ, разовьется синтезъ науки и жизни, успокоенной и оправданной разумнымъ сознаніемъ: ибо стремленіе, отрицающее подражательность нашей образованности, не есть стремленіе къ мертвому и темному невѣжеству, но къ наукѣ живой, къ внутреннему освобожденію

*) См. статьи И. В. Киреевскаго въ Москвитянинѣ 1845 года и въ первомъ томѣ его „Сочиненій". Изд.

ея отъ ложныхъ системъ и ложныхъ данныхъ и къ соединенію ея съ жизнію, т. е. къ созданію просвѣщенія.

Конечно, успѣхи будутъ медленны, и только дѣти наши воспользуются трудами нашихъ современниковъ: ибо, не смотря на сомнѣніе многихъ въ разумности прежней нашей образованности, не смотря на выражающуюся жажду и на какія-то предчувствія уже не-эклетическаго Россійскаго, но органическаго Русскаго просвѣщенія, никогда еще, можетъ быть, подражательность и смиреніе передъ Западнымъ міромъ не были такъ сильны или, по крайней мѣрѣ, такъ общи, какъ теперь. Но анализъ началъ свое дѣло, и это дѣло не можетъ оставаться безъ плода. Недавно все наше просвѣщенное общество узнало о химическомъ разложеніи Румфордова супа изъ сухихъ костей, которымъ долго кормили бѣдныхъ и который, не содержа въ себѣ ничего питательнаго, болѣе способенъ ускорить голодную смерть, чѣмъ спасти отъ нея. Конечно, съ этого открытія бѣдные сыты еще не будутъ, но ужъ и того много, что постараются возвратиться къ хлѣбу, бросивъ надежду на супъ изъ сухихъ костей.

О ВОЗМОЖНОСТИ

РУССКОЙ

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ.

О возможности Русской художественной школы [1]).

Въ письмѣ, напечатанномъ мною въ Московскомъ Сборникѣ [2]), я сказалъ, что преобладаніе и одностороннее развитіе разсудка составляютъ характеристику нашего мнимаго просвѣщенія. Никто не опровергалъ этой истины: она такъ очевидна, что ее и оспаривать не возможно. Но съ другой стороны, многіе, допуская ее, не видятъ въ ней бѣды. Иначе и быть не можетъ. Общество, которое лишилось полноты разумнаго развитія, должно было отчасти лишиться способности понимать и цѣнить эту полноту. Оно должно быть склонно презирать утраченное или еще недостигнутое, и утѣшаться скудными пріобрѣтеніями, купленными цѣною великихъ потерь. Это состояніе общества не случайно. Полнота и цѣлость разума во всѣхъ его отправленіяхъ требуютъ полноты въ жизни; и тамъ, гдѣ знаніе оторвалось отъ жизни, гдѣ общество, хранящее это знаніе, оторвалось отъ своей родной основы, тамъ можетъ развиваться и преобладать только разсудокъ,—сила разлагающая, а не живительная, сила скудная, потому что она можетъ пользоваться только данными, получаемыми ею извнѣ, сила одинокая и разъединяющая. Всѣ прочія животворныя способности разума живутъ и крѣпнутъ только въ дружескомъ общеніи мыслящихъ существъ; разсудокъ же въ своихъ низшихъ отправленіяхъ (въ поверхностномъ анализѣ) не требуетъ ни сочувствія, ни общенія, ни братства, и дѣлается единственнымъ представителемъ мыслящей способности въ оскудѣвшей и эгоистической душѣ. Впрочемъ это преобладаніе односторонней разсудочности не есть

---

[1]) Напечатано въ Московскомъ Сборникѣ 1847 г., изданіи В. А. Панова.

[2]) Т. е. въ предыдущей статьѣ „Мнѣніе Русскихъ объ иностранцахъ“.

дѣйствительное укрѣпленіе разсудка. Онъ самъ приходитъ въ упадокъ и лишается высшихъ аналитическихъ способностей, но кажется только преобладающимъ и крѣпнущимъ, потому что всѣ прочія способности подавлены. Я почелъ необходимымъ прибавить это объясненіе для читателей, которые могли полагать (иные дѣйствительно полагали), что я позволилъ себѣ нѣкоторую произвольность въ оцѣнкѣ нашего общественнаго мышленія, и надѣюсь, что они согласятся въ необходимости сдѣланныхъ мною выводовъ.

Очевидно, что такое состояніе мысли не допускаетъ даже и возможности Русской народной школы.

Конечно, найдутся люди (я такихъ и встрѣчалъ и знаю), которые скажутъ: «Почему же школа художествъ должна быть народною? Прекрасное вездѣ прекрасно. Надобно искать художества, а не народности въ художествѣ. Этотъ тѣсный и, такъ сказать, Славянофильскій взглядъ на прекраснѣйшее явленіе духа человѣческаго убиваетъ силы духовныя или увлекаетъ ихъ по ложнымъ, безъисходнымъ путямъ; онъ недостоинъ ни просвѣщеннаго XIX-го вѣка, ни просвѣщенной земли». Такое сужденіе, какъ извѣстно, сопровождается всегда легкимъ пожатіемъ плечъ, знакомъ добродушнаго сожалѣнія объ ограниченности Славянофильской и нѣсколько гордою улыбкою, выраженіемъ внутренняго довольства своимъ собственнымъ просвѣщеніемъ и своею гуманностію. Я согласился бы съ нимъ охотно, если бы меня не останавливали двѣ преграды: факты и ихъ аналогія, разумъ и его законы.

До сихъ поръ, сколько ни было въ мірѣ замѣчательныхъ художественныхъ явленій, всѣ они носили явный отпечатокъ тѣхъ народовъ, въ которыхъ возникли; всѣ они были полны тою жизнію, которая дала имъ начало и содержаніе. Египетъ и Индія, Эллада и Римъ, Италія, Испанія и Голландія, каждая изъ нихъ дали образовательнымъ художествамъ свой особый характеръ. Памятникъ въ глазахъ историка-критика возстановляетъ исторію (разумѣется умственную, а не фактическую) исчезнувшаго народа также ясно, какъ и письменное свидѣтельство. Характеръ торговый, любовь къ роскоши, къ вещественному довольству, къ осязаемой природѣ и, такъ сказать, къ тѣлесности человѣческой сближа-

ють школу Венеціанскую съ Фламандскою, не смотря на различіе племенъ, вѣрованій и государственныхъ формъ, хотя и эти различія также ярко отпечатаны въ Рембрандтѣ и Рубенсѣ съ одной стороны, въ Тиціанѣ или Тинторетѣ съ другой. Римское монашество и ужасъ инквизиціи запечатлѣны въ живописцахъ Испаніи, не смотря на яркое солнце, которое сдѣлало ихъ колористами, и на чистыя начала Христіанства, которымъ они не вполнѣ измѣняли, хотя и давали имъ тѣсное и одностороннее значеніе. Сухое Протестантство, строгая дума, склонность къ анализу и въ тоже время любовь къ явленіямъ земнымъ въ ихъ неблагороднѣйшей формѣ, могутъ быть легко замѣчены въ школѣ Нѣмецкой. Такія же явленія можно замѣтить и во всѣхъ школахъ; такія же явленія и во всѣхъ искусствахъ, будь они искусствами формы, звука или слова. Выводъ одинъ и тотъ же: вездѣ и во всѣ времена искусства были народными. Уже по одной аналогіи нельзя думать, чтобы этотъ законъ измѣнился для Россіи. Я знаю, что намъ, ожидающимъ возврата своенародности, часто ставится въ попрекъ то, что мы ожидаемъ отъ этого возврата много новаго и необычайнаго. Въ силу этого правила скажутъ намъ: «вы должны вполнѣ отвергать аналогію фактовъ или, по крайней мѣрѣ, не основываться на ней». Разумѣется, такое заключеніе было бы ложно: законъ отношеній между началами и ихъ проявленіями останется всегда неизмѣннымъ. Новыя начала мысленныя вызываются къ жизни; изъ нихъ по необходимости должны проистекать новыя явленія, отличныя отъ всего прошедшаго. Это не только не противно аналогіи фактовъ, но могло бы быть доказано эмпирически посредствомъ ея. Впрочемъ въ этомъ случаѣ смыслъ самихъ фактовъ объясняется чистыми законами разума.

Не изъ ума однаго возникаетъ искусство. Оно не есть произведеніе одинокой личности и ея эгоистической разсудочности. Въ немъ сосредоточивается и выражается полнота человѣческой жизни съ ея просвѣщеніемъ, волею и вѣрованіемъ. Художникъ не творитъ собственною своею силою: духовная сила народа творитъ въ художникѣ. Поэтому очевидно, что всякое художество должно быть и не можетъ не быть народнымъ. Оно есть цвѣтъ духа живаго, восходящаго

до сознанія или, какъ я уже сказалъ, — образъ самосознающейся жизни. У насъ, при разрывѣ между жизнію и знаніемъ, оно невозможно. Конечно, повидимому, можно бы обойтись и безъ искусствъ: найдутся многіе, которые или не дорожатъ ими, или не видятъ въ нихъ никакой необходимости, хотя могутъ и умѣютъ ими наслаждаться по своему, какъ хорошимъ столомъ, устрицами и другими отрадами роскошнаго комфорта. Эта черта (довольно общая во Франціи, всегда готовой возводить всякое ремесло до художества, потому что она всегда низводитъ художество до ремесла) не слишкомъ рѣдка и у насъ. Спорить не объ чемъ: всякій воленъ въ своихъ вкусахъ и желаніяхъ. Быть можетъ, жаль бы было лишить всякой художественной будущности народъ, который далъ такіе прекрасные задатки искусству въ звукѣ и словѣ и который даже въ живописи и зодчествѣ давалъ великія обѣщанія, понятныя всякому истинному художнику, изучавшему наши старыя иконы и строенія; но тутъ еще бѣда не велика. Важно то, что народъ, способный къ художествамъ, не можетъ лишиться иначе ихъ развитія, какъ утративъ цѣлость и здравіе своей внутренней жизни. Онъ обреченъ на безсиліе въ наукѣ, такъ же какъ и въ искусствѣ; ибо наука, какъ я уже сказалъ, тѣсно связана съ жизнію. Часто случается слышать и читать высокопарные возгласы о томъ, что наука вездѣ одна, такъ же какъ и истина, и насмѣшки надъ тѣми, которые этого какъ будто не понимаютъ. Прекрасное одно, но выраженіе его различно по условіямъ мѣста и времени; точно тоже должно сказать и о наукѣ въ отношеніи къ истинѣ. Истина есть или должна быть окончательнымъ выводомъ науки; но наука, положительная или историческая, не есть и не можетъ быть самою истиною, а только путемъ къ достиженію ея. Этотъ путь и его направленія зависятъ вполнѣ, такъ же какъ выраженіе красоты, отъ мѣста и времени. «Анализъ и его законы вездѣ одинаковы». Во-первыхъ, приложенія ихъ могутъ быть многоразличны; во-вторыхъ, анализъ существовать не можетъ безъ данныхъ, а данныя для него заключаются не въ самыхъ фактахъ, а въ непосредственномъ знаніи фактовъ. Это первое непосредственное знаніе опредѣляетъ почти во всѣхъ случаяхъ (за исключеніемъ, можетъ быть,

одной математики) весь характеръ аналитическаго труда, который сверхъ того, какъ я уже сказалъ, всегда сопровождается скрытымъ синтезомъ, вполнѣ зависящимъ отъ внутренней жизни народовъ. Отъ того-то, хотя Италія сдѣлала много для науки, хотя не мало сдѣлала и Франція (особенно въ наукахъ опыта), хотя безконечны заслуги Англіи и Германіи; но во всѣхъ этихъ странахъ наука является съ инымъ значеніемъ, въ иномъ видѣ и съ своебытнымъ характеромъ. Очевидно, не можетъ быть тождества между наукою въ Англіи, странѣ, которая никогда не умѣла еще отдѣлять законовъ факта отъ его случайностей, и въ Германіи, которая довела себя до состоянія чисто-аналитической машины, утратившей всякое живое сознаніе фактовъ. Достиженіе истины сопряжено съ безконечными ошибками и заблужденіями, и нелѣпа была бы надежда народа, который бы обѣщалъ себѣ науку совершенно свободную отъ односторонности и отъ всякаго самообольщенія. Я уже показалъ всю ложность, произвольность и недостаточность большей части такъ называемыхъ наукъ. Надѣюсь, что многія ошибки исправитъ Россія; но я очень далекъ отъ мысли, чтобы мы достигли до полнаго и безошибочнаго знанія истины. Такими надеждами тѣшатъ себя и читателей только тѣ, которые предпочитаютъ тяжелому труду изысканій легкое и дешевое пользованіе трудами Запада и лѣнивое упованіе въ выводы, на которыхъ онъ остановился. Сомнѣніе потребовало бы повѣрки, повѣрка — труда: легче вѣрить. Но эти люди не принадлежатъ нисколько наукѣ. Она для нихъ недоступна, какъ и самое художество, потому что она растетъ только на жизненномъ корнѣ живаго человѣческаго общенія; а они отрицаютъ это общеніе, отрицая живую личность народа, чрезъ которую единственно дѣлается намъ доступнымъ человѣчество: ибо, помимо ея, человѣчество есть только идея отвлеченная или числительное скопленіе безсвязныхъ личностей.

Сказанное о наукѣ относится, можетъ быть, яснѣе къ быту. Тамъ, гдѣ общество раздвоилось, гдѣ жизненныя силы приведены въ оцѣпенѣніе разрывомъ между жизнію и знаніемъ и вѣчною, даже нескрытою, враждою самобытнаго начала и чужеземнаго наплыва, — тамъ духовныя побужденія теряютъ

свое значеніе, и мѣсто ихъ, какъ я уже сказалъ, заступаетъ мертвый и мертвящій формализмъ. Безполезно бы было прослѣдить эту язву во всѣхъ подробностяхъ ея явленій, — они извѣстны; но должно замѣтить, что изъ Западныхъ странъ та, въ которой я уже показалъ особенное преобладаніе формализма, Франція начинаетъ сознавать его бѣдственное послѣдствіе, называя его то формализмомъ, то машинизмомъ. Еще недавно одинъ изъ мыслителей ея говорилъ: «Формализму часто достаются видимые успѣхи, но эти успѣхи безплодны; имъ недостаетъ жизненнаго начала. Успѣхъ формализма — потеря для общества» [1]). Въ другомъ мѣстѣ онъ прибавляетъ: «Формализмъ пользуется всѣми вещественными силами, но самъ онъ безсиленъ. Душа не покоряется ему; она слишкомъ горда и благородна, чтобы унизиться до состоянія механическаго дѣйствователя. Она бѣжитъ формализма» [2]). Замѣчательны еще и слѣдующія его слова: «Случается, что какое-нибудь благородное существо соглашается сдѣлаться орудіемъ формализма съ надеждою сохранить свое внутреннее достоинство; но этотъ обманъ не проходитъ даромъ. Послѣ немногихъ лѣтъ слѣпой механической дѣятельности обольщеніе исчезаетъ, и душа очнется, изумляясь сама своему обезсиленію и униженію» [3]). Я не люблю авторитетовъ и цитатъ и привожу эти слова только въ доказательство, что я не даромъ обвинялъ Францію въ формализмѣ, что она его сама въ себѣ сознаетъ, и что вездѣ, гдѣ формализмъ преобладаетъ, тамъ глохнутъ жизненныя силы. Впрочемъ Францію обвинять нельзя: ея формализмъ есть необходимый результатъ ея прошедшей жизни. Вся исторія Фран-

---

[1]) Le formalisme paraît souvent prospérer; mais ses succès sont stériles. Le principe vital leur manque... Les succès du formalisme sont des revers pour la société.

[2]) Le formalisme tire parti de toutes les forces matérielles; mais lui-même est sans force. L'âme ne lui obéit pas: elle est chose trop haute et trop fière pour se plier au rôle de moteur mécanique; elle fuit les entraves du formalisme.

[3]) Il arrive parfois, que quelque noble intelligence se soumette à devenir un instrument du formalisme avec l'espoir de garder sa dignité et son indépendance; mais pareille erreur ne reste jamais impunie. Après quelques années de ce labeur de cheval aveugle l'illusion disparaît, et l'âme se réveille étonnée de sa propre dégradation.

ціи была тяжбою между желѣзомъ феодальнаго тирана-барона и золотомъ феодальной общины городовъ. Тяжба выиграна городами, но бѣдному Якову (Jacques Bonhomme) никогда не было мѣста въ общественной жизни, да и быть не могло. Въ немъ самомъ нѣтъ ни внѣшней цѣльности, ни внутреннихъ началъ жизни. Со временемъ фактъ этотъ, до сихъ поръ непонятый, будетъ понятъ анализомъ науки; но покуда прошу читателей моихъ не пенять на меня за то, что я предполагаю въ нихъ не только знаніе, но и пониманіе историческихъ фактовъ *).

---

*) Это предположеніе, разумѣется, не относится къ такимъ читателямъ, какъ рецензентъ, написавшій въ одномъ изъ Петербургскихъ журналовъ разборъ „Сборника Историческихъ и Статистическихъ свѣдѣній" и проч. Этотъ рецензентъ, повидимому, очень добродушно увѣряетъ меня, что Гунны не могли подвинуть Бургундовъ на Западъ потому-де, что Бургунды жили давно уже на Рейнѣ. Ему неизвѣстно, что въ началѣ V-го вѣка часть Бургундовъ жила еще на верховьяхъ Дуная у Римскаго вала, и что отдѣленіе Бургундовъ при-Балтійскихъ было увлечено общимъ движеніемъ племенъ даже въ Испанію. Ему также, повидимому, совсѣмъ неизвѣстны критическіе труды Нѣмцевъ объ Сагахъ и старыхъ пѣсняхъ Германіи. Тамъ могъ бы онъ сколько нибудь узнать про отношенія Гунновъ къ Бургундамъ. Рецензентъ увѣряетъ публику, что я подшучиваю надъ нею, говоря о развратѣ Франковъ: видно онъ много читалъ писателей IV-го и V-го столѣтій. Что сказать о такой учености? Мой деревенскій сосѣдъ называетъ ее первоклассною въ томъ смыслѣ, что она годна только для I-го класса гимназіи, а и такіе рецензенты ратуютъ за просвѣщеніе на Западный ладъ! Впрочемъ, можетъ быть, г. критикъ пожелаетъ когда нибудь узнать что нибудь о тѣхъ вещахъ, о которыхъ онъ писалъ, ничего объ нихъ не зная, напр. что нибудь объ исторіи Бургундовъ, о томъ, какъ они сражались съ Гепидами на нижнемъ Дунаѣ, какъ бѣжали на Западъ и поселились около верховьевъ Майна, гдѣ жили при Валентиніанѣ; какъ потомъ, въ началѣ VI-го вѣка, подались на самые берега Рейна, вслѣдъ за народами, бѣгущими отъ Гунновъ (Аланами, Свевами и Вандалами); какъ потомъ, были, на берегахъ Рейна, разбиты Гуннами и, потерявъ царя своего Гундихара, бѣжали подъ предводительствомъ новаго царя Гундіоха (отца Гундебальдова) на Юго-западъ, прося убѣжища и покровительства у Римлянъ, и проч. и проч. На этотъ случай я могу ему рекомендовать на память (такъ какъ книгъ при мнѣ нѣтъ) Тюрка (Розыски въ области исторіи, тетрадь 2), Цейса (Нѣмцы) и Миллера (Нѣмецкія племена и ихъ князья). Со временемъ можно будетъ дойти и до древнихъ памятниковъ Западныхъ или Византійскихъ. Полагая, что я такимъ образомъ уже получилъ нѣкоторыя права на благодарность моего рецензента, осмѣливаюсь прибавить маленькій совѣтъ. Если онъ когда нибудь вздумаетъ опять на меня нападать, ему выгоднѣе будетъ стрѣлять въ меня изъ непроходимой чащи пустыхъ словъ и теорій, чѣмъ отваживаться на открытое поле историческихъ фактовъ.

И такъ, какъ бы ни пренебрегалъ человѣкъ искусствомъ, онъ долженъ дорожить его возможностію, потому что съ нею соединяется возможность науки и разумнаго быта, которыми, конечно, никто пренебрегать не можетъ. Условія одинаковы во всѣхъ трехъ случаяхъ, и во всѣхъ трехъ они для насъ не исполнимы, потому что мы утратили свою народную личность, т. е. самихъ себя.

Всякое народное просвѣщеніе опредѣляется народною личностью, т. е. живою сущностію народной мысли; болѣе же всего опредѣляется она тою вѣрою, которая въ немъ является предѣломъ его разумѣнія. Въ современной Европѣ является стремленіе къ примиренію разрозненныхъ началъ просвѣщенія и жизни въ единствѣ религіозной мысли; но это стремленіе, которое въ глазахъ слишкомъ добродушныхъ судей кажется торжествомъ религіи, не достигаетъ нигдѣ своей цѣли и свидѣтельствуетъ только о внутренней враждѣ непримиримыхъ началъ и о неутоленной и неутолимой жаждѣ единства. Впрочемъ оно иначе и быть не могло. Когда раздвоеніе не случайно, а лежитъ въ самой основѣ духовнаго и общественнаго міра, когда борющіяся начала, возникшія изъ жизни и управляющія ею, прямо противоположны другъ другу, они уже не могутъ примириться ни собственными силами, ни бѣднымъ миротворствомъ односторонняго разсудка: они могутъ найти свое примиреніе только въ другомъ высшемъ началѣ, возникшемъ изъ другой менѣе односторонней жизни. Этотъ законъ не подлежитъ никакому сомнѣнію: онъ засвидѣтельствованъ исторіею во всѣхъ ея періодахъ. Впрочемъ, такъ какъ теоретическія положенія не для всѣхъ удовлетворительны, взглянемъ на факты.

Южная Европа (Италія и Испанія) не имѣетъ никакого современнаго значенія; поэтому довольно упомянуть о тѣхъ трехъ земляхъ, которыя въ различныхъ отношеніяхъ считаются главными дѣйствователями просвѣщенія. Первый изъ современныхъ поэтовъ Франціи и одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ ея историковъ-мыслителей объявили недавно, одинъ въ торжественной рѣчи, другой въ книгѣ, заслужившей огромный успѣхъ, что вѣры во Франціи уже нѣтъ, и показаніе ихъ подтверждается всѣми явленіями выс-

шей умственной жизни въ ихъ отечествѣ. Правда, что взамѣнъ утраченной вѣры они предлагаютъ съ дюжину другихъ: вѣру въ художество, вѣру въ славу, въ прекрасное, въ усовершенствованіе, въ народъ, и проч. и проч. Каждый могъ бы выбрать по своему вкусу, и странно только то, что Франція не пользуется такимъ выгоднымъ предложеніемъ, и что даже остроумная Жоржъ-Зандъ смѣется печатно надъ этою мелочною лавочкою.

Между тѣмъ какъ за Рейномъ отсутствіе религіи является въ формахъ вѣтреной и самодовольной мелочности, оно является по сю сторону Рейна, въ Германіи, съ видомъ степеннымъ, размышляющимъ и достойнымъ многоученыхъ Нѣмцевъ. Я не говорю объ изданіяхъ, слишкомъ высоко оцѣненныхъ, а дѣйствительно довольно ничтожныхъ, какаго нибудь Страуса или Брунобауера; я не говорю о ихъ временномъ успѣхѣ, свидѣтельствующемъ о потребностяхъ читающей публики, ни о цѣлыхъ приходахъ, признавшихъ себя Страусіанцами, ни о журналахъ, выходившихъ въ томъ же духѣ и едва прекращенныхъ усиліями правительствъ, ни обо многихъ другихъ доказательствахъ. Я упомяну только объ одномъ письмѣ лучшаго представителя протестантскихъ религіозныхъ школъ, ученѣйшаго преподавателя-историка и весьма прямодушнаго человѣка, Неандера, къ Англичанину Дюару. «Разница (говоритъ онъ) между нами и вами та, что вы вѣрите въ возможность объективной истины въ религіи, а мы нѣтъ: мы пережили эту младенческую эпоху и знаемъ, что истинная вѣра можетъ быть только субъективною для каждаго человѣка». Мнѣніе ученаго Неандера въ этомъ дѣлѣ рѣшительно, оно доказываетъ полное отсутствіе религіи въ Германіи; ибо сила всякаго ученія измѣряется крѣпостію и внутреннею самоувѣренностію его высшихъ представителей. Въ Россіи мы еще часто слышимъ или, лучше сказать, читаемъ про набожность и религіозность Германіи. Не знаю, для чего или для кого это пишется; впрочемъ, можетъ быть, со стороны самихъ писателей это не обманъ, а добродушная ошибка, основанная на преданіи о прежней Нѣмецкой Frömmigkeit (особеннаго рода набожности) и поддержанная картинами сельскихъ пасторовъ у Августа Лафонтена.

Въ Англіи является намъ совсѣмъ другое. Ея внутренняя жизнь крѣпче и не столько потрясена, какъ жизнь Германіи и Франціи, самонадѣянными притязаніями частнаго разсудка. Тамъ происходитъ великая борьба, которая, какъ ни важенъ споръ о хлѣбныхъ законахъ, гораздо важнѣе его въ глазахъ просвѣщеннаго наблюдателя. Эта борьба опредѣляется просто и легко. Церковная реформа Англіи имѣла особый характеръ. Отреченіе отъ Римскаго Католицизма было сопровождаемо желаніемъ удержать въ предѣлахъ произволъ разсудочной критики и сохранить, сколько возможно, живую цѣпь старины и преданія. Изъ этого желанія возникло устройство, очевидно произвольное, Англиканской церкви, не увѣренной въ самой себѣ, но сохраняющей внѣшніе знаки живаго преданія и исторической послѣдовательности. Такой особый характеръ Англійской реформы происходилъ изъ характера народа, и обратно: характеръ народа поддерживался имъ до нашего времени. Но требованія критики неотвратимы и неизбѣжны. Произвольность, лежащая въ основѣ Англиканизма, повела многихъ къ требованію большей протестантской свободы, многихъ къ требованію большей вѣрности католической старинѣ. Вопросъ надѣлалъ сперва много шума подъ именемъ Пюзеизма, а теперь, повидимому, пересталъ обращать на себя общественное вниманіе; но разрѣшеніе необходимо и наступаетъ съ каждымъ днемъ явно или незамѣтно. Нетрудно сказать, какъ этотъ вопросъ разрѣшится, если Англиканизмъ будетъ предоставленъ собственнымъ силамъ и не подпадетъ вліянію другаго, внѣшняго начала. Возвратъ къ Римскому Католицизму невозможенъ, потому что отрицаніе, разъ совершенное сознательно и разумно, не можетъ пропасть безъ слѣда. Торжество начала критическаго или Протестанства неизбѣжно. Торжество же Протестантства, какъ начала критическаго и чисто-разсудочнаго, сводитъ Англиканизмъ и слѣдовательно вмѣстѣ съ нимъ жизнь Англіи на уровень безжизненнаго Протестантства Германскаго.

Таково общее состояніе Европейскаго просвѣщенія, опредѣленнаго его крайними духовными предѣлами въ вѣрѣ. Я никого не обвиняю въ безвѣріи и не пугаю безвѣріемъ, хо-

тя, можетъ быть, найдутся добрые люди, которые это предположатъ и скажутъ, что я вмѣшиваю вѣру въ вопросы науки. Я знаю, что совершаемое и совершенное на Западѣ было необходимо; но изъ того самаго, что оно было необходимо на Западѣ при его началахъ, слѣдуетъ, что оно невозможно у насъ при нашихъ. Началомъ Запада была двойственность въ жизни народной (завоеванные и завоеватели) и двойственность въ понятіи духовномъ: ибо односторонность Римскаго опредѣленія единства въ покорности (слѣдовательно единства внѣшняго) вызывала необходимо и вызвала отрицательную односторонность свободы — въ разномысліи (слѣдовательно внѣшней, ибо свобода разумная едина). Обѣ односторонности должны были оказаться неудовлетворительными и слѣдовательно произвести общее отрицаніе. Въ нашемъ же духовномъ началѣ тождество свободы и единства (свободы въ единствѣ и единства въ свободѣ), и наше народное начало, которое могло принять и сохранить такое духовное начало вслѣдствіе своего внутренняго единства, не можетъ никогда ни подчиниться выводамъ, исторически возникшимъ изъ Западной двойственности, ни принять ихъ въ себя. Я не говорю: лучше не принимать, но говорю: нельзя принять, если бы даже и хотѣли. Поэтому очевидна вся ограниченность тѣхъ, которые думаютъ перенести въ Россію не одни только положительныя или, такъ сказать, математическія знанія Запада, но и весь строй его просвѣщенія. Мнѣнія ихъ опровергаются малѣйшимъ употребленіемъ человѣческаго разума.

Есть другое мнѣніе, возникшее, можетъ быть, давно, но выражающееся съ особенною ясностію недавно. «Надобно-де принимать все доброе съ Запада и усердно учиться у старшей братіи, опередившей насъ въ просвѣщеніи; но и своимъ брезгать не должно. И у насъ хорошаго было много. Мы изучимъ-де Россію въ ея исторіи, въ ея стародавней письменности и законахъ; познакомимся вполнѣ съ ея статистикой (вѣроятно съ источниками ея богатствъ) и такъ все хорошо приладимъ, что лучшаго и желать нельзя. Будемъ вполнѣ просвѣщенными людьми, ибо примемъ все современное просвѣщеніе, и останемся совершенно Русскими, узнавши до ноготка исторію, статистику и письменность Рос-

сіи». Это мнѣніе возникло, повидимому, не въ ученомъ мірѣ, а въ общественныхъ кругахъ, образованныхъ безъ строгой учености, благонамѣренныхъ безъ истинной рѣшимости на добро и любящихъ Россію безъ всякаго желанія жертвовать самолюбивою личностью своей для Святой Руси. Органы его въ словесности — люди добрые, миротворящіе, мирволящіе, враги всякаго крайняго мнѣнія, всякаго крутаго приговора и всякой неприличной ссоры съ бытомъ и мнѣніемъ такъ называемаго общества. На первый взглядъ мнѣніе это имѣетъ нѣкоторыя достоинства, но всѣ они исчезаютъ при самомъ легкомъ прикосновеніи критики. Повидимому, въ немъ менѣе гордости и пренебреженія къ Россіи, чѣмъ въ мнѣніи чистыхъ приверженцевъ Запада: это обманъ. Какъ бы ни были велики и вредны ошибки нашей Западной братіи, она потрудилась много, потрудилась со славою и пользою на поприщѣ просвѣщенія; она своею тревожною жизнію и ненасытимою жаждою истиннаго и прекраснаго создала въ наукѣ, бытѣ и художествахъ много великаго, много достойнаго безсмертной похвалы; и для насъ менѣе унизительно жертвовать своею самостоятельностію Западному міру, чѣмъ частной мудрости полупросвѣщенныхъ и полумертвыхъ представителей нашего прививнаго знанія. Въ этомъ мнѣніи, повидимому, есть также любовь къ Русскому и своенародному: опять обманъ. Тутъ дѣйствительно исчезаетъ народность какъ своя, такъ и всякая другая. Все Русское является, такъ же какъ и Французское, Китайское, Индѣйское и проч., не какъ жизненное начало, подчиняющее себѣ своею силою всякую другую мысль и всякую личность, но какъ безхарактерный матеріалъ, годный только для передѣлыванія и перелаживанія согласно съ высшими соображеніями такъ называемаго общества. Наконецъ, это мнѣніе, по крайней мѣрѣ, имѣетъ притязаніе быть разсудительнымъ и требовать отъ Руси только того, что̀ съ нею можетъ согласоваться; но на повѣрку выходитъ, что оно едва ли небезразсуднѣе мнѣнія чистыхъ поклонниковъ Запада (хотя въ этомъ дѣлѣ трудно рѣшить, кому принадлежитъ первенство безразсудности). Общая же черта обоихъ мнѣній та, что поклонники ихъ ставятъ себя внѣ Россіи, стараясь ее передѣлать по

своему; но кажется, все еще возможнѣе привить ей жизнь чужую, но сильную и богатую, чѣмъ подчинить ее бездушной мертвенности личнаго эклектизма. Вообще должно помнить, что для того, чтобы быть Русскимъ, недостаточно ни грамматическаго знанія Русскаго языка, ни знанія статистики, ни изученія письменныхъ памятниковъ. На такомъ основаніи многіе Нѣмецкіе профессора могли бы себя считать отличными Римлянами или Греками. При всѣхъ этихъ знаніяхъ будешь только порядочнымъ Русистомъ (какъ Эллинистъ, Латинистъ и т. д.), но живымъ Русскимъ человѣкомъ не будешь.

Вопросъ, къ которому привели насъ требованія художественной Русской школы, очень важенъ: это для насъ вопросъ о жизни и смерти въ самомъ высшемъ значеніи умственномъ и духовномъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Русская народная стихія разовьется и принесетъ, во всѣхъ отрасляхъ знанія и дѣятельности человѣческой, огромный вкладъ, которымъ пополнится большая часть прежнихъ недостатковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что то высокое начало единства, которое лежитъ основою всей нашей мысли и всей нашей народной силы, восторжествуетъ надъ нашимъ мысленнымъ и бытовымъ раздвоеніемъ. Быть можетъ, даже отъ этаго живаго единства получитъ начало исцѣленія рано призванная на поприще просвѣщенія, много для него потрудившаяся, но неисцѣлимая своими собственными силами и въ началахъ своихъ раздвоенная, Западная наша братія. Мало-по-малу положительныя знанія принимаются тою частію Русской земли, которая сохранила въ себѣ жизненное начало. Это можно было предвидѣть, и это совершилось бы вѣроятно давно, если бы знаніе не явилось у насъ сначала въ видѣ принужденія, отрицающаго жизнь. Слѣдовательно, въ этомъ отношеніи нашему времени гордиться нечѣмъ; но можно съ радостію предсказать, что знаніе, принятое въ жизненное единство, принесетъ богатые и новые плоды въ художествѣ, въ наукахъ и въ бытѣ. Такъ будетъ для Святой Руси. Но вопросъ не объ ней, а объ насъ, получившихъ знаніе по ложному пути, оторвавшихся отъ своей жизненной основы и принявшихъ въ себя чуждое намъ раз-

двоеніе съ его умственною мертвенностію. Вопросъ въ томъ, будемъ ли мы въ то время, когда жизненное начало Руси будетъ крѣпнуть и процвѣтать, только сухимъ и безплоднымъ хворостомъ, мѣшающимъ новому прозябенію?

Это сомнѣніе въ самихъ себѣ, это тайное чувство своей мертвенности давно уже высказывалось во многихъ и лучшихъ представителяхъ нашего просвѣщенія. Скорбя о себѣ и о всемъ, что̀ ихъ окружало въ обществѣ, они часто оглядывались съ утѣшительною, но неясною надеждою на ту великую Русь, отъ которой они чувствовали себя оторванными. Я могъ бы это показать въ послѣднихъ твореніяхъ Пушкина; но ни въ комъ болѣзненное сознаніе своего одиночества и своего безсилія не высказалось такъ ясно, какъ въ Лермонтовѣ, къ несчастію, или не дожившемъ до сознанія, что безжизненность есть принадлежность общества, а не Русской земли, или отвергавшемъ сознаніе по личной гордости, свойственной его молодости и обществу, окружавшему его. Эта черта въ немъ гораздо важнѣе, чѣмъ мнимый демонизмъ, принятый имъ заднимъ числомъ съ Запада и восхищавшій близорукую публику и безглазую критику.

Время яснаго сознанія нашей внутренней болѣзни наступило.

Въ прежнихъ статьяхъ я говорилъ о ничтожествѣ всего, что̀ сдѣлано нами въ наукѣ и художествахъ, и о безсмысленномъ нашемъ незнаніи нашего быта и его началъ. Очевидная истина не требуетъ доказательствъ. Конечно, любопытно бы было прослѣдить всѣ или многіе факты нашей умственной дѣятельности и показать въ нихъ, до какой степени мы лишены живыхъ началъ, до какой степени взглядъ нашъ ограниченъ и стѣсненъ тѣсными границами нашей школьнической подражательности. Но это дѣло не мое, и я прибавлю только два-три примѣра, чтобы яснѣе показать, какъ наша школьническая подражательность (необходимое слѣдствіе отчужденія отъ своей родной почвы) убиваетъ въ насъ ясность разума и даже изобрѣтательность въ дѣлахъ самаго простаго быта. Въ недавнемъ времени происходили жаркіе и пустые споры о перемѣнѣ правописанія и о согласованіи его съ произношеніемъ. Толки оказались пустыми и миновали безъ слѣда; но въ этомъ дѣлѣ замѣчательно одно

важное обстоятельство. Никому изъ спорящихъ въ голову не пришло, что избраніе правописанія по произношенію, т. е. учрежденіе литературно-аристократическаго произношенія, удалитъ отъ чтенія Русской книги едва ли не половину Великорусскаго народа (говорящаго на *о*) и сдѣлаетъ Русскую книгу совершенно недоступною нашимъ братьямъ - Славянамъ. Тѣснота салоннаго взгляда отнимала у писателей понятіе даже о собственныхъ ихъ выгодахъ, уже не говорю объ умственномъ общеніи земли и народовъ, намъ единокровныхъ. Далѣе: тогда какъ изобрѣтеніе Макадама обѣщаетъ намъ доставить удобные лѣтніе пути, никому въ голову не пришло, что лѣтній путь доступенъ только едва ли двадцатой части Россіи, а что зимній путь, который нуженъ всей Россіи, остается безъ усовершенствованія. Наша изобрѣтательность не подумала даже о возможности постройки зимнихъ дорогъ изъ того покорнаго матеріала, которымъ Россія покрыта ежегодно въ теченіе пяти мѣсяцевъ, между тѣмъ какъ уплотненіе снѣга, начиная съ первыхъ порошъ, должно бы намъ доставить и со временемъ доставить намъ зимніе пути, не уступающіе лучшимъ лѣтнимъ и, безъ сомнѣнія, съ гораздо меньшимъ расходомъ. Мысль эта не пришла потому, что за границей почти нѣтъ зимы *).

---

*) Я не называю опытами ни треугольника (кажется Шведскаго), который, раскидывая снѣгъ, производитъ только безвременную весну, когда еще всѣ поля покрыты снѣгомъ; ни предложенія о саняхъ съ длинными полозьями, предложенія неисполнимаго и явно недостаточнаго. Опытъ ежедневнаго прокатыванія 30-ти пудовымъ каткомъ, къ которому спереди укрѣплена была треугольная борона съ зубьями, не дохватывающими до нижняго уровня катка и только сбивающими случайныя косицы, имѣлъ въ продолженіе почти цѣлой зимы, какъ мнѣ извѣстно, великій успѣхъ. Но этотъ опытъ былъ произведенъ на весьма маломъ пространствѣ деревенскимъ жителемъ и не былъ никому сообщенъ. Считаю полезнымъ объявить объ немъ, въ надеждѣ обратить на этотъ предметъ вниманіе читателей, изъ которыхъ, можетъ быть, иной вздумаетъ повторить его или придумаетъ лучшее средство. Если бы ежедневное прокатываніе дорогъ (полагая ширину ихъ отъ двухъ до шести саженъ) дало дѣйствительно твердую основу снѣжнаго пути, то средняя станція катка была бы около $7^1/_2$ верстъ, средній расходъ около 100 рубл. на версту, и расходъ на 30,000 верстъ былъ бы около 3 милл. ассигнаціями: расходъ совершенно ничтожный и легко покрываемый копѣечнымъ сборомъ съ пуда на 100 верстъ. Опытъ этотъ, повидимому, заслуживаетъ повѣрки.

Точно также агрономы наши толкуютъ о гуано и Либиховыхъ компостахъ и не могли придумать, что барда, весьма часто пропадающая даромъ при сильныхъ винокуреніяхъ въ Октябрѣ, Маѣ и Іюнѣ, когда она скоту ненужна, могла бы служить весьма сильнымъ и полезнымъ удобреніемъ. Кажется, можно прибавить (если память меня не обманываетъ) и то обстоятельство, что въ сравнительныхъ таблицахъ питательности, издаваемыхъ въ Россіи, найдешь сарачинское пшено и едва ли не саго, а не найдешь гречихи, которою питается почти вся Россія.

Далѣе: медицина аллопатическая не позаботится узнать хоть что-нибудь о безконечномъ множествѣ лѣкарствъ, извѣстныхъ народу и передаваемыхъ наслѣдственно изъ рода въ родъ, противъ многихъ болѣзней, съ которыми справиться не умѣетъ ученость медицинскихъ факультетовъ (напримѣръ, противъ водобоязни). Съ другой стороны, медицина омеопатическая не замѣтила, что въ ея симптоматикѣ недостаетъ болѣзненныхъ симптомовъ отъ меда, и что при этомъ недостаткѣ, по основнымъ же правиламъ омеопатіи, успѣшное лѣченіе золотушной болѣзни (самой обыкновенной и самой важной въ Россіи) совершенно невозможно. Я съ намѣреніемъ взялъ примѣры изъ самаго простаго быта или изъ самыхъ простыхъ приложеній науки, чтобы показать, до какой степени наши понятія, почерпнутыя изъ чужой мудрости, и наши мозги, такъ сказать, заграничной фабрики, мало способны не только разрѣшать задачи Русской жизни, но даже и догадываться, что онѣ существуютъ. Иначе и быть не можетъ: ибо отрѣшенный отъ жизненнаго общенія единичный умъ безплоденъ и безсиленъ, а только отъ общенія жизненнаго можетъ онъ получить силу и плодотворное развитіе.

Всякое замѣчательное явленіе, будь оно въ добрѣ или злѣ, будь оно признакомъ многосторонности или односторонности умственной, подтверждаетъ высказанный мною законъ. Газеты недавно дразнили зависть читателей перечнемъ Ротшильдовыхъ милліоновъ, но Ротшильдъ — явленіе не одинокое въ своемъ народѣ: онъ только глава много-милліонныхъ банкировъ Еврейскихъ. Своими семью стами милліонами, своимъ правомъ быть, такъ сказать, денежною дер-

жавою, обязанъ онъ, безъ сомнѣнія, не случайнымъ обстоятельствамъ и не случайной организаціи своей головы: въ его денежномъ могуществѣ отзывается цѣлая исторія и вѣра его племени. Это народъ безъ отечества, это потомственное преемство торговаго духа древней Палестины, и въ особенности эта любовь къ земнымъ выгодамъ, которая и въ древности не могла узнать Мессію въ нищетѣ и уничиженіи. Ротшильдъ фактъ жизненный. Имена многихъ великихъ музыкантовъ принадлежатъ къ роду Еврейскому; къ нему же принадлежатъ многіе литераторы, замѣчательные по остроумію, граціи или силѣ ума и выраженія (хотя всѣ представляютъ что-то ложное въ чувствѣ и мысли). Отчего же нѣтъ ни скульптора, ни живописца? Пластическія художества процвѣтали у Эллина, поклонника человѣческой красоты. Они процвѣтали и у Христіанъ, потому что земной образъ человѣка получилъ для Христіанина освященіе и благословеніе свыше. Они не существовали никогда у Еврея, потому что мысль его была свыше поклоненія земной красотѣ; они не могутъ у него существовать, потому что для него земной образъ человѣка не принялъ еще высшаго значенія. Это опять фактъ жизни. Можетъ быть, величайшій изъ мыслителей новаго времени, человѣкъ, котораго геній управляетъ, безъ сомнѣнія, всѣмъ сокровеннымъ синтезомъ современной философіи (хотя анализомъ своимъ она обязана Бэкону и Канту), основатель наукообразнаго Пантеизма и, если можно такъ сказать, безвѣрной религіозности, — Спиноза былъ Еврей, и это фактъ неслучайный: Спиноза долженъ былъ быть Евреемъ. Отвергнувъ Новый Завѣтъ, единственное разрѣшеніе прежнихъ обѣщаній, Евреи остались при неопредѣленномъ понятіи о единобожіи, переходящемъ, по необходимости, или къ заключенію Божества въ Антропоморфизмъ (духовный или тѣлесный — все равно), или въ пантеистическую безличность — Аморфизмъ. Таковъ былъ смыслъ Еврейства, отвергающаго Новый Завѣтъ. Въ древности преобладало первое стремленіе, подъ вліяніемъ еще неослабѣвшихъ надеждъ на пришествіе Мессіи; при ослабленіи этой вѣры должна была возникнуть другая крайность, и явился Спиноза, котораго можно отчасти угадывать напе-

редъ въ Пантеизмѣ Еврейской кабалы, не смотря на ея мистическія оболочки. Нѣтъ сомнѣнія, что философскія школы дѣйствовали на Спинозу, какъ и на всѣхъ современныхъ ему мыслителей. Я знаю и могъ бы показать это вліяніе, но это дѣло постороннее. Важно то, что ни въ комъ, кромѣ его, это вліяніе не дошло и не могло дойти до тѣхъ результатовъ, до которыхъ оно дошло въ немъ. Современные ему философы были Христіане; начало же Спинозизма лежало въ томъ Еврействѣ, въ которомъ взросъ Спиноза, и оттого-то его Пантеизмъ (въ сущности атеистическій) сохранилъ для него характеръ религіозный и могъ даже дѣйствовать благодѣтельно на нѣкоторыя благородныя природы (какъ, напримѣръ, на Стефенса).

Эти три факта, взятые мною изъ одного народа, но изъ трехъ разныхъ сферъ умственной дѣятельности (изъ быта, художества и науки) пояснятъ, я надѣюсь, для многихъ изъ моихъ читателей понятіе мое объ исторіи и понятіе объ отношеніяхъ жизни и просвѣщенія. Одинокость человѣка есть его безсиліе, и тотъ, кто оторвался отъ своего народа, тотъ создалъ кругомъ себя пустыню, какъ бы онъ ни былъ окруженъ множествомъ людей и какъ бы онъ ни считалъ себя членомъ общества. Таково-то наше положеніе, и потому-то я уже сказалъ, что вопросъ, къ которому насъ привело изслѣдованіе о возможности художественной школы, есть для насъ вопросъ о жизни и смерти въ смыслѣ дѣятельности умственной и духовной. Пріобрѣсти жизненныя силы посредствомъ полнаго внутренняго соединенія съ живымъ просвѣщеніемъ Запада невозможно: и по распаденію Западной жизни, и потому, что ея начала, совершенно чуждыя Русской землѣ, возросшей на началѣ высшемъ, хотя до сихъ поръ еще неразвитомъ, не могутъ быть ни приняты ею, ни привиты къ ней. Создать для своего обихода какое-то эклектическое Русско-западное существованіе, бѣдными силами своего частнаго разсудка, и потомъ наложить это существованіе на величіе Русской земли, какъ мечтаютъ благонамѣренные эклектики, утратившіе въ безсвязномъ обществѣ и въ мертвой книжности всякое здравое понятіе о жизни въ ея не-частномъ, но общественномъ значеніи, есть, какъ я уже показалъ, не-

сбыточная, безразсудная мечта, осуждающая насъ на самопроизвольное ничтожество. Поэтому очевидно, что мы не имѣемъ никакой возможности выдти изъ своего болѣзненнаго безсилія и создать въ себѣ или принять извнѣ въ себя плодотворное, жизненное начало. Это истина, въ которой надобно убѣдиться глубоко, не оставляя въ себѣ ни тѣни сомнѣнія или гордаго самообольщенія. Тогда только, когда мы вполнѣ поймемъ свою болѣзнь, поймемъ и возможность лѣченія, которая къ счастію и доступна, и близка къ намъ.

Жизненное начало утрачено нами, но оно утрачено только нами, принявшими ложное полузнаніе по ложнымъ путямъ. Это жизненное начало существуетъ еще цѣло, крѣпко и неприкосновенно въ нашей великой Руси (т. е. Великой, Малой и Бѣлой), не смотря на наши долгія заблужденія и на наши, къ счастію, безполезныя усилія привить свою мертвенность къ ея живому тѣлу. То, что̀ было, поросло быльемъ, и если бы намъ приходилось отыскивать свою жизнь въ прошедшемъ, конечно мы бы ея никогда не отыскали и не возсоздали; ибо созданіе или возсозданіе жизни ничтожными силами одиночныхъ разсудковъ было бы явленіемъ противнымъ всѣмъ законамъ духовнаго міра. Ему могли вѣрить нѣсколько дѣтей-студентовъ въ Германіи и нѣсколько дѣтей-стариковъ во Франціи, да могутъ въ иномъ видѣ вѣрить нѣсколько дѣтей-соціалистовъ всякаго возраста по всей Европѣ, но не повѣритъ никто, кто сколько-нибудь изучилъ исторію человѣчества, или не утратилъ въ душѣ своей хотя темное чутье человѣческихъ истинъ. Жизнь наша цѣла и крѣпка. Она сохранена, какъ неприкосновенный залогъ, тою многострадавшею Русью, которая не приняла еще въ себя нашего скуднаго полупросвѣщенія. Эту жизнь мы можемъ возстановить въ себѣ: стоитъ только ее полюбить искреннею любовію. Разумъ и наука приводятъ насъ къ ясному сознанію необходимости этого внутренняго преобразованія, но я не считаю его слишкомъ легкимъ ни для каждаго изъ насъ, ни для всѣхъ. Гордыя привычки нашей разсыпной, единичной жизни держатъ каждаго изъ насъ въ своихъ оковахъ. Нравственное обновленіе — не легкое дѣло. Конечно, каждый не только согласенъ полюбить тѣ свѣтлыя жизненныя стихіи,

которыя сохранились на Руси, и ту Русь, которая ихъ сохранила, но даже готовъ думать и увѣрять, что онъ любитъ ихъ всею душою. Можетъ быть даже, эта любовь дѣйствительно существуетъ въ насъ; но она существуетъ, какъ любовь къ Неграмъ, къ Готтентотамъ и Индѣйцамъ существуетъ въ добромъ Англичанинѣ, вмѣстѣ съ убѣжденіемъ въ своемъ умственномъ и нравственномъ превосходствѣ и съ надеждою на роль, если не настоящихъ, то будущихъ благодѣтелей. Такая любовь ничтожна, скажу болѣе, она отчасти пагубна. Отъ этого самообольщенія трудно, но необходимо должно отказаться; ибо не мы приносимъ высшее Русской землѣ, но высшее должны отъ нея принять.

Мы приносимъ только кое-какія знанія, легко пріобрѣтаемыя личнымъ трудомъ каждаго, не совсѣмъ тупоумнаго человѣка; принять же должны жизненную силу, плодъ вѣковъ исторіи и цѣльности народнаго духа. Таковъ голосъ добросовѣстнаго анализа. Поэтому, чтобы любовь была истинною, она должна быть смиренною. Точно такъ же, какъ въ наукѣ, человѣкъ поступаетъ сперва въ нижніе разряды учениковъ и подвигается мало-по-малу впередъ, все болѣе и болѣе отстраняя отъ себя прихоти своего личнаго произвола и подчиняясь общимъ законамъ человѣческаго разума, такъ и человѣку, желающему усвоить себѣ или развить въ себѣ скрытую жизненную силу, должно принести въ жертву самолюбіе своей личности для того, чтобы проникнуть въ тайну жизни общей и соединиться съ нею живымъ органическимъ соединеніемъ. Это дѣло не мгновенія и не дня, а цѣлаго существованія; ибо, какъ великій Шиллеръ сказалъ въ другомъ смыслѣ, «жизнь покупается только жизнію»:

«Denn setzet Ihr nicht das Leben ein,
Nie wird Euch das Leben gewonnen sein».

Нашъ возвратъ къ этой утраченной жизни не легокъ. Мы оторвались отъ нея сначала отчасти безсознательно, отчасти поневолѣ; мы измѣнили себѣ, измѣняя ей; потомъ замкнулись въ гордости своего мелкаго знанія, какъ колонія Европейскихъ эклектиковъ, брошенная въ страну дикарей; потомъ, какъ всякая Европейская колонія во всѣхъ частяхъ свѣта, мы приняли на себя характеръ завоевательный, ко-

нечно съ самыми благодѣтельными намѣреніями, но безъ возможности исполнить ихъ, безъ сознанія ясной цѣли, къ которой стремились, и безъ того превосходства духа, который, по крайней мѣрѣ, часто служитъ нѣкоторымъ оправданіемъ завоеванію. Слѣдствіемъ этихъ отношеній была, какъ я сказалъ, борьба и полускрытая вражда: съ одной стороны подозрѣніе, слишкомъ оправданное, съ другой—ничѣмъ неоправданное презрѣніе. Эти чувства могутъ исчезнуть только при нравственномъ измѣненіи въ насъ самихъ. Жизнь, нами долго оскорбляемая, нелегко и нескоро можетъ свыкнуться съ нами. Обмануть ее мнимымъ примиреніемъ невозможно, потому что она не имѣетъ и не можетъ имѣть личныхъ представителей; да и во всякомъ случаѣ цѣль не могла бы быть достигнута обманомъ. Дѣло наше — возрожденіе жизненныхъ началъ въ самихъ себѣ, слѣдовательно оно можетъ быть исполнено только искреннею перемѣною нашего внутренняго существованія. Но, не скрывая отъ себя препятствій, которыя мы должны по необходимости встрѣтить въ своемъ подвигѣ, мы можемъ съ радостію и съ надеждою сказать себѣ, что намъ однимъ онъ возможенъ изъ всѣхъ современныхъ народовъ. Раздвоеніе, подавляющее въ насъ духовную силу, есть дѣло исторической случайности и отчасти слѣдствіе недоразумѣнія: оно не лежитъ ни въ основѣ нашихъ началъ духовныхъ, ни въ характерѣ нашего народнаго состава, какъ въ Романо-Германской Европѣ; оно было слѣдствіемъ, такъ сказать, невольнаго соблазна при первой нашей встрѣчѣ съ богатствами знанія, до тѣхъ поръ намъ чуждаго; оно должно исчезнуть и исчезнетъ при полномъ знакомствѣ съ этимъ знаніемъ. Остальные народы Европы, возвращаясь къ прошедшему, если бы такой возвратъ былъ возможенъ, нашли бы только раздвоеніе и борьбу; въ современномъ они находятъ и могутъ найти только тоже раздвоеніе и туже борьбу, но дошедшую уже до крайности, до окончательнаго разслабленія народной жизни и до безграничнаго преобладанія эгоистической и разсудочной личности (Англія въ этомъ случаѣ составляетъ исключеніе, потому что имѣла народную жизнь, которою объясняются постоянныя побѣды ея надъ Франціею въ среднихъ вѣкахъ;

но я уже сказалъ, что и она не можетъ найти въ себѣ разрѣшенія своихъ внутреннихъ задачъ). Правда, не разъ намъ случалось слышать отъ невѣжественной критики, вооруженной безсмысленными, но звучными возгласами, что внутреннее раздвоеніе есть необходимый моментъ въ развитіи каждаго лица или каждаго народа. Въ доказательство этого произвольнаго положенія не найдется, конечно, ни одного разумнаго довода: оно возникло изъ поверхностнаго знанія фактовъ историческихъ и изъ поверхностнаго наблюденія надъ современнымъ просвѣщеніемъ. Между тѣмъ оно совершенно ложно (если только подъ словомъ *раздвоеніе* не принимать гармоническаго процесса всякаго мышленія). Здравое единство не нуждается въ моментѣ раздвоенія, котораго дѣйствительное разрѣшеніе есть смерть (точно также какъ двойственность Гегелизма не разрѣшается ни во что, кромѣ Буддаистическаго Нигилизма). Тамъ, гдѣ этотъ моментъ дѣйствительно наступаетъ или наступилъ, разумная критика указываетъ на односторонность или раздвоеніе началъ жизненныхъ и духовныхъ, предшествовавшее явному разрыву и необходимо приводившее къ нему. Одностороннее знакомство съ Западомъ и признаніе его за норму человѣческой дѣятельности привело къ произвольной теоріи, выдаваемой за законъ развитія человѣческаго. Тѣже самыя причины привели къ ложнымъ понятіямъ о ходѣ просвѣщенія и художества: такъ, напримѣръ, заграничные теоретики, а вслѣдъ за ними многіе изъ нашихъ, въ просвѣщеніи, особенно же въ художествѣ, признаютъ необходимость двухъ эпохъ: народной, безличной, и личной, отрѣшенной отъ народности.

Эта теорія принадлежитъ въ особенности Франціи и Германіи.

Въ этихъ двухъ странахъ она имѣетъ нѣкоторый смыслъ, какъ наблюденіе надъ домашними явленіями, но она становится ложною, какъ скоро является съ притязаніями быть закономъ общимъ. Высшее художественное явленіе Греческой и, можетъ быть, всемірной словесности—творенія, носящія имя Гомера, были пѣснію народною. Въ тѣсной области Аѳинъ вся безконечно богатая литература и чудная пластика были явленіемъ чисто народнымъ. Поэзія Арави-

тинъ принадлежитъ къ тому же разряду, и конечно ученая критика не скоро найдетъ страну, которая превзошла бы красотою своего художественнаго развитія эти двѣ страны. Въ новѣйшія времена, какъ я уже сказалъ, такія явленія не могли повторяться въ областяхъ, въ которыхъ все носило характеръ основнаго раздвоенія. За всѣмъ тѣмъ многія и даже лучшія художественныя явленія не подлежатъ мнимому закону, выдуманному досужею критикою. Такъ, напр., въ Италіи идетъ постоянный размѣнъ музыкальнаго вдохновенія между народомъ и маэстрами; такъ живопись Итальянская есть столько же собственность народа, понимающаго и глубоко чувствующаго ея красоту, сколько и высшихъ сословій; такъ поэма Тассо отчасти усвоена и принята Венеціанскими гондольерами; такъ въ Англіи Шекспиръ принадлежитъ почти всѣмъ сословіямъ, и Бернсъ есть поэтъ народный не потому, что изъ народа вышелъ, а потому, что принятъ народомъ, какъ свой. За всѣмъ тѣмъ внутреннее раздвоеніе всей организаціи на Западѣ безспорно мѣшало развитію истинно народныхъ художествъ и мѣшало тѣмъ болѣе, чѣмъ это раздвоеніе сильнѣе. Явленія художества народнаго возможны отчасти въ Англіи, гдѣ существовала народная Саксонская стихія, подавленная, но не уничтоженная Норманскимъ наплывомъ; еще болѣе возможны въ низменной Шотландіи, гдѣ этотъ наплывъ былъ почти ничтоженъ; до нѣкоторой степени возможны въ Италіи или Испаніи, гдѣ отъ древности до нашего времени внутренній разрывъ состава народнаго былъ далеко не такъ силенъ, какъ въ средней Европѣ; въ полнотѣ своей невозможны нигдѣ и совершенно невозможны во Франціи, гдѣ никогда не было ни языка, ни народа, ни истинной жизни. Впрочемъ, по мѣрѣ того, какъ художество народное дѣлается менѣе возможнымъ, тамъ оскудѣваетъ художество и вообще, и Франція по необходимости всегда была въ высшей степени страною анти-художественною, то есть не только неспособною производить, но неспособною понимать прекрасное, въ какой бы то ни было области искусства. Такъ, напр., въ наше время Франція и офранцузившаяся публика встрѣчали съ слѣпымъ благоговѣніемъ произведенія Жоржъ-Занда, которыя совер-

шенно ничтожны въ смыслѣ художественномъ (какое бы они не имѣли значеніе въ отношеніи движенія общественной мысли) и не нашла ни похвалъ, ни удивленія, когда та же Жоржъ-Зандъ почерпнула изъ скуднаго, но уцѣлѣвшаго источника простаго человѣческаго быта прелестный и почти художественный разсказъ Чортовой Лужи, подъ которымъ Диккенсъ и едва ли не самъ Гоголь могли бы подписать свои имена. Художество, какъ я уже сказалъ, не есть произведеніе единичнаго духа, но произведеніе духа народнаго въ одномъ какомъ нибудь лицѣ. Сохраненіе же именъ въ памяти народной или ихъ забвеніе есть чистая случайность, не составляющая дѣйствительно никакой разницы въ исторіи искусства. Менѣе ли народны пѣсни Аравитянъ потому, что Аравитяне помнятъ имена ихъ сочинителей, умершихъ за нѣсколько тому вѣковъ?

Что̀ сказано объ искусствѣ, относится и къ просвѣщенію вообще; но просвѣщеніе истинное, которое есть достояніе всѣхъ и ничѣмъ инымъ быть не можетъ, доступно только тѣмъ странамъ, которыхъ внутренній составъ основанъ на единствѣ стихій племенныхъ и умственныхъ; на Западѣ же, особенно въ тѣхъ земляхъ, которыя, повидимому, идутъ передовыми вожатыми науки, оно невозможно, потому что разница между богатствами лорда, питающагося въ Англіи тропическими фруктами, и бѣднаго поденщика на угольныхъ копяхъ, съ трудомъ достающаго насущный хлѣбъ, не такъ велика, какъ разница между ихъ умственными развитіями или между образованіемъ такъ называемыхъ общественныхъ вершинъ въ Парижѣ и бѣдныхъ пастуховъ, бѣгающихъ на ходуляхъ за стадами своими по прибережью Бискайскаго залива. Язва духовнаго пролетарства ужаснѣе язвы пролетарства вещественнаго. Обѣ неисцѣлимы вездѣ, гдѣ слабость и скудость личная не восполняется и не укрѣпляется плодотворнымъ общеніемъ любви и духа народнаго. Но то, что̀ теперь недоступно Западу, доступно намъ и нашимъ единокровцамъ, особенно же единовѣрцамъ Славянамъ.

Кстати о Славянахъ. Нѣкоторые журналы называютъ насъ насмѣшливо Славянофилами, именемъ составленнымъ на иностранный ладъ, но которое въ Русскомъ переводѣ

значило бы *Славянолюбцевъ*. Я съ своей стороны готовъ принять это названіе и признаюсь охотно: люблю Славянъ. Я не скажу, что я ихъ люблю потому, что въ ранней молодости, за границами Россіи, принятый равнодушно, какъ всякій путешественникъ, въ земляхъ не-Славянскихъ, я былъ въ Славянскихъ земляхъ принятъ, какъ любимый родственникъ, посѣщающій свою семью; или потому, что во время военное, проѣзжая по мѣстамъ, куда еще не доходило Русское войско, я былъ привѣтствуемъ Болгарами, не только какъ вѣстникъ лучшаго будущаго, но какъ другъ и братъ; или потому, что, живучи въ ихъ деревняхъ, я нашелъ семейный бытъ своей родной земли; или потому, что въ ихъ числѣ находится наиболѣе племенъ православныхъ, слѣдовательно связанныхъ съ нами единствомъ высшаго духовнаго начала; или даже потому, что въ ихъ простыхъ нравахъ, особенно въ областяхъ православныхъ, таятся добродѣтели и дѣятельность жизни, которыя внушали любовь и благоговѣніе просвѣщеннымъ иностранцемъ, каковы Бланкй и Буэ. Я этого не скажу, хотя тутъ было бы довольно разумныхъ причинъ; но скажу, одно: я ихъ люблю потому, что нѣтъ Русскаго человѣка, который бы ихъ не любилъ; нѣтъ такаго, который не сознавалъ бы своего братства съ Славяниномъ и особенно съ православнымъ Славяниномъ. Объ этомъ, кому угодно, можно учинить справку хоть у Русскихъ солдатъ, бывшихъ въ Турецкомъ походѣ, или хоть въ Московскомъ гостиномъ дворѣ, гдѣ Французъ, Нѣмецъ и Итальянецъ принимаются какъ иностранцы, а Сербъ, Далматинецъ и Болгаринъ, какъ свои братья. Поэтому насмѣшку надъ нашей любовію къ Славянамъ принимаю я также охотно, какъ и насмѣшку надъ тѣмъ, что мы Русскіе. Такія насмѣшки свидѣтельствуютъ только объ одномъ: о скудности мысли и тѣснотѣ взгляда людей, утратившихъ свою умственную и духовную жизнь и всякое естественное или разумное сочувствіе, въ щеголеватой мертвенности салоновъ или въ односторонней книжности современнаго Запада.

Возстановленіе нашихъ частныхъ умственныхъ силъ зависитъ вполнѣ отъ живаго соединенія съ стародавнею и все таки намъ современною Русскою жизнію, и это соединеніе воз-

можно только посредствомъ искренней любви. Иные твердятъ о своихъ патріотическихъ чувствахъ, а «людей въ Кіевѣ ничѣмъ зовутъ», какъ царь Калинъ въ сказкѣ, или ругаются надъ неученою Русью, какъ чиновникъ въ повѣсти Достоевскаго «Бѣдные Люди», высказавшаго (не знаю, сознательно или нѣтъ) въ этомъ презрѣніи Дѣвушкина къ мужику и бабѣ страшное оправданіе его собственныхъ страданій. Иные увѣряютъ, что вся будущность Русская заключается въ грамматическомъ знаніи Русскаго языка, какъ будто бы языкъ, а не вся духовная сила Русскаго человѣка, создалъ нашу великую родину. Она приняла многихъ, ей служили многіе; но ея корни живутъ и питаются только въ душѣ Русскихъ людей. Всѣ эти мнимыя формы любви—не-любовь. Въ нихъ сужденіе самое доброжелательное можетъ признать только холодное благоволеніе или ту гордую благотворительность, которой лучшимъ выраженіемъ считаю я статью въ Земледѣльческой Газетѣ прошлаго года 12 Февраля, начинающуюся снисходительными похвалами смышленности и толку Русскихъ крестьянъ, а оканчивающуюся тѣмъ, что авторъ разсказываетъ съ одобреніемъ, какъ староста вылечилъ *кликушъ* посредствомъ чего-то въ родѣ рекрутскаго осмотра. Не такъ понимаю я любовь и общеніе.

Общеніе заключается не въ простомъ размѣнѣ понятій, не въ холодномъ и не въ эгоистическомъ размѣнѣ услугъ, не въ сухомъ уваженіи къ чужому праву, всегда оговаривающемъ уваженіе къ своимъ собственнымъ правамъ, но въ живомъ размѣнѣ не понятій однихъ, но чувствъ, въ общеніи воли, въ раздѣленіи не только горя (ибо состраданіе чувство слишкомъ обыкновенное), но и радости жизненной. Только такаго рода общеніе можетъ возвратить насъ къ началамъ жизни, нами утраченной, и привести насъ изъ состоянія безнародной отвлеченности и мертвой самодовольной разсудочности къ полному участію въ особенностяхъ, характерѣ и физіономіи народа. Наши школьническія полузнанія развились бы до науки и развили бы науку, внеся въ нее великія и до сихъ поръ ей чуждыя начала, отличающія насъ отъ Западнаго міра съ его Латино-протестантскою односторонностію, съ его историческимъ раздвоеніемъ. Въ нашемъ бытѣ отозва-

лось бы то единство, которое лежало искони въ понятіи Славянской общины и которое заключается не въ идеѣ дружиннаго договора Германскаго или формальнаго права Римскаго (т. е. правды внѣшней), но въ понятіи естественнаго и нравственнаго братства и внутренней правды *). Въ художествѣ наступила бы новая эпоха, и оно перестало бы влачиться безсильно по стезѣ рабскаго подражанія, а стало бы выражать свободно и искренно (посредствомъ звука, или слова, или формы) идеалы красоты, таящіеся въ душѣ народной; ибо корень искусства есть любовь, формальное же изученіе его есть не что иное, какъ пріобрѣтеніе матеріальныхъ средствъ для успѣшнѣйшаго выраженія любимаго идеала; но безъ этого идеала и безъ любви къ нему искусство есть только ремесло. Профессоръ можетъ сказать ученику или богачъ своему подрядчику: «напиши побѣду Александра Невскаго надъ Шведами», и ученикъ или подрядчикъ напишетъ русаго молодца въ завиткахъ, который бьетъ и рубитъ болѣе или менѣе рыжихъ или русыхъ молодцовъ. Онъ можетъ сказать: «напиши побѣду Пожарскаго надъ Литвою», и опять ученикъ или подрядчикъ напишетъ такого же русаго молодца въ завиткахъ, который бьетъ и рубитъ болѣе или менѣе русыхъ или черноволосыхъ молодцовъ; но во всемъ этомъ нѣтъ и признака художества, ото всего этого вѣетъ могильнымъ холодомъ. Только въ живомъ общеніи народа могутъ проясниться его любимые идеалы и выразиться въ образахъ и формахъ, имъ соотвѣтственныхъ; но для того, чтобы оживилась наука, быть и художество, чтобы изъ соединенія знанія и жизни возникло просвѣщеніе, мы должны, сознавая собственное свое безсиліе и собственныя нужды, слиться съ жизнію Русской земли, не пренебрегая даже мелочами обычая и, такъ сказать, обряднымъ

*) Въ исторіи нашей Руси идея единства общиннаго лежала всегда, какъ основной камень всѣхъ общественныхъ понятій; но долго происходила борьба мелкихъ общинъ съ идеею великой общины. Наконецъ, идея единства великой общины восторжествовала, послѣ кровавыхъ смутъ, ополченіемъ всей Руси за Москву, и избраніемъ царя — молодого Михаила. Тогда обнаружилось, что единство, казавшееся слѣдствіемъ исторической случайности при царяхъ Рюриковичахъ, было дѣйствительно дѣломъ Русской земли.

единствомъ, какъ средствомъ къ достиженію единства истиннаго,—и еще болѣе, какъ видимымъ его образомъ.

Я знаю, что многіе говорятъ съ пренебреженіемъ объ этихъ мелочахъ и что Петербургскіе журналы объявляютъ во всеуслышаніе, что народность не въ бородѣ и не въ зипунѣ. Я не спорю. Не имѣю притязаній на монополію любви къ Россіи и не изъявляю сомнѣнія на счетъ чувствъ нашихъ критиковъ. Я готовъ не только признать въ нихъ любовь къ нашей Святой Руси, но готовъ признаться и въ томъ, что это чувство похвальнѣе во многихъ изъ нихъ, чѣмъ во мнѣ: во мнѣ оно невольно и прирожденно; во многихъ изъ нихъ оно—чувство, пріобрѣтенное волею и разсудкомъ и, такъ сказать, наживное. Но, съ другой стороны, отъ этой разницы въ началѣ чувства происходятъ, можетъ быть, разныя понятія о предметахъ и разные взгляды на народность. Тонкія, невидимыя струны, связывающія душу Русскаго человѣка съ его землею и народомъ, не подлежатъ разсудочному анализу. Можетъ быть, нельзя доказать, чтобы Русская пѣсня была лучше Итальянской баркароллы или тарантеллы; но она иначе отзывается въ Русскомъ ухѣ, глубже потрясаетъ Русское сердце. Точно также для Русскаго глаза особенно пріятны образы, окружавшіе его дѣтство и встрѣчавшіе его взглядъ на свободѣ сельскаго простора. Нападеніе на Русское платье есть нападеніе на свободу вкуса и чувства, нисколько не посягающую на чужой вкусъ и чужое чувство; оно будетъ разумно только тогда, когда будетъ доказано, что фракъ разумнѣе или удобнѣе зипуна, или когда художники произнесутъ приговоръ о сравнительномъ изяществѣ нарядовъ. До тѣхъ поръ отверженіе одежды только потому, что она Русская одежда, должно казаться нѣсколько страннымъ, чтобы не сказать: нѣсколько оскорбительнымъ.

Конечно, о такихъ мелкихъ подробностяхъ не стоило бы упоминать, но не мѣшаетъ и упомянуть, чтобы привести мысль и чувство такъ называемой образованной публики къ большей простотѣ (необходимому условію того жизненнаго общенія, о которомъ я уже говорилъ). Только въ этой безыкусственной простотѣ можетъ пробудиться возможность искусства, науки и разумнаго быта; ибо только въ живомъ общеніи съ народомъ вы-

ходитъ человѣкъ изъ мертвеннаго одиночества эгоистическаго существованія и получаетъ значеніе живаго органа въ великомъ организмѣ; только при немъ можетъ всякая здравая мысль и всякое теплое чувство, возникшее въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ, сдѣлаться достояніемъ общимъ и получить вліяніе и важность, не изъявляя и не имѣя притязаній на важность и вліяніе; только при немъ возможно то просвѣщеніе, къ которому Западъ стремится безнадежно и котораго достигнуть не можетъ, вслѣдствіе своего внутренняго раздвоенія. Конечно, для каждаго изъ насъ перевоспитаніе самого себя сопряжено съ немалымъ трудомъ; но труда жалѣть не должно, когда предположенная цѣль есть возрожденіе жизненныхъ началъ въ насъ и развитіе истиннаго просвѣщенія на Святой Руси.

Что̀ до меня касается, то, приглядываясь къ безплоднымъ усиліямъ многихъ къ добру и пользѣ, прислушиваясь къ общимъ жалобамъ Европы на безжизненность, на безсвязность, на безплодность общества, я не могу не считать отраднымъ такаго состоянія, въ которомъ каждое частное лицо, какъ бы ни было низко или высоко его званіе, какъ бы ни были скромны или блистательны его способности, чувствуетъ, что уже однимъ нравственнымъ достоинствомъ своей жизни оно вноситъ значительный вкладъ въ общую сокровищницу, и что, съ другой стороны, сколько бы оно ни вносило въ нее, оно всегда получаетъ изъ нея во сто кратъ болѣе, чѣмъ можетъ принести.

ПИСЬМО ОБЪ АНГЛІИ.

ЕЛЕЦКАЯ БИБЛІОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ

Письмо объ Англіи *).

Любезный другъ!

Извѣстное дѣло, что достопочтенный Беда говоритъ объ Англосаксахъ идолопоклонникахъ, что они должны отрекаться отъ Чернобога и Сибы. Егингардъ называетъ Бѣлбога въ числѣ Саксонскихъ боговъ. Итакъ, стихія Славянская въ приморскихъ Саксонцахъ не подвержена сомнѣнію. Но въ которомъ изъ ихъ племенъ можемъ мы ее найти? Коренные Саксы—безспорные Германцы съ примѣсью Скандинавской. Юты также Германцы, можетъ быть съ примѣсью Кимврской. Остаются Варны и Англы. И тѣ и другіе повидимому принадлежатъ Славянскимъ семьямъ; но Англы важнѣе Варновъ и слѣдовательно могли сильнѣе дѣйствовать на религію всего Саксонскаго союза и на его общественный бытъ, давая ему своихъ боговъ, давая его начальникамъ Славянское названіе *Владикъ* (или Владыкъ) и вводя въ обычай—Славянскій судъ цѣловальниками или порѐтниками, т. е. присяжными. Англы перешли, какъ извѣстно, изъ Помераніи, т. е. изъ Славянскаго поморья въ Тюрингію, а оттуда къ устьямъ Рейна, откуда они переселились въ Англію и дали ей свое имя. Имя это связывается весьма ясно съ именемъ царственнаго рода Инглинговъ или Енглинговъ (Енгличей), потомковъ Фрейера, бога при-Донскаго, отъ котораго вели свой родъ Енгличи Скандинавскіе, такъ же какъ и князья Англовъ въ Англіи, называя его Ингви, Ингинъ или Ингіуни (Ингви Фрейръ по Ара Фроде и Снорро). И такъ, въ имени Инглингъ, Енглингъ или Англингъ (Енгличъ или Англичъ) мы находимъ только

*) Напечатано въ „Москвитянинѣ" 1848 года, книга 7-я. Авторъ въ 1847 году лѣтомъ [illegible] въ Англіи. *Изд.*

носовую форму Славянскаго племеннаго имени Угличей (также какъ слово Тюрингъ совпадаетъ со словомъ Тверичъ).

Такъ думалъ я прошлаго года въ Остендѣ, гдѣ пріятно дѣлилъ время между купаньемъ, шатаньемъ по безплоднымъ дюнамъ, пистолетной стрѣльбой и бесѣдой съ Русскими пріятелями. Надобно же посѣтить землю Угличанъ, иначе Англичанъ, которая такъ близка къ Остенду.

Былъ теплый Іюльскій вечеръ. Послѣ чаю пошелъ я гулять по городу. Часовъ въ 10 зашелъ въ кофейную и вижу, что въ 12 часовъ ночи отходитъ въ Англію Тритонъ, лучшій изъ пароходовъ, содержащихъ прямое сообщеніе Остенда съ Лондономъ. Я поспѣшилъ домой, сообщилъ это извѣстіе всей моей компаніи, и послѣ очень короткаго совѣщанія рѣшено было ѣхать. Полчаса сборовъ, да полчаса ужина,—и въ половинѣ 12-го отправились мы, большіе и малые, на пристань. Гоголь насъ проводилъ до пристани и пожалъ намъ руку на прощанье. Безъ четверти въ 12 были мы на пароходѣ; въ 12 часовъ заворчалъ котелъ, завертѣлись колеса, и мы пошли.

Едва тронулись мы съ мѣста, какъ отъ колесъ парохода, и отъ его боковъ, и позади его, побѣжали огненныя струи. Это была игра морской фосфорности. Она уже была мнѣ извѣстна по другимъ морямъ и не разъ веселила меня въ Остендѣ во время ночнаго прибоя, но никогда не видалъ я ея въ такомъ блескѣ: матросы говорили, что намъ особенное счастіе. Длинныя волны яркаго свѣта, то бѣлаго, то блѣдно-голубаго, окружали нашъ пароходъ и отъ него бѣжали въ даль, казалось, на полверсты или на версту. Одна волна гасла, другая загоралась; свѣтъ брызгалъ отъ колесъ; свѣтлой змѣей бѣжалъ нашъ слѣдъ по морю, и глаза наши не могли нарадоваться на огненную прихоть воды. Фосфоричность продолжалась около часа, слабѣя по мѣрѣ нашего удаленія отъ береговъ; чрезъ часъ она прекратилась совершенно. Кругомъ насъ была темная синева моря, надъ нами безоблачная синева неба! Мало-по-малу ушли всѣ пассажиры съ палубы; я остался одинъ, но не рѣшался сойти въ каюту. Ночь была теплая, тишина совершенная; ни одной волны на морѣ, множество свѣтлыхъ звѣздъ на небѣ. Пароходъ бѣжалъ какъ лихой рысакъ по 15-ти узловъ (около 23-хъ верстъ) въ часъ;

машина его играла вѣрно и ровно, какъ бой часовъ; земля, мнѣ незнакомая, становилась все ближе и ближе: тутъ было не до каюты. То ходилъ я по палубѣ, то ложился отдыхать на лавкѣ, то заговаривалъ съ рулевымъ, который мнѣ отвѣчалъ, не смотря на запрещеніе, писанное крупными буквами: да вѣдь ихъ ночью не видать. Онъ спросилъ у меня, бывалъ ли я когда-нибудь въ Англіи, и когда я сказалъ, что не бывалъ, онъ прибавилъ съ улыбкою добродушной увѣренности: «О! вы полюбите нашу старую Англію» (Oh Sir! you'll like our old England).—Посмотримъ, сбудется ли предсказаніе.

Разсвѣло. Утро было такъ же тихо и безоблачно, какъ и ночь; только легкая рябь пробѣгала по морю, горя и сверкая отъ солнечныхъ лучей. Мало-по-малу вдали на Западѣ сталъ подниматься надъ водою бѣлый гребень Англійскаго берега. Впереди насъ, потомъ и вправо, и влѣво, стали показываться паруса разной величины, потомъ десятки парусовъ, потомъ сотни; между ними тамъ и сямъ чернѣли дымныя полосы пароходовъ. Мы приближались къ устью Темзы; берега Англіи стали ниже и зеленѣе, кругомъ насъ было множество отмелей. Входъ въ устье Темзы небезопасенъ даже для дружескаго корабля; онъ былъ бы еще опаснѣе для недруга. А входилъ же въ него смѣлый Голландецъ съ помеломъ на мачтѣ! Правда, съ того времени прошло два вѣка, и теперешняя Англія не Англія Стюартовъ; но много могутъ сила и воля человѣка. Мы вошли въ Темзу, остановились у таможни, пересѣли на мелкій пароходъ, также необыкновенно скорый на ходу, и пошли далѣе. Справа, слѣва, впереди насъ—сотни, кажется, тысячи мачтъ: сильнѣе, живѣе торговая жизнь. Надъ водою и на небѣ легкій туманъ, въ туманѣ довольно высокій берегъ, надъ нимъ страшная громада строеній, надъ ними башни-колокольни, огромный куполъ; еще далѣе верхи колоннъ, стрѣлки готическихъ колоколенъ,—городъ безконечный, невообразимый. Это Лондонъ. По Темзѣ, которой ширина немного уступаетъ ширинѣ Невы, тѣснятся корабли, пароходы и лодки. Чрезъ нее, одинъ за однимъ, одинъ другого смѣлѣе и величественнѣе, перегибаются каменные мосты. Мы стояли на пароходѣ, не отводя глазъ отъ этаго чуднаго зрѣлища, въ какомъ-то полувеселомъ, по-

луиспуганномъ изумленіи. Пароходъ шелъ быстро противъ теченія, минуя башни и мосты, дворцы и куполы; наконецъ, онъ причалилъ къ пристани у цѣпнаго моста. Въ одно время съ нами причаливали къ ней и отчаливали отъ нея 9 пароходовъ, и всѣ полны. «Что это? Какой-нибудь праздникъ?» Нѣтъ: здѣсь почти всегда тоже. На пристани толпа непроходимая; по высокой лѣстницѣ поднялись мы на берегъ, таже толпа на берегу; пошли по улицамъ, таже толпа на улицахъ. Мы добрались до трактира (Іоркскій Отель, который всѣмъ рекомендую), утомленные не путемъ, а впечатлѣніями. Едва ли кто-нибудь можетъ забыть въѣздъ въ Лондонъ по Темзѣ.

Вечеромъ на другой день бродили мы по городу: вездѣ такое же многолюдство, такое же движеніе. Нигдѣ художественной красоты, но вездѣ огромные размѣры и удивительное разнообразіе. Скоро узналъ я Лондонъ довольно коротко; мнѣ стало уютно и какъ будто дома. Я видѣлъ башню Лондонскую съ ея вѣковыми твердынями, видѣлъ Вестминстерское аббатство съ его сотнями гробницъ, которыхъ малая часть была бы достаточна для славы цѣлаго народа, и видѣлъ, какъ благоговѣютъ Англичане передъ величіемъ своей старины; я видѣлъ Гошпиталь Христа, въ которомъ ученики ходятъ еще и теперь въ странномъ нарядѣ Тюдорскихъ временъ; и Лондонъ сталъ мнѣ понятенъ: тутъ вершины, да за то тутъ и корни.

Не въ первый разъ и немало бродилъ я по Европѣ, не мало видѣлъ городовъ и столицъ. Всѣ они ничто передъ Лондономъ, потому что всѣ они кажутся только слабымъ подражаніемъ Лондону. Кто видѣлъ Лондонъ, тому въ Европѣ изъ живыхъ городовъ (объ мертвыхъ я не говорю) остается только видѣть Москву. Лондонъ громаднѣе, величественнѣе, люднѣе; Москва живописнѣе, разнообразнѣе, богаче воздушными линіями, веселѣе на видъ. Въ обоихъ жизнь историческая еще цѣла и крѣпка. Житель Москвы можетъ восхищаться Лондономъ и не страдать въ своемъ самолюбіи. Для обоихъ еще много впереди.

Два дня сряду ходили мы по Лондону, и все тоже движеніе, тоже кипѣніе жизни. На третій день поутру пошли

мы къ обѣднѣ въ церковь нашего посольства. Улицы были почти пусты: кое-гдѣ по тротуарамъ торопливо пробѣгали люди, опоздавшіе къ церковной службѣ. Черезъ два часа пошли мы назадъ. На улицахъ движенія не было: только по тротуарамъ шли толпы людей, которыхъ лица выражали тихую задумчивость; они возвращались домой отъ службы церковной. Таже тишина продолжалась цѣлый день. Таково Воскресенье въ Лондонѣ. Страненъ видъ этой пустоты, странно безмолвіе въ этомъ громадномъ, шумномъ, вѣчно кипучемъ городѣ; но за то едва ли можно себѣ представить что-нибудь величественнѣе этой неожиданной тишины. Мгновенно замолкли заботы торговой жизни, исчезли заманки роскоши, закрылись эти цѣльныя, двухъ-ярусныя стекла, изъ-за которыхъ выглядываютъ, кажется, всѣ сокровища міра; закрылись мастерскія, въ которыхъ неутомимый трудъ едва можетъ снискать себѣ насущный хлѣбъ; успокоилась всякая суета: два милліона людей самыхъ промышленныхъ, самыхъ дѣятельныхъ въ цѣломъ свѣтѣ, остановили свои занятія, перервали свои забавы, и все это изъ покорности одной высокой мысли. Мнѣ было отрадно это видѣть; мнѣ было весело за нравственность воли народной, за благородство души человѣческой. Странное дѣло, что есть на свѣтѣ люди, которые не понимаютъ и не любятъ воскресной тишины въ Англіи: въ этой непонятливости видна какая-то мелкость ума и скудость души. Конечно не всѣ, далеко не всѣ Англичане празднуютъ Воскресенье духовно такъ, какъ они соблюдаютъ его наружную святость; конечно, между тѣмъ какъ на улицахъ видно вездѣ благоговѣйное спокойствіе, во многихъ домахъ, иногда самыхъ аристократическихъ, идутъ дѣла порока и разврата. Что жъ? «Люди фарисействуютъ и лицемѣрятъ», скажешь ты. Это правда, но не фарисействуетъ и не лицемѣритъ народъ. Слабость и порокъ принадлежатъ отдѣльному человѣку, но народъ признаётъ надъ собою высшій нравственный законъ, повинуется ему и налагаетъ это повиновеніе на своихъ членовъ. Пусть Нѣмецъ и особенно Французъ этого не понимаютъ, въ нихъ непонятливость извинительна; но досадно, когда слышимъ Русскихъ или людей, которые должны бы быть Русскими, вто-

рящихъ словамъ Французовъ и Нѣмцевъ. Развѣ первый день Пасхи въ Россіи не соблюдается такъ же строго, какъ Воскресенье въ Англіи? Развѣ во время великаго поста пляшутъ хороводы или раздаются пѣсни въ Русскихъ деревняхъ? Развѣ есть какія-нибудь общественныя увеселенія даже въ большей части городовъ? Конечно, въ большихъ городахъ представляются исключенія, но надобно понять эти исключенія и ихъ причины. Въ Россіи высшее общество такъ просвѣщено и проникнуто такою духовною религіозностію, что оно не видитъ нужды во внѣшностяхъ народнаго обычая. Англія не имѣетъ этого счастія и поэтому строже соблюдаетъ общій обрядъ. Но, скажешь ты, если я Магометанинъ, я праздную Пятницу; если я Жидъ, я праздную Субботу: въ обоихъ случаяхъ, какое мнѣ дѣло до Англійскаго Воскресенья? Правда; но въ чужой монастырь съ своимъ уставомъ не ходятъ, а народъ Англійскій полагаетъ, что онъ въ Англіи дома.

Я не стану тебѣ разсказывать о своемъ житьѣ-бытьѣ въ Лондонѣ, о своихъ поѣздкахъ въ Оксфордъ или Гамптонъ, о паркахъ, замкахъ и садахъ, которымъ вся Европа подражаетъ и подражать не умѣетъ, объ изумрудной зелени луговъ, о красотѣ вѣковыхъ деревьевъ и особенно дубовъ, которымъ ничего подобнаго я въ Европѣ не видалъ, не смотря на то, что я видалъ немало лѣсовъ, въ которыхъ, можетъ быть, никогда не стучалъ топоръ дровосѣка: все это останется для нашихъ вечернихъ бесѣдъ и разсказовъ. Я скажу тебѣ только вкратцѣ про впечатлѣніе, произведенное на меня Англіею и про понятіе, которое я изъ нея вывезъ.

Я убѣжденъ, что, за исключеніемъ Россіи, нѣтъ въ Европѣ земли, которая бы такъ мало была извѣстна, какъ Англія. Ты назовешь это парадоксомъ; пожалуй, ты посмѣешься надъ моимъ убѣжденіемъ: я и на это согласенъ. Сперва посмѣйся, а потомъ подумай, и тогда ты повѣришь возможности этого страннаго факта. Извѣстія объ Англіи получаемъ мы или отъ Англичанъ, или отъ иностранныхъ путешественниковъ. Нельзя полагаться ни на тѣхъ, ни другихъ. Народъ, точно такъ же, какъ человѣкъ, рѣдко имѣетъ ясное сознаніе о себѣ; это сознаніе тѣмъ труднѣе, чѣмъ самобытнѣе образованіе народа или человѣка (разумѣется, что я говорю о со-

знаніи чисто логическомъ). Къ тому же должно прибавить, что изъ всѣхъ земель просвѣщенной Европы Англія наименѣе развила въ себѣ философскій анализъ. Она умѣетъ выразиться цѣлою жизнію своею, дѣлами и художественнымъ словомъ, но она не умѣетъ отдать отчетъ о себѣ. Иностранные путешественники могли бы сдѣлать то, что невозможно Англичанамъ; но и тутъ встрѣчается важное затрудненіе. Англія, почти во всемъ самобытная, сдѣлалась предметомъ постояннаго подражанія, а неразумѣніе есть всегдашнее условіе подражанія. Человѣкъ ли обезъянничаетъ человѣку, или народъ ломается, чтобы сдѣлаться сколкомъ другаго народа, въ обоихъ случаяхъ человѣкъ или народъ не понимаютъ своего оригинала: они не понимаютъ того цѣльнаго духа жизни, изъ котораго самобытно истекаютъ внѣшнія формы; иначе они бы и не вздумали подражать. Подражатель—самый плохой судья того, кому подражаетъ, а таково отношеніе остальныхъ народовъ къ Англіи. Вотъ простыя причины, почему жизнь ея и ея живыя силы остаются неизвѣстными, не смотря на множество описаній, и почему всѣ разсказы о ней наполнены ложными мыслями, которыя, посредствомъ повторенія, обратились почти въ повѣрье.

«Англичане негостепріимны, не любятъ иностранцевъ, даже до такой степени, что не позволяютъ у себя иностраннаго наряда». Это мы слышимъ отъ многихъ путешественниковъ, даже отъ Русскихъ. По собственному опыту я могу сказать, что въ этомъ нѣтъ ни слова правды, и убѣжденъ, что всѣ Русскіе, которые бывали въ Англіи, согласятся со мной. Нигдѣ не встрѣчалъ я больше радушія, нигдѣ такого дружескаго, искренняго пріема. Конечно, нѣтъ въ Англіи того безразборчиваго растворенія дверей передъ всякимъ пришлымъ, которое кое-гдѣ считается гостепріимствомъ; быть можетъ даже, Англійская дверь растворяется тугонько; но за то, кто въ Англійскій домъ взошелъ, тотъ въ немъ ужъ не чужой. Англичанинъ несовсѣмъ легко принимаетъ гостя; но это потому, что, принявши его, онъ будетъ его уважать. Такое понятіе, конечно, не показываетъ недостатка въ гостепріимствѣ. Мои знакомые въ Лондонѣ не жалѣли никакихъ хлопотъ, чтобы доставить мнѣ возможность видѣть все, что

мнѣ видѣть хотѣлось, а въ Оксфордѣ они нарушили даже свои собственные обычаи для того, чтобы угостить меня по обычаямъ Русскимъ. Тоже самое испыталъ и другой Русскій путешественникъ, посѣтившій Англію за годъ прежде меня. Иностранцы обвинили Англію въ негостепріимности, потому что не поняли истиннаго Англійскаго понятія о гостѣ; а Англичане не умѣютъ себя оправдать, потому что предполагаютъ свои понятія въ другихъ народахъ. — «Англичане не любятъ иностранцевъ и даже не терпятъ иностраннаго наряда». Конечно, нельзя сказать, чтобы Англичане оказывали большую любовь иностранцамъ; да я неслишкомъ ясно понимаю, за что какой бы то ни былъ народъ долженъ бы особенно любить иностранцевъ. Иная земля любитъ ихъ, какъ своихъ образованныхъ учителей; Нѣмецъ любитъ ихъ, какъ своихъ учениковъ; Французъ любитъ ихъ, какъ зрителей, которымъ онъ можетъ самъ себя показывать. Англичанину они ненужны, и поэтому онъ остается къ нимъ довольно равнодушнымъ: это очень естественно. Но если Англичанинъ узнаётъ въ иностранцѣ не праздно-шатающагося бездомника, не разгулявшагося трутня, а человѣка искренно и добросовѣстно трудящагося на поприщѣ всемірнаго общенія, дѣло перемѣняется, и радушный, дружескій пріемъ доказываетъ иностранцу глубокое сочувствіе Англійскаго народа. Съ другой стороны, предубѣжденіе, будто бы въ Англіи даже нарядъ иностранный нетерпимъ, совершенно несправедливо. Я это видѣлъ и испыталъ. Рѣшившись, не смотря на предостереженіе знакомыхъ, нисколько не перемѣнять своей обыкновенной одежды, ходилъ я въ Англіи, какъ и вездѣ, въ бородѣ (а бородъ въ Англіи не видать), въ мурмолкѣ и простомъ Русскомъ зипунѣ, былъ на гуляньяхъ, въ многочисленныхъ собраніяхъ народа, бродилъ по глухимъ, но многолюднымъ и, какъ говорятъ, полудикимъ закоулкамъ Лондона и нигдѣ не встрѣчалъ ни малѣйшей непріятности. Въ тоже самое время Французы жаловались на непріятности, не смотря на то, что ихъ платье было, повидимому, гораздо ближе къ Англійскому. Отчего такая разница? Причина очень проста. Я, какъ Русскій, ходилъ въ одеждѣ, Французы ходили въ нарядѣ; а Англичане не любятъ оче-

видныхъ притязаній. Это — черта народнаго характера, которую можно хулить или одобривать, но которая ничего не имѣетъ общаго съ непріязнію къ иностранцамъ. Вообще, я думаю, что Англія равнодушна къ иностранцамъ и этого осуждать не могу; но привѣтъ и ласки, съ которыми на улицахъ, на пароходахъ и лавкахъ встрѣчали Англичане Русскихъ дѣтей въ ихъ Русскомъ платьѣ, заставляютъ меня даже предполагать, что это равнодушіе нѣсколько смѣшано съ дружелюбіемъ.

Говорятъ еще: «Англичане народъ чопорный и церемонный». Опять ложное мнѣніе. Правда, Англичанинъ очень любитъ бѣлый галстукъ и едва ли не прямо съ постели наряжается во фракъ; правда, онъ рѣдко заговариваетъ съ незнакомымъ и не любитъ, чтобъ незнакомый съ нимъ заговаривалъ; онъ представляетъ, наконецъ, какую-то чинность въ обхожденіи, нѣсколько похожую на чопорность. Но опять это должно понять, и обвиненіе исчезнетъ. Англичанинъ любитъ бѣлый галстукъ, какъ онъ любитъ вообще опрятность и все то, что̀ свидѣтельствуетъ о ней. Въ бѣдности, въ состояніи, близкомъ къ нищетѣ, онъ употребляетъ невѣроятныя усилія, чтобъ сохранить чистоту; и комиссары правительства, въ своихъ разысканіяхъ о страданіи низшихъ классовъ, совершенно правы, когда разсказываютъ о нечистотѣ жилищъ, какъ о несомнѣнной примѣтѣ глубочайшей нищеты. Поэтому бѣлый галстукъ не то для Англичанъ, что̀ для другихъ народовъ. Тоже самое скажу я и о фракѣ. Это не нарядъ для Англичанина, а одежда, и одежда народная. Кучеръ на козлахъ сидитъ во фракѣ, работникъ во фракѣ идетъ за плугомъ. Можно удивляться тому, что самая уродливая и нелѣпая изъ человѣческихъ одеждъ сдѣлалась народною; но что жъ дѣлать? Таковъ вкусъ народный. Еще страннѣе и удивительнѣе видѣть, что люди изъ другого народа бросаютъ свое прекрасное, свое удобное народное платье и перенимаютъ чужое уродство: я говорю это мимоходомъ. Во всякомъ случаѣ должно признать, что фракъ чопоренъ у другихъ и нисколько не чопоренъ у Англичанъ, хотя онъ одинаково безтолковъ вездѣ. Нельзя не признаться, что отношеніе Англичанина къ незнакомому нѣсколько странно: онъ неохотно вступаетъ съ

нимъ въ разговоръ. Конечно, и эта черта очень преувеличена въ разсказахъ путешественниковъ-анекдотистовъ; по крайней мѣрѣ ни во время путешествія по Европѣ, ни въ Англіи я не былъ пораженъ ею, вступалъ съ островитянами въ разговоръ безъ затрудненія и находилъ иногда болѣе труда развязать языкъ иному Нѣмцу, особенно графскаго достоинства, чѣмъ Англійскимъ лордамъ; за всѣмъ тѣмъ я не спорю въ томъ, что они менѣе приступны, чѣмъ наши добродушные земляки или говорливые Французы. Трудно судить о народѣ по одной какой-нибудь чертѣ. Англичанинъ, выходя изъ кареты, въ которой онъ размѣнялся съ вами двумя-тремя словами, очень важно подаетъ вамъ свое пальто съ тѣмъ, чтобы вы помогли ему облачиться. Вамъ это покажется крайнею грубостію; но онъ туже услугу окажетъ и вамъ. Таковъ обычай. Англичанинъ не охотно вступаетъ съ вами въ разговоръ. Вамъ это кажется неприступностью, но во многомъ онъ скорѣе другихъ готовъ дружиться съ незнакомымъ и вѣрить новому знакомому. Такъ, напримѣръ, весьма небогатый Англичанинъ, съ которымъ я два дня таскался по горамъ Швейцарскимъ, встрѣтивъ меня въ Вѣнѣ въ совершенномъ безденежьѣ, почти заставилъ меня принять отъ него деньги на возвратный путь и насилу согласился взять отъ меня расписку; а должно замѣтить, что все богатство, которое онъ могъ при мнѣ замѣтить, состояло въ старомъ сюртукѣ и чемоданѣ величиной въ солдатскій ранецъ. Англичанинъ вообще не очень разговорчивъ, онъ и подавно неразговорчивъ съ иностранцемъ: это не чопорность и не церемонность. Смѣшно бы было брать на себя разгадку всякой особенности въ какомъ бы то ни было народѣ, и я не берусь объяснить эту черту въ Англичанахъ; но, можетъ быть, объясненіе ея состоитъ въ томъ, что слово въ Англіи цѣнится нѣсколько подороже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; что о пустякахъ говорить не для чего, а о чемъ нибудь подѣльнѣе — говорить съ незнакомымъ дѣйствительно неловко въ землѣ, въ которой разница мнѣній очень сильна и часто принимаетъ характеръ партій. Я не берусь доказывать, чтобы Англія ни въ чемъ не имѣла лишней чопорности: это остатокъ очень недавней старины. Тому лѣтъ сорокъ, общество во всей Европѣ было

чопорно, а Англія мѣняется медленнѣе другихъ земель; но на этомъ останавливаться не для чего, и мнѣ кажутся рѣшительно слѣпцами тѣ, которые не замѣчаютъ во многомъ гораздо болѣе простоты у Англичанъ, чѣмъ гдѣ-либо. Пойдите по Лондонскимъ паркамъ, даже по Сентъ-Джемскому, взгляните на игры дѣтей и на ихъ свободу, на группы взрослыхъ, которые останавливаются подлѣ незнакомыхъ дѣтей и слѣдятъ за ихъ играми съ дѣтскимъ участіемъ. Васъ поразитъ эта простота жизни. Пойдите въ Гайдъ-паркъ. Вотъ несется цвѣтъ общества на легкихъ статныхъ лошадяхъ, все блещетъ красотою и изяществомъ. Чтожъ? Между этими великолѣпными явленіями аристократическаго совершенства являются цѣлыя кучки людей на какихъ-то пѣгихъ и соловыхъ кляченкахъ, которые точно также важно разгуливаютъ по главнымъ дорогамъ, какъ и чистокровные лорды на своихъ чистокровныхъ скакунахъ. Это горожане, богатые, иногда милліонные горожане. Что̀ имъ за дѣло до того, что ихъ лошади плохи и что сами они плохіе ѣздоки! Они гуляютъ для себя, а не для васъ; для своего удовольствія, а не для показа. Это простота, которой себѣ не позволятъ ни Французъ, ни Нѣмецъ, ни ихъ архичопорные подражатели въ иныхъ земляхъ. — Поѣзжайте въ Ричмондъ, въ этотъ чудный паркъ, котораго красота совершенно Англійская, великолѣпная растительность и безконечная, богатая, пестрая даль, полусогрѣтая, полусокрытая какимъ-то свѣтлымъ, голубымъ туманомъ, поражаютъ глаза, привыкшіе даже къ берегамъ Рейна и къ прекрасной природѣ Юга. Тысячи экипажей ждутъ у рѣшетки, тысячи людей гуляютъ по всѣмъ дорожкамъ; на горѣ, по широкому лугу, мелькаютъ кучки играющихъ дѣтей; хохотъ, веселый говоръ несется издали. Поглядите: все-ли это дѣти? Совсѣмъ нѣтъ. Между дѣтьми и съ ними и отдѣльно отъ нихъ играютъ и бѣгаютъ взрослыя дѣвушки съ своими ровесниками, также весело и безцеремонно, какъ будто дѣти, и они принадлежатъ если не высокому, то весьма образованному обществу. Они словно дома, и имъ опять, какъ ѣздокамъ въ Гайдъ-паркѣ, нѣтъ никакого дѣла до васъ. Я это видѣлъ, и не разъ. А гдѣ еще увидите вы это въ Европѣ? И развѣ это не простота нравовъ? Сравните словесность

Англійскую съ другими словесностями, и тоже опять поразить васъ; сравните пухлую, фразистую, цвѣтистую и кудрявую рѣчь Французскаго депутата съ простымъ, нѣсколько сухимъ, но энергическимъ и рѣзкимъ словомъ Англійскаго парламента. Вслушайтесь въ эти шутливыя выходки, въ этотъ потокъ ѣдкой ироніи и въ громкій, непритворный смѣхъ слушателей, и скажите потомъ, гдѣ простота? А Англія считается чопорною, а вѣчно-актерствующая Франція простою. Отъ словъ перейдите къ дѣлу. Гдѣ дѣлается оно простѣе и гдѣ такія малосложныя средства даютъ такіе огромные результаты? Гдѣ умъ идетъ къ цѣли такъ прямо? Человѣкъ триста собрались въ большой комнатѣ въ вѣчныхъ своихъ черныхъ фракахъ, сидятъ кто какъ попалъ, почти въ безпорядкѣ; иной полулежитъ, иной дремлетъ; одинъ какой нибудь изъ присутствующихъ говоритъ съ своего мѣста: это парламентъ, величайшій двигатель новой исторіи. Человѣкъ пять-шесть съѣхались запросто, повидимому для того, чтобы истребить нѣсколько дюжинъ устрицъ: это директоры Остъ-Индской Компаніи, и за устрицами рѣшаются вопросы, отъ которыхъ будетъ зависѣть судьба двухсотъ милліоновъ людей, дѣла Индіи и Китая. Кстати объ этой компаніи. Не могу не повторить тебѣ разсказа, слышаннаго мною въ Англіи. Обѣдалъ я у богача-негоціанта, занимающагося особенно усовершенствованіемъ машинъ. Въ небольшомъ числѣ посѣтителей былъ одинъ старичокъ, нѣкогда участвовавшій въ правленіи компаніи. Говорили о томъ и семъ, зашла рѣчь и объ Остъ-Индіи и объ ея управленіи. Старичокъ разсказалъ слѣдующее. Тому лѣтъ двадцать пять, генералъ-губернаторъ сдѣлалъ представленіе о недостаточномъ числѣ служащихъ въ Остъ-Индіи. По его представленію, число ихъ было значительно увеличено; недостатокъ оказался еще сильнѣе. Черезъ три года новое представленіе и новое умноженіе администраторовъ, но недостатокъ въ нихъ оказался еще сильнѣе. Года черезъ три опять горе, и опять тотъ же результатъ. Наконецъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, входитъ новый г. губернаторъ съ такимъ же представленіемъ. Съѣхался совѣтъ директоровъ, и съ ними множество членовъ компаніи. Предложеніе прочтено, и начались споры. Человѣка два жа-

ловались на усиливающійся расходъ и хотѣли отказать въ просьбѣ г. губернатора; но огромное большинство было за нее: доказывало необходимость усиленія администраціи, невозможность порядка и справедливости безъ нея, и особенно глубокую необразованность Индіи, требующую сильной и строго-дисциплинированной администраціи. Послѣ трехъ-часового спора всѣ согласились, кромѣ одного немудраго акціонера, который до тѣхъ поръ молчалъ. Спросили его мнѣнія; онъ отвѣчалъ добродушно: «Господа, какъ я ни слушаю, я все-таки ничего не понимаю. Говорятъ, тому 12 лѣтъ было въ Остъ-Индіи слишкомъ мало администраторовъ; прибавили ихъ число: недостатокъ оказался сильнѣе, чѣмъ думали; черезъ три года опять прибавили столько же, потомъ опять столько же, а теперь просятъ еще больше, и все будетъ мало. Говорятъ, Индѣйцы народъ непросвѣщенный и непохожій на насъ. Въ Индіи я не бывалъ и не спорю съ знатоками; но, по моему разумѣнію, мы вошли въ дурную колею: мы сажаемъ, сами того не зная, растенія слишкомъ многоплодныя. Мы прибавимъ теперь администраторовъ, а года черезъ два придется ихъ число удвоить, и кончится тѣмъ, что къ каждому непросвѣщенному Индѣйцу придется приставить по два просвѣщенныхъ Англичанъ-администраторовъ; а между тѣмъ расходъ растетъ, дѣла путаются, и акціи упадаютъ: недолго до бѣды. Мой совѣтъ вотъ каковъ. У Индѣйцевъ совѣсть хоть и не похожа на нашу ученую совѣсть, а все же какая нибудь да есть. Дадимте просторъ Индѣйской совѣсти, позовемте на помощь Индѣйскій умъ, да убавимте администраторовъ покуда наполовину. Авось будетъ лучше, а экономія будетъ покуда навѣрное». Всѣ присутствующіе переглянулись, разсмѣялись и согласились. Опытъ начатъ былъ съ Цейлона: онъ удался. Совѣсть и умы были пробуждены, расходы убавлены, и дѣла пошли несравненно лучше. Хозяинъ нашъ замѣтилъ на это: «Плоха фабрика, въ которой вся сила уходитъ на тренье колесъ, а доходъ на ихъ подмазку», и потомъ онъ и старичокъ налили себѣ по большому стакану мадеры, кивнули другъ другу головою и выпили за здоровье другъ друга. Я тебѣ повторяю этотъ разсказъ потому, что онъ въ моемъ мнѣніи рѣзко характеризуетъ Ан-

глійскій умъ и ходъ дѣлъ въ Англіи. Другіе народы лѣзутъ на ходули, красуются, актерствуютъ или путаются въ многосложности хитрѣйшихъ устройствъ и слывутъ простыми. Англія вездѣ идетъ просто, а слыветъ чопорною и искусственною, потому что имѣетъ кое-какіе обычаи странные и непонятные для путешественниковъ: это безсмысленное и смѣшное повѣрье. Простота общественная не можетъ быть безъ простоты частной жизни.

Говорятъ: «Англичане невеселы, страдаютъ вѣчною скукою и наводятъ скуку на всѣхъ». Странное дѣло! Эта вѣчно скучающая земля изстари себя называетъ веселою, merry old England (старая веселая Англія). Должно быть она не догадывается и не замѣчаетъ, что ей скучно, а кому же бы лучше ея про это знать? Такое прозвище трудно приписать самолюбію. Самолюбіе можетъ увѣрить народъ, что онъ красивъ, силенъ, нравственеиъ и такъ далѣе; едва ли оно можетъ, едва ли даже оно станетъ увѣрять его, что онъ веселъ. Конечно, можно предположить, что это старая поговорка, утратившая свой смыслъ; но и такая догадка была бы крайне произвольна. Гдѣ живѣе и многочисленнѣе народныя игры? Гдѣ такое огромное стеченіе жителей на всякую общественную забаву отъ благородной скачки конской, въ которой участвуетъ вся гордость аристократіи, и отъ живописныхъ регаттъ *) по Темзѣ, въ которыхъ спорятъ между собою университеты и города, до кулачнаго боя, въ которомъ выражается вся упрямая энергія народа, и до пѣтушинаго и собачьяго боя, въ которомъ Англичане радуются тому, что умѣли передать животнымъ качества, давшія имъ самимъ такой великій перевѣсъ въ ихъ долгихъ борьбахъ съ другими народами? Но веселость веселости рознь. Сдержанное чувство Англичанина не для всѣхъ понятно, и чѣмъ пустѣе человѣкъ, тѣмъ менѣе способенъ онъ понимать истинную и глубокую веселость, какъ и всякое искреннее и глубокое чувство. Конечно, много страданій и заботъ прибыло съ вѣками, много подлилось желчи къ крови Англичанъ, и много врѣзалось морщинъ на челѣ веселой Англіи; но прежній характеръ еще

*) Такъ называется состязаніе лодокъ.

не совсѣмъ измѣнился. Не всѣ умѣютъ отличить смѣхъ, крикъ, пляску отъ веселости истинной. Вѣчное зубоскаленіе пустой головы идетъ также за веселость. Иному кажутся веселыми утомительная ничтожность Французскаго водевиля и эти мелкія шутки, которыя никогда ни въ комъ не возбуждали полнаго, здороваго, истинно веселаго смѣха; иной не умѣетъ различить Сервантеса и Гоголя отъ Поль-де-Кока. Что съ этимъ дѣлать? Человѣкъ на человѣка не похожъ, и только крѣпкая и серьезная природа можетъ сочувствовать истинной веселости. Въ салонѣ отъ роду никому никогда весело не бывало. Человѣкъ со смысломъ пойметъ, что въ Шекспирѣ во сто разъ болѣе веселости, чѣмъ въ Мольерѣ; и тотъ, для кого изъ романовъ Диккенса и особенно изъ его сценъ домашней жизни свѣтитъ теплое солнышко сердечной радости, не повѣритъ обвиненію Англіи въ скукѣ. Вмѣсто того, чтобъ сказать, что Англія невесела, я бы сказалъ, что Англія незабавна, и слава Богу! Знаешь ли ты, что веселость незабавна?

Говорятъ еще: «Англія—земля расчетовъ и промышленности, Англичанинъ живетъ для денегъ и власти и только что для денегъ и власти. Это полный, воплощенный, торжествующій матеріализмъ». И такая нелѣпость сдѣлалась тоже повѣріемъ. Недавно Кобденъ и товарищи его, послѣ десятилѣтней борьбы, уничтожили систему пошлинъ на хлѣбъ. Правда, и за это да будетъ имъ честь и слава, хотя цѣль ихъ была чисто промышленная, не безъ примѣси однако лучшаго чувства, состраданія къ рабочему классу. Вотъ энергическая упорность промышленниковъ; но изъ-за нея не слѣдуетъ забывать тридцатилѣтнюю борьбу Вильберфорса и его друзей, посвятившихъ всю жизнь свою и невѣроятные труды на освобожденіе Негровъ, дорого стоившее и ничѣмъ еще не окупившееся для Англіи. Ему, подвижнику человѣческаго и христіанскаго чувства, да будетъ большая слава, и съ нимъ вмѣстѣ Англіи, его родинѣ! — Аркрайтъ прилагаетъ паровыя машины къ бумагопряденью въ большомъ видѣ, онъ обѣщаетъ милліоны отечественной промышленности. Ему не вѣрятъ, на него нападаютъ тѣ, которыхъ онъ долженъ обогатить; ломаютъ его машины, разбиваютъ его фабрики; онъ принужденъ оставить Ланкастеръ и уходитъ въ Ланаркъ,

говоря: «вамъ на зло обогащу васъ», и Англійская торговля обогащается сотнями милліоновъ. Это славное проявленіе человѣческой силы; но развѣ менѣе силы въ борьбѣ, долго волновавшей Шотландскую церковь, и въ безкорыстныхъ пресвитерахъ, оторвавшихся недавно отъ Шотландскаго учрежденія? Развѣ не болѣе еще силы въ бѣдныхъ священникахъ, которые, не зная ни покоя, ни отдыха, въ продолженіе двадцати или тридцати лѣтъ, ежедневно борятся съ волнами и метелями для того, чтобы носить утѣшеніе Слова Божія полуодичавшимъ колонистамъ Канады? Виднѣе для всѣхъ усилія героевъ промышленности или политическихъ партій, за ними слѣдитъ съ жадностію подражательная Европа; но величественнѣе и болѣе достойна удивленія энергія духовныхъ началъ, мало замѣчаемая остальнымъ міромъ, который не думаетъ имъ подражать и даже неспособенъ понимать ихъ достоинство. Милліоны, сотни милліоновъ, идутъ на торговыя предпріятія громадныхъ размѣровъ и невѣроятной смѣлости. Газетный людъ, да близорукіе путешественники, да засохшіе народы глядятъ на это съ завистію, трубятъ про это съ колѣнопреклоненною досадою, да и начинаютъ около себя водить глазами, придумывая, гдѣ бы найти милліоновъ хоть поменьше Англіи, а все-таки вдоволь. И Англія славится единственно землею матеріализма, расчетовъ и денегъ, потому только, что ея подражатели въ ней ничего другого не видятъ и видѣть не умѣютъ. Дѣйствительно, такая же предпріимчивость торговли развилась въ Бельгіи и Голландіи, развивалась въ Сѣверной Германіи и даже во Франціи. Размѣры только поменьше; но десятки милліоновъ, употребляемыхъ безпрестанно на безвозвратный расходъ религіозныхъ ученій Пуританцевъ въ бѣдной Шотландіи, Католиковъ и Англиканцевъ въ Англіи (хоть, напр., въ Лондонѣ, гдѣ около семи милліоновъ асс. собрано въ теченіе четырехъ лѣтъ на построеніе церквей), всѣхъ сектъ и миссіонерскихъ обществъ, трудящихся по земному шару, десятки милліоновъ, употребляемыхъ на благотворительность общественную и на благотворительность частную, въ которой Англія уступаетъ, можетъ быть, одной Россіи,—вотъ что принадлежитъ собственно характеристикѣ Англіи, а объ

этомъ-то и забываютъ. Духовныя силы скрываются за силами вещественными. — Англія не жалѣетъ денегъ для высокихъ цѣлей и для общей пользы; въ этой землѣ корысти и расчетовъ люди не жалѣютъ денегъ даже для своего удовольствія, и общество не жалѣетъ ихъ для удовольствія общественнаго. Напримѣръ, въ Лондонѣ, гдѣ такъ дорогъ каждый клочокъ земли, изъ самаго центра города тянутся одинъ за однимъ великолѣпные парки Сентъ-Джемскій, Гринъ и Гайдъ-паркъ, и гуляющій народъ можетъ идти слишкомъ семь верстъ по зеленому лугу подъ тѣнью старыхъ деревъ, не сворачивая ни вправо, ни влѣво. Съ другой стороны, почти въ такихъ же размѣрахъ тянется прелестный паркъ Регента; далѣе, на восточномъ концѣ, собственно для бѣдныхъ его жителей, городъ разводитъ новый паркъ Викторіи, величиною въ нѣсколько сотъ десятинъ. Наконецъ, безчисленные скверы *) и парки Лондонскіе, взятые вмѣстѣ, занимаютъ пространство болѣе иной знаменитой столицы. Вотъ одинъ примѣръ изъ многихъ. Потомъ, поглядите на парки, на сады и дорогія заведенія у землевладѣльцевъ большихъ и малыхъ, на домики, которые такъ мило выглядываютъ изъ зелени, на всю роскошную уютность жизни, и вы догадаетесь, что деньги и расчетъ — не все для Англичанъ. Я знаю, что и другіе народы стали съ недавняго времени перенимать у нихъ и парки, и сады; но далеко, далеко подражателямъ до оригинала своего, и знаешь ли почему? По весьма простой причинѣ. Зелень и лѣсъ — давнишняя любовь Англійскаго народа. Жизнь историческая заключила его въ большіе города; но въ душѣ онъ и теперь житель села и страстный любитель древесныхъ тѣней. Какъ Русскій человѣкъ поетъ чистое поле и мураву шелковую (ахъ ты поле, поле чистое), такъ Англійская пѣсня теперь говоритъ: какъ весело, весело въ тихомъ зеленомъ лѣсу (T'is merry, t'is merry in good green wood). За то и деревья, которыя полюбилъ Англичанинъ, полюбили его, разрослись у него великолѣпными парками и рощами, дали ему густую тѣнь и наслали чудныя вдохновенія на его поэ-

*) Площади съ садами.

товъ, отъ старика Шекспира до нашихъ дней. Говорятъ: сила Англіи въ ея промышленности и торговлѣ. Тутъ есть доля правды; но Англія не была торговою страною, когда въ средніе вѣка она наступала на горло Франціи и вѣнчала своего короля на Французскій престолъ; она не была землею торговою тогда, когда боролась съ Испаніею, грозою всей Европы; когда при Кромвелѣ она предписывала законы всѣмъ державамъ Запада, или когда клала непреодолимыя преграды силѣ властолюбиваго Людовика. Въ наше время она обратилась къ промышленности подъ вліяніемъ новыхъ историческихъ законовъ, но царствуетъ она въ промышленности въ силу той внутренней энергіи, которая поставила ее такъ высоко въ другихъ областяхъ человѣческой дѣятельности. Уаттъ былъ только однимъ изъ лучей Нютонова свѣтила. Струя поэзіи, такъ великолѣпно излившаяся въ Шекспирѣ, не изсякла и бьетъ еще богато изъ Англійской земли въ Байронахъ, Скоттахъ и Диккенсахъ. Практическая сила Нельсоновъ, Куковъ и Клайвовъ, торговая смѣлость Аркрайтовъ растутъ на той же почвѣ, на которой воспитываются Вильберфорсы, Говарды, Матьюсы и тысячи миссіонеровъ. Отъ того-то громадная фабрика, грустное явленіе въ цѣломъ мірѣ, представляетъ въ Англіи какой-то характеръ смѣлой поэзіи. Для самой Англіи денежный вопросъ важенъ только по необходимости, а всякій духовный вопросъ важенъ по сочувствію. Душа, утомленная серьезнымъ матеріализмомъ Германіи и улыбающимся матеріализмомъ Франціи, отдыхаетъ въ Англіи и вмѣстѣ съ нею позволяетъ себѣ смѣяться надъ ея Домбеями и надъ путешественниками, которые кромѣ Домбеевъ ничего въ ней видѣть не умѣютъ.

Кажется, правъ былъ рулевой на Тритонѣ. Я полюбилъ его старую Англію; да видно я любилъ ее и прежде, можетъ быть отъ того, что ея имя происходитъ отъ Угличанъ.

Но что же Англія? Мой отвѣтъ будетъ: это земля, въ которой борятся Тори съ Вигами. Повидимому, опредѣленіе мое неново и неполно; но дѣло въ томъ, что Виги и Тори, о которыхъ такъ много говорятъ и пишутъ, совсѣмъ еще неопредѣлены и не имѣютъ ничего общаго съ тѣми мыслями, которыя мы привыкли съ ними связывать. «Вигъ —

либералъ, другъ человѣчества, свободы и успѣха, врагъ налоговъ и привилегій; Тори—консерваторъ, врагъ всякаго движенія впередъ, всякой свободы, всякаго усовершенствованія, защитникъ всякой стѣснительной привилегіи и всѣхъ налоговъ, падающихъ на большинство народа» и пр. и пр. «Вигъ демократъ, Тори аристократъ», и тому подобное. Такія понятія просты, удовлетворительны, даютъ право понимать газеты, говорить объ Англіи и даже, смотря по вкусамъ или выгодамъ, полюбить ту или другую партію, того или другого дѣятеля. Вообще такія понятія удобны. Жаль только, что они не даютъ нисколько возможности понимать дѣла и жизнь Англіи и совсѣмъ непохожи на дѣйствительность. Вигъ, другъ свободы, тянется изо всѣхъ силъ уничтожить свободу преподаванія, которую отстаиваетъ Тори, какъ извѣстно всѣмъ тѣмъ, кто слѣдилъ за споромъ, поднятымъ во время Мельбурнова управленія. Тори нападаетъ на налогъ въ пользу колоній и на привилегіи колоніальной торговли, а за нихъ вступаются Виги. Это видно было нѣсколько разъ во время спора о налогѣ на сахаръ. Вигъ, другъ свободы и демократъ, уличенъ въ послѣднее время самими Англичанами въ томъ, что онъ ввелъ и долго поддерживалъ въ Англіи власть аристократическую, созданную по образцу Венеціи, между тѣмъ какъ Тори возставалъ противъ нея и боролся съ нею. Централизація, всегда гибельная для свободнаго развитія жизни во всѣхъ ея отрасляхъ, находитъ постоянно защитниковъ въ Вигахъ и враговъ въ Торіяхъ. «Тори консерваторъ, а Вигъ другъ прогресса», а между тѣмъ усовершенствованія въ законахъ, въ учрежденіяхъ, въ устройствѣ общественномъ произошли столько же отъ Торіевъ, сколько отъ Виговъ. Это можно доказать исторіею всего послѣдняго столѣтія и даже самою исторіею парламентской реформы. Наконецъ, благородные голоса, въ пользу человѣчества и правды, противъ насилія и безсовѣстныхъ завоеваній, раздаются чаще изъ рядовъ Тористской партіи, чѣмъ отъ Виговъ. Стóитъ только вспомнить недавнія происшествія въ Кабулѣ и Китаѣ, чтобъ въ этомъ убѣдиться. И такъ, обыкновенныя понятія о Вигахъ и Торіяхъ надобно бросить, какъ никуда негодныя. Въ Англіи эта запутанность понятій повела къ тому,

что самыя названія Вигъ и Тори выходятъ изъ употребленія; а между тѣмъ они имѣютъ смыслъ и смыслъ истинный, къ несчастію искаженный опредѣленіями, основанными на поверхностномъ наблюденіи и на явленіяхъ совершенно случайныхъ. Виги и Тори считаются партіями политическими, и въ этомъ величайшая ошибка. Согласно съ характеромъ самой Англіи, земли гораздо болѣе соціальной, чѣмъ политической, должно признать въ нихъ партіи соціальныя, и тогда внутренняя жизнь самой земли сдѣлается понятною. Прибавимъ къ этому характеръ религіозный Англійскаго общества, и тайна Вигизма и Торизма уяснится вполнѣ. Но для этого надобно мнѣ сказать тебѣ нѣсколько словъ объ исторіи. Исторія Англіи требуетъ полнаго пересмотра.

Саксонцы завоевали землю Британцевъ въ тоже почти время, когда другіе народы Германскіе завоевали другія области Римской имперіи; но они завоевали ее иначе и съ другою цѣлію. Франку, Лонгобарду и Готеу, издавна жившимъ жизнію дружинною, нужны были корысть и рабы. Саксонцу, привыкшему къ земледѣлію, нужна была земля. Безспорно, малая часть побѣжденныхъ была обращена въ рабство; но большая часть или погибла, или удалилась въ Западныя области и продолжала борьбу. Это уже доказывается и тѣмъ, что почти всѣ мѣста и урочища Восточной и Средней Англіи утратили свои прежнія названія и получили названія Саксонскія. Побѣдители раздѣлили между собою землю и принялись за сельскій трудъ. Они составили не аристократію, а народъ и общины, управляемыя общимъ вѣчемъ (Виттагомъ). Дальнѣйшее развитіе было испорчено многими историческими обстоятельствами и особенно междоусобіями и нашествіями Датчанъ. Аристократическое начало развилось. Саксонское царство пало подъ ударами Французскихъ Норманновъ; но подавленная Саксонская стихія не утратила силы и нѣкоторой самобытности. Въ ней побѣдитель-Норманнъ уважалъ нравственное достоинство, доказанное самимъ сраженіемъ при Гастингсѣ, въ которомъ несчастный Гарольдъ оспаривалъ цѣлый день побѣду противъ непріятеля, втрое многочисленнѣйшаго. Раздоры между Норманнами снова возвысили значеніе Саксонскаго народонаселенія. Бароны вы-

звали его къ новой жизни, для того, чтобы найти въ немъ опору. Въ этомъ дѣлѣ особенно отличился хитрый, но смѣлый и энергическій Монфортъ Лейчестерскій. Начатое баронами было продолжено по необходимости королями рода Плантаженетовъ, и особенно величайшимъ изъ нихъ, Эдуардомъ Первымъ. Побѣжденный и побѣдитель слились окончательно въ одинъ языкъ, въ одну живую силу, и эту силу узнала Франція. Съ гордостью вспоминаетъ Англичанинъ, съ досадою помнитъ Французъ имена Пуатье и Азинкура, гдѣ, повидимому, горсть Англичанъ побѣждала огромныя ополченія Франціи; но эти побѣды были дѣломъ не рыцарей, которыхъ мужество было равно съ обѣихъ сторонъ. При Англійскомъ рыцарѣ были зеленый кафтанъ Линкольнскаго стрѣлка и бодрое сердце вольнаго поселянина (йомана); при Французскомъ была толпа бездушныхъ вассаловъ, годныхъ только для рѣзни и всегда готовыхъ къ бѣгству. Англія побѣждала, потому что у нея, и только у нея, былъ народъ. Страшная борьба Іорка и Ланкастера, погубившая столько родовъ Норманскихъ, укрѣпила Саксонцевъ. Свирѣпыя дружины бароновъ рѣзались между собою, но не смѣли грабить и губить поселянъ. Таково свидѣтельство Французскихъ лѣтописцевъ, и оно напоминаетъ Русскому сердцу, что и наши Галицкіе князья просили Польскихъ магнатовъ щадить, во время войны, безоружныя деревни. Жизнь Англіи развивалась самобытно изъ своихъ собственныхъ началъ. По словамъ современныхъ Французовъ, Англичанинъ гордился тѣмъ, что онъ управляется своимъ обычаемъ, а не Римскимъ правомъ. Ученый юристъ Романской Европы смѣялся надъ этимъ, но исторія готовила оправданіе обычая народнаго и торжество его надъ землями, управляемыми чужеземнымъ правомъ. Борьба двухъ Розъ кончилась, утомленная Англія отдохнула и окрѣпла подъ сильною рукою и тяжелою славою Тюдоровъ. Прошли и Тюдоры, и ожили всѣ прежнія начала, и два вѣка съ половиною создали теперешнюю Англію.

Таково было развитіе народнаго начала. Еще важнѣе было начало религіозное. Кельты и Кумры Британскіе приняли Христіанство рано, въ его полной чистотѣ, и содержали его съ ревностію и любовію. Всѣ споры Востока, всѣ богослов-

скія ученія отзывались въ Британіи и далекой Ирландіи: церковное преданіе находило въ нихъ жаркихъ и неколебимыхъ защитниковъ. Отъ Кельтскихъ проповѣдниковъ приняли вѣру Скоты и Пикты, хотя нѣтъ сомнѣнія, что Друидизмъ и какая-то странная смѣсь Христіанства съ Друидизмомъ не были совершенно побѣждены, даже въ самой Британіи. Пришли Саксонцы-идолопоклонники. Кельты-христіане погибли или бѣжали въ горную область Кумберланда и Валлиса. Завязалась упорная и кровопролитная война; но, не смотря на нее, побѣжденные Кельты нашли учениковъ въ побѣдителяхъ-Саксахъ. Успѣхи обращенія были замедляемы народною враждою, но новая сила проповѣди явилась съ Юга. Григорій Великій прислалъ Августина въ Британію, и Саксонцы послушались мудраго учителя: мало-по-малу вся октархія приняла Христіанство. Такимъ образомъ вѣра просвѣтила острова Британскіе, но обращеніе идолопоклонниковъ Кельтовъ и Саксовъ не было похоже на обращеніе Готѳовъ, Франковъ или Лонгобардовъ. Въ Испаніи, Италіи и Галліи, побѣдители-Германцы принимали Христіанство изъ подражанія, изъ случайныхъ выгодъ, изъ расчетовъ политическихъ, даже отъ соблазна Римской жизни и Римской роскоши: новые Христіане были хуже старыхъ язычниковъ. Островитяне Саксонцы и Кельты приняли вѣру изъ убѣжденія и любви, и она приносила богатые плоды въ ихъ жизни духовной. Священныя пѣсни раздавались на языкѣ народномъ, многочисленныя богословскія школы хранили чистоту ученія и распространяли на всемъ Западѣ свѣтъ просвѣщенія и строгость христіанской жизни. Ирландія заслуживала имя Острова Святыхъ; десятки царей и князей Саксонскихъ, въ полномъ блескѣ силы и власти, бросали свѣтъ и власть и уходили въ тишину монастырскихъ келій; Кельтскіе проповѣдники, такіе какъ Колумбъ или Галлъ, начинали обращеніе Германіи въ Христіанство, и великое дѣло, начатое ими, довершалось ревностью Саксонцевъ Виллебродовъ и Бонифатіевъ. Таково было въ Англіи развитіе духа религіознаго; но, къ несчастію, съ самаго начала, борьба церкви Кельтской, вполнѣ независимой и православной, съ ученіемъ Римскихъ проповѣдниковъ, отчасти уже зараженныхъ Римскою односторонностью, посѣяла сѣмена раздора; потомъ торжество

Римской партіи, хитрость монашескихъ орденовъ и полуфанатическая, полулукавая энергія такихъ людей, какъ Дунстанъ, подавили характеръ чисто вселенской и православной Англійской церкви: она допустила многія искаженія и уже вполнѣ никогда не исправлялась, хотя и получила снова нѣкоторую свободу при послѣднихъ царяхъ Саксонскихъ. Завоеваніе Норманновъ было также торжествомъ Римской власти, покровительствовавшей Норманнамъ. Прежняя свобода, утраченная уже, проявлялась только въ расколахъ Лоллардовъ, въ попыткахъ къ исправленію церковному Виклефа и ему подобныхъ ученыхъ. Вскорѣ и это сопротивленіе казалось побѣжденнымъ, и цѣлость Римскаго Католицизма—утвержденною навѣкъ. Соединеніе сильной религіозной жизни съ живымъ общественнымъ началомъ въ народѣ (хотя и искаженнымъ отъ упадка общины сельской) обѣщало, повидимому, стройное и почти безконечное развитіе землѣ Англо-Саксовъ; но сѣмена неизбѣжнаго зла скрывались въ этомъ крѣпкомъ и здоровомъ тѣлѣ.

Всякое общество находится въ постоянномъ движеніи; иногда это движеніе быстро и поражаетъ глаза даже неслишкомъ опытнаго наблюдателя, иногда крайне медленно и едва уловимо самымъ внимательнымъ наблюденіемъ. Полный застой невозможенъ, движеніе необходимо; но когда оно не есть успѣхъ, оно есть паденіе. Таковъ всеобщій законъ. Правильное и успѣшное движеніе разумнаго общества состоитъ изъ двухъ разнородныхъ, но стройныхъ и согласныхъ силъ. Одна изъ нихъ основная, коренная, принадлежащая всему составу, всей прошлой исторіи общества, есть сила жизни, самобытно развивающаяся изъ своихъ началъ, изъ своихъ органическихъ основъ; другая, разумная сила личностей, основанная на силѣ общественной, живая только ея жизнію, есть сила никогда ничего не созидающая и не стремящаяся что нибудь созидать, но постоянно присущая труду общаго развитія, не позволяющая ему перейти въ слѣпоту мертвеннаго инстинкта или вдаваться въ безразсудную односторонность. Обѣ силы необходимы; но вторая, сознательная и разсудочная, должна быть связана живою и любящею вѣрою съ первою, силою жизни и творчества. Если прервана связь вѣры и любви, наступаютъ

раздоръ и борьба. Англія была землею христіански-религіозною; но односторонность Западнаго Католицизма, восторжествовавшаго вполнѣ, обусловливала и вызывала Протестантство. Оно родилось въ Германіи, перешло въ Англію и было принято ею; но Англія, принимая Протестантство, не познала его характера. Память о нѣкогда свободной церкви и о недавнихъ борьбахъ для сохраненія этой свободы обманывала Англичанъ: они увѣряли себя, что они сохраняли неизмѣнность, когда они явно измѣнились или реформировались, отстраняя или отвергая то, что̀ въ продолженіе долгихъ лѣтъ считали истиннымъ, святымъ и несомнѣннымъ; они вѣрили въ свой Католицизмъ, даже когда были протестантами. Таково Англиканство. Другія секты яснѣе сознали, глубже приняли, строже развили свободу протестантскаго скептицизма. Это религіозное движеніе обратилось немедленно въ движеніе общественное. Разрознились и вступили въ борьбу двѣ разумныя силы народа. Одна, органическая, живая, историческая, ослабленная уже упадкомъ сельскаго общиннаго быта и безсознательно допущеннымъ скептицизмомъ Протестантства, составила Торизмъ. Другая, личная и аналитическая, не вѣрящая своему прошедшему, приготовленная уже издавна тѣмъ же упадкомъ общиннаго быта и усиленная всею разлагающею силою Протестантства, составила Вигизмъ.

Вотъ, любезный другъ, опредѣленіе этихъ двухъ словъ, такъ часто употребленныхъ и такъ мало понятыхъ; въ нихъ, какъ ты видишь, заключается смыслъ не политическій, а соціальный; въ нихъ опредѣленіе самой жизни Англійскаго народа.

Теперь тебѣ понятно будетъ, почему Торизмъ, обезсиленный и уже неувѣренный самъ въ себѣ, принимаетъ такъ часто характеръ мертваго и коснаго консерваторства, даже тогда, когда онъ старается развивать зародыши, уже лежащіе въ обществѣ; и почему Вигизмъ, сила разлагающая, казался и кажется многимъ силою освобождающею даже тогда, когда онъ дѣйствительно стѣсняетъ жизнь. Это обманъ, но обманъ неизбѣжный при жалкомъ состояніи общественной науки. Для наблюдателя, болѣе просвѣщеннаго и безпристрастнаго, для человѣка Русскаго, мертвящая сухость Вигизма, когда онъ разрушаетъ прошедшее, и его безплодность и, такъ сказать,

бездушіе, когда онъ думаетъ созидать, слишкомъ явны. На днѣ его лежатъ скептицизмъ, не вѣрящій въ исторію и не любящій ея, раціонализмъ, не признающій законности въ чувствахъ естественныхъ и простыхъ, не имѣющихъ прямо-логической основы, и разъединяющій эгоизмъ личности. Отъ этого первый его взглядъ (впрочемъ это отчасти и его достоинство) обращается всегда на вещественную сторону всякаго вопроса; отъ этого у него порою прорывается дикій эгоизмъ; отъ этого просвѣщеніе духовное онъ старается замѣнить просвѣщеніемъ внѣшнимъ и чисто матеріальнымъ; отъ этого, не любя множества центровъ общественныхъ, данныхъ органическимъ развитіемъ исторіи, онъ старается отрывать отъ нихъ человѣка и привязываетъ его прямо къ математическому закону центра политическаго; отъ этого, разрывая связи естественныя, онъ старается ихъ замѣнить связями, повидимому, менѣе строгими, но дѣйствительно менѣе свободными, именно потому, что онѣ условны; отъ этого простоту совѣсти и духа любитъ онъ замѣнять расчетливою полиціею формы, и т. д. Таковъ Вигъ въ его логической крайности, т. е. въ радикалѣ. Но этотъ судъ былъ бы слишкомъ строгъ въ отношеніи къ Вигу вообще. По большей части Вигъ все-таки немножко Тори, потому что онъ Англичанинъ.

Дѣйствительно всякій Англичанинъ—Тори въ душѣ. Могутъ быть разницы въ силѣ убѣжденій, въ направленіи ума; но внутреннее чувство одинаково у всѣхъ. Исключенія рѣдки и вообще принадлежатъ людямъ, или совершенно увлеченнымъ систематизмомъ мысли, или людямъ, убитымъ нищетою и развращеннымъ жизнію большихъ городовъ. Исторія Англіи не есть дѣло прошедшее для современнаго Англичанина: она живетъ во всей его жизни, во всѣхъ его обычаяхъ, почти во всѣхъ подробностяхъ его быта. А стихія историческая— это Торизмъ. Англичанинъ глядитъ съ дружелюбною улыбкою на широкоплечихъ сторожей Тоуера съ ихъ пестрою и странною одеждою; онъ разсказываетъ съ торжественнымъ удовольствіемъ, что вотъ эти сухія желтыя сливы, которыя онъ вамъ продаетъ, точно также сушились тому двѣсти пятьдесятъ лѣтъ; онъ радуется на мальчиковъ Христова Гошпиталя, ко-

торые носятъ и теперь, какъ я уже сказалъ, синій балахонъ временъ Эдуарда VI-го. Онъ ходитъ по длиннымъ галлереямъ Вестминстерскаго аббатства не съ хвастливою гордостію Француза, не съ антикварскимъ наслажденіемъ Нѣмца; нѣтъ, онъ ходитъ съ глубокою, искреннею, облагораживающею любовію. Эти гроба—это его семья, его великая семья; и это я говорю не объ лордѣ, не о профессорѣ, а объ ремесленникѣ, объ извозчикѣ, который цѣлый день махаетъ кнутикомъ по всѣмъ улицамъ Лондонскимъ. Торизма столько же въ простомъ народѣ, сколько и въ высшихъ рядахъ общества. Правда, этотъ купецъ или ремесленникъ дастъ свой голосъ Вигамъ: таково его убѣжденіе о пользѣ общей или своей выгодѣ вещественной; но въ душѣ-то онъ любитъ Торіевъ. Онъ поддержитъ Русселя или Кобдена, но сочувствіе свое дастъ онъ старику Веллингтону или Бентинку. Вигизмъ—это насущный хлѣбъ; Торизмъ—это всякая жизненная радость, кромѣ разврата кабачнаго, или еще худшаго разврата воксаловъ; это скачка и бой, это игра въ мячъ и пляска около Майскаго столба, или Рождественское полѣно и веселыя святочныя игры, это тишина и улыбающаяся святыня домашняго круга, это вся поэзія, все благоуханіе жизни. Въ Англіи Тори—всякій старый дубъ, съ его длинными вѣтвями, всякая древняя колокольня, которая вдали вырѣзывается на небѣ. Подъ этимъ дубомъ много веселилось, въ той древней церкви много молилось поколѣній минувшихъ.

То, что существуетъ въ Англіи, то, что иностранцы называютъ учрежденіями, не является Торизму Англичанина въ видѣ учрежденій. Это просто часть его самого, олицетвореніе его внутренней жизни, прошедшей или настоящей. Таково, во-первыхъ, его отношеніе къ монархіи. Англійская гувернантка, послѣ тридцатилѣтняго отсутствія изъ Англіи, не могла слышать пѣсни God save the King (Боже царя храни) безъ того, чтобы не снять шапокъ съ головы своихъ воспитанниковъ, и она дѣлала это совершенно безсознательно. Таково же отношеніе Англичанина къ закону. Онъ безпредѣльно уважаетъ законъ; но почему? потому, что всякій законъ Англійскій есть Англійскій вполнѣ. Точно также и аристократія

Англійская не является Англичанину чѣмъ-то отдѣльнымъ или самостоятельнымъ: нѣтъ, это только часть, оттѣнокъ общаго Торизма. Имена Тальботъ, или Перси, или Бедфордъ не представляютъ идеи привилегій, или власти, или административной формы; нѣтъ, въ этихъ звукахъ — Креси и Пуатье, борьба бароновъ, давшая силу народу, народная жизнь и народныя забавы, въ которыхъ всегда участвовалъ и предсѣдательствовалъ лордъ; но болѣе всего въ нихъ централизація самой деревенской жизни, разорванной послѣ упадка общинъ и отчасти возстановленной силою земледѣльческой аристократіи. Оттого-то бѣдный селянинъ спрашиваетъ у васъ съ гордостью: «А видѣли вы паркъ лорда Марльбору?» какъ будто бы это его собственный паркъ. Отъ того-то малолюдство селъ до сихъ поръ въ Англіи имѣетъ перевѣсъ надъ многолюдствомъ городовъ, между тѣмъ, какъ вездѣ въ Европѣ городъ подавилъ деревни. Но, какъ я уже сказалъ, аристократія является не учрежденіемъ, а произведеніемъ почвы и исторіи, частью Торизма, а не самобытною и отдѣльною силою. Какъ учрежденіе, Англичанинъ не понялъ бы или отвергъ бы ее. Это для меня ясно изъ разговора, въ которомъ я былъ только слушателемъ. Сцена была паркъ съ вѣковыми дубами. Оба разговаривающіе — страстные Тори. Предметъ разговора — учрежденіе аристократіи въ другихъ краяхъ и по преимуществу въ такой землѣ, гдѣ она не имѣетъ основы ни въ исторіи, ни въ чувствѣ народномъ. Одинъ изъ спорящихъ хвалилъ такое учрежденіе, основываясь на крѣпости самаго начала. Другой, соглашаясь въ этомъ, спросилъ: «что крѣпче, желѣзо или дерево?» — «Желѣзо», отвѣчалъ первый. — «Ну, а укрѣплю ли я это дерево, когда вколочу въ него желѣзный колъ?» Таковъ взглядъ Англичанина, и онъ справедливъ. Гдѣ аристократія не въ общемъ духѣ, тамъ она раздваиваетъ общество и вызываетъ демократію.

Я надѣюсь, что ты теперь понялъ Торизмъ. Впрочемъ для большей ясности я могу тебѣ привести примѣръ изъ Русской старины. Вспомни истинно поэтическое окончаніе прекрасной драмы К. С. Аксакова, перекличку стрѣльцовъ: «славенъ городъ Москва, славенъ городъ Владимиръ» и т. д.

Эта хвала Русскихъ городовъ, звучащая въ темнотѣ, на стѣнахъ Кремля, вкругъ жилища царей, была чертою чисто-Тористскою (говоря въ Англійскомъ смыслѣ). Весело было воину провозглашать славу другихъ областей, весело ему было слышать славу своего роднаго города, и весело было жителю Москвы въ тихую лѣтнюю ночь слышать хвалу всей Россіи. Это было не упражненіе въ отечественной географіи, но голосъ народа, обнимающаго своею любовію и уваженіемъ весь великій соборъ своихъ городовъ: вотъ гдѣ Торизмъ по Англійскому понятію.

И эта цѣпь преданія не перерывается въ Англіи. Кромѣ того, что она поддерживается всѣмъ строемъ общества, неизмѣнными обычаями и характеромъ жизни домашней, она укрѣпляется и обновляется воспитаніемъ общественнымъ. Всѣ великіе разсадники наукъ въ Англіи восходятъ до глубокой древности: оба университета, Кембриджъ и Оксфордъ, были свидѣтелями почти всей исторіи Англійской, особенно же Оксфордскій, котораго начало едва ли не связано съ учрежденіями Саксонской эпохи. Ихъ отдѣльная и строгая организація, ихъ совершенная независимость отъ временныхъ перемѣнъ, ихъ самостоятельность, основанная на преданіи и хранящая преданіе, служатъ постояннымъ оплотомъ духу исторической жизни противъ произвола личнаго раціонализма. Наука не скована: этого, кажется, не нужно доказывать. Кому неизвѣстно, что Англія не уступаетъ почти никакой странѣ въ отдѣльныхъ отрасляхъ наукъ, а въ общности ихъ превосходитъ всѣ остальныя земли Европы? Частнымъ исключеніемъ можно конечно назвать превосходство Германіи въ философіи; но, совершивъ много для человѣчества, философія Германская, въ силу своей собственной односторонности, дошла въ Гегелѣ до своего крайняго результата, самоуничтоженія, въ приложеніяхъ же своихъ она принесла только сомнительные плоды въ историческомъ анализѣ и истинно полезные, можетъ быть, въ одномъ анализѣ искусства: тутъ Германія владычествуетъ, тутъ она дѣйствовала одна, и ея трудъ продолжается одною Россіею, дополняющею теорію о свободѣ художества теоріею отношеній

художества къ народу и самаго художника къ своимъ произведеніямъ *); но это, какъ я сказалъ, частныя и незначительныя исключенія. Наука цвѣтетъ свободно въ Англіи, но она не ведетъ къ раздору съ жизнію. Рано начинается воспитаніе въ домашнемъ кругу или въ народныхъ училищахъ. Ребенка вводятъ въ науки разнообразныя, и богатая словесность, полная жизни, полная вѣры, полная старыхъ сказаній и любви къ старинѣ, и въ тоже время нечуждая никакимъ новѣйшимъ открытіямъ. Это богатство и живость дѣтской словесности происходятъ не отъ системы, но отъ той глубокой и трогательной любви къ дѣтскому возрасту, которая вездѣ поражаетъ путешественника въ Англіи и сама имѣетъ корнемъ чистоту быта домашняго. Мало по малу крѣпчающій умъ доходитъ до высшихъ коллегій, до коллегій университета. Я не стану тебѣ разсказывать о планѣ преподаванія: онъ не важенъ; важенъ общій характеръ самыхъ коллегій и университетовъ. Сперва поражаетъ тебя величіе и архитектурная роскошь этихъ заведеній, особенно въ Кембриджѣ; потомъ ихъ древность, потомъ та глубокая тишина, которая ихъ окружаетъ. Много говорятъ о шумѣ и движеніи въ Англіи, они дѣйствительно изумительны; да гдѣ же въ наше время не шумятъ и не движутся? Ничего не говорятъ о тишинѣ Англійской, а она изумительнѣе Англійскаго шума. Въ самой срединѣ Лондона, въ десяти шагахъ отъ вѣчныхъ базаровъ Гольборнской улицы или Странда, поразило меня пустынное безмолвіе Христова Гошпиталя, въ которомъ тысяча четыреста учениковъ, или Линкольнъ-Инъфильдса, огромнаго квартала, жилища адвокатовъ и ученыхъ. Но ничто не можетъ сравнится съ величавою тишиною университескихъ городовъ. Въ тихій лѣтній вечеръ, когда садящееся солнце освѣщаетъ румянымъ свѣтомъ всѣ двадцать двѣ коллегіи стараго Оксфорда съ ихъ готическими стрѣлками, съ ихъ стрѣльчатыми окнами и прозрачными аркадами, когда длинныя тѣни старыхъ дубовъ и каштановъ ложатся на

*) Разумѣется, этого успѣха искать должно не въ прогрессистахъ, насвистывающихъ чужія мысли съ чужаго голоса, а въ мыслителяхъ самостоятельныхъ, въ Гоголѣ (письма), въ Жуковскомъ (письмо о Словѣ), въ Ш(евыревѣ), въ А(ксаковѣ) и другихъ.

зеленыя лужайки парка, и стада оленей рѣзвятся по освѣщенному лугу и по тѣнямъ, и сами мелькаютъ какъ тѣни и довѣрчиво подбѣгаютъ къ университескимъ зданіямъ и къ келіямъ студентовъ, — тогда, повѣрь мнѣ, Оксфордъ волшебнѣе самой Венеціи. Въ Венеціи роскошь и нѣга: надъ Оксфордомъ носится какая-то строгая и свѣтлая дума. Верхъ дерева шумитъ и качается: въ тишинѣ и безмловіи растутъ и крѣпнутъ его вѣковые корни. Дисциплина университетская похожа на монастырскую, игры учениковъ имѣютъ еще весь характеръ дѣтскихъ забавъ; но за то это долгое дѣтство приготовляетъ здоровую и разумную возмужалость; за то изъ строгой тишины монастырской выходятъ тѣ могущіе и смѣлые умы, которые развиваютъ въ такихъ громадныхъ размѣрахъ духовную и вещественную силу Англіи и правятъ ею, сквозь шумъ и бурю торговой и политической жизни; за то Англіи неизвѣстны эти цѣлыя поколѣнія, которыя въ иныхъ земляхъ являются съ такимъ полнымъ безсиліемъ на поприще дѣятельности, какъ мальчишки, безвременно убѣжавшіе изъ родительскаго дома, въ слишкомъ раннихъ галстукахъ и фракахъ, съ модными бадинками въ рукѣ, съ полнымъ незнаніемъ своей земли, съ самодовольною пустотою въ головѣ, съ неспособностью къ мысли самобытной и съ хвастливою готовностью вѣкъ свой насвистывать чужую пѣсню, воображая, что она сложена ими самими. Рѣдкій Англичанинъ спроситъ у васъ, видѣли ли вы Ливерпуль или Бирмингамъ; всякій спроситъ, видѣли ли вы Оксфордъ и Кембриджъ.

Впрочемъ главною основою Англійской жизни есть безспорно жизнь религіозная. Сотни миссіонеровъ, разносящихъ Слово Божіе по всему земному шару, и проповѣдниковъ, борящихся съ невѣріемъ поверхностной философіи, суть только проявленіе общаго духа и общаго стремленія. Я видѣлъ церкви, наполненныя благоговѣйными слушателями; я видѣлъ на улицахъ толпы простаго народа, слушающія проповѣдь бѣднаго старика, толкующаго (можетъ быть и криво) тексты Священнаго Писанія; я видѣлъ кучки работниковъ, занимающихся богословскими спорами во время воскреснаго отдыха, и это напомнило мнѣ нашу святую, богомольную Русь. Направленіе ума народнаго отзывается въ направленіи

избранныхъ его дѣятелей. Въ старину великій Ньютонъ кончалъ поприще свое толкованіемъ Апокалипсиса: въ наше время поэты Соути, Кольриджъ, Вордсвортъ были двигателями вопросовъ религіозныхъ; блистательный умъ Арнольда, такъ рано развившагося (онъ семи лѣтъ уже писалъ драму), посвящалъ себя богословскимъ наукамъ (къ несчастію въ крайне-протестантскомъ духѣ), и почти ни одинъ изъ великихъ дѣятелей въ Англіи не оставался чуждымъ положительнымъ вопросамъ религіи. Вотъ чего, кромѣ Англіи, нѣтъ уже нигдѣ.

Изъ этого, разумѣется, не слѣдуетъ, чтобы я выдавалъ Англійское воспитаніе за совершенство. Въ Англійскомъ характерѣ есть глубокое и весьма справедливое невѣріе въ человѣческій умъ. Этимъ Англичанинъ напоминаетъ Русскаго. Раціональность не входитъ въ характеръ его. Иные посылаютъ учиться въ Англію раціональному хозяйству: это просто непониманіе самаго слова раціональный. Хозяйство Англійское, какъ и все въ Англіи, есть чисто опытное, также какъ у насъ, гдѣ въ Перми промѣниваютъ четверть ржи на четверть птичьяго гуано, и гдѣ огородники Ростовскіе дошли до совершенства, которое внушаетъ зависть Нѣмцамъ. Опытъ и соображеніе произвели чудеса въ Англіи, но они не дали и не могли дать характера раціональнаго. Это въ одно время и достоинство, и недостатокъ. Можно пожалѣть о томъ, что анализъ философскій такъ мало развитъ въ Англіи; быть можетъ, во многомъ ускоренъ бы былъ ея успѣхъ, и много отстранено было бы ложныхъ мнѣній; но за то, можетъ быть, много и лжи вошло бы вмѣстѣ съ самоувѣренностію ума. Я думаю, что невѣріе анализу и даже какой-то страхъ передъ нимъ, замѣченный мною нѣсколько разъ въ образованныхъ Англичанахъ, происходитъ отъ внутренняго сознанія, что скептицизмъ протестантскій, ими допущенный, покачнулъ уже всѣ основанія внутренней жизни, и что строгій и безоглядный анализъ былъ бы для нихъ убійственъ. Какъ бы то ни было, это слабость, и я ее признаю, хотя и предпочитаю ее слѣпому суевѣрію Нѣмца, который думаетъ, что односторонняя сила строгаго логическаго процесса можетъ не только доискаться до всякой живой истины, но и возсоздать ее,—или дѣтскому суевѣ-

рію Француза, который воображаетъ, что верхоглядное вдохновеніе ума можетъ для него разоблачить всѣ тайны жизни, общества и міра.

Точно также должно признаться, что Англичане, часто весьма образованные, выказываютъ неожиданное невѣжество на счетъ многихъ вещей въ чужихъ земляхъ и въ жизни другихъ народовъ; это особенно замѣтно, когда дѣло доходитъ до Россіи. О ней я слышалъ столько же нелѣпостей въ Англіи, столько и въ Германіи, хотя онѣ были высказаны съ бо̀льшимъ дружелюбіемъ и меньшею самоувѣренностію. Мнѣ особенно памятенъ въ этомъ родѣ одинъ разговоръ весьма умнаго и образованнаго адвоката. Мы говорили о судѣ присяжныхъ. Онъ очень ясно понялъ и оцѣнилъ разницу, которую я показывалъ ему между мертвою коллегіальностью Французскаго учрежденія присяжныхъ и духовностью Англійскаго приговора по единогласію; потомъ сталъ онъ говорить объ излишней формальности гражданскаго судопроизводства въ Англіи. «Я съ полнымъ убѣжденіемъ говорю», сказалъ онъ, «что мы адвокаты и дѣльцы просто чума нашей родины (we are, sir, the plague of our country) и что я, читая исторію нашу, никогда не могъ сердиться на Кеда и Тайлера за̀ то, что они насъ вѣшали». Разумѣется, я разсмѣялся. Потомъ онъ изложилъ очень ясно, основываясь на фактахъ и примѣрахъ, что совѣсть имѣетъ столько же права на разбирательство въ дѣлахъ гражданскихъ, какъ и уголовныхъ, и хвалилъ Американцевъ (вещь рѣдкая въ Англичанинѣ) за то, что они ввели судъ присяжныхъ въ дѣлахъ гражданскихъ. При этомъ случаѣ онъ разсказалъ мнѣ фактъ совершенно неизвѣстный. Въ тридцатыхъ годахъ депутатъ одного изъ штатовъ предлагалъ ввести дѣлопроизводство болѣе формальное, какъ обязательное въ тѣхъ случаяхъ, когда того потребуетъ одинъ изъ тяжущихся. На это ему отвѣчали слѣдующее: «Отъ разбирательства по совѣсти кто будетъ устраняться? Непремѣнно тотъ, кто по совѣсти не правъ. И такъ, премія будетъ въ пользу безсовѣстности». Предложеніе было отвергнуто. Я передаю тебѣ этотъ фактъ только по авторитету моего собесѣдника; не знаю, справедливъ ли онъ, но во всякомъ случаѣ взглядъ Англичанина былъ весьма замѣчателенъ. Разговоръ нашъ продолжался. Онъ коснулся Рос-

сіи. Пріятель мой говорилъ умно, судилъ здраво, хвалилъ Россію; но я никакъ не могъ понять, о чемъ онъ собственно говорилъ. Что же вышло? Онъ толковалъ о нашемъ старомъ судопроизводствѣ, объ судѣ третьями и проч., и считалъ ихъ современными. Разумѣется, я истолковалъ ему его ошибку и объяснилъ ему, что это все давно отмѣнено для правильности. Вотъ тебѣ разсказъ, который показываетъ, какъ часто въ Англичанахъ соединяется незнаніе самыхъ простыхъ фактовъ съ здравымъ и высокимъ пониманіемъ духовныхъ началъ.

Я опредѣлилъ Англію землею, въ которой берется Торизмъ съ Вигами. Ты, можетъ быть, скажешь, что это относится и ко всей Европѣ. Нѣтъ, любезный другъ. Ни Франція, ни Германія не идутъ подъ это опредѣленіе. Тамъ нѣтъ и не можетъ быть Торіевъ. Тамъ общество, созданное исторіею, отсѣло отъ нея, какъ caput mortuum. Исторіи уже нѣтъ въ жизни, организма нѣтъ, общества съ живыми началами нѣтъ. Это скопленіе личностей, ищущихъ, не находящихъ и не могущихъ найти связи органической. Франція не имѣла никогда народа. Она отвергла свое прошедшее, которое уже не могло существовать, и все-таки не нашла народа. Жакъ Бономъ никогда не жилъ общественною жизнію; онъ его и создать не можетъ. Ты помнишь, что я это говорилъ и даже печаталъ давно. Германія была нѣкогда въ этомъ отношеніи счастливѣе Франціи. Ее убилъ сначала полный разрывъ областей, ее окончательно убили авлическія учрежденія, коллегіальный матеріализмъ и бездушіе камеральности. Семья ничтожна какъ во Франціи, такъ и въ Германіи. Вѣры же нѣтъ ни въ той, ни въ другой. Если ты хочешь найти тористическія начала внѣ Англіи,—оглянись: ты ихъ найдешь, и лучшія, потому что они не запечатлѣны личностью. Вотъ величіе златоверхаго Кремля съ его соборами, и на Югѣ пещеры Кіева, и на Сѣверѣ Соловецкая святыня, и домашняя святыня семьи и, болѣе всего, вселенское общеніе никому неподсуднаго Православія. Взгляни еще: вотъ сила, назвавшая нѣкогда Кузьму Минина выборнымъ всей Земли Русской, и ополчившая Пожарскаго, и увѣнчавшая дѣло свое избраніемъ на престолъ Михаила и всего рода его; вотъ, наконецъ,

деревенскій міръ съ его единодушною сходкою, съ его судомъ по обычаю совѣсти и правдѣ внутренней. Великія, плодотворныя блага! Умѣемъ ли мы ихъ цѣнить?

Крѣпокъ ли Англійскій Торизмъ? Ровенъ ли бой его съ Вигами? Нѣтъ. Торизмъ, изначала запечатлѣнный излишнею личностью (это замѣтно въ аристократизмѣ), носитъ въ себѣ постоянно характеръ Вигизма и всеразрушающей личности, логически развивающейся изъ Протестантства; а Протестантство было неизбѣжно. Тори чувствуютъ опасность свою, и многіе знаютъ ея источникъ. Духовное лицо въ Оксфордѣ спрашивало у меня: «чѣмъ можно остановить гибельныя послѣдствія Протестантства?» Я отвѣчалъ: «откиньте Римскій Католицизмъ!» Торизмъ Англійскій, невѣрный самому себѣ, живетъ только чувствомъ: за Вигизмъ стоятъ разсудокъ и его логическая послѣдовательность. Будущее принадлежитъ ему.

И онъ подается впередъ шагъ за шагомъ, расширяя каждый день кругъ своего дѣйствія, завоевывая общее мнѣніе, особенно въ торговыхъ округахъ и городахъ, подрывая жизнь и обычаи, развязывая личность и ея мелкую, самодовольную гордость. Онъ бываетъ часто во власти, и тогда народъ хранитъ Англію отъ его разрушающей силы; но онъ продолжаетъ свое дѣло, матеріализируя просвѣщеніе, разрывая связи преданія, администрируя безъ мѣры и удвоивая администрацію, централизируя, губя живыя начала или придавливая ихъ подъ тяжестью формализма. Другія земли вызываются исторіею на великое поприще, другіе народы явятся передовыми двигателями всемірнаго просвѣщенія; если Англія не измѣнитъ теперешняго своего хода, а измѣнить его при теперешнихъ данныхъ она не можетъ, — она послужитъ имъ урокомъ и наставленіемъ. Изъ ея примѣра узнаютъ они, какъ гибельно вѣчное умничанье отдѣльныхъ личностей, гордыхъ своимъ мелкимъ просвѣщеніемъ, надъ общественною жизнію народовъ, какъ вредно уничтоженіе мѣстной жизни и мѣстныхъ центровъ, какъ страшно замѣнять историческія и естественныя связи связями условными, а совѣсть и духъ— полицейскимъ матеріализмомъ формы, и убивать живое растеніе подъ мертвыми надстройками. Урокъ, можетъ быть, не будетъ потерянъ.

Конечно, Англія еще крѣпка, много живыхъ и свѣжихъ соковъ льется въ ея жилахъ; но дѣло Виговъ идетъ впередъ неудержимо. Звонко и мѣрно раздаются удары протестантскаго топора, разрубаются тысячелѣтніе корни, стонетъ величавое дерево. Не вѣрится, чтобы земля, воспитавшая такъ много великаго, давшая такъ много прекрасныхъ примѣровъ человѣчеству, разнесшая свѣтъ Христіанства и славу имени Божія по отдаленнѣйшимъ концамъ міра, могла погибнуть; а гибель неизбѣжна, развѣ (и дай Богъ, чтобы это было), развѣ приметъ она новое духовное начало, которое притупило бы остріе протестантскаго топора, залѣчило бы уже нанесенныя раны и укрѣпило ослабленные корни. Но будетъ ли это?

Я взошелъ на Англійскій берегъ съ веселымъ изумленіемъ, я оставилъ его съ грустною любовью.

Прощай!

ПО ПОВОДУ ГУМБОЛЬДТА.

По поводу Гумбольдта [1]).

Недавно Гумбольдтъ, говоря о судьбахъ рода человѣческаго, напалъ на Гегелевское ученіе о необходимости, управляющей историческими происшествіями. Гумбольдтъ говоритъ, какъ защитникъ случайности и историческаго партикуляризма. Онъ правъ въ нападеніи своемъ на историческую систему Гегеля, ибо система эта ложна отъ начала до конца; но онъ неправъ ни въ формѣ нападенія, которая слишкомъ поверхностна, ни въ выводахъ, которые, если бы были справедливы, отняли бы у науки все ея достоинство и даже право на имя науки.

Гумбольдтъ какъ будто бы не понялъ всей нелѣпости понятій Гегелевой школы о необходимости [2]). Вотъ ходъ Гегелевской мысли. «Все, что есть дѣйствительно, то разумно и необходимо; слѣдовательно прошедшая исторія обусловливается тѣмъ, что существуетъ въ послѣдующую эпоху, и такъ далѣе до нашихъ дней, которыми, разумѣется, обусловливается все прошедшее». Ненужно входить въ разборъ перваго положенія, которое само по себѣ уже не выдерживаетъ критики. Если бы оно было даже и справедливо, ему все-таки не было бы мѣста въ изложеніи историческихъ наукъ.

---

[1]) Эта статья написана, кажется, въ 1849 году. Изд.

[2]) Отдавая полную справедливость огромнымъ заслугамъ Гегеля на поприщѣ философіи и человѣческаго мышленія вообще, я не могу не употребить строгаго выраженія въ судѣ о системѣ, которая сбила съ толку многихъ дарбитыхъ и достойныхъ подвижниковъ исторической науки. Безусловные поклонники Гегеля сочтутъ это, можетъ быть, величайшею дерзостію; но оцѣнка великаго генія невозможна безъ яснаго разумѣнія его ошибокъ, и истинное уваженіе къ трудамъ мыслителя совершенно невозможно при слѣпомъ и суевѣрномъ поклоненіи всѣмъ положеніямъ его системы.

Оно обратило бы ихъ въ какую-то телеологическую мистику, не заслуживающую отъ разумнаго существа ни вниманія, ни изученія. Какое бы ни было понятіе о необходимости вообще, всякая наука должна находить необходимость своихъ фактовъ въ самой себѣ, а не въ общихъ положеніяхъ, которыя всегда остаются внѣ ея. Вся историческая система Гегеля есть не что иное, какъ безсознательная перестановка категоріи причины и слѣдствія. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что всякое слѣдствіе обусловливаетъ свою причину; но есть ли на свѣтѣ человѣкъ со смысломъ, который сказалъ бы, что причина истекаетъ изъ послѣдствій? Я гляжу на куполъ святого Петра, воздвигнутый Микель-Анжеломъ Буонаротти; изъ того, что я этотъ куполъ вижу, выходитъ явно, что онъ существуетъ и что онъ построенъ, положимъ, Микель-Анжеломъ. Въ умѣ моемъ прошедшее обусловливается настоящимъ моимъ впечатлѣніемъ. Я не могъ бы видѣть купола, если бы онъ не существовалъ. Я его вижу: слѣдовательно онъ существуетъ. Выводъ справедливъ. Но если я скажу, что онъ построенъ, потому что я его вижу, — меня всякій здравомыслящій человѣкъ назоветъ сумасшедшимъ. Чтобы избѣгнуть такого нелѣпаго и въ тоже время неизбѣжнаго вывода, у учениковъ Гегеля является по необходимости какой-то духъ человѣчества, лицо живое и дѣйствительное, отдѣльное отъ личностей, составляющихъ родъ человѣческій, развивающееся по строгимъ законамъ логической необходимости и обращающее всѣ частныя личности въ іероглифы, символы или куклы, посредствомъ которыхъ оно поясняетъ само себѣ сокровенныя истины своего внутренняго содержанія. Личности, обращенныя въ куклы, повинуются тогда слѣпо внѣшнему закону, и исторія уже не знаетъ и знать не хочетъ про логику ихъ внутренняго развитія, между тѣмъ какъ она одна только и имѣетъ истинное значеніе. Это другая нелѣпость, вводимая, какъ я сказалъ, по необходимости для избѣжанія первой, но вводимая, разумѣется, не въ ясныхъ словахъ, а посредствомъ ловкихъ полуположительныхъ, полуметафорическихъ выраженій. Таковъ весь процессъ Гегелевской исторіи. Очевидно, великій мыслитель смѣшалъ два пути, противоположные другъ другу: путь синтетическаго развитія и путь аналитическаго

разумѣнія; они другъ съ другомъ тождественны, но тождественны въ обратномъ направленіи, и переносить понятіе необходимости изъ одной области мысли въ другую значитъ впадать въ ошибку дѣтскую, которую, повидимому не для чего было бы опровергать, если бы опытъ не показывалъ, что нѣтъ такой явной ошибки, которая бы не могла, хотя на время, увлечь за собою даже самыхъ умныхъ людей. Вообще смѣшеніе пути аналитическаго съ путемъ реальнаго синтеза есть общій и постоянный порокъ почти всѣхъ Нѣмецкихъ мыслителей. Они, повидимому, не умѣютъ различить факта отъ его разумѣнія. Эта ошибка перешла отъ учителей къ ученикамъ и безпрестанно подаетъ поводъ къ самымъ смѣшнымъ и безсмысленнымъ выводамъ. И великій умъ Гумбольдта, точно также какъ и всѣ его соотечественники, не понялъ этой ошибки: онъ имѣетъ темное чувство лжи, скрывающейся въ исторической системѣ Гегеля и его школы, но онъ не понялъ начала и сущности этой лжи *). Выводъ изъ Гумбольдтовыхъ словъ и изъ нападенія его на Гегеля возвращаетъ исторію къ прежнему ея партикуляризму. Жалкій результатъ столькихъ умственныхъ трудовъ!

Гумбольдтъ почувствовалъ бѣдность своихъ выводовъ и, вслѣдствіе этого чувства, грустно и робко намекаетъ онъ на какую-то тѣнь религіозныхъ мыслей. Грустно становится и читателю видѣть, какъ труденъ, какъ почти невозможенъ поворотъ всей этой старой Германской школы къ понятіямъ истинно-религіознымъ, и въ тоже время какъ она томится ихъ отсутствіемъ. Это замѣтно въ великомъ Гёте, въ странной развязкѣ его Фауста; это замѣтно и въ послѣднихъ трудахъ старика Гумбольдта, современника Гёте и близнеца его по глубинѣ, гармоніи и древне-Эллинской стройности ума.

Выводъ Гумбольдта бросаетъ, какъ я уже сказалъ, науку историческую во все безсмысліе прежняго партикуляризма, и въ какое время?

Есть эпохи, въ которыхъ медленное и почти незамѣтное развитіе духовныхъ началъ, убѣжденій и мыслей, лежащихъ

*) Замѣтимъ мимоходомъ, что Гегель эту ошибку перенесъ въ свои разсужденія о математикѣ, астрономіи и т. д. Такъ, напримѣръ, онъ объясняетъ причину движенія земли около солнца формулою этого движенія.

въ основѣ человѣческихъ обществъ, скрываетъ отъ наблюдателя разумность самихъ историческихъ законовъ. Есть эпохи, въ которыхъ эти духовныя начала, уже уличенныя въ односторонности, безсиліи или лжи, какъ будто бы еще ищутъ обмануть строгую логику исторіи хитростью своихъ оборотовъ, притяженіемъ къ себѣ другихъ, несвойственныхъ имъ началъ, союзомъ съ чисто вещественными интересами и даже примиреніемъ съ началами, совершенно противоположными. И тутъ еще наблюдателю нелегко дознаться истины. Но есть эпохи, въ которыхъ развитіе духовныхъ началъ, правившихъ прошедшею исторіею, окончено; уловки ихъ истощены, и неподкупная логика историческая произноситъ надъ ними свой приговоръ. Въ такія эпохи слѣпота непростительна.

Такова наша эпоха.

Никогда не было такихъ обширныхъ, такихъ всеобщихъ потрясеній безъ внѣшнихъ и, можно сказать, безъ внутреннихъ, въ настоящемъ значеніи этаго слова, бурь; никогда не было такого разрушенія всѣхъ прежнихъ началъ безъ возникновенія новыхъ началъ, къ которымъ человѣкъ могъ бы обратить глаза съ желаніемъ или надеждою; никогда не было такихъ волненій народныхъ и такого всеобщаго волненія безъ лицъ, которыя бы предводительствовали или управляли волненіемъ. Правда, что въ послѣднее время журнальная брань и общественный гнѣвъ отыскали какихъ-то Геккеровъ, Коссидьеровъ, Барбесовъ и др.; но добросовѣстный наблюдатель знаетъ, какую цѣну можно приписать и возгласамъ газетъ, и гнѣву салоновъ, мстящихъ за свой испуганный комфортъ. Стыдно было бы приписывать этимъ Геккерамъ, Коссидьерамъ, Бланамъ или Прудонамъ какое-нибудь значеніе: это мелкія и безсильныя личности, которыя замѣтны только потому, что окружены еще бо́льшимъ безсиліемъ; это пѣнка, всегда вскидываемая волненіемъ. Правда, высказываются иногда кое-какія начала, къ которымъ временно пристаетъ безпокойная толпа; но что́ это за начала? Ихъ проповѣдуютъ безъ добросовѣстной вѣры, къ нимъ пристаютъ безъ искренней надежды; они служили кое-гдѣ предлогомъ, но нигдѣ не были причиною движенія. Общества па-

даютъ не отъ сильныхъ какихъ-нибудь потрясеній, не вслѣдствіе какой-нибудь борьбы: они падаютъ какъ иногда старыя деревья, утратившія весь свой жизненный сокъ и еще недавно выдержавшія сильную бурю, съ громомъ и гуломъ падаютъ въ тихую ночь, когда въ воздухѣ нѣтъ достаточнаго движенія, чтобы покачнуть листъ на свѣжихъ деревьяхъ; они умираютъ, какъ умираютъ старики, которымъ по народной поговоркѣ—*надоѣло жить*. Только умственно-слѣпому позволено было бы не видать тутъ необходимости исторической.

Дѣйствительно, всѣ или почти всѣ поняли ее, болѣе или менѣе явственно. Историкъ-партикуляристъ не зналъ бы что̀ и дѣлать съ нашею эпохою. Историческая необходимость современнаго явленія ясна. Какія-то начала жизни общественной вымерли, чему-то извѣрилось человѣчество; но чему? это разумѣютъ не всѣ. Объясненія, взятыя изъ общественной жизни Западныхъ народовъ, недостаточны, критика государственныхъ формъ недостаточна: Швейцаріи такъ же мало посчастливилось, какъ Франціи и Пруссіи. Правда, что Западная Европа, повидимому, старается отвергнуть неразумныя формы, тяжелое наслѣдіе, завѣщанное ей Германскими завоеваніями и феодализмомъ Среднихъ Вѣковъ; но этимъ еще ничего объяснить нельзя. Общество возстаетъ не противъ формы своей, а противъ всей сущности, противъ своихъ внутреннихъ законовъ. Сѣверная Америка находитъ такъ же мало поклонниковъ, какъ и Порта Оттоманская или Испанія Филиппа II-го. Отжили не формы, но начала духовныя, не условія общества, но вѣра, въ которой жили общества и люди, составляющіе общество. Внутреннее омертвѣніе людей высказывается судорожными движеніями общественныхъ организмовъ, ибо человѣкъ—созданіе благородное: онъ не можетъ и не долженъ жить безъ вѣры.

Современнымъ явленіямъ, на которыя теперь обращено всеобщее любопытство, предшествовало, тому лѣтъ десять назадъ, другое явленіе, которое было замѣчено весьма многими, но не всѣми: это было сильное пробужденіе интересовъ и вопросовъ религіозныхъ. Латинство и Протестантство, казалось, были готовы снова вступить въ бой; но ни то, ни

другое не выдержало критики, сопровождающей всякое явленіе нашего вѣка; ни то, ни другое не могло отвѣчать на заданные ему вопросы. Интересъ религіозный, повидимому, погасъ; но раздоръ, пробужденный въ душѣ человѣческой и непримиренный разумнымъ разрѣшеніемъ, долженъ былъ принести свои плоды и принесъ ихъ. Логика исторіи произноситъ свой приговоръ не надъ формами, но надъ духовной жизнію Западной Европы. Иначе и быть не могло. Какъ скоро оба духовныя начала или, лучше сказать, обѣ формы однаго и того же духовнаго начала, которыми жила и управлялась Европа въ продолженіе столькихъ вѣковъ, замолкли передъ требованіемъ критики, самая область духовная опустѣла, внутренній миръ души исчезъ, вѣра въ разумное развитіе погибла, и жадное нетерпѣніе вещественныхъ интересовъ (отчасти законныхъ) не могло признать передъ собою никакаго другаго пути, кромѣ пути взрывовъ и насилія.

Людямъ Запада теперешнее его состояніе должно казаться загадкою неразрѣшимою. Понять эту загадку можемъ только мы, воспитанные инымъ духовнымъ началомъ.

Наука признала, что новый Европейскій міръ созданъ Христіанствомъ. Это справедливо вотъ въ какомъ смыслѣ. Христіанство, въ полнотѣ своего Божественнаго ученія, представляло идеи единства и свободы, неразрывно соединенныя въ *нравственномъ законѣ взаимной любви*. Юридическій характеръ Римскаго міра не могъ понять этого закона: для него единство и свобода явились силами противоположными другъ другу, антагонистическими между собою; изъ двухъ началъ высшимъ показалось ему, по необходимости, единство, и онъ пожертвовалъ ему свободой. Таково было вліяніе Римской стихіи. Стихія Германская, противная Римской, удержала бы за собою другое начало, но этого быть не могло: она сама являлась въ Западной Европѣ завоевательницею, насильницею. Вслѣдствіе своего положенія она приняла въ себя тоже начало, которое принимала Римская стихія вслѣдствіе своего внутренняго характера. И такъ, Западная Европа развивалась не подъ вліяніемъ Христіанства, но подъ вліяніемъ Латинства, т. е. Христіанства односторонне-понятаго, какъ законъ внѣшняго единства. Тотъ, кто

понимаетъ исторію, можетъ легко усмотрѣть постепенное развитіе этого начала въ идеѣ Всехристіанства (tota Christianitas), понятаго какъ государство, въ борьбѣ императоровъ и папъ, въ крестовыхъ походахъ, въ военно-монашескихъ орденахъ, въ принятіи одного церковно - дипломатическаго языка (Латинскаго) и т. д. Онъ увидитъ, что и вся жизнь Запада была проникнута этимъ началомъ и развивалась въ полной зависимости отъ него, въ іерархіи феодальной, въ аристократизмѣ, въ понятіи о правѣ, въ понятіи о государственной власти и т. д. Для того, кто только вытвердилъ исторію по иностраннымъ писателямъ, пришлось бы говорить слишкомъ много. Поэтому мы и не станемъ здѣсь разсматривать исторію Западной Европы съ этой точки зрѣнія.

Таковъ былъ первый періодъ Западной исторіи; второй былъ періодомъ реакціи. Односторонность Латинства вызвала противодѣйствіе, и мало-по-малу, послѣ многихъ неудачныхъ попытокъ, послѣ долгой борьбы, наступилъ періодъ Протестантства, односторонняго какъ и Латинство, но односторонняго въ направленіи противоположномъ первому: ибо Протестантство удерживало идею свободы и приносило ей въ жертву идею единства. Иначе и быть не могло, ибо примиреніе было невозможно для Запада, воспитаннаго началомъ Латинства, подъ условіями завоеванія Германскаго и юридической формальности Римской. Вся новая исторія Европы принадлежитъ Протестантству, даже въ земляхъ, слывущихъ за католическія. Какъ идея единства Латинскаго была внѣшняя, такъ и идея свободы протестантской была внѣшнею; ибо свобода, отрѣшенная отъ идеи разумнаго содержанія, есть понятіе чисто отрицательное и слѣдовательно внѣшнее. Протестантство удерживалось въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ отъ совершеннаго самоуничтоженія только посредствомъ произвольныхъ условій; но оно носило въ себѣ сѣмена своей собственной гибели, и этимъ сѣменамъ надобно было по необходимости развиться. Они развились. Въ области религіи догматической Протестантство исчезло и перешло въ неопредѣленность философскаго мышленія, то-есть философскаго скепсиса; въ области жизни общественной оно перешло въ то состояніе безпредѣльнаго броженія, которымъ

потрясенъ Западный міръ. Произвольныя условія не могли устоять ни противъ требованій разумной критики, ни противъ личныхъ страстей; ибо условіе произвольное не можетъ заключать въ самомъ себѣ собственнаго освященія: оно можетъ только освящаться извнѣ, а всякое начало освящающее было уже уничтожено Протестантствомъ. Въ наше время судъ исторіи совершается и совершится надъ Латинствомъ и Протестантствомъ. Таковъ смыслъ современнаго движенія.

До сихъ поръ не являлось, и явиться не можетъ, новаго начала духовнаго, которое могло бы пополнить въ душѣ человѣческой пустоту, оставленную въ немъ конечнымъ паденіемъ начала Латино-протестантскаго. Всѣ попытки (ихъ было много) отыскать или создать такое начало были неудачны. Таковъ смыслъ явленія и упадка всѣхъ системъ, надѣлавшихъ больше или меньше шуму подъ фирмою Овена или Сенъ-Симона, подъ именемъ Коммунизма или Соціализма. Всѣ эти системы, порожденныя, повидимому, вещественными болѣзнями общества и имѣвшія, повидимому, цѣлью исцѣленіе этихъ болѣзней, были дѣйствительно рождены внутреннею болѣзнію духа и устремлены къ пополненію пустоты, оставленной въ немъ паденіемъ прежней вѣры или прежняго призрака вѣры. Всѣ онѣ пали или падаютъ вслѣдствіе одной и той же причины, именно той субъективной произвольности, на которой они основаны. Другимъ путемъ пришла къ той-же цѣли философія Германская въ лицѣ своего представителя Гегеля или, лучше сказать, учениковъ его. Строгій (хотя и неполный) въ своемъ анализѣ, ничтожный въ своемъ синтезѣ, Гегелизмъ въ своемъ паденіи показалъ всю глубину духовной бездны, надъ которой уже давно, сама того не зная, стояла философствующая Германія; онъ обличилъ язву, которой исцѣлить не могъ. Но въ этомъ безспорно заключается и великая заслуга. Всѣ будущія попытки по пути чисто-философскому невозможны послѣ Гегеля; всѣ будущія попытки въ родѣ устарѣвшаго Овенизма или новаго Соціализма будутъ неудачны и ничтожны по тѣмъ же причинамъ, по которымъ были неудачны и ничтожны ихъ предшественницы. Приговоръ надъ ними совершается современною намъ исторіей; произнесенъ же онъ нѣсколько лѣтъ назадъ, въ книгѣ

нелѣпой но своей формѣ, отвратительной по своему нравственному характеру, но неумолимо-логической, въ книгѣ Макса Штирнера (Der Einzelne und sein Eigenthum). Эта книга, отъ которой съ ужасомъ отступилась школа, породившая ее, о которой безъ глубокаго негодованія не можетъ говорить ни одинъ нравственный (sittlicher) Нѣмецъ, имѣетъ значеніе историческое, незамѣченное критикою и, разумѣется, еще менѣе извѣстное самому автору, значеніе полнѣйшаго и окончательнаго протеста духовной свободы противъ всякихъ узъ произвольныхъ и налагаемыхъ на нее извнѣ. Это голосъ души, правда, безнравственной, но безнравственной потому, что ее лишили всякой нравственной основы, души, безпрестанно высказывающей, хотя безсознательно, и возможность, и разумность покорности началу, которое бы было ею сознано и которому бы она повѣрила, и возстающей съ негодованіемъ и злобою на ежедневную продѣлку Западныхъ систематиковъ, не вѣрящихъ и требующихъ вѣры, произвольно создающихъ узы и ожидающихъ, что другіе примутъ ихъ на себя съ покорностью. Современная исторія есть живой комментарій на Макса Штирнера, фактическій протестъ жизненной простоты противъ книжнаго умничанья, которое вздумало ее надувать призраками самодѣльныхъ духовныхъ началъ, когда духовныя начала, которыми она нѣкогда дѣйствительно жила, уже не существуютъ.

Такова была воля Промысла, или (если съ нашей стороны слишкомъ дерзко угадывать пути Провидѣнія) таковъ былъ смыслъ всемірной исторіи, чтобы человѣчество, не понявшее Христіанства или понявшее его односторонне, пришло путемъ отрицанія къ пониманію своей собственной ошибки. Безполезныя усилія отсталыхъ мыслителей, безполезныя хитрости духовныхъ правителей, унижающихъ вѣру до іезуитски-нищенскаго союза съ страстями и партіями политическими, не воскресятъ и даже не продлятъ эпохи Латинопротестантства. Прежняя ошибка уже невозможна, человѣкъ не можетъ уже понимать вѣчную истину первобытнаго Христіанства иначе, какъ въ ея полнотѣ, т. е. въ тождествѣ единства и свободы, проявляемомъ въ законѣ духовной любви. Таково Православіе. Всякое другое понятіе о Христіанствѣ

отнынѣ сдѣлалось невозможнымъ. Представителемъ же этого понятія является Востокъ, по преимуществу же земли Славянскія и въ главѣ ихъ наша Русь, принявшая чистое Христіанство издревле, по благословенію Божіему, и сдѣлавшаяся его крѣпкимъ сосудомъ, можетъ быть, въ силу того общиннаго начала, которымъ она жила, живетъ и безъ котораго она жить не можетъ. Она прошла черезъ великія испытанія, она отстояла свое общественное и бытовое начало въ долгихъ и кровавыхъ борьбахъ, по преимуществу же въ борьбѣ, возведшей на престолъ Михаила (какъ я уже сказалъ въ одной изъ прежнихъ своихъ статей),—и сперва спасшая эти начала для самой себя, она теперь должна явиться ихъ представительницею для цѣлаго міра. Таково ея призваніе, ея удѣлъ въ будущемъ. Намъ позволено глядѣть впередъ смѣло и безбоязненно.

Постигнувъ значеніе современныхъ движеній и призваніе Русской земли въ исторіи всемірной, мы приходимъ къ глубокому убѣжденію, что Русская земля исполнитъ свое призваніе; но въ тоже время и къ вопросу, какъ можетъ она его исполнить и какіе органы въ частной дѣятельности она можетъ найти въ наше время для выраженія и проявленія своихъ внутреннихъ началъ.

Этотъ вопросъ порождаетъ невольное и справедливое сомнѣніе.

Только тотъ можетъ выразить для другихъ свои начала духовныя, кто ихъ уразумѣлъ для самого себя; только стройный и цѣльный организмъ духовный можетъ передать крѣпость и стройность другимъ организмамъ, разслабленнымъ и разъединеннымъ. Мысль и жизнь народная можетъ быть выражена и проявлена только тѣми, кто вполнѣ живетъ и мыслитъ этою мыслію и жизнію. Таковы ли мы съ нашимъ просвѣщеніемъ?

Въ письмѣ объ Англіи я сказалъ: «Правильное и успѣшное движеніе разумнаго общества состоитъ изъ двухъ разнородныхъ, но стройныхъ и согласныхъ силъ. Одна изъ нихъ, основная, коренная, принадлежащая всему составу, всей прошлой исторіи общества, есть сила жизни, самобытно развивающейся изъ своихъ началъ, изъ своихъ органическихъ основъ; дру-

гая, разумная сила личностей, основанная на силѣ общественной, живая только ея жизнію, есть сила, никогда ничего не созидающая и не стремящаяся что-нибудь созидать, но постоянно присущая труду общаго развитія и не позволяющая ему перейти въ слѣпоту мертвеннаго инстинкта или вдаваться въ безразсудную односторонность. Обѣ силы необходимы; но вторая, сознательная и разсудочная, должна быть связана живою и любящею вѣрою съ силою жизни и творчества. Если прервана связь вѣры и любви, наступаютъ раздоръ и борьба». Въ Англіи этотъ раздоръ наступилъ вслѣдствіе односторонности Латинства, вызвавшей Протестантство и, можетъ быть, еще вслѣдствіе другихъ общественныхъ причинъ. У насъ наступилъ тотъ же раздоръ, но вслѣдствіе другаго историческаго развитія.

Жизненная сила всего древняго Русскаго общества, не смотря на треволненіе его и на внутренній трудъ общинъ силившихся слиться въ одну великую Русскую общину, долго не подавляла разумнаго развитія личности. Пути мысли были свободны, все человѣческое было доступно человѣку (разумѣется, по мѣрѣ его знаній и умственныхъ силъ). Быть можетъ, перевѣсъ перваго, т. е. общественнаго начала былъ нѣсколько сильнѣе, чѣмъ слѣдовало, вслѣдствіе внутреннихъ смутъ, предшествовавшихъ окрѣпленію государства, и вслѣдствіе внѣшнихъ грозъ (Татарской и Литовской), требовавшихъ сосредоточенія и напряженія общественныхъ силъ для отпора; но область личной мысли была еще довольно обширна. Стихія народная не враждовала съ обще-человѣческимъ даже тогда, когда обще-человѣческое приходило къ намъ съ клеймомъ иноземнымъ. Доказательствомъ тому служитъ знаніе иностранныхъ языковъ и особенно похвала этому знанію, призваніе иностранныхъ художниковъ, охотное сближеніе съ иноземцами даже духовнаго званія, вліяніе Западнаго искусства на Новогородскую иконопись, принятіе многихъ Западныхъ сказокъ, знакомство съ Нѣмецкими сагами изъ круга Нибелунговъ (какъ видно изъ Новогородскаго лѣтописца), наконецъ сочувствіе съ явленіями Западнаго міра, отчасти заслуживающими этого сочувствія (напримѣръ, съ крестовыми походами) и со многимъ другимъ. Кажется, подо-

зрительность и вражда къ Западной мысли стали проявляться съ нѣкоторою силою послѣ Флорентинскаго собора и Латинскаго насилія въ Русскихъ областяхъ, тогда подвластныхъ Польшѣ. Развились онѣ вполнѣ вслѣдствіе безумной и глубокой ненависти къ Русскимъ людямъ, доказанной Швеціею и купечествомъ и баронствомъ При-Балтійскимъ; болѣе же всего вслѣдствіе вражды и лукавства Польскихъ магнатовъ и Латинскаго духовенства. Мало-по-малу народная стихія стала являться исключительною и враждебною ко всему иноземному.

Область духа человѣческаго была стѣснена; но такое стѣсненіе, противное какъ истинѣ человѣческой, такъ и требованіямъ духа Русскаго и кореннымъ основамъ его внутренней жизни, должно было произвести сопротивленіе, доходящее до противоположной крайности. Борьба 1612 года была не только борьбою государственною и политическою, но и борьбою духовною. Европеизмъ съ его зломъ и добромъ, съ его соблазнами и истиною, являлся въ Россіи въ образѣ Польской партіи. Салтыковы и ихъ товарищи были представителями Западной мысли. Правда, въ нравственномъ отношеніи они не заслуживали уваженія. Иначе и быть не могло: нравственно-низкія души легче другихъ отрываются отъ святыни народной жизни. Правда, люди, желавшіе измѣнить старину, были въ тоже время измѣнниками отечеству, но это только была историческая случайность въ ихъ положеніи, въ сущности же ихъ направленіе, произведенное случайнымъ ожесточеніемъ народнаго начала, стѣснявшаго свободу мысли человѣческой, было не совсѣмъ неправо. Сила Русскаго духа восторжествовала: Москва освобождена, Русскій царь на престолѣ; но требованіе мысли, возстающей противъ стѣснительнаго деспотизма обычаевъ и стихій мѣстныхъ, не осталось безъ представителей. Худшая сторона его выражалась въ такихъ людяхъ, какъ развратный бѣглецъ и клеветникъ Котошихинъ, или какъ Хворостининъ, который говорилъ, что «Русскій людъ такъ глупъ, что съ нимъ жить нельзя»; но лучшая сторона того же требованія находила сочувствіе въ лучшихъ и благороднѣйшихъ душахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что оно должно было получить со временемъ свои законныя права; быть можетъ, оно должно было впасть въ

крайность, потому что было вызвано противоположною крайностью. Какъ бы то ни было, оно нашло себѣ представителя, давшаго ему полный перевѣсъ и быструю побѣду. Этотъ представитель, одинъ изъ могущественнѣйшихъ умовъ и едва ли не сильнѣйшая воля, какія представляетъ намъ лѣтопись народовъ, былъ Петръ. Какъ бы строго ни судила его будущая исторія (и безспорно, много тяжелыхъ обвиненій падаетъ на его память), она признаетъ, что направленіе, котораго онъ былъ представителемъ, не было совершенно неправымъ: оно сдѣлалось неправымъ только въ своемъ торжествѣ, а это торжество было полно и совершенно. Нечего говорить, что всѣ Котошихины, Хворостинины и Салтыковы бросились съ жадностью по слѣдамъ Петра, рады-радехоньки тому, что освободились отъ тяжелыхъ требованій и нравственныхъ законовъ духа народнаго, что они, такъ сказать, могли расплясаться въ Русскій постъ. Та доля правды, которая заключалась въ торжествующемъ протестѣ Петра, увлекла многихъ и лучшихъ; окончательно же, соблазнъ житейскій увлекъ всѣхъ.

Такимъ образомъ, вслѣдствіе историческихъ случайностей, совершился въ Россіи тотъ разрывъ, который совершился въ Англіи вслѣдствіе неполноты и ложности ея духовныхъ законовъ.

Одностороннее развитіе личнаго ума, отрѣшающагося отъ преданій и исторической жизни общества: таковъ смыслъ Англійскаго Вигизма. Таковъ смыслъ Вигизма въ какой бы то ни было странѣ. Характеръ его, въ общихъ чертахъ, показанныхъ мною въ письмѣ объ Англіи, вездѣ одинъ и тотъ же; но за всѣмъ тѣмъ, направленіе общества въ Россіи (нашъ домашній Вигизмъ) представляетъ значительное различіе съ Англійскимъ, и эти различія, конечно, не въ нашу пользу. Происходя отъ внутренней неполноты и ложности духовныхъ законовъ, положенныхъ исторіею въ основаніи Англіи, Англійскій Вигизмъ былъ естественнымъ и, такъ сказать, законнымъ развитіемъ одной изъ ея стихій. Онъ оставался народнымъ, онъ былъ связанъ съ духовною сущностью земли даже тогда, когда отрывался отъ ея преданій и историческаго прошедшаго. Англійскій Вигъ остается вполнѣ Англичаниномъ: его бытъ, его внутренняя жизнь, даже наружный

видъ — все въ немъ Англійское; онъ еще не осудилъ себя на совершенное безсиліе общественное и духовное. Иное дѣло Вигизмъ нашего общества. Порожденный не внутреннимъ закономъ духовной народной жизни, а только историческою случайностію внѣшнихъ отношеній Русской земли и временнымъ деспотизмомъ мѣстнаго обычая, — онъ сначала явился протестомъ противъ случайнаго явленія, но по закону, можетъ быть необходимому, онъ сдѣлался протестомъ противъ всей народной жизни, противъ всей ея сущности: онъ отлучилъ отъ себя все Русское начало и самъ отъ него отлучился. Безсильный, какъ всякая оторванная личность, лишенный всякаго внутренняго содержанія (ибо онъ былъ только отрицаніемъ), лишенный всякой духовной пищи, ибо онъ оторвался вполнѣ отъ своей родной земли, — онъ былъ принужденъ, и не могъ не быть принужденнымъ, прицѣпиться къ другому историческому и сильному умственному движенію, къ движенію Запада, котораго онъ сдѣлалался школьникомъ и рабомъ. Это духовное рабство передъ Западнымъ міромъ, этотъ ожесточенный антагонизмъ противъ Русской земли, разсмотрѣнные въ продолженіе цѣлаго столѣтія, представляютъ весьма любопытное и поучительное явленіе. Отрицаніе всего Русскаго, отъ названій до обычаевъ, отъ мелочныхъ подробностей одежды до существенныхъ основъ жизни, доходило до крайнихъ предѣловъ возможности. Въ немъ проявлялась какая-то страсть, какая-то комическая восторженность, обличающая въ одно время величайшую умственную скудость и совершеннѣйшее самодовольствіе. Конечно, эти крайности, повидимому, принадлежатъ болѣе первому періоду нашей европеизаціи, чѣмъ послѣднему; но послѣдній, при большемъ безстрастіи, заключаетъ въ себѣ большее презрѣніе и полнѣйшее отрицаніе всего народнаго.

Таковы послѣдствія нашего общественнаго направленія, нашего домашняго Вигизма.

Въ предыдущихъ статьяхъ я показалъ вліяніе этого направленія на нашу науку, на наше искусство, на нашъ бытъ, или, лучше сказать, невозможность науки, искусства и быта при такомъ направленіи. Повтореніе было бы безполезно; но въ такое время, когда, какъ я сказалъ, всемірная исто-

рія, осудивъ безвозвратно тѣ односторонніе духовныя начала, которыми управлялась человѣческая мысль на Западѣ, вызываетъ къ жизни и дѣятельности болѣе полныя и живыя начала, содержимыя нашею Святою Русью, не мѣшаетъ еще сказать нѣсколько словъ о томъ же предметѣ, дабы каждый изъ насъ, читающихъ, пишущихъ и живущихъ въ нашемъ просвѣщенномъ обществѣ, могъ въ безпристрастіи совѣсти своей опредѣлить, до какой степени онъ или окружающіе его въ состояніи быть органами Русской жизни и Русской мысли.

Въ прежнихъ статьяхъ я говорилъ о ничтожествѣ и о причинахъ ничтожества науки въ Россіи. Самый фактъ не подлежитъ сомнѣнію: причины его ясны. Наука сама подвинуться не можетъ, покуда не будетъ устранена причина ея мертвенности, т. е. тотъ внутренній разрывъ, о которомъ я уже говорилъ; но любопытно видѣть, съ какимъ упорствомъ она отстаиваетъ свое благопріобрѣтенное ничтожество и съ какимъ жаромъ возстаетъ она противъ всякой попытки, могущей возмутить ея умственный сонъ. Собственно наукообразное развитіе нашего общества дѣлится на два разряда. Большинство довольствуется издавна полученнымъ направленіемъ Французской образованности и съ тихимъ самодовольствіемъ продолжаетъ повторять старые уроки, перешедшіе едва ли уже не въ третье поколѣніе, разнообразя ихъ современными варіаціями, взятыми изъ глубокомысленныхъ Французскихъ журналовъ. Повидимому, въ этомъ большинствѣ нѣтъ единства мнѣнія, но дѣйствительныя основы мнѣнія одинаковы у всѣхъ; разница же заключается только въ томъ, что для инаго оракуломъ служитъ La Presse, для другого National, для третьяго Journal des Débats, и т. д. Все это большинство можно заключить подъ общимъ именемъ школьниковъ Французскихъ журналовъ. Меньшинство пошло гораздо далѣе: оно проникло въ глубь Нѣмецкаго просвѣщенія. Тому лѣтъ двадцать, съ полною вѣрою въ Шеллинга, оно субъектировало, объектировало и субъектобъектировало весь міръ; потомъ, вмѣстѣ съ Гегелемъ отвергая чуть-чуть не съ презрѣніемъ поэтическую мечтательность Шеллинговой эпохи, оно, процессомъ феноменологіи, высушивало тотъ же міръ до

совершеннѣйшаго скелета или, лучше сказать, до призрака какого-то скелета, до бытія тождественнаго небытію, и вдыхало ему снова жизнь и сущность посредствомъ многосложнаго аппарата логическихъ моментовъ. Прошла и эта эпоха. Умственная Германія протянула руку умственной Франціи, которою пренебрегала чуть-чуть не полвѣка, и сливки нашего просвѣщенія получили туже закваску. Многоученое меньшинство, школьники Нѣмецкой философіи, поступило вмѣстѣ съ Нѣмецкими университетами подъ тѣ знамена, подъ которыми идетъ большинство, — подъ знамена Французской журналистики. Гдѣ же плоды того умственнаго воспитанія, которое это меньшинство получало изъ Германіи и которое могло обмануть поверхностнаго наблюдателя? Гдѣ тотъ жаръ увлеченія, который заставлялъ людей, незнавшихъ Нѣмецкаго языка, но желавшихъ принадлежать къ ученому меньшинству, цитовать вкривь и вкось авторитеты Нѣмецкіе, непонятные для нихъ самихъ, или томить публику сухими и темными формулами, убивающими всякое живое разумѣніе? Гдѣ тотъ жаръ вѣрованія, который обращалъ другихъ, болѣе добросовѣстныхъ и свѣдущихъ, въ истинныхъ мучениковъ науки, проводящихъ безсонныя ночи въ безконечныхъ преніяхъ о философскихъ отвлеченностяхъ, не только въ тепломъ убѣжищѣ дружественныхъ салоновъ, но и на трескучихъ морозахъ Петербургскихъ или Московскихъ ночей? Правда, есть люди, но они наперечетъ, которые вынесли изъ этаго воспитанія умственную дѣятельность, поставившую ихъ на новые самобытные пути мышленія; большая же часть поносилась съ мыслію, не оживившись ею, отстала отъ мысли, не додумавъ ея, и безпрестанно принимаетъ изъ-за моря новыя направленія и, такъ сказать, новыя временныя вѣрованія, съ тоюже дѣтскою довѣренностью, съ которою она лепетала формулы Нѣмецкой науки. Для нея наукообразная форма Германская была только модою, и скорѣе Петербургская щеголиха (пожалуй, хоть и львица) надѣнетъ платье, сшитое по третьегодней модѣ, чѣмъ нашъ книжникъ заговоритъ формулами или о формулахъ мышленія, нѣкогда бывшаго предметомъ его боготворенія. Разумѣется, наука невозможна при такомъ направленіи. Если же какъ-нибудь случайно выскажется

какая-нибудь мысль, естественно родившаяся на Русской почвѣ, — полукнижное большинство и книжное меньшинство встрѣчаютъ ее одинаковою непонятливостію (очень естественною, потому что умъ человѣческій не безъ усилія вырывается изъ привычной своей колеи) и одинаковымъ недоброжелательствомъ, происходящимъ также отъ весьма естественнаго желанія сохранить неприкосновенность своего умственнаго сна. Всѣ единогласно провозглашаютъ новую мысль парадоксомъ (какъ въ извѣстной сценѣ *Горе отъ ума:* «это странно что-то!»), при чемъ большинство объявляетъ, что новый парадоксъ не совсѣмъ благовиденъ (ибо нашъ общественный Вигизмъ имѣетъ сильное притязаніе на консерваторство и на Торизмъ, не сознавая своего Вигизма и не понимая, что Торизмъ совершенно невозможенъ при полномъ разрывѣ съ народомъ и народною жизнію). Меньшинство же хватаетъ на скорую руку какое-нибудь пошлое возраженіе и бросаетъ его, къ общему удовольствію, въ міръ мелкой журналистики. Тѣмъ дѣло и покончивается.

Этому былъ недавній примѣръ. Одинъ изъ тѣхъ весьма немногихъ людей, которымъ удалось вполнѣ познакомиться съ Западною наукою, продумать ее и выйти на путь своебытнаго мышленія, выразилъ недавно мысль, что *одна любовь* можетъ служить основою общества и общественной науки. Какъ была встрѣчена эта мысль? Одинъ изъ представителей книжнаго меньшинства или того, что̀ можно назвать школьническою школою, выступилъ съ проворнымъ опроверженіемъ и сталъ доказывать, что на дѣло основанія общества взаимная вражда годится такъ же, какъ и взаимная любовь. Конечно, всякій здравомыслящій человѣкъ могъ бы ему сказать, что вражда, во сколько она существуетъ свободно, не можетъ служить основаніемъ ни для чего; что она должна быть подавлена или сдержана примирительнымъ условіемъ. Самое же условіе обезпечивается или взаимною выгодою или взаимнымъ страхомъ условившихся; но ни страхъ, ни выгода не обезпечиваютъ соблюденія условія, потому что они опредѣляются только личнымъ и случайнымъ расчетомъ каждаго изъ членовъ общества, и сами по себѣ не могутъ дать условію характеръ правомѣрности. Съ другой сто-

роны, какъ я уже сказалъ, никакое условіе само собою святиться не можетъ; оно получаетъ характеръ святости или правды только извнѣ; слѣдовательно, основою общества будетъ начало, освящающее условіе, а не вражда. И такъ, вражда можетъ являться какъ случайность въ составленіи общества, но не можетъ входить ни въ какомъ случаѣ въ его норму, идея же взаимной любви можетъ являться и въ процессѣ развитія общественнаго и окончательною его нормою. Дѣло было ясно, и ничтожность возраженія очевидна, а все-таки возраженіе пригодилось *). Таково было участіе меньшинства.

Большинство съ своей стороны отозвалось, что предполагаемое начало имѣетъ, такъ сказать, характеръ пастушескій и наивно мечтательный, и что оно предполагало какое-то общество святыхъ. На это возражать нечего. Въ письмѣ объ Англіи, говоря о соблюденіи въ ней воскресной тишины и о соблюденіи постовъ во всѣхъ Русскихъ деревняхъ и собственно-Русскихъ городахъ, я уже показалъ разницу между общественною нормою и произволомъ личности; но, разумѣется, это различіе еще не совсѣмъ ясно для многихъ.

Таковъ былъ пріемъ, сдѣланный читающею публикою мысли, заслуживающей другой оцѣнки. Этой мысли, какъ единственнаго разрѣшенія вопросовъ общественныхъ, ищутъ и на Западѣ, но ея найти не могутъ; ибо она не дана Западу ни его общественнымъ началомъ, основаннымъ на враждѣ и завоеваніи, ни односторонностію и антагонизмомъ его отжившихъ духовныхъ началъ; она не можетъ возникнуть изъ произвола личнаго мышленія, она должна имѣть корни свои въ духовномъ и общественномъ началѣ, въ вѣрованіи для своего существованія и въ исторической основѣ общества для своего проявленія. Это, наконецъ, была мысль вполнѣ Русская, и отъ того-то она встрѣтила такой радушный пріемъ! Примѣръ поучительный, но не единственный. Такой же пріемъ былъ

*) Замѣчанія мои объ этомъ неудачномъ возраженіи нисколько не мѣшаютъ мнѣ питать истинное уваженіе къ весьма даровитому возражателю. Если когда-нибудь въ немъ или во многихъ изъ его сотрудниковъ, также весьма даровитыхъ, является нѣкоторая несостоятельность передъ глазами строгой логики, то, конечно, это можно приписать недостатку самой школы, а не какому-нибудь личному недостатку ея членовъ.

сдѣлать попытку показать различіе между высокимъ христіанскимъ понятіемъ о личности и двумя Западными понятіями о личности, какъ о совокупности всѣхъ случайностей, обставляющихъ человѣческую личность, или о личности, какъ о числительной единицѣ. Такой же пріемъ встрѣтило опредѣленіе различія между единодушіемъ, какъ выраженіемъ нравственнаго единства, и большинствомъ, какъ выраженіемъ физической силы или единогласіемъ, являющимся какъ крайній предѣлъ большинства, и т. д. Очевидно, наука въ теперешнемъ своемъ состояніи еще не можетъ надѣяться быть органомъ Русской жизни и Русской мысли.

Дѣло еще яснѣе въ отношеніи къ художеству. Ни искусство слова, ни искусство звука, ни пластика въ Россіи не выражаютъ еще нисколько внутренняго содержанія Русской жизни, не знаютъ еще ничего про Русскіе идеалы.

Разумѣется, иначе и быть не можетъ; ибо искусство, невольное и, такъ сказать, ненадуманное воплощеніе жизненныхъ и духовныхъ законовъ народа въ видимые и стройные образы, невозможно при отдѣленіи лица (какъ бы ни было оно одарено художественными способностями) отъ самой жизни народной. Отдѣленная личность есть совершенное безсиліе и внутренній непримиренный разладъ. Она до такой степени неспособна быть началомъ или источникомъ художества, что всякое ея проявленіе уже разстроиваетъ или искажаетъ художественное произведеніе, въ которомъ она выступаетъ не иначе, какъ развѣ покоряющаяся общему закону или страдающая отъ его нарушенія. Безспорно, какія-то мелкія струи Русскихъ началъ пробѣгаютъ въ лучшихъ произведеніяхъ нашего слова; но онѣ очень незначительны, хотя ихъ свѣжесть и блескъ должны бы служить утѣшительнымъ предвѣщаніемъ для будущаго развитія. Замѣтимъ мимоходомъ, что всеобщій успѣхъ даже плохихъ произведеній по одной изъ отраслей нашей словесности, близкой къ требованіямъ народнымъ, указываетъ довольно ясно на эти требованія, и что въ этой же отрасли мы можемъ похвалиться такимъ краснорѣчивымъ дѣятелемъ, которому равнаго не имѣетъ современная и которому мало соперниковъ можетъ представить прошедшая исторія. За-

паднаго слова. Этимъ дѣятелемъ восхищался Пушкинъ, его изучалъ Языковъ.—Въ искусствѣ звука видно еще большее безсиліе и, за весьма немногими исключеніями, ученая музыка одного изъ самыхъ музыкальныхъ народовъ въ мірѣ не заслуживаетъ никакого вниманія; весьма рѣдкія попытки ея на народность свидѣтельствуютъ по большей части о совершенной скудности вдохновенія и жалкой вялостью своей столько же напоминаютъ о музыкальномъ настроеніи Русской души, сколько пѣсни Дельвига объ ея выраженіи въ словѣ. — Наконецъ, пластика не только не существуетъ, но въ своихъ бѣдныхъ попыткахъ на существованіе можетъ служить наставительнымъ урокомъ, въ которомъ обнаруживаются причины несуществованія и другихъ художествъ. Случайно зарождается въ молодомъ человѣкѣ потребность выразить въ образѣ видимой красоты что-то скрывающееся въ душѣ его, но неясное для него самаго. Благородныя школы, основанныя просвѣщенною любовью къ искусству, открываютъ ему свои гостепріимныя объятія,— и онъ съ жаромъ принимаетъ этотъ призывъ. Тогда начинается безконечное рисованье и лѣпленіе глазковъ, носиковъ, лицъ, тѣлъ и группъ; безконечное изученіе всякихъ идеаловъ, разумѣется кромѣ тѣхъ, которые молодой человѣкъ безсознательно носилъ въ самомъ себѣ. Курсъ пластическаго искусства продолжается нѣсколько лѣтъ, и ученикъ, окончивъ его съ успѣхомъ и даже съ нѣкоторымъ блескомъ, выходитъ запутанный, сбитый съ толку, соблазненный стройностью чужой, когда-то жившей мысли, неспособный уже читать въ своей собственной душѣ, утратившій любовь къ тому, что̀ когда-то любилъ, и не пріобрѣтшій никакой другой любви, — окончательно и навсегда неспособный быть художникомъ. А развитіе было возможно; но оно было возможно при одномъ условіи, которое необходимо: именно, ученика не должно было отрывать отъ жизни народа. Во всякомъ періодѣ человѣчества, во всякомъ народѣ, для пластики возможны только два рода: пластика бытовая (genre) и пластика духовная (икона). Говоря въ прежней статьѣ о школахъ живописи, я уже указалъ на зависимость ихъ отъ народной жизни; это указаніе относилось по преимуществу

къ пластикѣ бытовой, въ которой заключаются всѣ другіе роды (такъ называемый историческій, ландшафтъ и проч.), кромѣ иконы. Высшее развитіе этого высшаго рода подчиняется отчасти тѣмъ же законамъ, но отчасти оно повинуется и другимъ законамъ, менѣе зависящимъ отъ случайности временъ и народовъ. Икона не есть религіозная картина, точно также какъ церковная музыка не есть музыка религіозная; икона и церковный напѣвъ стоятъ несравненно выше. Произведенія однаго лица, они не служатъ его выраженіемъ; они выражаютъ всѣхъ людей, живущихъ однимъ духовнымъ началомъ: это художество въ высшемъ его значеніи. Разумѣется, я не говорю о такомъ или такомъ-то напѣвѣ, или о такой или такой-то иконѣ; я говорю объ общихъ законахъ и ихъ смыслѣ. Та картина, къ которой вы подходите, какъ къ чужой, тотъ напѣвъ, который вы слушаете, какъ чужой напѣвъ, — это уже не икона и не церковный напѣвъ: они уже запечатлѣны случайностью какаго-нибудь лица или народа. Въ Мадоннѣ di Foligno, не смотря на все ея совершенство, вы не находите иконы. Не всѣ бы такъ поставили Ангела, почти никто такъ бы не поставилъ Христа: это Итальянская затѣя великаго Рафаэля, и она васъ разстроиваетъ, и она мѣшаетъ картинѣ быть образомъ вашего внутренняго міра, вашею иконою. Оттого-то икона въ Христіанствѣ возможна только въ церкви, въ единствѣ церковнаго созерцанія; оттого-то стоитъ она (въ своемъ идеалѣ) такъ много выше всякаго другаго художественнаго произведенія, — предѣломъ, къ которому непремѣнно должно стремиться художество, если оно еще надѣется какого-нибудь развитія. По тому самому, что икона есть выраженіе чувства общиннаго, а не личнаго, она требуетъ въ художникѣ полнаго общенія не съ догматикою Церкви, но со всѣмъ ея бытовымъ и художественнымъ строемъ, такъ, какъ вѣка передали его Христіанской общинѣ.

И такъ, пластика въ обоихъ родахъ своихъ, бытовомъ и иконномъ, доступна Русскому художнику единственно во столько во сколько онъ живетъ въ полномъ согласіи съ жизненнымъ и духовнымъ бытомъ Русскаго народа; и воспитаніе художника, его развитіе состоятъ только въ уясненіи идеаловъ, уже лежа-

щихъ безсознательно въ его душѣ. Объ этомъ-то условіи никогда и помину нѣтъ. Такова причина несуществованія у насъ пластики, и таже самая причина уничтожаетъ у насъ всякое другое художество. Очевидно, искусство еще менѣе науки можетъ служить выраженіемъ Русской жизни и мысли.

Дѣло еще яснѣе въ отношеніи къ быту. Онъ весь составленъ изъ мелочей, не имѣющихъ, повидимому, никакой важности; но кремнистыя твердыни воздвигнуты изъ микроскопическихъ остатковъ Эренберговыхъ инфузорій, а изъ мелочныхъ подробностей быта слагается громада обычая, единственная твердая опора народнаго и общественнаго устройства. Его важность еще недовольно оцѣнена. Обычай есть законъ; но онъ отличается отъ закона тѣмъ, что законъ является чѣмъ-то внѣшнимъ, случайно примѣшивающимся къ жизни, а обычай является силою внутреннею, проникающею во всю жизнь народа, въ совѣсть и мысль всѣхъ его членовъ. О борьбѣ закона съ обычаемъ сказалъ одинъ изъ величайшихъ юрисконсультовъ Франціи: La désuétude est la plus amère critique d'une loi (строжайшая критика закона есть отверженіе его обычаемъ). Объ охранной силѣ обычая говорилъ недавно одинъ остроумный Англичанинъ, что въ немъ одномъ спасеніе и величіе Англіи. Наконецъ, можно прибавить, что цѣль всякаго закона, его окончательное стремленіе есть — обратиться въ обычай, перейти въ кровь и плоть народа и не нуждаться уже въ письменныхъ документахъ. Такова важность обычая; и безспорно, всякій, кто сколько-нибудь изучилъ современныя происшествія, знаетъ, что отсутствіе обычая есть одна изъ важнѣйшихъ причинъ, ускорившихъ разрушеніе Франціи и Германіи. Обычай, какъ я уже сказалъ, весь состоитъ изъ бытовыхъ мелочей; но кто же изъ насъ не признáется, что обычай не существуетъ для насъ, и что нашъ вѣчно измѣняющійся бытъ даже не способенъ обратиться въ обычай? Прошедшаго для насъ нѣтъ, вчерашній день — старина, а недавнее время пудры, шитыхъ камзоловъ и фижмъ — едва ли уже не Египетская древность. Рѣдкая семья знаетъ что-нибудь про своего прапрадѣда, кромѣ того, что онъ былъ чѣмъ-то въ родѣ дикаря въ глазахъ своихъ образованныхъ правнуковъ. Знали ли бы что-ни-

будь Шереметевы про уваженіе народа къ Шереметеву, современнику Грознаго, или Карамышевы про подвиги своего предка, если бы не потрудилась народная пѣсня сохранить память объ нихъ, прибавивъ, разумѣется, и небывалыя дѣла? У насъ есть юноши, недавно вышедшіе изъ школы, потомъ юноши, трудящіеся въ жизни, болѣе или менѣе, по своему школьному направленію, или по наитію современныхъ мыслей, потомъ есть юноши сѣдые, потомъ юноши дряхлые, а старцевъ у насъ нѣтъ. Старчество предполагаетъ преданіе, — не преданіе разсказа, а преданіе обычая. Мы всегда новенькіе съ иголочки; старина у народа. Это должно бы намъ внушить уваженіе; но у насъ не только нѣтъ обычая, не только нѣтъ быта, могущаго перейти въ обычай, но нѣтъ и уваженія къ нему. Всякая наша личная прихоть, а еще болѣе всякая полудѣтская мечта о какомъ-нибудь улучшеніи, выдуманная нашимъ мелкимъ разсудкомъ, даютъ намъ право отстранить или нарушить всякой обычай народный, какой бы онъ ни былъ общій, какой бы онъ ни былъ древній. Этому доказательствъ искать не нужно: каждый въ своей совѣсти сознается, что я правъ; но недавно этому былъ довольно забавный примѣръ. Кто-то нашелся попечься о сохраненіи лѣсовъ въ Россіи: дѣло, безъ сомнѣнія, полезное и даже нужное. Что же онъ придумалъ? Онъ предложилъ уничтожить *Троицкую* березку, доказывая, что она-то и губитъ наши лѣса! Положимъ, что эта мысль могла прійти, по неопытности, городскому жителю, никогда не бывавшему въ лѣсахъ; но нѣтъ сомнѣнія, что даже и городской житель, если бы онъ имѣлъ сколько-нибудь уваженія къ обычаямъ народа, могъ бы сдѣлать справку, дѣйствительно ли этотъ обычай вреденъ, и тогда бы онъ узналъ, что на казенной десятинѣ здороваго березоваго молодятника (полагая его въ 5 или 6-лѣтнемъ возрастѣ) ростетъ нерѣдко гораздо болѣе 30 т. молодыхъ деревъ, изъ которыхъ едва ли одна тысяча можетъ уцѣлѣть до того возраста, въ которомъ береза поступаетъ на дрова *). И такъ, каждая десятина березоваго молодятни-

*) Мною насчитано слишкомъ 40 т. подбѣговъ въ семилѣтнемъ дубнякѣ, который никогда такъ частъ не бываетъ, какъ березнякъ.

ка, посредствомъ очистки, совершенно безвредной, можетъ дать около 30 т. деревъ для Семика и для Троицына дня. Было ли же о чемъ говорить? Было ли изъ чего предлагать нарушеніе стараго обычая? Такая выдумка въ Англіи невозможна была бы для самаго закоренѣлаго Вига. Правда, съ нѣкотораго времени многіе стали хлопотать о томъ, чтобы собрать и обнародывать обычаи народные. Такія собранія представятъ для временъ грядущихъ любопытное печатное кладбище убитыхъ обычаевъ. Очевидно, это ученая прихоть, нисколько не свидѣтельствующая объ уваженіи. Конечно, неуваженіе можетъ оправдываться совершеннымъ невѣдѣніемъ; но, съ другой стороны, совершенное невѣдѣніе не могло бы существовать безъ совершеннаго неуваженія. Такая круговая порука дѣлаетъ великую честь нашему мнимому Торизму.

Говоря о нашемъ невѣдѣніи Русскаго быта и обычая, я разумѣю не только его мелкія подробности, но и самыя плодотворныя, самыя охранительныя его черты. Недавно одинъ весьма ученый и даровитый писатель, говоря о Русскихъ мірахъ, призналъ ихъ первоначальною попыткою общественной жизни и объявилъ, что они не заключаютъ въ себѣ гражданственности, а только ведутъ къ ней. Я не смѣю думать, чтобы онъ хотѣлъ сказалъ, что деревня не государство. Эта истина такъ ясна, что онъ бы ея не сталъ ни придумывать, ни печатать. Если же онъ полагаетъ (а другого смысла и придумать нельзя), что устройство міровъ есть форма полудѣтская или обветшалая для общенія людскаго въ тѣсныхъ предѣлахъ, то жаль, что онъ не указалъ на ту, ему извѣстную форму общенія (разумѣется, въ тѣсныхъ же предѣлахъ), которая бы была совершеннѣе нашего міра, съ его общностью поземельнаго владѣнія и съ его открытымъ судомъ во всѣхъ дѣлахъ гражданскихъ, отчасти уголовныхъ и даже семейныхъ; ибо семья есть часть міра, но подсудимая міру. Правда, тотъ же писатель, недавно говоря о старой Руси и о вѣчевыхъ рѣшеніяхъ, сказалъ, что они составлялись безъ всякихъ правилъ и формъ, а такъ себѣ, кое-какъ, какъ рѣшеніе мірскихъ сходокъ. Этимъ-то и объясняется все дѣло. Вся ошибка писателя состоитъ

въ неуваженіи къ сходкѣ, весьма извинительномъ, потому что оно происходитъ отъ невѣдѣнія, если бы это самое невѣдѣніе могло быть чѣмъ-нибудь извинено. Но кто изъ его читателей осмѣлится его осудить? Вслѣдствіе полной разъединенности нашего Вигистическаго общества, не всѣ ли мы отошли такъ далеко отъ своей Русской жизни, что неспособны даже принять участіе въ мірской сходкѣ? Я скажу болѣе, что мы не имѣемъ никакихъ понятій объ юридическомъ началѣ, на которомъ основываются ея рѣшенія. Въ этомъ никто изъ насъ не усумнится. Это опять доказательство такого разобщенія, котораго никакой Англичанинъ не только не могъ бы придумать, но которому онъ едва ли бы могъ повѣрить. Дѣйствительно же рѣшенія мірскихъ сходокъ основываются или, по крайней мѣрѣ, всегда стремятся основываться на своихъ юридическихъ началахъ, которыя не совсѣмъ доступны нашимъ юристамъ. Для поясненія своей мысли, я разскажу случай, которому былъ свидѣтелемъ. Тому нѣсколько лѣтъ назадъ, ѣхалъ я осенью изъ Ельца, на своихъ, проселочною дорогою. Покуда кормили лошадей, вышелъ я на улицу, увидѣлъ собирающуюся сходку и пошелъ за народомъ, въ надеждѣ кое-что разсмотрѣть и (да проститъ меня мой читатель!), можетъ быть, кой-чему поучиться. Сходка была собрана для раздѣла огородныхъ земель. Толки продолжались часа два, и за ними послѣдовало какое-то рѣшеніе, которое, впрочемъ, ни для кого незанимательно, кромѣ самой деревни, въ которой дѣлились огороды. Послѣ толковъ, когда уже сходка собиралась расходиться, вышелъ молодой малой, лѣтъ 18, поклонился міру и билъ челомъ на старика, своего двоюроднаго дядю, въ обдѣлѣ. Дѣло онъ представилъ въ слѣдующемъ видѣ. Въ одномъ домѣ жили трое родныхъ братьевъ (въ томъ числѣ старшій, хозяинъ дома, тотъ самый, на котораго онъ жаловался) и двоюродный братъ, отецъ истца. Этотъ двоюродный братъ вышелъ изъ дома и зажилъ своимъ хозяйствомъ, когда еще дѣти его были малолѣтны; вскорѣ онъ умеръ. Молодой парень жаловался, что двоюродные братья обидѣли его отца. Старикъ сталъ доказывать, что это обвиненіе несправедливо и что четвертая часть дома была, какъ слѣдовало, выдана покой-

стантская реакція противъ односторонности Римскихъ началъ, былъ необходимостью, былъ развитіемъ неизбѣжнымъ и законнымъ; торжество его также неизбѣжно, какъ торжество всякой вполнѣ логической мысли. Отъ этого, какъ я уже сказалъ, въ Англіи будущее принадлежитъ Вигамъ, — если Англійская земля не приметъ извнѣ другихъ, болѣе полныхъ духовныхъ началъ. У насъ совсѣмъ другое дѣло: нашъ Вигизмъ есть слѣдствіе исторической и, такъ сказать, внѣшней случайности, нисколько не обусловленной нашими внутренними началами общественными или духовными. Плодъ временной случайности, онъ можетъ имѣть и значеніе и существованіе только временное; и не только нельзя сказать, чтобы будущее ему принадлежало, но можно смѣло сказать, что будущее для него не существуетъ. Законный въ своемъ случайномъ началѣ, безсмысленный въ своемъ общемъ развитіи, онъ приближается къ своему паденію. Его существованіе продлить не могутъ ни частныя усилія, ни полуобщесовѣстные парадоксы устарѣвшей любви къ Западнымъ началамъ, ни общественное упорство, ни даже неподвижная сила общественной апатіи и умственной лѣни. Логика имѣетъ свои неотъемлемыя права, и безпристрастный наблюдатель, радуясь будущему, можетъ уже найти утѣшеніе въ признакахъ настоящаго. Возвратъ Русскихъ къ началамъ Русской земли уже начинается.

Подъ этимъ словомъ возврата я не разумѣю возврата нашихъ любезныхъ соотечественниковъ, которые, какъ голубки, потрепетавши крылышками надъ треволненнымъ моремъ Западнаго общества, возвращаются утомленные на Русскую скалу и похваливаютъ ея твердость. Нѣтъ, они возвращаются на Святую Русь, но не въ Русскую жизнь; они похваливаютъ крѣпость своего убѣжища и не знаютъ (какъ и мы), что вся наша дѣятельность есть не что иное, какъ безпрестанное подкапыванье его основъ. Къ счастію, наши руки и ломы слишкомъ слабы, и безсиліе наше спасаетъ насъ отъ собственной слѣпоты. Я не называю возвратомъ и того не совсѣмъ рѣдкаго, явленія общественнаго, которое можетъ, пожалуй, сдѣлаться и минутною модою, что люди, совершенно оторванные отъ Русской жизни, но не скорбящіе о

образомъ все усовершенствованіе права получитъ свое начало отъ быта и обычая Славянскихъ. Часть дѣла совершена, дальнѣйшая впереди. Но скажутъ мнѣ: «такія начала слишкомъ неопредѣленны, не имѣютъ юридической строгости», и т. д. и т. д. Я считаю подобныя возраженія довольно ничтожными. Въ первыхъ формулахъ закона является дѣйствительно самый строгій юридическій формализмъ; напр. «кто убилъ, да будетъ убитъ»; но слѣдуютъ другіе возрасты права: начинается разборъ, совершено ли убійство вольно или невольно, въ полномъ ли разумѣ убившаго или въ безуміи, нападая или въ своей собственной защитѣ, съ преднамѣреніемъ или въ мгновенной вспышкѣ, вслѣдствіе злости или отъ мѣры терпѣнія, переполненной оскорбленіями, и т. д. и т. д. Формализмъ исчезаетъ все болѣе и болѣе. Пожимай плечами, Болонскій юристъ! Право перестаетъ быть достояніемъ школяра и дѣлается достояніемъ человѣка; но такой возрастъ права возможенъ только въ единствѣ обычнаго и внутренняго начала общества.

Какъ бы то ни было, очевидно, что въ бытовомъ отношеніи всего яснѣе выказывается наша неспособность быть выраженіемъ Русской жизни и Русской мысли.

Таковы-то богатые плоды нашего всеобщаго Вигизма. Кажется, я ихъ представилъ безъ преувеличенія и безъ пристрастія. Итогъ неутѣшителенъ. Въ самое то время, когда всемірное развитіе исторіи, осудивъ неполныя и одностороннія начала, которыми она управлялась до сихъ поръ, требуетъ отъ нашей Святой Руси, чтобы она выразила тѣ болѣе полныя и всесторонніе начала, изъ которыхъ она выросла и на которыя она опирается,—выраженіе ихъ является невозможнымъ по недостатку органовъ. Въ этомъ отношеніи ясно, что Россія находится въ несравненно болѣе трудномъ положеніи, чѣмъ Англія, и что Вигизмъ нашего общества несравненно хуже и ниже, чѣмъ Вигизмъ, составляющій одну изъ соціальныхъ партій въ Англіи. Таковъ результатъ, который бы можно было вывести съ перваго взгляда.

Но на первомъ взглядѣ останавливаться не должно. Полное изученіе вопроса даетъ выводъ совершенно противоположный первому. Англійскій Вигизмъ, необходимая проте-

стантская реакція противъ односторонности Римскихъ началъ, былъ необходимостью, былъ развитіемъ неизбѣжнымъ и законнымъ; торжество его также неизбѣжно, какъ торжество всякой вполнѣ логической мысли. Отъ этого, какъ я уже сказалъ, въ Англіи будущее принадлежитъ Вигамъ, — если Англійская земля не приметъ извнѣ другихъ, болѣе полныхъ духовныхъ началъ. У насъ совсѣмъ другое дѣло: нашъ Вигизмъ есть слѣдствіе исторической и, такъ сказать, внѣшней случайности, нисколько не обусловленной нашими внутренними началами общественными или духовными. Плодъ временной случайности, онъ можетъ имѣть и значеніе и существованіе только временное; и не только нельзя сказать, чтобы будущее ему принадлежало, но можно смѣло сказать, что будущее для него не существуетъ. Законный въ своемъ случайномъ началѣ, безсмысленный въ своемъ общемъ развитіи, онъ приближается къ своему паденію. Его существованіе продлить не могутъ ни частныя усилія, ни полудобросовѣстные парадоксы устарѣвшей любви къ Западнымъ школамъ, ни общественное упорство, ни даже неподвижная сила общественной апатіи и умственной лѣни. Логика имѣетъ свои неотъемлемыя права, и безпристрастный наблюдатель, радуясь будущему, можетъ уже найти утѣшеніе въ признакахъ настоящаго. Возвратъ Русскихъ къ началамъ Русской земли уже начинается.

Подъ этимъ словомъ возврата я не разумѣю возврата нашихъ любезныхъ соотечественниковъ, которые, какъ голубки, потрепетавши крылышками надъ треволненнымъ моремъ Западнаго общества, возвращаются утомленные на Русскую скалу и похваливаютъ ея твердость. Нѣтъ, они возвращаются на Святую Русь, но не въ Русскую жизнь; они похваливаютъ крѣпость своего убѣжища и не знаютъ (какъ и всѣ мы), что вся наша дѣятельность есть не что иное, какъ безпрестанное подкапыванье его основъ. Къ счастію, наши руки и ломы слишкомъ слабы, и безсиліе наше спасаетъ насъ отъ собственной слѣпоты. Я не называю возвратомъ и того, не совсѣмъ рѣдкаго, явленія общественнаго, которое можетъ, пожалуй, сдѣлаться и минутною модою, что люди, совершенно оторванные отъ Русской жизни, но не скорбящіе объ

этомъ разрывѣ, а въ полномъ самодовольствѣ наслаждающіеся своимъ мнимымъ превосходствомъ, важно похваливаютъ Русскій народъ; дарятъ его, такъ сказать, своимъ ласковымъ словомъ, щеголяютъ передъ обществомъ знаніемъ Русскаго быта и Русскаго духа и преспокойно выдумываютъ для этого Русскаго духа чувства и мысли, про которыя не зналъ и не знаетъ Русскій человѣкъ. Чтобы выразить мысль народа, надобно жить съ нимъ и въ немъ. Я говорю о другомъ возвратѣ. Есть люди, и къ счастію этихъ людей уже немало, которые возвращаются не на Русскую землю, но къ Святой Руси, какъ къ своей духовной родительницѣ и привѣтствуютъ своихъ братій съ радостною и раскаявающеюся любовью. Этотъ мысленный возвратъ важенъ и утѣшителенъ. Наука, не смотря на слѣпое сопротивленіе книжниковъ и на лѣнивую устойчивость полукнижнаго большинства, не только начинаетъ обращать вниманіе на истинныя потребности Русской жизни, но, освобождаясь мало-по-малу отъ прежнихъ школьныхъ оковъ, уже показываетъ стремленіе къ сознанію своихъ родныхъ началъ и къ развитію истинъ, до сихъ поръ безсознательно таившихся въ нашей собственной жизни. Эти труды остаются не совсѣмъ безъ награды: имъ сочувствуютъ многіе, имъ сочувствуютъ по всей землѣ Русской и, можетъ быть, еще болѣе въ ея дальнихъ областяхъ, чѣмъ въ тѣхъ мнимыхъ центрахъ нашего просвѣщенія, которые до сихъ поръ суть дѣйствительно только центры Западнаго школьничества. Имъ сочувствуютъ даже нѣкоторые просвѣщенные люди на Западѣ, готовые уважать нашу мысль, когда она дѣйствительно будетъ нашею собственною, а не простымъ подражаніемъ мысли чужой. Успѣхъ искусства медленнѣе, чѣмъ успѣхъ науки. Разумѣется, такъ и слѣдуетъ быть. Искусство требуетъ внутренняго мира и внутренней полноты, которыхъ у насъ еще быть не можетъ; но за всѣмъ тѣмъ, въ немъ сильнѣе и сильнѣе начинаетъ пробѣгать струя Русской мысли. Никогда нашъ духовный міръ, истинная потребность Русской души, не оглашался тѣми чудными звуками и не обогащался тѣми глубокими мыслями, которыми, отличается величайшій изъ его современныхъ дѣятелей; никогда художество слова въ его быто-

вомъ направленіи еще не имѣло такого Русскаго представителя, какъ въ наше время. Даже въ искусствахъ пластическихъ слышится и чуется тотъ же возвратъ. Даровитая молодость обращаетъ глаза свои съ любовью на тотъ строгій путь, который нѣкогда былъ открытъ намъ Византіею и послѣ того прерванъ бурями нашей треволненной жизни. Просвѣщенная любовь къ художеству, понявъ высокое достоинство этого пути, хочетъ записать снова въ Русской живописи имя, нѣкогда блестѣвшее въ ея лѣтописяхъ основаніемъ иконописной школы. Наконецъ, люди болѣе послѣдовательные, понимающіе связь бытовыхъ мелочей съ общимъ развитіемъ мысленнаго организма, стараются хотя нѣсколько приблизить свой домашній бытъ къ жизни и обычаямъ Русскимъ. Кромѣ признаковъ положительныхъ, есть не менѣе утѣшительные признаки отрицательные. Другаго имени дать нельзя тому разсвирѣпѣнью, съ которымъ учители и подростки отживающей школы подражательной бросаются на всю старую Русь. Это не простое заблужденіе критики, сбившее съ толку Каченовскаго и его учениковъ; нѣтъ, это страсть, и страсть очень явная. Одинъ во всеуслышаніе отвергаетъ въ Россіи существованіе общины, тогда какъ въ исторіи Русской нельзя понять ни строки безъ яснаго уразумѣнія общины и ея внутренней жизни; другой, на зло всѣмъ преданіямъ и памятникамъ, уничтожаетъ всю старо-Русскую торговлю, не замѣчая даже того, что по его же показаніямъ одинъ Новгородъ платилъ ежегодно въ великокняжескую казну (разумѣется, съ своей торговли) такую сумму, которая равнялась четвертой части окупа, взятаго Норманнами со всей Англіи, и больше чѣмъ осьмой части самаго огромнаго окупа, взятаго тѣми же торжествующими Норманнами съ цѣлой Франціи; а кто не знаетъ, что́ значитъ военный окупъ? Наконецъ, третій взялся за неожиданное оправданіе Іоанна Грознаго и приписываетъ несчастное ожесточеніе его мягкаго сердца мерзостямъ народа и бояръ. Правда, что онъ не нашелъ ни въ оправдательныхъ письмахъ самого Іоанна, ни въ современныхъ свидѣтельствахъ иностранныхъ или Русскихъ, ни тѣни факта въ пользу своего тезиса, — но все равно! Старой Руси слѣдовало быть виноватою, а журнальному читателю слѣдуетъ

быть легковѣрнымъ *). Такія явленія могли бы показаться нѣсколько оскорбительными и похожими на недобросовѣстное поруганіе памяти нашихъ отцовъ, но школьныя страсти заслуживаютъ нѣкотораго извиненія. Злость, съ которою нападаютъ на старую Русь, носитъ на себѣ характеръ разсердившагося безсилья. Виновата старая Русь не въ томъ, что была, а въ томъ, что она есть и теперь, и даже изъявляетъ надежду на будущее существованіе и развитіе. Точно также должно оправдать и печатныя нападенія на самую личность, на наружность и, такъ сказать, на домашнія отношенія людей, осмѣлившихся выразить свое сочувствіе къ Русскимъ началамъ и свою вѣру въ нихъ. Сердитое безсилье не можетъ быть разборчиво въ средствахъ. Этотъ отрицательный признакъ столько же утѣшителенъ, сколько и положительные.

Безъ крайняго ослѣпленія или безъ того унынія, которое внушено было поборникамъ Русскихъ началъ, духовныхъ и народныхъ, прежнимъ торжествомъ подражательнаго школьничества, нельзя не замѣтить, что совершается, хотя и медленно (такъ какъ и слѣдуетъ быть) переходъ въ нашемъ общественномъ мышленіи; но надежда не должна порождать ни излишнюю увѣренность, ни лѣнивую безпечность. Много еще времени, много умственной борьбы впереди. Не вдругъ разгоняется умственный сонъ, медленно перемѣняются убѣжденія; еще медленнѣе измѣняются привычки, данныя полуторастолѣтнимъ направленіемъ. Все дѣло людей нашего времени можетъ быть еще только дѣломъ самовоспитанія. Намъ не суждено еще сдѣлаться органами, выражающими Русскую мысль; хорошо, если сдѣлаемся хоть сосудами, способными сколько-нибудь ее воспринять. Лучшая доля предстоитъ будущимъ поколѣніямъ; въ нихъ уже могутъ выразиться вполнѣ всѣ духовныя силы и начала, лежащія въ основѣ Святой Православной Руси. Но для того,

---

*) За то какъ обрадованъ былъ авторъ этого оправданія, когда впослѣдствіи ревностный и даровитый труженикъ науки сталъ объяснять казни Грознаго борьбою бояръ съ властью царскою за право отъѣзда. Я не могу вполнѣ согласиться съ г. Соловьевымъ; но во всякомъ случаѣ его мысль, выраженная въ послѣдствіи, не имѣетъ ничего общаго съ попыткою оправдать Грознаго безнравственностью Русскаго народа.

чтобы это было возможно, надобно, чтобы жизнь каждаго была въ полномъ согласіи съ жизнію всѣхъ, чтобы не было раздвоенія ни въ лицахъ, ни въ обществѣ. Частное мышленіе можетъ быть сильно и плодотворно только при сильномъ развитіи мышленія общаго; мышленіе общее возможно только тогда, когда высшее знаніе и люди, выражающіе его, связаны со всѣмъ остальнымъ организмомъ общества узами свободной и разумной любви, и когда умственныя силы каждаго отдѣльнаго лица оживляются круговращеніемъ умственныхъ и нравственныхъ соковъ въ его народѣ. Исторія призываетъ Россію стать впереди всемірнаго просвѣщенія; она даетъ ей на это право за всесторонность и полноту ея началъ, а право, данное исторіею народу, есть обязанность, налагаемая на каждаго изъ его членовъ.

АРИСТОТЕЛЬ

и

ВСЕМІРНАЯ ВЫСТАВКА.

ЕЛЕЦКАЯ БИБЛІОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ

Аристотель и всемірная выставка *).

Прекрасна была судьба древней Эллады. Земелька маленькая по пространству и по числу жителей, ничтожная въ сравненіи съ другими государствами древняго міра, — какою не увѣнчалась она славою, какихъ не оставила воспоминаній!

Ея первоначальный характеръ, ея отличительная черта есть полнѣйшее развитіе антропоморфизма (человѣкообожанія). Любопытно бы было дознаться, вслѣдствіе какого паденія другихъ высшихъ идей возникла эта мелкая религія? Но такъ какъ читатель, вѣроятно, не раздѣляетъ моего любопытства, то вопросъ этотъ можно оставить въ сторонѣ. Довольно того, что собственно человѣкообожаніе было дѣйствительно отличительною чертою древняго Эллина и что предметомъ обожанія былъ человѣкъ со всѣми случайностями его земнаго бытія. Красивъ былъ человѣкъ: онъ былъ богоподобенъ; силенъ былъ человѣкъ: онъ былъ богоподобенъ; разуменъ былъ человѣкъ: онъ былъ богоподобенъ. Сами боги были сильны, разумны, прекрасны, богаты по человѣчески. Божество было только высочайшею степенью человѣка въ его случайностяхъ. Эта эпоха восторженнаго самоупоенія такъ богата произведеніями, исполненными простодушной прелести и величія, что міръ ея никогда не забудетъ; но разумъ, пробужденный въ человѣкѣ самимъ неразуміемъ его безграничнаго уваженія къ себѣ, сталъ мало по малу подкапывать эту вѣру, сначала будто очищая ее. Сперва перестала Эллада поклоняться тѣмъ случайностямъ жизни человѣческой, которыя слишкомъ явно чужды самому человѣку, напр., счастію, могуществу и богатству. Она стала поклоняться единственно его красотѣ внѣшней и внутренней, его тѣлесной стройности—источнику пре-

*) Написано въ концѣ 1851 года. Изд.

лести или силы, его красотѣ душевной — источнику ума или доблести. И опять пошелъ дальше разумъ человѣческій; онъ понялъ случайность внѣшняго человѣка, онъ сталъ поклоняться его разуму. И опять пошелъ дальше разумъ и, въ себѣ отстраняя случайность, онъ сталъ поклоняться закону своего разумѣнія. Такова внутренняя исторія Эллинскаго ума. Первая эпоха—Омиръ, послѣдняя — безмолвный Сократъ, котораго краснорѣчивыми устами былъ Платонъ, чудный умъ, исполненный всей прелести, всей плодотворной силы, всей глубокой думы Эллинской. Но строгій анализъ былъ еще недоволенъ: трезвѣе становился онъ и суше, утрачивая весь блескъ, всю красоту молодаго возраста, но пріобрѣтая старческое глубокомысліе. Аристотель покончилъ въ Элладѣ дѣло анализа, во сколько анализъ могъ быть въ ней плодотворенъ, и во сколько онъ могъ продолжать свое развитіе, не нарушая самыхъ основъ жизни, изъ которой возникъ. Съ Аристотелемъ и Александромъ, его современникомъ и ученикомъ, кончается историческая эпоцея Эллады, ея истинный героическій вѣкъ. Нечего говорить о томъ, какъ дальнѣйшее развитіе разума перешло по необходимости въ одностороннее преобладаніе разсудка, и какъ разсудокъ, въ своей односторонности неизбѣжный скептикъ, засушилъ, подкопалъ и искоренилъ все живое; какъ болѣзненно искалъ онъ истины, какъ болѣзненно смѣялся надъ тѣмъ, что найти ее нельзя, какъ гордился своимъ безсиліемъ, какъ самодовольно бросилъ онъ явившейся Истинѣ вопросъ: что́ такое истина? и отвернулся отъ отвѣта. Все это сюда не идетъ.

Когда мало по малу новая Европа, выходя изъ мрака многовѣковаго невѣжества, встрѣтилась съ памятниками Эллинскаго ума, она подпала ихъ неотразимой власти. Тоже самое было и съ Магометанскимъ Востокомъ: Платонъ и Аристотель, или Порлатунъ и Аристо, овладѣли потомками пустыннаго дикаря Аравитянина и лѣснаго дикаря Германца. Но неравно было ихъ владычество. Немного свѣжихъ, сильныхъ и поэтическихъ умовъ полюбили Платона: въ немъ было еще слишкомъ много произвола, слишкомъ много Эллинской поэзіи, чтобы быть ему всемірнымъ владѣльцемъ. Строгій и сухой анализъ Аристотеля былъ доступенъ всѣмъ, и всѣ

школы, весь разсудокъ новѣйшей Европы, пошли по слѣдамъ великаго мыслителя. Чему же такъ обрадовались, когда Бэконъ и другіе великіе умы освободили Европу отъ Аристотеля? Чѣмъ провинился покойный Стагиритъ? А вотъ чѣмъ. Какъ бы ни преобладалъ въ человѣкѣ анализъ, какъ бы человѣкъ не подчинялся строгости его методы и отвлеченной всеобщности его вопросовъ, онъ всегда остается по необходимости въ предѣлахъ того синтеза личнаго или народнаго, который составляетъ жизнь человѣка, на который онъ опирается, самъ того не вѣдая, въ то время, когда задаетъ себѣ вопросы, и опирается вдвое болѣе, когда отвѣчаетъ на нихъ. Такимъ образомъ человѣкъ, безусловно принимая чужой анализъ, дѣйствительно подчиняется чужому синтезу и дѣлается его рабомъ. Недаромъ благословляется память тружениковъ науки, сокрушившихъ суевѣріе въ Аристотеля.

Однакожъ, говоритъ мой читатель, какое намъ дѣло до Стагирита, и какая охота говорить о такой старинѣ? Вотъ что значитъ не понимать требованій современности!—Нѣтъ, я не ошибся. Я знаю, что Русскому читателю то, что̀ было давно, будто бы никогда не было; иное дѣло то, что̀ происходитъ далеко. Образованный Русскій нашего времени (говоря простымъ Русскимъ языкомъ Русскихъ писателей тому лѣтъ за 20) живетъ болѣе въ категоріи пространства, чѣмъ въ категоріи времени. Онъ не только заботится о томъ, что̀ дѣлается далеко отъ него, но даже не заботится о томъ, что дѣлается близко. Что̀ въ Парижѣ, что̀ въ Лондонѣ, какъ Серъ-Генри Смитъ справляется съ Кафрами и Готентотами, гораздо занимательнѣе для него, чѣмъ то, что̀ дѣлается въ его городѣ и, такъ сказать, у самыхъ его воротъ. «Это потому, говоритъ читатель, что тутъ, кажется, ничего не дѣлается». Я не стану спорить съ человѣкомъ, котораго благосклонность мнѣ нужна и котораго напередъ называю благосклоннымъ читателемъ. Какъ бы то ни было, мнѣ очень извѣстно, что все далекое для насъ занимательно, а все давнее, какъ говорится, было да быльемъ поросло, и толковать о немъ нечего. Я и не сталъ бы говорить объ немъ, ни о Греціи, ни объ Стагирскомъ старикѣ, ни объ освобожденіи Европейской науки отъ рабства Аристотелизма, если бы прошлое не сходи-

лось съ современнымъ. Вѣдь Аристотель-то мой притча, любезный читатель. Прекрасенъ былъ онъ съ своимъ свѣтлымъ умомъ, съ своимъ глубокимъ разложеніемъ человѣческихъ способностей, съ своими строгими и послѣдовательными выводами. Онъ былъ достойнымъ наставникомъ для темнаго средневѣковаго ума; онъ былъ свѣтильникомъ во тьмѣ и много помогъ къ разогнанію этой тьмы; онъ былъ въ свое время истинно полезенъ, быть можетъ даже необходимъ. И вотъ онъ же самый сдѣлался умственнымъ игомъ, котораго паденіе было торжествомъ разума. А все-таки великую услугу оказали Аравитяне Европѣ, познакомивъ ее съ Аристотелемъ.

Немалую услугу оказалъ намъ и Петръ, познакомивъ насъ съ науками и мысленною жизнію Запада, и она сдѣлалась нашимъ Аристотелемъ. Но неужели же намъ никогда не придется освободиться отъ нея и откинуть старую поговорку: magister dixit (наставникъ сказалъ)? Всякій анализъ (а наука, въ общей своей сложности, есть не что иное какъ разнообразное развитіе анализа) остается, какъ сказано уже выше, въ предѣлахъ того жизненнаго синтеза, изъ котораго онъ возникъ, и человѣкъ, безусловно принимающій чужой анализъ, дѣлается рабомъ чужого синтеза. Трудно сказать, чего именно хотѣлъ Петръ и сознавалъ ли онъ послѣдствія своего дѣла. По всѣмъ вѣроятностямъ, онъ искалъ пробужденія Русскаго ума. Многіе изъ его современниковъ, можетъ быть самые достойные его понимать, не поняли. Извѣстенъ глубокомысленный отвѣтъ Кикина, *) отвѣтъ, исполненный умственной силы и трагическаго значенія. Мнѣ кажется, что эти люди другъ друга не поняли. Цѣль у нихъ была одна, и вслѣдствіе того, что они не понимали другъ друга, одинъ былъ завлеченъ до неизвинительнаго преступленія, другой до постыдной жестокости: грустное явленіе, часто повторяющееся въ исторіи и надъ которымъ долго и долго призадумывается человѣкъ со смысломъ, какъ, напр., ты, мой благосклонный читатель. Петръ вводилъ къ намъ Европейскую науку: черезъ это онъ вводилъ къ намъ всю жизнь Европы. Таково было необходимое послѣдствіе его дѣла, но въ этомъ отношеніи онъ былъ небезсознателенъ. Его борьба была съ цѣлою,

*) „Русскій умъ любитъ просторъ а при тебѣ ему тѣсно". Изд.

нѣсколько закоснѣвшею жизнію, какъ я сказалъ въ другой статьѣ, и онъ боролся съ нею во всѣхъ ея направленіяхъ. Онъ вводилъ всѣ формы Запада, всѣ даже самыя неразумныя, онъ искажалъ многое, чего бы не долженъ былъ касаться: онъ искажалъ прекрасный языкъ Русскій, онъ искажалъ самое свое благородное имя, коверкая его въ Голландскую форму Питеръ; но ему это было необходимо. Онъ хотѣлъ потрясти вѣковой сонъ, онъ хотѣлъ пробудить спящую Русскую мысль посредствомъ болѣзненнаго потрясенія. Не понялъ его Кикинъ, поборникъ ума, потому что современнику трудно пріобрѣсти безстрастіе, необходимое для историческаго сужденія; его не поняли и послѣдовавшія за нимъ поколѣнія, потому что безсонность ума, которая есть его свобода, пріобрѣтается не вдругъ, и потому, что путь, избранный Петромъ, былъ отчасти ложно избранъ. Этотъ судъ не строгъ. Человѣкъ боролся, и въ борьбѣ разгорѣлись страсти, и онъ увлекся тѣмъ нетерпѣніемъ, которое такъ естественно историческимъ дѣятелямъ, которое такъ естественно всякому человѣку при встрѣчѣ съ препонами въ подвигѣ, который онъ считаетъ добрымъ.

Медленно и лѣниво развились сѣмена мысли, перенесенной съ Запада; еще бы медленнѣе развились онѣ, если бы изъ самыхъ нѣдръ Россіи не выросъ геніальный простолюдинъ Ломоносовъ. Но быстро и почти мгновенно разрослись другіе плоды дѣлъ Петровыхъ, плоды той несчастной формы, въ которую облекалъ онъ или въ которую, можетъ быть, облекалась мысль, которою онъ хотѣлъ обогатить насъ. Наука, т. е. анализъ, по сущности своей вездѣ одинъ и тотъ же. Его законы одни для всѣхъ земель, для всѣхъ временъ; но синтезъ, который его сопровождаетъ, измѣняется съ мѣстностями и со временемъ. Тотъ, кто не понимаетъ внутренней связи, всегда существующей между анализомъ и синтезомъ, изъ котораго онъ возникаетъ, впадаетъ, какъ уже сказано, въ жалкую ошибку. Въ Россіи эта ошибка достигла громадныхъ, почти невѣроятныхъ размѣровъ. Сознательно введены были къ намъ однимъ человѣкомъ всѣ формы Запада, всѣ внѣшніе образы его жизни; безсознательно схватились мы именно за эти формы и за эти образы,—вслѣдствіе ли тщеславія или по-

дражательности, или личныхъ выгодъ, или слабости, естественной всѣмъ людямъ, принимать охотно все, что можетъ ихъ отличить отъ другихъ людей, получившихъ въ жизни менѣе счастливый удѣлъ, и поставить ихъ, повидимому, выше ихъ братій. Формы, облекающія просвѣщеніе, приняты были нами за самое просвѣщеніе, и самодовольное невѣжество воображаетъ себѣ, что оно приняло образованность. Разумѣется, нельзя отрицать того, чтобы съ этими формами не были приняты нами и нѣкоторыя знанія; но какъ скудны эти познанія! Какъ бѣденъ плодъ полуторавѣковаго ученичества! Пусть оглянется безпристрастный мой соотечественникъ на эту великую Русь вещественную, географическую, созданную до Петра или силою до-Петровскихъ стихій, и сравнитъ ее съ другими державами: ему покажется, что самъ онъ растетъ, думая о ней. Пусть оглянется онъ на умственную Россію, созданную послѣ Петра, и сравнитъ плоды ея дѣятельности съ умственною дѣятельностію другихъ народовъ и попробуетъ хоть сколько нибудь погордиться: ему покажется (и не совсѣмъ несправедливо), что его самого и всю нашу науку легко упрячетъ любой Нѣмецъ въ какую-нибудь карманную книжку. Въ другой статьѣ я уже объяснилъ причину этого различія и показалъ, какъ, — вслѣдствіе ложнаго направленія просвѣщенія, — произошло въ насъ раздвоеніе, какъ знаніе отдѣлилось отъ жизни, какъ знаніе сдѣлалось мертвымъ и безплоднымъ, а жизнь безсознательною и сонною. Мой благосклонный читатель читалъ это, понялъ и помнитъ. По крайней мѣрѣ надѣюсь, что онъ изъ вѣжливости притворится, что читалъ и понялъ.

Вотъ противъ чего мы протестуемъ. Мы дѣйствительно не приняли знанія отъ Запада. Мы находимся въ тѣхъ же отношеніяхъ къ нему, въ которыхъ находился Аристотелистъ или схоластикъ средневѣковой къ Аристотелю (высшему представителю Греческой науки): таже самая печать схоластической мертвенности, которая лежала на немъ, лежитъ и на насъ, не смотря на кажущееся различіе въ проявленіяхъ. Схоластика въ нашей наукѣ, которая не сдѣлала ни одного шага впередъ; схоластика, называемая академизмомъ, въ нашемъ художествѣ, которое идетъ не отъ сердца и не гово-

рить сердцу, схоластика во всѣхъ жизненныхъ проявленіяхъ. Сказать проще: повидимому, у насъ есть мысли и чувство, но мы думаемъ не своей головой и чувствуемъ не своей душой. Таковъ плодъ того умственнаго порабощенія, которому мы поддались такъ охотно и гордо. Еще разъ скажу: вотъ то, противъ чего мы протестуемъ. Есть люди, которые думаютъ, что въ нихъ мысль живетъ потому только, что она замерла на новый ладъ, и потому, что они схоластики новѣйшихъ образцовъ, и они готовы насъ обвинять въ томъ, будто мы говоримъ противъ науки, противъ просвѣщенія. Ошибка понятна. Аристотель Россіи не покойникъ, какъ Аристотель средневѣковой: онъ еще живетъ, и дѣйствуетъ, и мыслитъ. И схоластикъ новаго курса готовъ называть отжившимъ схоластикомъ того, кто остался при курсѣ прошлогоднемъ. Ни тотъ, ни другой не догадываются, что они умственные мертвецы и что они принимаютъ за жизнь въ себѣ то, что есть только отраженіе жизни чужой. Я эту ошибку не могу яснѣе изобразить, какъ представивъ себѣ лужу стоячей воды, которая бы отражала ходъ небесныхъ свѣтилъ и прихотливое движеніе облаковъ, и думала бы, что все это движется въ ней. И они насъ называютъ противниками науки и просвѣщенія! Можно бы спросить у нихъ, кто былъ болѣе ученикомъ Аристотеля: тотъ ли, кто клялся его именемъ, или тотъ, кто возсталъ противъ непонятнаго и мертваго авторитета? Право, если бы воскресъ старикъ Стагиритъ, онъ охотнѣе бы сошелся съ Бэкономъ и скорѣе бы узналъ въ немъ плоды своей собственной дѣятельности, чѣмъ въ старыхъ попугаяхъ Аристотельскаго анализа. Кикинъ, самъ того не зная, болѣе сочувствовалъ истиной цѣли Петра, чѣмъ цѣлыя тысячи Тредьяковскихъ. Нѣтъ, тотъ, кто говоритъ противъ умственнаго рабства и умственнаго сна, тотъ не врагъ ума, и въ числѣ людей, требующихъ освобожденія отъ формъ Западнаго просвѣщенія, едва-ли найдутся такіе, которые бы не изучили добросовѣтно, съ любовью, съ преданностію, его умственную сущность. Трудна была борьба, почти безнадежно стремленіе тѣхъ, которые выдумали было просить образованнаго Россіянина сдѣлаться Русскимъ человѣкомъ и задумать Русскимъ умомъ. Слишкомъ увлекательно

было, повидимому, стройное развитіе Западнаго міра; и вотъ буря за бурей, потрясеніе за потрясеніемъ, паденіе за паденіемъ, и умственная жизнь тамъ заглохла хоть на время. Закрыта школа, остановилось преподаваніе; теперь-то по неволѣ ученики станутъ думать своимъ умомъ. Не сбылась и эта надежда. Думать своимъ умомъ! Легко сказать: не легче ли не думать вовсе? И сидимъ мы у моря, и ждемъ погоды. И вотъ говоритъ одинъ: все тамъ на Западѣ перекроется на новый покрой; а другой говоритъ: все будетъ на старый покрой, да сошьется на двойной шовъ для большей крѣпости; а мы покуда отдохнемъ до новыхъ лекцій, когда успокоенный міръ примется снова за умственный трудъ; онъ заведетъ опять и наши умственные часы, которые за нимъ пойдутъ секунду въ секунду. — Видно, трудно заспавшимся проснуться, замершимъ оживать.

Странное дѣло! Я началъ съ того, что былъ пораженъ сходствомъ между Аристотелемъ прежнихъ вѣковъ и нашимъ раболѣпствомъ передъ Западной мыслію; всматриваясь въ этотъ вопросъ, не могу не замѣтить другаго сходства. Точно такъ же, какъ мысль Эллинская окончательно выразилась въ двухъ своихъ великихъ представителяхъ, Аристотелѣ и Платонѣ, точно также Западный міръ раздѣлился на народы Романскіе и Германскіе. Умственное направленіе среднихъ вѣковъ подчинилось Аристотелю, вслѣдствіе преобладающаго въ немъ анализа, и точно также наше просвѣщеніе подчинилось по преимуществу просвѣщенію племенъ Романскихъ, вслѣдствіе преобладающаго въ нихъ характера разсудочности. Франція сдѣлалась нашей путеводительницей, на зло желаніямъ Петра. Мало было людей, принявшихъ въ себя Германскую стихію *), почти ни одного человѣка, на котораго подѣйствовала Англія. Дѣло понятное: въ ней слишкомъ много самобытной жизни и поэзіи, въ ней слишкомъ много синтетической глубины, въ ней все условное (котораго, конечно, весьма много) слишкомъ подчинено безусловнымъ началамъ свободнаго, духовнаго развитія, чтобы иная жизнь могла

*) Мнимое невѣмеченіе многихъ писателей (какъ видно даже изъ спора романтизма и классицизма) было только временнымъ слѣдствіемъ движенія Французской словесности.

подчиниться ея жизни, или чтобы мысль безжизненная могла ее передразнивать. Дѣйствительно, мало вниманія обращали мы на нее до послѣдняго времени: чудеса совершались въ ней, а мы не замѣчали и ихъ. Наконецъ, повсемѣстное разстройство всей остальной Европы обратило всѣ глаза на Англію, и она, какъ будто желая оправдать это общее вниманіе, удивила Европу новымъ чудомъ хрустальнаго дворца и всемірной выставки.

Быть можетъ, много вещей сдѣлала Англія болѣе удивительныхъ, чѣмъ хрустальный дворецъ (я думаю, что это можно даже утвердить положительно): Мэнайскій мостъ потребовалъ болѣе величія въ изобрѣтеніи, болѣе глубокихъ и вѣрныхъ расчетовъ въ исполненіи; но зданіе всемірной выставки произвело гораздо большее впечатлѣніе на всѣхъ. Многіе припишутъ это впечатлѣніе цѣли, для которой строился хрустальный дворецъ, счастливому положенію его въ Лондонѣ, стройной, полувоздушной его красотѣ, наконецъ богатству предметовъ, которые онъ заключалъ въ себѣ, въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Конечно, всѣ эти причины не оставались безъ вліянія; но главная причина была другая. Странное стеченіе обстоятельствъ, неожиданность самой мысли о хрустальномъ дворцѣ, имя неизвѣстнаго садовника, ставшее мгновенно на ряду съ именами пресловутыхъ инженеровъ и архитекторовъ, все это дало выставкѣ какую-то особую поэтическую прелесть. Главное же дѣло въ томъ, что всѣ совѣщанія, всѣ толки, вся работа отъ первой минуты, когда счастливая мысль запала въ голову Пакстону, до послѣдней, когда высшій духовный сановникъ Англиканскаго исповѣданія призвалъ благословеніе Божіе на зданіе, уже оконченное народомъ, происходили на виду у всѣхъ и, такъ сказать, передъ всѣмъ міромъ. Самая умственная работа была обнажена передъ всѣми глазами; казалось, что человѣку можно было видѣть могучее и всегда сокровенное дѣйствіе колоссальнаго мозга народнаго. И вотъ что внушило столько удивленія, можно сказать, столько благоговѣнія.

Да, хотѣлось бы и мнѣ взглянуть на это чудное зданіе изъ желѣза и хрусталя, посмотрѣть, какъ легко поднимались трубчатые столбы, какъ смѣло перегибались стеклянныя арки,

какъ свѣтъ игралъ на этомъ странномъ хрусталѣ, прозрачномъ для лучей свѣта и непрозрачномъ для зрѣнія. Это желаніе не исполнилось. Что же дѣлать! Болѣе всего, признаюсь, хотѣлось мнѣ видѣть эти старыя вѣковыя деревья Гайдъ-Парка, которыхъ не смѣли срубить, которыя потребовали мѣста въ новомъ званіи и для которыхъ зданіе поднялось на нѣсколько десятковъ аршинъ. Въ нихъ была бы для меня особая прелесть, особенное наставленіе. Да, въ Англіи умѣютъ уважать дѣло времени. Выдумка нынѣшняго дня не ругается надъ тѣмъ, что́ создано долгими вѣками. Англичанинъ умѣетъ строить; но то, что́ строится, обязано имѣть почтеніе къ тому, что́ выросло. Вездѣ ли это такъ? А вотъ и другое наставленіе. Почтеніе къ прошедшему не остается безъ награды. Выше поднялся дворецъ, чтобы принять подъ свою сѣнь то, что́ росло и крѣпло въ теченіе прошлыхъ вѣковъ, онъ обошелся нѣсколько подороже, выстроился нѣсколько помедленнѣе: за то, какъ много сталъ онъ величественнѣе и достойнѣе общаго благоговѣнія.

Не Англичанину, а Французу пришла тому года два мысль о промышленной всемірной выставкѣ, а исполненіе и слава достались Англіи. Конечно, придумать выставку не трудно. Собранія рѣдкостей бывали и у древнихъ, и Аристотель уже придумалъ кабинетъ натуральной исторіи. Дикари Средней Америки собирали въ одно мѣсто образцы произведеній своей земли и т. д. Стоитъ только прибавить къ этому врожденное людямъ соперничество другъ съ другомъ, и идея выставки готова; но, безъ сомнѣнія, есть что-то великое въ мысли о всемірной выставкѣ, о соперничествѣ уже не между лицами, но между народами, объ этой добровольной явкѣ всѣхъ земель на общій судъ подъ предводительствомъ одной земли, положимъ — хоть въ дѣлѣ промышленности. Эта мысль пришла Французу и прозвучала даромъ. Подхватили ли ее Англичане, сами ли снова придумали, все равно — они ее исполнили. Замѣчательное проявленіе ума! И дѣйствительно, не та земля умна, гдѣ есть умные люди или много умныхъ людей, но та, гдѣ умъ есть достояніе всей земли, гдѣ по словамъ поэта: Mens agitat molem et toto se corpore miscit (гдѣ разумъ движетъ все и движется во всемъ). Это плодъ великаго общенія, а прояв-

леніе общенія разумнаго обозначается всегда необыкновеннымъ величіемъ и силою. Часто попрекаютъ нашему времени въ отсутствіи поэзіи. Ему въ укоръ противопоставляютъ поэтическія явленія среднихъ вѣковъ. Въ этомъ укорѣ есть правда и неправда. Въ среднихъ вѣкахъ явленія носятъ на себѣ гораздо болѣе характеръ личности: они проникнуты всею страстностію личныхъ дѣйствій, то прекрасныя, то ненавистныя, рѣдко пошлыя. Въ наше время дѣйствіе личности лишилось величія, потому что личность много утратила своего значенія. Поэзія, величіе принадлежатъ дѣйствію массъ государственныхъ или общественныхъ. Эта поэзія менѣе понятна, менѣе дѣйствуетъ на воображеніе или на умъ непросвѣщенный, но въ сущности своей она выше поэзіи средневѣковой. Конечно, прекрасна и увлекательна мелодія, пропѣтая солистомъ: она кипитъ и блещетъ, дышитъ страстью и разжигаетъ страсть; но она несравненно ниже плавнаго и стройнаго хора, сливающаго безконечное множество голосовъ въ одно величественное цѣлое, уже не горящее мелкою страстью, но освѣщающее всю душу лучами разумной гармоніи. Правда, что для стройной гармоніи менѣе цѣнителей, чѣмъ для личной мелодіи. Правда, что исполненіе ея труднѣе. Задача не разрѣшена; но иногда проявляются частныя разрѣшенія ея, и современники невольно благоговѣютъ. Великое дѣло—общеніе ума и жизни. Грустная вещь — ихъ разобщеніе. Вотъ урокъ, который могли бы почерпать отъ представителя не-Романскаго просвѣщенія въ Европѣ, Англіи. Англія вѣрна старинѣ, и въ этомъ-то ея умственная сила. Трудно обвинить ее въ застоѣ и въ отвращеніи отъ нововведеній, но въ ней одно поколѣніе не рубитъ вѣковыхъ деревъ, чтобы на мѣстѣ ихъ засѣять однолѣтніе цвѣтки; зато оно и не завѣщаетъ пустырей слѣдующимъ за нимъ поколѣніямъ. Не такъ поступила остальная Европа. Она разорвала свои связи съ прошедшимъ, подрубила корни всего живущаго, и въ ней общество пересыпается какъ песокъ передъ дыханіемъ всякой бури. Исторія разрѣшитъ великій вопросъ о томъ, во сколько въ этомъ дѣлѣ разрушенія участвовала историческая необходимость, во сколько людская страсть (если дѣйствительно можно предположить, чтобы у неразумной страсти было достаточно силы для такихъ

всемірныхъ явленій). Какое бы ни было у людей мнѣніе о причинахъ, послѣдствія явны. Въ Европѣ, по преимуществу же во Франціи, несмотря на бурную и хаотическую движимость, безпрестанно слышны жалобы на отсутствіе дѣятельности. Человѣкъ ищетъ дѣятельности вслѣдствіе врожденной потребности и не находитъ: онъ унываетъ или ропщетъ, или истощается въ безплодныхъ усиліяхъ, и сознается, что даромъ тратитъ жизнь и труды. Иначе и быть не можетъ. Дѣятельность есть проявленіе жизни, такъ сказать самая жизнь. Она развивается въ человѣкѣ сама по себѣ, естественно, какъ всѣ другія силы духовной или физической природы. Ищи, и ея такъ же не найдешь, какъ, по словамъ Француза, не найдешь ума (l'esprit, qu'on veut avoir, gâte celui qu'on a), и объ ней точно тоже можно сказать, что говорится въ этой поговоркѣ объ умѣ, что дѣятельность, которой ищешь, портитъ ту, которую бы можно имѣть.

Въ обществѣ здоровомъ и цѣльномъ всякое движеніе мысли есть уже дѣятельность: лица, связанныя между собою живою органическою цѣпью, невольно и постоянно дѣйствуютъ другъ на друга; но для этого нужно, чтобы между ними была органическая связь. Разрушьте ее, и живое цѣлое обратится въ прахъ, и люди-пылинки стали чужды другъ другу, и все ихъ стремленіе къ дѣйствію на другихъ людей остается безъ плода, покуда, по законамъ неисповѣдимаго Промысла, не осядутъ снова разрозненныя стихіи, не окрѣпнутъ, не смочатся дождями и росами небесными и не дадутъ начала новой органической жизни. Такова судьба всякаго общества или тѣхъ отдѣленій общества, которыя разорвали связь съ прошедшимъ, и въ этомъ общемъ законѣ находится объясненіе тѣхъ жалобъ на невозможность разумной дѣятельности, которыя не разъ были слышны въ произведеніяхъ нашей беллетристики и которыя всякому образованному человѣку такъ часто случается слышать въ жизни. На этотъ разъ не солгала такъ часто лгущая беллетристика, она не перенесла на нашу почву чужаго растенія, она не пересадила Французскіе водевили на Русскіе нравы, а записала, можетъ быть сама того не зная, одинъ изъ признаковъ дѣйствительной болѣзни. — «Да что же мнѣ дѣлать? Гдѣ путь къ дѣятельности?» — Живи и мысли на

томъ мѣстѣ, на которое поставила тебя судьба. Это дѣло, это подвигъ—подвигъ историческій, одинъ изъ тѣхъ безконечно многихъ, никѣмъ незамѣчаемыхъ подвиговъ, изъ которыхъ зиждется вся исторія міра; ибо всѣ великія явленія ея суть только итоги или выводы изъ частныхъ и мелкихъ трудовъ лицъ, составляющихъ общественныя массы. Много садовниковъ, передававшихъ другъ другу плоды своей незамѣченной жизни, дали возможность Пакстону придумать хрустальный дворецъ, и цѣлый рядъ кузнецовъ механиковъ былъ нуженъ, чтобы Фоксъ могъ исполнить планъ Пакстона. Во всѣхъ явленіяхъ жизни повторяется болѣе или менѣе то, что для насъ такъ очевидно въ мірѣ промышленности и ремесла, и отъ того-то сама жизнь въ странахъ, не разрушившихъ связи своей съ прошедшимъ, не носитъ на себѣ характера пошлости и пустоты, а является съ какимъ-то историческимъ достоинствомъ, даже въ разнообразіи и кажущемся безсмысліи своихъ ежедневныхъ мелочей. «Да развѣ я не живу и не мыслю, а все-таки дѣйствія никакого не вижу", говоритъ мой благосклонный читатель. Разумѣется, я съ нимъ спорить не смѣю и не смѣю ему сказать, что жизнь и мысль схоласта, будь онъ Аристотель средневѣковый или образованный Русскій человѣкъ нашего времени, очень похожи на бодрственную дремоту. Хорошо для него, если онъ думаетъ, что мыслитъ и живетъ. Тѣмъ болѣе онъ обязанъ заняться вопросомъ: почему же его умственная жизнь остается безплодною? Внимательно разсмотрѣвъ этотъ вопросъ, онъ придетъ къ тому заключенію, что эта дѣятельность и быть не можетъ полезною, потому что кругомъ его нѣтъ стихій, способныхъ принять впечатлѣніе. Общество, окружающее его, будучи оторвано отъ своего историческаго корни, распалось на личности, обратилось въ песокъ, и каждая изъ личностей, составляющихъ его, если еще способна къ какому-нибудь движенію, ждетъ только направленія отъ того самаго міра, отъ котораго она почерпала все свое просвѣщеніе, и безпрестанно черпаетъ призракъ обманчивой умственной жизни. Другая стихія, живая и органическая, для него совершенно недоступна. Онъ отъ нея отрекся, отрекшись отъ всего ея быта; а человѣкъ уже не можетъ ожидать дѣйствія тамъ,

гдѣ отъ воздѣйствія отказался. Таковъ законъ міра умственнаго, также какъ и міра физическаго. Пусть будетъ человѣкъ крайне благонамѣренъ, и глубоко просвѣщенъ, и безконечно уменъ (я все это предполагаю въ своемъ читателѣ), все-таки для него на Руси есть цѣлый міръ — и именно вполнѣ Русскій міръ, который для него остается недоступнымъ, тотъ міръ, къ которому доступъ онъ самъ у себя отнялъ. Онъ долженъ понять, что, какъ бы онъ себя ни показывалъ вполнѣ Русскимъ передъ иностранцемъ, какъ бы онъ ни увѣрялъ, что онъ любитъ все Русское, даже щи, кашу и тройку съ колокольчикомъ, онъ все стоитъ иностранцемъ предъ тѣми, которые знаютъ и помнятъ и видятъ, что все его образованіе и побытъ, и обстановка взяты извнѣ, изъ иныхъ земель, изъ иныхъ жизненныхъ началъ. Есть всегда въ чуземномъ обычаѣ, въ чужеземной мысли и чувствѣ что-то невыразимое для слова, но понятное душѣ, обличающее чужеземность. При этомъ довѣріе дѣлается невозможнымъ. Вы любите Россію, вы ей преданы душевно, а вы все-таки отрѣзаны отъ мысленнаго общенія съ Русскимъ человѣкомъ, потому что онъ видитъ въ васъ одного изъ тѣхъ людей, которые, можетъ быть, содѣйствуютъ и пользѣ общества, и славѣ государства, которые принимаютъ участіе въ его преуспѣяніи и въ плодахъ этого преуспѣянія, но объ которыхъ говоритъ стихотворецъ, что.

Для нихъ глаголы мѣди звучной
Съ высотъ Кремля—будильникъ скучный,
И волнъ Днѣпровскихъ плескъ и шумъ
Не будитъ въ нихъ сердечныхъ думъ.

Цѣлая бездна раздѣляетъ ихъ отъ духовной жизни Святой Руси, отъ ея основъ и отъ ея общенія. Вотъ въ чемъ долженъ быть убѣжденъ всякій Русскій образованный человѣкъ, какъ бы онъ ни былъ самодоволенъ. Вотъ чѣмъ объясняется въ его собственныхъ глазахъ невозможность для него полезной дѣятельности. Но для насъ, вполнѣ понимающихъ схоластизмъ нашего просвѣщенія, причина этой невозможности еще яснѣе: она лежитъ въ нашей внутренней слабости и мертвенности, въ нашихъ, такъ сказать, колонистскихъ отношеніяхъ къ истинной Русской жизни. За то для насъ и

не существуетъ жалобы на невозможность дѣятельности полезной. Эта дѣятельность для насъ легка и неотъемлема: она состоитъ въ томъ великомъ подвигѣ, въ томъ великомъ трудѣ самовоспитанія, который намъ предстоитъ; она состоитъ въ прямой и явной для насъ обязанности на столько уяснить свою мысль и свое чувство, на столько сблизить свой бытъ внѣшній и внутренній съ Русскимъ бытомъ, чтобы мы могли понять и сочувствовать Русской жизни, чтобы Русская жизнь могла намъ сочувствовать и вѣрить, чтобы въ насъ самихъ, по крайней мѣрѣ, могъ исчезнуть или исцѣлиться тотъ разрывъ между жизнію и знаніемъ, который составляетъ нашу общую болѣзнь и объ которомъ я говорилъ въ одной изъ прежнихъ статей. Каждый лѣчи въ себѣ эту общую болѣзнь: живи и мысли—вотъ дѣятельность, которая не можетъ быть безполезною.

Просвѣщеніе Англіи не имѣло почти никакаго прямаго вліянія на наше образованіе. Эта земля была всегда своеобычна. Въ среднихъ вѣкахъ она хвалилась (какъ свидѣтельствуютъ лѣтописцы) тѣмъ, что не подчинилась Римскому праву и искала законовъ правды въ самой себѣ. Во многихъ отношеніяхъ можно сказать, что она болѣе Германская страна, чѣмъ сама Германія. Земли Романскія и по преимуществу Франція, ихъ представительница, выдумали для человѣка забавную задачу—быть человѣкомъ, такъ таки просто отвлеченно человѣкомъ (я не вхожу въ разсмотрѣніе того, не скрывается ли у Француза подъ формулою «человѣкъ долженъ быть человѣкомъ» мысль, что человѣкъ долженъ быть Французомъ). Формула была по крайней мѣрѣ такъ поставлена и такъ понята. Въ ней заключались полнота и торжество мелкаго разсудочнаго анализа. Она должна была пріобрѣсти цѣлый міръ поклонниковъ и послѣдователей, и она пріобрѣла ихъ. Простѣйшее же ея выраженіе—безнародность и безхарактерность. Скажите пожалуйста, кому это не по плечу? Англія этого никогда не понимала; ей казалось, что человѣку нельзя безнаказанно лишать себя личности, и народу—народности; ей казалось, что человѣкъ тѣмъ болѣе человѣкъ, чѣмъ болѣе онъ вѣренъ самъ себѣ и чѣмъ менѣе онъ представляетъ пошлый сколокъ съ другихъ пошлостей; ей казалось, что Шекспиръ потому именно и близокъ всѣмъ людямъ, что

онъ вполнѣ принадлежитъ Англіи. Она и теперь вѣрна этому убѣжденію. Прошу подражать такой землѣ! Правда, есть и у насъ кое-гдѣ, кое-какіе Англоманы; но ужъ забавнѣе Русскаго Англомана я не знаю въ мірѣ ничего. Общимъ ихъ представителемъ я готовъ бы считать того почтеннаго барина, который живетъ въ деревнѣ, пьетъ рано поутру чай съ хлѣбомъ, масломъ и ветчиной, въ полдень накушивается нѣсколькихъ блюдъ, и опять повторяетъ свою сытную трапезу часовъ въ 9-ть вечера, называя свой полуденный столъ завтракомъ, а вечерній—обѣдомъ, и ужасно сердится, если кто скажетъ, что онъ въ полдень обѣдаетъ, а вечеромъ ужинаетъ. Ему это просто кажется обиднымъ. Правда, что Русскіе деревенскіе жители ужинаютъ въ 9-ть часовъ, но Англичане въ это время обѣдаютъ, — слѣдовательно онъ обѣдаетъ. О, милые Русскіе Англоманы! Какой ущербъ бы былъ комизму, если бъ васъ не было на свѣтѣ! Если бы эти мнимые поклонники Англійскаго просвѣщенія поняли, хоть на сколько-нибудь, въ чемъ оно состоитъ, они бы знали, что въ понятіи Англичанина человѣкъ обязанъ принадлежать вполнѣ своему народу, быть съ нимъ въ неразрывномъ единеніи мысли и жизни; что, наконецъ, Русскаго, чуждающагося всего Русскаго, Англичанинъ не можетъ признать себѣ равнымъ. Дѣйствительно, Англичане могутъ видѣть себѣ братьевъ въ людяхъ, принадлежащихъ другому племени и другому народу, но никогда не признаютъ своихъ братій въ своихъ обезьянахъ. И вотъ почему желательно бы было, чтобы наше общество болѣе ознакомилось съ внутреннею жизнію Англіи и болѣе бы ее полюбило. Оно бы отстало мало-по-малу отъ того состоянія, которое я сравнилъ съ схоластизмомъ средневѣковымъ и которое дѣйствительно ниже этого схоластизма. Когда Аристотель преобладалъ въ школахъ и одурялъ университеты, художества и жизнь развивались свободно. Готическіе храмы поднимали къ небу свои смѣлыя и изящныя стрѣлы, не справляясь съ образцами Партенона и Колизея, и жизнь являлась самобытною во многихъ своихъ отправленіяхъ. Нашъ схоластизмъ обнимаетъ все и мертвитъ все.

Съ нѣкотораго времени говорятъ уже многіе, что Россія основана на началахъ иныхъ и высшихъ, чѣмъ Западная

Европа. Такъ говорятъ иные по убѣжденію; другіе по другимъ причинамъ, которыя разсматривать считаю безполезнымъ. Если эти слова имѣютъ какой-нибудь смыслъ, они относятся къ тѣмъ стихіямъ, которыя предшествовали Петру. Но если эти начала были и еще теперь существуютъ, и если они выше началъ Германскаго и Романскаго міра; если вѣра, которую, по Промыслу Божію, мы предопредѣлены были сохранять, несравненно выше Латинства по своему характеру свободы и несравненно выше Протестантства по своему характеру единства, если она одна вмѣщаетъ въ себѣ всю полноту истины, — неужели же эта вѣра, эти высокія начала могли сохраняться въ народѣ въ продолженіе столькихъ вѣковъ, не оставляя никакихъ слѣдовъ въ его бытѣ и внутреннемъ строѣ его мысли? Такое предположеніе было бы противно здравому смыслу. Если же самый бытъ, и мысль, и внутренняя жизнь народа истекли (хота отчасти) изъ начала, которое признаёмъ мы столь высокимъ, какое имѣемъ мы право ихъ чуждаться? Или слова наши — ложь, обличаемая нашими дѣлами, или дѣла наши — глупость, обличаемая нашими словами. Строго осуждается человѣкъ, безъ крайней нужды бросающій свою родину и край отцовскій: выходецъ или бѣглецъ, влачитъ онъ грустную и безполезную жизнь среди народовъ ему чужихъ, мертвецъ среди жизни, которой онъ непричастенъ. Не меньшему, если не большему осужденію подлежитъ тотъ, кто, не оставляя предѣловъ своего отечества и не разставаясь съ землею, пріобрѣтенною или созданною трудами прежнихъ поколѣній, расторгаетъ всѣ свои связи съ жизнію народною: бѣглецъ душою и сердцемъ, онъ влачитъ печальное свое существованіе среди жизни чужой, и ему остается только одинъ шагъ, чтобы поравняться съ тѣмъ выходцемъ, котораго онъ осуждалъ. Такова сущность поступка; но нравственное осужденіе было бы не совсѣмъ справедливо, потому что этотъ поступокъ совершался цѣлыми поколѣніями безъ воли и сознанія.

Не въ первый разъ излагаются нами эти мысли съ большею или меньшею ясностью и опредѣленностью. Двинулось ли дѣло впередъ? Приближается ли конецъ эпохи нашего

схоластизма, нашего поклоненія мудрости Аристотеля-Европы, нашей вѣры въ его слово, нашего подражанія его быту? Повидимому нѣтъ; но иначе и быть не можетъ. Немало людей, которымъ страшенъ судъ самобытной мысли, всѣ они насмѣшливо радуются безплодности нашего протеста; но мнѣ кажется, что они ошибаются. Скорый успѣхъ невозможенъ въ борьбѣ съ полуторавѣковымъ обманомъ, съ полуторавѣковыми привычками. Вопросъ положенъ: онъ существуетъ, онъ получилъ право гражданства. Много убыло въ насъ самодовольства (не смотря на значительную прибавку хвастливости), много потрясено старыхъ убѣжденій, много пріобрѣтено убѣжденій новыхъ въ пользу нашего роднаго быта. Пусть длится еще умственная борьба, пусть медленно зрѣютъ ея плоды; но шагъ, сдѣланный впередъ, какъ бы онъ малъ ни былъ, не останется безполезнымъ. То, что́ разумъ пріобрѣлъ, того онъ уже не утратитъ, и если намъ еще остается долго быть подражателями, намъ уже нельзя будетъ блаженствовать въ своей подражательности.

Этому не бывать уже никогда, никогда! *).

---

*) Такими словами кончилъ лордъ Чатамъ великолѣпную рѣчь свою во время Американской войны. Въ наше время Берье, подражая ему, точно также кончилъ рѣчь, которая доставила ему великую славу, потому что никто не догадался, что краснорѣчивый ораторъ былъ не что иное, какъ искусный переводчикъ. Надѣюсь, что мнѣ благосклонный мой читатель не откажетъ въ такой же недогадливости и въ такихъ же похвалахъ.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ И. В. КИРЕЕВСКАГО

„О ХАРАКТЕРѢ ПРОСВѢЩЕНІЯ ЕВРОПЫ И О ЕГО ОТНОШЕНІИ КЪ ПРОСВѢЩЕНІЮ РОССІИ“.

По поводу статьи И. В. Киреевскаго

«О ХАРАКТЕРѢ ПРОСВѢЩЕНІЯ ЕВРОПЫ И О ЕГО ОТНОШЕНІИ КЪ ПРОСВѢЩЕНІЮ РОССІИ» *).

Въ 1-мъ № Московскаго Сборника напечатана статья Ивана Васильевича Киреевскаго о просвѣщеніи Западномъ и Русскомъ. Говорить объ ея достоинствахъ, объ стройности и логической строгости, о широкомъ ея объемѣ и о глубинѣ взгляда, о счастливыхъ выраженіяхъ мысли, часто весьма отвлеченной и т. д., было бы неумѣстно въ Сборникѣ, которому эта статья служитъ украшеніемъ, и неприлично для меня по личнымъ отношеніямъ моимъ къ автору. Но позволено мнѣ и не-неприлично даже въ Московскомъ Сборникѣ сказать, что эта статья имѣетъ неоспоримое достоинство современности. Главною ея задачею поставленъ вопросъ о томъ до сихъ поръ неисходномъ смущеніи, въ которомъ находится мыслящая Европа, и о причинахъ его. Существованіе самаго факта не подлежитъ сомнѣнію: онъ въ разныхъ формахъ высказывается вездѣ и признается всѣми; но Западнымъ писателямъ не удалось еще и, кажется, не удастся уяснить его причины и дорыться до его корня. Всѣ созданы одними и тѣми же обстоятельствами историческими, всѣ увлечены однимъ и тѣмъ же потокомъ, всѣ больны одною и тою же болѣзнію. Понять и оцѣнить эти обстоятельства, разсмотрѣть истокъ и направленіе потока, узнать симптомы и причины болѣзни можетъ только человѣкъ, непричастный той жизни, которую онъ долженъ разсматривать, способный строго взгля-

*) Статья эта написана въ 1852 году, по поводу извѣстной статьи И. В. Киреевскаго, помѣщенной въ 1-й книгѣ Московскаго Сборника, вышедшаго въ началѣ 1852 года, и предназначалась для 2-й книги Московскаго Сборника, которой однакоже тогдашняя цензура не позволила появиться въ свѣтъ.

Изд.

нуть на самыя блестящія явленія ея, произнести, если должно, обвинительный приговоръ надъ ея лучшими словами, наконецъ человѣкъ, приносящій разумъ человѣческій, не подкупленный ни любовью, ни враждою, къ сужденію объ одномъ изъ мѣстныхъ и временныхъ проявленій того же человѣческаго разума. Въ этомъ отношеніи Русскій имѣетъ неоспоримыя преимущества передъ всѣми Европейцами; и если кому-нибудь изъ нашихъ соотечественниковъ удастся подвигъ и трудъ такой оцѣнки, его заслуга будетъ велика, не только для насъ, болѣе или менѣе смущаемыхъ общимъ смущеніемъ Европейской мысли, но и для самаго развитія и уясненія духовной жизни Западныхъ народовъ. Онъ заплатитъ имъ весь долгъ нашей благодарности, отдавая общую и многообъемлющую истину за то множество частныхъ познаній, которыми мы отъ нихъ попользовались. Въ этой надеждѣ нѣтъ ни пристрастія, ни хвастливости. Ибо если справедливо, что самый законъ мысли и жизни на Западѣ ложенъ вслѣдствіе односторонности своихъ основъ: тотъ Западный мыслитель, который захотѣлъ бы эту односторонность обличить и восполнить, долженъ бы былъ выйти изъ самой области умственной, въ которой выросъ и живетъ, и почерпнуть восполняющую истину изъ другой области, ему чуждой. Такое дѣло, если оно даже возможно, требовало бы необычайнаго генія и еще болѣе необычайной воли; въ человѣкѣ же живущемъ и воспитанномъ въ иной умственной области и подъ инымъ закономъ, оно потребуетъ только безстрастнаго мышленія и добросовѣстнаго анализа. Такова причина, почему уже слишкомъ за десять лѣтъ назадъ, когда вся Европа, въ какомъ-то восторженномъ опьянѣніи, кипѣла надеждами и благоговѣла предъ своимъ собственнымъ величіемъ, у насъ уже слышались обличительные голоса, тогда встрѣчаемые самодовольною насмѣшкою, теперь оправданные исторіею и жизнію народовъ.

За всѣмъ тѣмъ, дѣло возможное не есть еще дѣло совсѣмъ легкое. Статья г-на Киреевскаго, опредѣляя задачу и отчасти уясняя ее, приготовляетъ, можетъ быть, ея разрѣшеніе, но не имѣетъ и не можетъ имѣть притязанія разрѣшить ее вполнѣ. Полезная и, можно сказать, необходимая по своей

современности, она имѣетъ еще то великое достоинство, что содержитъ запросъ на мышленіе. Излагая мысли, которыя она пробудила во мнѣ, надѣюсь, что онѣ могутъ оказаться небезполезными для другихъ, точно также, какъ самъ надѣюсь получить пользу отъ всякаго добросовѣстнаго возраженія или разбора: ибо общеніе слова, мысли и чувства есть не только дѣло великой важности, но едва ли не лучшее достояніе человѣка на землѣ. Самый же вопросъ, поставленный г-мъ Киреевскимъ, очень важенъ, и дѣйствительно «отъ того, какъ онъ разрѣшается въ умахъ нашихъ, зависитъ не только господствующее направленіе нашей литературы, но, можетъ быть, и направленіе всей нашей умственной дѣятельности, и смыслъ нашей частной жизни, и характеръ общежительныхъ отношеній».

Общій выводъ изъ статьи И. В. К. сдѣланъ имъ самимъ: «Раздвоеніе и разсудочность суть послѣднимъ выраженіемъ Западно-Европейской образованности, цѣльность и разумность выраженіемъ древне-Русской образованности». Анализъ Западно-Европейскаго міра строгъ; но онъ выраженъ безъ страсти, не содержитъ въ себѣ ничего произвольнаго и основанъ на собственныхъ показаніяхъ современнаго намъ Европейскаго общества и Европейскаго человѣка. Колебанія общественныя и шаткость государствъ, признающихъ, болѣе или менѣе, насильственные перевороты законнымъ путемъ своего развитія, безсиліе и безнравственность быта частнаго и семейнаго, не имѣющаго внутреннихъ нравственныхъ основъ, и безнадежность философствующей мысли, обличающей свою собственную односторонность: таковы данныя, которыя авторъ подвергаетъ своему разбору. Онъ опредѣляетъ односторонность ихъ характера и признаетъ (въ чемъ согласится съ нимъ всякій читатель, сколько нибудь знакомый съ закономъ исторіи), что всѣ современныя отношенія истекаютъ, какъ логически-необходимыя послѣдствія, изъ древнѣйшихъ историческихъ данныхъ, лежащихъ въ самомъ корнѣ Западно-Европейскаго міра. Приговоръ же надъ ними предоставляетъ онъ имъ самимъ. Такъ и слѣдуетъ: таковъ путь науки, вполнѣ разумной и безпристрастной. Она, разбирая какую бы то ни было систему мысли или жизни, не должна вносить въ сужденіе началъ внѣшнихъ и непризнаваемыхъ

этою системою, но должна судить ее только ея собственнымъ разладомъ и противорѣчіями. Приговоръ заключается въ слѣдующихъ словахъ: «Западная философія теперь находится въ томъ положеніи, что ни далѣе идти по своему отвлеченно-раціональному пути она уже не можетъ, ибо сознала односторонность отвлеченной раціональности, ни проложить себѣ новую дорогу не въ состояніи, ибо вся сила его заключалась въ развитіи именно этой отвлеченной раціональности».... «Не мыслители Западные убѣдились въ односторонности логическаго разума, но самъ логическій разумъ Европы, достигнувъ высшей степени своего развитія, дошелъ до сознанія своей ограниченности». И этотъ выводъ обнимаетъ жизнь Европы во всѣхъ ея бытовыхъ, общественныхъ и мысленныхъ отправленіяхъ.

Неужели таковъ выводъ исторіи? И для этого ли вывода жили и трудились десятки поколѣній, передавая другъ другу плодъ тяжкихъ своихъ трудовъ до нынѣшняго дня? Для него ли боролись и сражались милліоны людей, передававшіе преемственно другъ другу вѣрованія и убѣжденія, пріобрѣтенныя или спасенныя потомъ, кровію и пожертвованіемъ всего, что дорого земному человѣку? И къ нему ли вели блескъ искусства, свѣтъ науки и безконечное напряженіе дѣятельности и мысли человѣка? А если такъ, то къ чему же вся эта печальная насмѣшка исторіи? Къ чему всѣ безполезныя усилія разума? Къ чему вся эта скорбная жизнь человѣчества, которая, чрезъ безконечный рядъ страданій, при свѣтѣ какихъ-то обманчивыхъ лучей, всегда принимаемыхъ за лучи истины, доходитъ до безысходнаго и безотраднаго мрака? Все это къ одному, къ весьма малому по инымъ, къ несказанно-великому по другимъ: къ тому, чтобы человѣкъ, признавъ ложью ложь, долго слывшую истиною, могъ придти въ разумъ истины дѣйствительной. Поле духовное должно было быть очищено. Древній міръ завѣщалъ новому великолѣпный обманъ Римскаго просвѣщенія, и новый міръ принялъ его съ радостью, съ гордымъ самодовольствомъ, съ твердою и всѣмъ жертвующею вѣрою, смѣшалъ его съ Христіанствомъ, внѣдрилъ его въ свою жизнь и въ свою душу, и тысячи лѣтъ было мало, чтобы обличить его; но онъ обличенъ, онъ сознанъ, или уже весьма близко вре-

мя полнаго его сознанія; прежніе призраки разсѣяны логикою разсудка. Но первое торжество разсудка было исполнено самоупоенія. «Страшные, кровавые опыты не пугали Западнаго человѣка, огромныя неудачи не охлаждали его надежды, частныя страданія налагали только вѣнецъ мученичества на его ослѣпленную голову; можетъ быть, цѣлая вѣчность неудачныхъ попытокъ могла бы только утомить, но не могла бы разочаровать его самоувѣренности, если бы тотъ же самый отвлеченный разумъ, на который онъ надѣялся, силою собственнаго развитія, не дошелъ до сознанія своей ограниченной односторонности». Такимъ образомъ законъ, скрытый въ фактѣ и сперва обольстительный, развиваясь постепенно въ исторической послѣдовательности, выступилъ окончательно въ сознаніе и получилъ приговоръ свой передъ человѣческимъ разумомъ. Это было дѣломъ философскаго мышленія. Святой Климентъ Александрійскій, защищая изученіе философіи, говоритъ: «Иное идетъ отъ Бога непосредственно, иное посредственно. Къ послѣднему разряду принадлежитъ философія; но не знаю, не должно ли сказать, что она непосредственно шла отъ воли Божіей; ибо какъ Евреевъ воспиталъ Законъ, такъ Эллиновъ воспитала Философія о Христѣ». Да будетъ позволено и намъ повторить эти слова учителя Церкви, бывшаго свѣтиломъ первыхъ вѣковъ Христіанства, и повѣрить ему, когда онъ говоритъ, что это ученіе принялъ онъ отъ своего великаго учителя Пантена, который въ такихъ важныхъ вещахъ имѣлъ обычай высказывать не свое мнѣніе, но то, что́ получилъ отъ ближайшихъ преемниковъ Апостольскихъ. И теперь великое дѣло совершено философіею. Раціонализмъ, скрытый въ Латинствѣ, рѣзко выдавшійся въ Протестантствѣ, окончательно выступилъ и погибъ отъ своей собственной силы въ философіи, очищая такимъ образомъ мѣсто въ душѣ и разумѣ человѣка для болѣе полной и святой Вѣры, переданной намъ отъ самаго начала Христіанскаго ученія, какъ чистое золото, не боящееся ни опыта вѣковъ, ни искушеній пытливаго анализа *).

*) Имя св. Климента Александрійскаго и его мнѣніе о наукѣ приводятъ невольно ни память сокровища науки, нѣкогда собранныя въ Александріи, и приговоръ, произнесенный надъ ними Омаромъ или, по крайней мѣрѣ, при-

Я слышалъ, что упрекаютъ И. В. Киреевскаго въ томъ, что онъ не обратилъ должнаго вниманія на стихію Германскую, вошедшую въ племенной и духовный составъ Западной Европы, и на значеніе вольнаго дѣйствія личностей, двигавшихъ ея исторіею. Эти упреки несправедливы при всей ихъ кажущейся правдѣ. Въ спеціальной исторіи всѣ эти стихіи имѣютъ полное право на вниманіе и на изученіе; но онѣ должны быть оставлены въ сторонѣ, когда дѣло идетъ объ общемъ выводѣ изъ умственнаго развитія всего Запада и объ его общей характеристикѣ. Можно бы доказать, что раздвоенность уже вошла въ быть Германскій еще прежде завоеванія Западной Имперіи, вслѣдствіе безпрестаннаго столкновенія съ нею и привычки Германцевъ наниматься на многолѣтнюю службу въ самыхъ далекихъ ея областяхъ. Можно бы доказать, что внутренняя раздвоенность Западнаго міра была усилена Германскимъ завоеваніемъ не только вслѣдствіе отношеній завоеванныхъ къ завоевателямъ, но еще и вслѣдствіе грубой безнравственности побѣдительнаго племени; но все это было бы безполезно для автора статьи о Западной образованности, точно также, какъ и характеристика историческихъ личностей. Его задача состояла въ разсмотрѣніи общаго строя цѣлой умственной исторіи Запада, и при этомъ пропадаютъ частныя личности, сильныя волновать, но никогда не-сильныя измѣнить общее развитіе начала, лежащаго въ самомъ корнѣ общества, точно также, какъ исчезаютъ всѣ частныя и, сравнительно, мелкія начала, всегда подчиняющіяся, по неволѣ, всесокрушающей силѣ начала общаго, облеченнаго въ религіозную святость. Если въ самомъ религіозномъ началѣ Запада, т. е. въ сліяніи односторонно-понятаго Христіанства съ одностороннею образованностью, скрывался неизбѣжный раціонализмъ (а въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія), всѣ прочія начала должны были ранѣе или позже покориться ему: ибо таково свойство того логическаго механизма, того «самодвижущагося ножа», который называется раціонализмомъ, что, будучи разъ допущенъ въ сердцевину человѣческаго мышленія и въ высшую область его духовныхъ по-

---

писываемый Омару: „Если книги въ Александрійской библіотекѣ содержатъ тоже, что Коранъ, то онѣ ненужны, а если что иное, то вредны. Сжечь“.

мысловъ, онъ долженъ по необходимости подрѣзать и сокрушить все живое и безусловное, всю, такъ сказать, органическую растительность души, и оставить около себя только безотрадную пустыню.

«Главная особенность умственнаго характера Рима», какъ сказано въ статьѣ, «должна была отразиться и въ умственной особенности Запада. Но если мы захотимъ эту господствующую особенность Римскаго образованія выразить одною общею формулою, то не ошибемся, кажется, если скажемъ, что отличительный складъ Римскаго ума заключался въ томъ именно, что въ немъ наружная разсудочность брала перевѣсъ надъ внутреннею сущностью вещей». Это неоспоримо. Но этотъ складъ ума, будучи преобладающимъ и опредѣляя всю область Римской мысли, долженъ былъ выразиться въ характерѣ и внутреннемъ смыслѣ религіи. Дѣйствительно, онъ и выразился. Олимпъ Греческій и Пантеонъ Римскій считаются вообще явленіями параллельными или, лучше сказать, тождественными другъ съ другомъ. Боговъ своихъ Римляне и Эллины считали одними и тѣми же миѳологическими лицами, не смотря на разницу именъ, и это мнѣніе, можетъ быть, отчасти основано на исторической истинѣ; но складъ народнаго ума наложилъ свою печать на своихъ боговъ, и Олимпъ Греческій не имѣлъ дѣйствительно ничего общаго съ Пантеономъ Римскимъ. Эллинъ поклонялся красотѣ и, впослѣдствіи, знанію. Римлянинъ поклонялся идеѣ правды, не той внутренней правды, которая бьетъ живымъ ключомъ въ душѣ, освящая и возвышая ее, а *правды внѣшней*, которая довольствуется освященіемъ и охраненіемъ условныхъ и случайныхъ отношеній между людьми. Неумѣстно было бы здѣсь излагать тотъ историческій процессъ, которымъ были созданы эти двѣ религіи. Одна была и оставалась навсегда личною, другая была по своей сущности общественною. Идею внѣшней правды *символизировалъ* Римлянинъ въ своихъ богахъ, но онъ ее *осуществлялъ* на землѣ. Внѣшняя правда въ человѣкѣ отдѣльномъ не осуществляется: она стремилась осуществиться въ обществѣ и выразилась въ Вѣчномъ Римѣ *). Было вре-

*) Очень знаменательны весьма нерѣдкія надписи, подобныя слѣдующей, найденной на древнемъ алтарѣ въ Англіи: Genio loci, Fortunae reduci, Romae aeternae et Fato bono.

мя, когда Римлянинъ еще не понималъ всей внѣшности закона, которому поклонялся, той правды, которая была его божествомъ: онъ считалъ ее правдою безусловною. Его образумила исторія на холмахъ Филиппійскихъ, и онъ сказалъ: «добродѣтель, ты пустое слово», точно такъ же, какъ Эллинскій скептицизмъ, немного позднѣе, спросилъ: «что́ такое истина?» у явившейся Истины. Съ тѣхъ поръ Римлянинъ созналъ всю внѣшность правды, къ которой стремился, и ревностно старался осуществить ее въ своемъ правѣ и Римѣ—сосудѣ и созданіи этого права. Осуществленная внѣшняя правда стала выше ея отвлеченнаго символа—Пантеона боговъ, и единственною религіею Римлянина. Тотъ только былъ у него богъ, кому Римъ позволялъ, и тотъ былъ, безъ сомнѣнія, богъ, кого Римъ признавалъ. Вѣра оставалась только въ Римъ и въ его право. Не передъ алтарями сомнительнаго Юпитера или Минервы (боговъ по милости Рима) лилась кровь мучениковъ, но передъ алтаремъ несомнѣннаго бога, Вѣчнаго Рима; и Римъ этотъ былъ не городъ, утратившій свое царственное величіе, какъ скоро Нерва-Траянъ покончилъ рядъ кесарей и сталъ царствовать въ провинціяхъ и въ мірѣ легіоновъ, но вся область Римскаго права. Значеніе Августа, Лже-Нероновъ при Веспасіанѣ и Траяна еще непонято историческою критикою; но распространяться объ немъ здѣсь ненужно. Городъ Римъ, почти забытый Римлянами, продолжалъ быть чѣмъ-то облеченнымъ въ величіе неземное для Германскаго дикаря, котораго онъ такъ долго страшилъ, угнеталъ и развращалъ; а житель самой имперіи сосредоточилъ свое обожаніе въ идеѣ внѣшней правды, осуществленной въ Римскомъ правѣ и олицетворенной въ Римскомъ государствѣ. Западная имперія пала. Христіанство, овладѣвшее еще прежде областью древняго міра, устояло и возвысилось съ силою надъ его развалинами, покоряя Германцевъ побѣдителей; но человѣческое зло и человѣческая односторонность примѣшались къ полнотѣ и совершенству дара Божія.

Формальность и раціонализмъ, преобладающія начала Римскаго образованія, выразились, какъ уже сказано, въ юридическомъ стремленіи всей Римской жизни и въ возведеніи политическаго общества до высшаго, божественнаго значе-

нія. Образованность, истекающая изъ этихъ направленій, была единственно общественною, тогда какъ образованность Эллинская была личною въ высшей степени. Эллинизованный Египтянинъ и Сиріецъ были увлечены силою, красотою, а иногда и соблазномъ мысли въ міръ Эллинскаго просвѣщенія, отъ котораго едва отстоялись духовное вдохновеніе и богоблагословенный мечъ Маккавеевъ. Побѣжденные желѣзнымъ строемъ Римскихъ легіоновъ, Испанецъ, Галлъ, Британецъ *) были втиснуты силою въ желѣзныя формы административнаго просвѣщенія Римскаго. Личная мысль осталась безъ жизни и силы, принявъ въ себя только стремленіе къ юридическимъ формуламъ, и раннее паденіе Западной имперіи было послѣдствіемъ умственнаго усыпленія ея жителей. Правда, и на Западѣ Христіанство возвысило душу человѣка, облагородило его помыслы, отчасти побѣдило его порочныя склонности; но прежняя образованность наложила печать своей особенности на его умственное развитіе. Прекрасно изложилъ г. Киреевскій различныя направленія областей, составлявшихъ Имперію уже въ эпоху Христіанскую: Рима, Эллады, Эллинизованной Сиріи и Эллинизованнаго Египта. Прекрасно замѣтилъ онъ разницу въ характерахъ ихъ духовныхъ дѣятелей и въ самомъ характерѣ ересей, возникшихъ изъ воздѣйствія прежнихъ мѣстныхъ образованностей на ученіе Церкви. Риму приписываетъ онъ весьма справедливо «практическую дѣятельность и логическое сцѣпленіе понятій»; прибавить можно: и истекающее изъ нихъ стремленіе къ опредѣленіямъ юридическимъ. Юристъ проглядываетъ постоянно сквозь строгую догматику мощнаго Тертуліана о грѣхахъ, искупаемыхъ и неискупныхъ; юристъ слышится въ тонкой діалектикѣ Августина, споритъ ли онъ съ Пелагіемъ, или созидаетъ образъ богоправимаго міра. Скудный великими церковными мыслителями, Западъ былъ счастливо-бѣденъ ересями; но между тѣмъ, какъ всѣ ереси Востока обращены къ вопросамъ о сущности Бога и человѣка, Пелагіанизмъ и Адопціанизмъ обращаются къ вопросамъ о пра-

*) Causidici Britanni. Римское право преподавалось даже при Саксонцахъ въ VIII-мъ вѣкѣ.

вахъ воли человѣческой и о правахъ самого человѣка въ отношеніи къ Божеству. Различія умственнаго склада удерживаются во всѣхъ подробностяхъ. Но эти различія областныя, какъ говоритъ авторъ статьи, «не только не мѣшали истинному направленію духа, но еще увеличивали многостороннее богатство его проявленій; а во времена испытаній, когда для частныхъ церквей предстоялъ рѣшительный выборъ—или отторгнуться отъ Церкви Вселенской, или пожертвовать своимъ частнымъ мнѣніемъ (отказавшись отъ ереси, возникшей изъ особенности мѣстнаго просвѣщенія), Господь спасалъ Свои церкви единодушіемъ всего Православнаго міра». Невидимымъ, но всемогущимъ орудіемъ спасенія была сила Христіанской любви, которая связывала всѣхъ, и смиреніе Христіанской любви, которое укрощало всякую личность.

Когда Римъ отпалъ отъ своихъ Восточныхъ братій, односторонность его умственнаго склада и его образованности стала выступать безпрепятственно во всѣхъ направленіяхъ Въ III-мъ вѣкѣ Азійскія церкви могли въ вопросѣ о пасхальномъ празднованіи измѣнить обрядовое преданіе, полученное ими отъ Святого Апостола Іоанна Богослова, для того, чтобы полнѣе сохранить высшее преданіе о Христіанской любви, завѣщанное преимущественно тѣмъ же боговдохновеннымъ учителемъ; но это чувство недоступно для формальнаго опредѣленія. Оно не могло быть принято въ основу новаго единства Западнаго; самый же законъ любви уже, при отпаденіи, былъ нарушенъ самонадѣянностью общинъ, измѣнившихъ древній Вселенскій символъ. Новой опоры надобно было искать для новаго отдѣльнаго міра. Ее нашли въ общемъ уваженіи къ городу Риму и въ томъ чувствѣ благоговѣнія передъ нимъ, которое Германецъ-завоеватель передалъ, какъ политическое наслѣдство, своимъ потомкамъ. Римъ сдѣлался центромъ вещественнымъ и историческимъ, по необходимости развивающимъ свои исконныя начала. Папа долженъ былъ облечься въ непогрѣшимость по дѣламъ вѣры. Обоготвореніе политическаго общества, истинная сущность Римской образованности, было такъ тѣсно связано съ нею, что Западный человѣкъ не могъ понять самой Церкви на землѣ иначе, какъ въ государственной формѣ. Ея единство

должно было быть принудительнымъ, и родилась инквизиція съ ея судомъ надъ совѣстью и съ казнью за невѣріе. Епископъ Римскій долженъ былъ домогаться власти свѣтской, и онъ достигъ ея. Онъ долженъ былъ стремиться къ праву безусловнаго и безспорнаго суда надъ всею Церковью, и это право было за нимъ признано, и область этого права получила названіе Всехристіанства (Tota Christianitas), также какъ прежняя область Римскаго права называлась Римомъ. Ея государственное единство требовало общаго государственнаго языка, и Латинскій языкъ по необходимости получилъ это значеніе, котораго не могли у него оспоривать безобразные говоры новостроющихся языковъ Запада. Государство должно было выступить въ мірѣ политическомъ съ силою вещественнаго оружія, и Всехристіанство взялось за мечъ, и папа сдѣлался главою нестройнаго народнаго ополченія Крестовыхъ походовъ, изъ котораго послѣдовательно возникли сперва ордена монашествующихъ рыцарей, постоянное церковное войско, а потомъ, когда мечъ былъ исторгнутъ изъ рукъ Римскаго правителя, орденъ Іезуитовъ, который (по словамъ одного изъ лучшихъ нашихъ поэтовъ и остроумнѣйшихъ мыслителей) есть не что иное, какъ Западный католицизмъ въ боевомъ строю *).

Такъ развивалась внѣшняя исторія Западной церкви, опредѣляя собою развитіе самаго общества, частнаго быта, науки политической и богословской, и пересозидая мало по малу въ форму условную и одностороннюю мысль и душу человѣка.

Я счелъ небезполезнымъ сказать нѣсколько словъ о томъ вліяніи, которое имѣло на ходъ ума человѣческаго преобладаніе понятія о внѣшней правдѣ и обоготвореніе политическаго общества, переданныя Римомъ новымъ народамъ Западной Европы; потому что И. В. Киреевскій коснулся его только мимоходомъ, не обративъ, быть можетъ, достаточнаго вниманія на него. Оцѣнка этого вліянія необходима для полнаго разумѣнія Римской стихіи въ средневѣковой и новой исторіи. Между тѣмъ какъ преданіе Римской государственности созидало внѣшнюю и видимую форму Римско-церковнаго общества,

*) Le Catholicsime à l'état militant. Выраженіе Ѳ. И. Тютчева.

юридическая стихія старалась всю его внутреннюю жизнь подвести подъ законы правомѣрности гражданской, назначая кругъ дѣйствія отдѣльнаго для каждой душевной силы, опредѣляя, такъ сказать, вѣсъ и мѣру каждаго проступка, вѣсъ и мѣру каждой мнимой заслуги человѣчества, и составляя, если можно такъ выразиться, какую-то таблицу счетоводства между Богомъ и Его твореніемъ, непонятную для насъ, сыновъ Церкви Православной. Въ тоже время раціональное начало, скрытое въ односторонности понятій юридическихъ, выступало смѣлѣе въ той многовѣковой діалектической игрѣ, которую называютъ схоластикою и въ которой дѣтская вѣра въ ученый авторитетъ, весьма плохо понятый, соединяясь съ дѣтскою самоувѣренностью, пыталась разрѣшить неразрѣшимую задачу. Эта задача состояла въ томъ, чтобы «не только связать понятія богословскія въ разумную систему, но и подложить подъ нихъ разсудочно-метафизическое основаніе». Правда, и въ самой схоластикѣ раціонализмъ былъ еще окованъ; но когда не было ни одного схоласта, «который бы не пытался свое убѣжденіе о бытіи Божіемъ поставить на остріе какого нибудь искусно-выточеннаго силлогизма» и слѣдовательно утвердить вѣру на шаткости скрытаго невѣрія,—разумъ могъ уже предвидѣть неизбѣжную цѣль, къ которой стремились Западное мышленіе и Западная жизнь, не смотря на кажущуюся энергію начала религіознаго. Дѣйствительно же эта энергія была не силою истинною, но страстною напряженностью.

Я думаю, что многіе, можетъ быть даже бо́льшая часть моихъ читателей, не согласятся съ этимъ послѣднимъ мнѣніемъ; но думаю также, что это потому только, что еще не совсѣмъ наступило время для безпристрастной оцѣнки всѣхъ проявленій Западнаго міра въ средневѣковую и новую эпоху. Обаяніе еще не миновалось. Трудно намъ признаться, что безусловно-прекрасное и гармоническое не могло возникнуть изъ началъ односторонности и раздвоенія. Быть можетъ, многіе сознаются, что зародыши смерти лежали въ основѣ Западной жизни и что они дѣйствительно обличены въ его всеобъемлющемъ и всегубительномъ раціонализмѣ; но, глядя на великолѣпныя созданія средневѣковаго зодчества, на камен-

ныя кружева его воздушныхъ башенъ, на таинственный сумракъ его стрѣльчатыхъ сводовъ, прорѣзанный, испещренный цвѣтными лучами его расписныхъ стеколъ, рѣдкій еще сознается, что есть глубокій разладъ въ духовной основѣ этого мятежнаго художества. Рѣдкій почувствуетъ, что эти чудныя громады, стремящіяся оторваться отъ земли и побѣдить законы тяжести, силою какого-то даннаго имъ растительнаго порыва, созданы и запечатлѣны внутреннею тревогою страстной и раздвоенной души и передаютъ зрителю своему туже самую страстную и мрачную тревогу, которая высказалась въ ихъ рукозданной поэзіи.

Раціонализмъ и формальность Римской образованности приносили свои плоды, и новый приливъ науки отъ упавшей Византіи не только не измѣнилъ ихъ характера, но, обогативъ мысль множествомъ знаній, неподведенныхъ ни подъ какую разумную систему, ускорилъ разложеніе началъ, уже готовыхъ къ разложенію. Южная Европа и земли, по преимуществу Романскія, были такъ глубоко поражены своею внутреннею язвою, что паденіе Западнаго міра казалось весьма близкимъ. Можно бы было подумать, что книга de Tribus Impostoribus, приписываемая геніальному воспитаннику папы Иннокентія III-го, императору Фридриху II-му (явленіе странное и, такъ сказать, преждевременное) сдѣлалась общимъ исповѣданіемъ разгорѣвшагося скептицизма, котораго центромъ былъ дворъ духовнаго владыки всего Запада. Въ это время явилось Германское Протестантство, и оно явилось, какъ противодѣйствіе не только той обрядности и государственной формальности, которыя губили всякое Христіанское начало въ нѣдрахъ Западнаго Католицизма, но еще болѣе тому насмѣшливому, безнравственному невѣрію, которое составляло рѣзкій и преобладающій характеръ Романскаго просвѣщенія въ началѣ XVI-го вѣка. Невѣріе было въ искусствѣ, принявшемъ вполнѣ языческое направленіе; невѣріе въ наукѣ, сознавшей непримиримость двухъ началъ, соединенныхъ въ схоластикѣ, но несознавшей еще мертвенности раціонализма; невѣріе въ политикѣ, которой пророкомъ и законодателемъ былъ Макіавель; невѣріе въ обществѣ и всей его жизни, не признающей никакихъ законовъ, кромѣ личной выгоды и страсти. Голосъ пре-

данія, заковавшагося въ мертвую формальность, утратилъ всякое значеніе; голосъ Божій въ Писаніи замолкъ въ монополіи папскаго двора. Христіанской Европѣ грозила, повидимому, таже участь, которая постигла просвѣщеніе древняго міра. Тогда изъ нѣдръ Католицизма возстало Протестантство. Народы Германскіе, въ которыхъ Римская образованность проникла не такъ глубоко, какъ въ области, бывшія нѣкогда Римскими, сдѣлали временной отпоръ начавшемуся разложенію Западнаго міра. Проснулась надежда основать убѣжденія человѣка на началахъ высшихъ, чѣмъ раціонализмъ и юридическая формальность; проснулась надежда найти спасеніе въ томъ духовномъ мірѣ, который Создателемъ положенъ въ основу обновленному человѣчеству. Очистительнымъ громомъ прогремѣли надъ Европейскимъ Западомъ торжественные звуки Слова Божія, почти умолкнувшіе въ продолженіе болѣе чѣмъ столѣтія; порывъ пламенной вѣры и дѣятельной любви оживилъ всѣ нравственныя силы. Свѣжее и бодрое Протестантство, полное юныхъ мечтаній и какой-то строгой поэзіи, облагородило личность человѣка и влило новую кровь даже въ истощенныя жилы одряхлѣвшаго Латинства. Нестройное разложеніе остановилось, но не надолго.

Самое Протестантство было плодомъ раціональнаго направленія. Его формы, его строго-логическій ходъ были торжествомъ раціонализма, выступавшаго впередъ явно и сознательно изъ Римскаго ученія, въ которомъ онъ заключался безсознательно и тайно. Его подвигъ сдѣлался яснѣе, послѣдовательнѣе и строже. Скоро разорваны были пеленки, въ которыхъ еще скрывалось его дѣтство, и Фейербахи нашего времени начали свою разрушительную работу въ лицѣ Цвингліевъ и Карлштатовъ XVI-го вѣка Это поняли уже первые Римскіе противники Протестантства; они сказали правду въ своихъ полемическихъ сочиненіяхъ, но они не сознали и сознать не могли, что односторонняя разсудочность реформаторовъ была не что иное, какъ развитіе начала, завѣщаннаго Римомъ и взращеннаго Папствомъ. Въ науку духовную протестанты не внесли ничего новаго и живаго; это было невозможно. Они не возстановили и, вслѣдствіе своего умственнаго воспитанія, не могли возстановить той цѣльности и полноты, кото-

рыя составляютъ сущность Христіанства и которыя утрачены были на Западѣ съ самаго времени его отпаденія. Они приняли всю односторонность мысли, которую застали преобладающею и властвующею; они приняли всѣ ея опредѣленія, отрицая только приложенія опредѣленій, ими же допущенныхъ; и, разорвавъ поневолѣ цѣпь преданія, они наложили на искусственное зданіе своихъ новыхъ исповѣданій неизгладимую печать юридическаго утилитарства или разсудочной полезности, возведенной въ законъ всего духовнаго міра. Послѣдствія были неизбѣжны. Постепенность мыслительнаго движенія отъ самой реформы до нашихъ дней и до Гегеля (геніальнаго довершителя отвлеченно-разсудочной философіи) высказана такъ безстрастно и отчетливо въ статьѣ г-на Киреевскаго, что, кажется, въ этомъ отношеніи отрицать ее невозможно и что либо прибавлять было бы безполезно.

И такъ, Западная мысль совершила свой путь вслѣдствіе необходимаго и логическаго развитія своихъ началъ. Односторонняя разсудочность уличила себя въ безсиліи и безплодности. Исторія ея движенія подчинена законамъ строгой логики. Временныя неправильности въ этомъ движеніи (какъ наприм. гордо-созерцательный мистицизмъ первыхъ Францисканцевъ или страстный мистицизмъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ школъ и нѣкоторыхъ нервно-восторженныхъ лицъ) не могли измѣнить ея правильнаго хода. Основаніемъ всего движенія были *односторонняя разсудочность и раздвоенность просвѣтительнаго начала* и совершенно соотвѣтствующая имъ *раздвоенность общественной стихіи, составленной изъ завоевателей и завоеванныхъ.*

Не безъ глубокаго чувства душевной радости, не безъ искренняго и сердечнаго благодаренія Тому, отъ Кого всякая милость и всякое благо, можемъ мы сказать себѣ, что мы не принадлежимъ по древнимъ своимъ духовнымъ началамъ этому самоосужденному міру; и это мы можемъ сказать, отдавая вполнѣ справедливую дань удивленія его великимъ явленіямъ историческимъ, и художественнымъ, и научнымъ, будь это Гильдебрантъ и Готфридъ, или Лютеръ и Густавъ Адольфъ, или творецъ Сикстинской Мадонны, или строитель Кельнскаго

собора, или Кантъ, или Гегель, довершители разсудочной философіи. Добровѣстные ли и ослѣпленные, дѣйствовавшіе съ любовью; ясновидящіе ли и раздраженные сознаннымъ противорѣчіемъ безысходныхъ своихъ задачъ; высокіе ли тѣмъ нравственнымъ величіемъ, которое сохраняли они, не смотря на неполноту принятаго ими закона, или могучіе мыслительною силою, не смотря на ложность исходной точки ихъ мышленія,—всѣ они, орудія Высшаго Промысла и отчасти невольныя жертвы историческаго развитія, могутъ за свои великіе подвиги слышать отъ насъ слово правдиваго уваженія, непомраченнаго ни осужденіемъ, ни упрекомъ. Дай Богъ дѣятелямъ на путяхъ истины, болѣе совершенной,—той же силы, которую показали многіе дѣятели односторонняго просвѣщенія и мысли! Что бы ни было впереди и въ волѣ Провидѣнія, судъ уже совершенъ надъ образованностію Запада и совершенъ безпристрастно: ибо самъ Западъ произнесъ приговоръ свой въ послѣднихъ выводахъ философскаго мышленія, уличившаго себя въ отвлеченной и односторонней разсудочности, и мы счастливы тѣмъ, что имѣемъ точки опоры и отправленія въ другомъ просвѣщеніи и въ другой области жизни и мысли.

Таково убѣжденіе автора статьи о Западной и Русской образованности. Поставивъ съ одной стороны *разсудочность* и *раздвоенность*, съ другой *разумность* и *цѣльность*, какъ начала, составляющія различіе между двумя областями мысли, онъ, какъ мнѣ кажется, опредѣлилъ съ совершенною ясностью ту *новую* точку зрѣнія, съ которой наука должна и будетъ разсматривать явленія Православнаго и Западнаго міра. Соглашаясь безусловно съ нимъ въ этомъ отношеніи, я долженъ признаться, что не могу согласиться съ выводами, которые заключаются во второй половинѣ статьи. «Просвѣтительное начало древней Руси было цѣльное и совершенное; почва народная, на которую пало сѣмя, не содержало также никакой внутренней причины къ раздвоенности. Развитіе должно было по быстротѣ и совершенству превзойти развитіе просвѣщенія Западнаго; отъ чего же не опередила древняя Русь Запада и не стала во главѣ умственнаго движенія человѣчества?» Таковы данныя и истекающій изъ нихъ вопросъ;

которые поставлены И. В. Киреевскимъ, хотя не совсѣмъ въ такихъ словахъ. — «Каждый народъ, также какъ каждый человѣкъ въ Церкви Вселенской, принося на служеніе ей свою личную особенность, въ самомъ развитіи этой особенности встрѣчаетъ опасность для своего внутренняго равновѣсія. Особенность же древней Руси заключалась въ самой полнотѣ и чистотѣ того выраженія, которое Христіанское ученіе получило въ ней — *во всемъ объемѣ ея общественнаго и частнаго быта;* но чистота выраженія такъ сливалась съ выражаемымъ духомъ, что наружную форму стали уважать наравнѣ съ внутреннимъ смысломъ. Такимъ образомъ обрядовая формальность (также какъ на Западѣ юридическая или раціональная формальность), увеличиваясь мало-по-малу, съ XVI-го вѣка, произвела односторонность (доказанную Іоанномъ Грознымъ и расколами) и окончательно произвела въ нѣкоторой части мыслящихъ людей другую односторонность, противуположную ей: стремленіе къ формамъ чужимъ и чужому духу». Таковъ смыслъ отвѣта г. Киреевскаго. Но этотъ отвѣтъ кажется мнѣ неудовлетворительнымъ.

«*Христіанское ученіе выражалось въ чистотѣ и полнотѣ, во всемъ объемѣ общественнаго и частнаго быта древне-Русскаго*». Въ какое же время? Въ эпоху ли кроваваго спора Ольговичей и Мономаховичей на Югѣ, Владимирскаго княженія съ Новымъ-Городомъ на Сѣверѣ и безнравственныхъ смутъ Галича, безпрестанно измѣнявшаго самой Руси? Въ эпоху ли, когда Московскіе князья, опираясь на дѣйствительное и законное стремленіе большей части земли Русской къ спасительному единству, употребляли Русское золото на подкупъ Татаръ и Татарское желѣзо на уничтоженіе своихъ Русскихъ соперниковъ? Въ эпоху ли Василія Темнаго, ослѣпленнаго ближайшими родственниками и вступившаго въ свою отчину помощью полчищъ иноземныхъ? Или при Иванѣ III-мъ и его сынѣ-двуженцѣ? Нѣтъ, велико это слово, и какъ ни дорога мнѣ родная Русь въ ея славѣ современной и прошедшей, сказать его объ ней я не могу и не смѣю. Не было ни одного народа, ни одной земли, ни одного государства въ мірѣ, которому такую похвалу можно бы было приписать хотя приблизительно; и, конечно, она уже слишкомъ

непомѣрна для земли, князья которой не только безпрестанно губили ее своими междоусобіями, но еще безъ стыда и совѣсти опустошали ее мечемъ, огнемъ и разбоемъ союзниковъ, Магометанъ и язычниковъ. Но если бы даже можно допустить (чего, по моему мнѣнію, нисколько допускать нельзя), что ученіе Христіанское въ полнотѣ и чистотѣ своей выражалось во всемъ объемѣ общественнаго и частнаго быта древней Руси, какъ же могло выраженіе быть принято за духъ, выражаемый въ обществѣ? Гдѣ же было сознаніе, неизбѣжно сопровождающее всякое явленіе духа? Гдѣ былъ духъ цѣльный, принявшій образъ свой за самого себя? При раздвоенности духа и мысли такія явленія понятны; при его цѣльности они вовсе невозможны. Очевидно, отвѣтъ г. Киреевскаго неудовлетворителенъ, да и при тѣхъ данныхъ, которыя онъ положилъ въ основу вопроса, другого отвѣта быть не могло. Кажется, ошибка заключается въ самыхъ данныхъ. Постараюсь ее уяснить, какъ сумѣю.

Сначала представляется вопросъ, который, по необходимости, долженъ предшествовать вопросу о Россіи. Просвѣтительное начало, которымъ, по милости Божіей, вызвана была земля Русская изъ мрака и сна языческаго невѣжества, пришло изъ имперіи Византійской; почему жъ не спасло оно ея отъ гибели и паденія?

Христіанство распространилось на Востокѣ тѣмъ же путемъ Апостольской проповѣди, тѣми же подвигами мученичества, какъ и на Западѣ. Можно даже сказать, что борьба съ язычествомъ въ областяхъ Эллинскихъ была еще ожесточеннѣе, чѣмъ въ областяхъ собственно-Римскихъ: таково, по крайней мѣрѣ, свидѣтельство церковной исторіи. Свирѣпѣе были казни, сильнѣе былъ отпоръ школъ философскихъ; но Христіанство восторжествовало. Вслѣдствіе ли особеннаго направленія и полноты Эллинской мысли, или вслѣдствіе равенства просвѣщенія въ разныхъ областяхъ Восточной имперіи, или вслѣдствіе іерархическаго равенства между патріархами, ученіе Христіанское не получило ни стремленія къ мѣстному сосредоточенію, ни мѣстной односторонности. Умъ человѣческій былъ пробужденъ и напряженъ во всемъ просторѣ Эллинской или Эллинизованной области. Какое было

на Востокѣ богатство церковной словесности, какая глубина мысли, какая сила и роскошь краснорѣчія, какое стремленіе къ опредѣленности понятій, соединенное съ всесторонностію, исключающею преобладаніе сухой разсудочности, какое множество великихъ и святыхъ дѣятелей и учителей, съ которыми на Западѣ не ровнялся никто (за исключеніемъ Восточнаго уроженца Иринея),—про то свидѣтельствуетъ сама Западная наука новаго времени въ своихъ высшихъ представителяхъ, Боссюэтѣ и Неандерѣ. Правда, опасная дѣятельность разума человѣческаго не разъ потрясала весь міръ Христіанскій; но безъ нея человѣкъ—не человѣкъ и, управленная любовью къ Божественной истинѣ, она сама исцѣляетъ раны, нанесенныя ея временнымъ злоупотребленіемъ. Черезъ Восточныя ереси она вызвала, но за то она же на Восточныхъ соборахъ, озаренная благодатію Божіею, высказала въ ясности и полнотѣ то святое ученіе, которое дано было человѣку, какъ лучшій даръ Творца и какъ высшій залогъ его совершенствованія на землѣ. Нечестенъ и безуменъ всякъ тотъ, кто бы ни былъ онъ родомъ или какого бы ни былъ исповѣданія (если только онъ Христіанинъ), кто вспомнитъ безъ благодарности эту заслугу Византійскаго міра передъ человѣчествомъ. И за всѣмъ тѣмъ, страсть такъ слѣпа и такъ властна надъ самыми лучшими умами, скрытая вражда Западной образованности къ Востоку такъ сильна, что даже Нѣмцы, люди, готовые положить душу свою за всякую науку и за всякій лоскутокъ науки, часто говорятъ съ пренебреженіемъ о томъ великомъ подвигѣ человѣческаго мышленія, который далъ наукообразное изложеніе и опредѣленность высочайшей и небесной истинѣ. Таже безсонность, тоже могущество ума поддержали Византію въ продолженіи тысячи лѣтъ, не смотря на слабость ея вещественныхъ границъ и на сравнительную невоинственность народа противъ всего напора Готскихъ племенъ, однимъ ударомъ сокрушившихъ имперію Запада, противъ сильнѣйшаго напора Аваровъ, двигавшихъ всѣмъ безпредѣльнымъ моремъ племенъ Славянскихъ и дѣйствовавшихъ за одно съ усилившеюся на время Персіею, и противъ всесокрушавшаго удара молодого Исламизма, владѣвшаго всѣмъ міромъ отъ снѣжной границы Ки-

тая до береговъ Атлантическаго моря и горныхъ предѣловъ Франціи. Нѣсколько разъ потрясенная до основанія, она снова утверждалась и отстаивалась; побѣжденная и почти покоренная, она покоряла и пересозидала своихъ побѣдителей силою своихъ просвѣтительныхъ началъ. Такова причина, почему это государство, повидимому слабое почти съ самаго начала своего отдѣльнаго существованія, могло въ продолженіи тысячи лѣтъ выдерживать борьбу, едва ли не единственную въ исторіи міра, и почему даже паденіе его было небезславно; ибо оно пало передъ такимъ напряженіемъ воинственныхъ стихій Азіи, передъ которымъ едва устояли соединенныя ополченія всей Европы. Но Византіи не суждено было осуществить понятіе о Христіанскомъ государствѣ; ей не суждено было уцѣлѣть и указать своимъ примѣромъ новый и высшій путь человѣчеству. Отчасти причиною ея постепеннаго ослабленія и паденія было то, что Византіецъ не могъ забыть, что онъ былъ нѣкогда Эллиномъ по просвѣщенію и Римляниномъ по гражданству, и что слѣдовательно онъ соединялъ въ себѣ двѣ величайшія славы древняго міра: онъ не хотѣлъ, онъ, такъ сказать, не могъ дать полнаго права равенства съ собою тѣмъ новымъ народнымъ стихіямъ, которыя приливали къ нему съ Сѣвера и готовы были своею свѣжею кровью укрѣпить составъ одряхлѣвшаго общества. Онъ пользовался Славянами, онъ вполнѣ зависѣлъ отъ союза съ ними и въ тоже время не только не хотѣлъ признать ихъ братьями, но постояннымъ коварствомъ, утѣсненіемъ и гордостію, болѣе оскорбительною, чѣмъ самыя утѣсненія, вселялъ въ нихъ вражду, которой еще не было, или питалъ вражду, готовую погаснуть и обратиться въ искренній и душевный союзъ. Однакоже, должно замѣтить, что эта причина была второстепенною; была другая, несравненно важнѣйшая, которую должно разсмотрѣть, чтобы понять исторію Восточной имперіи и ея вліяніе на старо-Русское образованіе. Восточная имперія была областью Эллинскаго просвѣщенія личнаго и общественнаго Римскаго права. Ея жители называли себя Эллинами въ отношеніи къ языку и мысли, Римлянами въ отношеніи къ государству. Словесность и наука говорили по-гречески; законъ долго еще говорилъ по-латыни.

Движеніе мысли не было сосредоточено въ какой-нибудь мѣстности. Наука Аѳинская долго была самостоятельною. Александрія оспаривала первенство у Византіи, не уступая ей ни въ чемъ и часто пересиливая ея вліяніе. Антіохія и самобытная образованность Сиріи и Палестины держали равновѣсіе между этими двумя главными центрами и часто рѣшали ихъ духовные споры. Даже изъ-подъ рабства Магометанскаго великій Дамаскинъ управлялъ убѣжденіями своихъ Христіанскихъ братій въ богословскихъ твореніяхъ своихъ и радовалъ ихъ душу своими боговдохновенными пѣснями, которыми и до нашего времени празднуется почти всякое свѣтлое торжество Православія. Но, въ отношеніи къ государству, имперія Восточная была гораздо болѣе сосредоточена, чѣмъ имперія Западная, и гражданской самостоятельности было гораздо менѣе въ ея областяхъ, чѣмъ въ областяхъ чисто-Римскаго міра. Правда, что законовѣдѣніе было доведено до своего крайняго внѣшняго развитія въ Византіи. Послѣдній камень его былъ положенъ Юстиніаномъ, и многія перемѣны введены его преемниками. Иначе и быть не могло, ибо законовѣдѣніе, кромѣ своего жизненнаго приложенія, имѣетъ еще смыслъ науки, а никакая наука не могла быть чужда Эллинскому уму. Но за всѣмъ тѣмъ право и понятіе о государствѣ оставались въ тѣхъ упорныхъ формахъ, которыя были даны Римомъ. Прочна была работа Вѣчнаго города; не безъ полнаго ясновидѣнія явился онъ пророку въ истуканѣ желѣзномъ на глиняныхъ ногахъ. Шатки и ненадежны были основы его величія; но логическое развитіе его надстройки было сковано изъ неразрушимаго желѣза. Его юридическая цѣпь охватила и сдавила жизнь Византіи. Свободная и плодотворная во всякой другой области, мысль Эллина въ области права рабски слѣдовала по путямъ, ей указаннымъ ея учителями — законовѣдами Рима; и, не смотря на нѣкоторыя слабыя попытки позднѣйшаго законодательства, болѣе исказившаго, чѣмъ измѣнившаго стройную цѣльность законовъ, духъ закона оставался одинъ и тотъ же, и Христіанство почти не проникало въ каменный Капитолій юристовъ: тамъ жилъ и властвовалъ до конца духъ язычества. Мнѣніе, довольно общее, приписываетъ весь характеръ Ви-

зантіи, какъ государства, перенесенію центра его на Востокъ, въ близкое сосѣдство къ Азіи. Это мнѣніе совершенно ложно. Конечно, вліяніе Азіатскихъ нравовъ отозвалось во многихъ подробностяхъ; но общій очеркъ былъ вполнѣ Римскимъ, и никакое Восточное воображеніе не могло бы прибавить что нибудь къ идеѣ, которой основами были божественность и обоготвореніе (Divinitas и Apotheosis). Точно также неразумно обвиненіе, постоянно повторяемое со времени Гиббона, въ томъ, что владыки Царь-града, вмѣшиваясь въ безпрестанные споры богословскіе, старались разрѣшить ихъ и утвердить общее исповѣданіе по своему усмотрѣнію. Они иначе поступить не могли. Правда, великій Константинъ подалъ прекрасный примѣръ, предоставивъ самой Церкви разрѣшеніе догматическаго вопроса; но этотъ примѣръ, которому не послѣдовалъ ни одинъ изъ его преемниковъ, доказываетъ только, какъ глубоко духъ Христіанства проникъ въ душу Константина, и какъ чуждъ былъ этотъ духъ учрежденіямъ самой имперіи. Менѣе просвѣщенные преемники Константина слѣдовали, и не могли не слѣдовать, тому правилу, которое заключалось въ понятіи Римлянина: тотъ только богъ, кому Римъ позволяетъ, и тотъ несомнѣнно богъ, кого Римъ признаетъ. Изъ него не могли выйти ни спаситель имперіи Ираклій, ни воинственные возстановители ея славы Исаврійцы. Осуждая ихъ личныя заблужденія, должно признать, что дѣйствія ихъ были вполнѣ согласны съ общимъ характеромъ государственнаго законодательства. Точно также все уголовное право, съ его страшными казнями, съ его свирѣпыми пытками, съ его безнравственными судами и разрядами преступленій, было наслѣдствомъ того Рима, который себя опредѣлилъ еще прежде отдѣленія Восточной имперіи. Точно тоже должно сказать и о всѣхъ общественныхъ учрежденіяхъ и о всѣхъ ихъ мертвящихъ формахъ; точно тоже обо всей общественной жизни съ ея играми, съ ея торжествами (кромѣ церковныхъ), съ ея тріумфами, съ ея гордостію, съ ея самоупоеніемъ и со всею этою позолоченою ветошью языческаго міра, которая охватывала всѣ общественные нравы и была узаконена государственнымъ правомъ. Христіанство не могло разорвать этой сплошной сѣти

злыхъ и противу-христіанскихъ началъ. Оно удалилось въ душу человѣка; оно старалось улучшить его частную жизнь, оставляя въ сторонѣ его жизнь общественную и произнося только приговоръ противъ явныхъ слѣдовъ язычества: ибо самые великіе дѣятели Христіанскаго ученія, воспитанные въ гражданскомъ понятіи Рима, не могли еще вполнѣ уразумѣть ни всей лжи Римскаго общественнаго права, ни безконечно трудной задачи общественнаго построенія на Христіанскихъ началахъ. Ихъ благодѣтельная сила разбивалась о правильную и слитную кладку Римскаго зданія. Единственнымъ убѣжищемъ для нихъ осталась тишина созерцательной жизни. Лучшія, могущественнѣйшія души удалялись отъ общества, котораго не смѣли осуждать и не могли сносить. Всякое свѣтлое начало старалось спасти себя въ уединеніи. Темнѣе становились города, просіявали пустыни, и добродѣтели личныя возносились къ Богу, какъ очистительный ѳиміамъ, между тѣмъ какъ зловоніе общественной неправды, разврата и крови заражало государство и сквернило всю землю Византійскую.

Ей не было суждено представить исторіи и міру образецъ Христіанскаго общества; но ей было дано великое дѣло уяснить вполнѣ Христіанское ученіе, и она совершила этотъ подвигъ не для себя только, но для насъ, для всего человѣчества, для всѣхъ будущихъ вѣковъ. Сама имперія падала все ниже и ниже, истощая свои нравственныя силы въ разладѣ общественныхъ учрежденій съ нравственнымъ закономъ, признаваемымъ всѣми; но въ душѣ лучшихъ ея дѣятелей и мыслителей, въ ученіи школъ духовныхъ и особенно въ святилищѣ пустынь и монастырей, хранилась до конца чистота и цѣльность просвѣтительнаго начала. Въ нихъ спасалась наша будущая Русь.

И вотъ, по волѣ Божіей, призвана она была къ жизни Христіанской, сперва едва замѣтною проповѣдью, обратившею множество отдѣльныхъ лицъ; потомъ примѣромъ «мудрѣйшей изъ женъ» Ольги, и окончательно рѣшительнымъ переходомъ великаго Владимира отъ языческаго неразумія къ разуму Христіанства. Свѣжая земля, незакованная въ формы уже опредѣлявшагося общества политическаго, неиспорченная за-

воеваніемъ, быть можетъ, по основамъ своей народной жизни и по сравнительной мягкости нравовъ, свойственной Славянамъ Сѣвернымъ (какъ видно изъ свидѣтельствъ о Славянскомъ Поморіи), готовая къ принятію высшаго духовнаго начала, она едва озарилась лучомъ истиннаго ученія, какъ уже стала безконечно выше Византіи. Она поняла, какъ святъ и обязателенъ законъ правды, какъ неразлучно милосердіе съ понятіемъ о Христіанскомъ обществѣ, какъ дорога кровь человѣка передъ Богомъ и какъ она должна быть дорога передъ судомъ человѣческимъ. И не надъ одною Византіею возвысилась она, но надъ всѣми странами Европы; ибо свирѣпость жизни и свирѣпость законовъ болѣе или менѣе принадлежали всѣмъ: и Франціи бездушныхъ Меровеевъ, и опустошителямъ Италіи Лонгобардамъ, и первымъ изобрѣтателямъ инквизиціи (мало въ чемъ уступавшей инквизиціи позднѣйшихъ вѣковъ) Вестъ-Готеамъ Испанскимъ, и даже лучшему изо всѣхъ племенъ Германскихъ — Англо-Саксамъ. Съ Христіанствомъ началось развитіе Русской жизни. Уже первый изъ нашихъ лѣтописцевъ сознавалъ, что «мы всѣ одна семья, потому что крестились въ одного Христа»; но это развитіе было затруднено и измѣнено многими историческими обстоятельствами.

Не многотребовательно просвѣтительное начало одностороннее и раздвоенное въ самомъ себѣ: оно развивается легко даже и при сильныхъ препонахъ, и тѣмъ легче, чѣмъ опредѣленнѣе его односторонность. Преобладающая сторона его увлекаетъ своею логикою всѣ силы душевныя человѣка или общества въ извѣстное направленіе до тѣхъ поръ, пока оно само не дойдетъ до крайняго своего предѣла, при которомъ обличаются его неполнота и неразуміе: тогда наступаетъ минута паденія, всегда быстро слѣдующая за минутою полнаго, повидимому, торжества. Не таковы свойства начала цѣльнаго и всесторонняго: самая его полнота и стройность требуютъ отъ общества или человѣка соотвѣтствующей стройности и полноты. Условное свободнѣе развивается въ исторіи, чѣмъ живое и органическое; разсудокъ въ человѣкѣ зрѣетъ гораздо легче, чѣмъ разумъ. Просвѣтительное начало, сохраненное для насъ Византійскими мыслителями, требовало для

быстраго и полнаго своего развитія такихъ условій цѣльности и стройности въ жизни общественной, которыхъ еще нигдѣ не встрѣчалось; достигнуть же ихъ можно бы было только при такой независимости отъ вліяній внѣшнихъ, которыя невозможны на землѣ ни одному народу, всегда стѣсняемому и совращаемому съ пути силою и напоромъ другихъ народовъ. Россія не имѣла этой цѣльности съ самаго начала, а къ достиженію ея встрѣтила и должна была встрѣтить препятствія неодолимыя. Она — не островъ среди хранительной защиты моря, но была земля со всѣхъ сторонъ открытая и беззащитная по слабости своихъ естественныхъ границъ и со всѣхъ сторонъ искони окруженная народами, не знающими мира въ себѣ и потому всегда готовыми посягать на миръ другихъ.

Сѣверныя земли Славянскія и колоніи Славянскія въ земляхъ Финскихъ (ибо такъ, кажется, здравый разсудокъ долженъ понимать слова: Меря и Весь въ Несторовомъ текстѣ) призвали вождя иноземнаго княжить у нихъ, устроивать порядокъ внутренній въ отношеніяхъ племенъ другъ къ другу и ограждать тишину внѣшнюю отъ нападенія недружелюбныхъ сосѣдей. Такъ общею волею составился союзъ подъ княжескимъ правленіемъ Рюрикова дома. Южныя и среднія земли были заключены въ тотъ же союзъ, но почти всѣ неволею. Очевидно, отношенія всей земли съ самаго начала не были одинаковы ни къ общему союзу, ни къ общему правленію. Князья пришли изъ области Скандинавской (какой бы сами крови они ни были) съ дружиною чуждою и немалочисленною (ибо мы видимъ, что одно отдѣленіе этой дружины смѣло нападаетъ на имперію Византійскую). Какъ бы ни была эта дружина близка, по своему происхожденію и обычаямъ, къ Славянамъ, какъ бы ни пополнялась она впослѣдствіи мѣстными стихіями: она была по своему коренному значенію и положенію въ обществѣ чужда землѣ и основана на иныхъ началахъ, чѣмъ туземныя общины, къ которымъ она не принадлежала, хотя и охраняла ихъ миръ внутренній и внѣшній. Многія свидѣтельства доказываютъ, что эта дружина князей была всегда многочисленна и часто составлена изъ разнородныхъ стихій; что она, вмѣстѣ съ княземъ своимъ, кочевала изъ области въ область, когда порядокъ пре-

емства княжескихъ престоловъ переводилъ потомковъ Рюрика съ мѣста на мѣсто, или кочевала самовольно отъ князя къ князю, считая этотъ переходъ дѣломъ законнымъ и неотъемлемымъ правомъ до послѣдней эпохи Московскаго княженія. Пусть будетъ доказано (несомнѣнное по моему мнѣнію) существованіе дружины земской многочисленной и составленной изъ осѣдлыхъ туземцевъ; пусть будетъ доказано (а это сомнительно), что составъ ея вполнѣ народный не заключалъ никакихъ стихій иноземныхъ ни по крови, ни по внутреннему устройству: во всякомъ случаѣ не эта мѣстная дружина, но обще-Русская, княжеская дружина получила историческое развитіе. Иначе и быть не могло вслѣдствіе внутренней логики самихъ учрежденій; но историческія событія ускорили ходъ развитія неизбѣжнаго, отдавъ бо́льшую часть Россіи или владыкамъ иноземнымъ, или дикарямъ, обратившимъ ее въ пустыню, и заставивъ такимъ образомъ всѣхъ дружинниковъ княжескихъ и, вѣроятно, значительную часть земскихъ переселиться въ уцѣлѣвшіе центры и стать крѣпкою ратью около стяга князей, сохранившихъ свои области и независимость. Эта кочевая обще-Русская дружина много содѣйствовала скрѣпленію всей Руси въ одно могущее цѣлое, потому что была вообще чужда областному эгоизму, много билась и страдала за землю Русскую, много помогла спасительному возвышенію князей Московскихъ (хотя, въ послѣдствіи, и подверглась страшнымъ гоненіямъ ихъ грознаго потомка Іоанна); но едва ли при ней была возможность той стройности и цѣльности, которой требовало для своего развитія начало разумнаго и цѣльнаго просвѣщенія: ибо въ ней были уже допущены раздвоеніе и внутренній разладъ общественной жизни, и вредныя ихъ вліянія были только сдержаны крѣпостью еще свѣжей земской жизни и кроткою силою общаго Христіанскаго чувства. Но зло не могло оставаться безъ послѣдствій. Дружина не принадлежала области и вольно служила князю. Такимъ образомъ въ ней существовала съ самаго начала крайность личной отдѣленности, которая должна была воздѣйствовать на весь ходъ общественнаго развитія. Чуждая мѣстной общинѣ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ болѣе независимая отъ нея, чѣмъ самъ князь, она не имѣла

нигдѣ корня и, по необходимости, стремилась сомкнуться въ самой себѣ, въ порядокъ самостоятельный и отдѣльный отъ всего общества. Таковъ законъ всѣхъ отдѣльныхъ личностей, не связанныхъ съ внутренними силами какой-нибудь народной жизни. Этому закону на Западѣ, при ослабленіи центральной власти, слѣдовала дружина аллодіальная и создала изъ себя новую, въ себѣ замкнутую систему феодальности. Дружина въ старой Руси окончательно образовалась въ странную и нигдѣ невиданную систему мѣстничества, которой основами служили съ одной стороны служебный разрядъ, съ другой родовая лѣстница, и обѣ основы были одинаково чужды общей земской жизни. Земщина не мѣстничалась [1]). Правда, что сами общины, т. е. города и части городовъ, считались старшинствомъ другъ съ другомъ; но въ этихъ притязаніяхъ является только память о нѣкогда бывшей политической зависимости или объ исторической древности, и все-таки нѣтъ ничего общаго съ мѣстничествомъ [2]). Грез-

[1]) Никакихъ слѣдовъ мѣстничества не видать въ боярствѣ Новогородскомъ; да кажется его и быть не могло, не смотря на происхожденіе едва ли не иноземное самихъ бояръ (ибо къ нимъ, по всей вѣроятности, относится выраженіе: „Тѣ мужи Новогородскіе, прежде бывшіе Варяги, нынѣ Славяне") *). Призракъ мнимаго родоваго быта въ старой Руси исчезаетъ передъ критикою памятниковъ, писанныхъ и живыхъ. Его нельзя допустить по однимъ догадкамъ, основаннымъ на одномъ, дурно понятомъ словѣ „родъ", тогда, когда законы никогда не упоминаютъ о родовомъ бытѣ и прямо отрицаютъ его начала, допуская равенство родственниковъ по женскому колѣну съ родственниками по колѣну мужскому, не только въ дѣлахъ гражданскихъ, но и въ дѣлахъ мести. Для филолога же вопросъ рѣшается простымъ наблюденіемъ надъ бѣдностью словъ, означающихъ степени родства боковаго, и надъ богатствомъ словъ, относящихся къ родству по бракамъ: „шуринъ, деверь, свояк" и проч. Во всякомъ случаѣ Славянское понятіе о родѣ, допускающемъ избраніе, не имѣетъ ничего общаго съ мѣстничествомъ.

[2]) Подобныя явленія встрѣчаются и на Западѣ. Когда благородный освободитель Шотландіи Воллась, послѣ нѣсколькихъ побѣдъ, былъ измѣною переданъ во власть Англичанъ, немилосердый Эдуардъ I-й велѣлъ его четвертовать и члены его разослать по большимъ городамъ. Голова, разумѣется, осталась въ Лондонѣ; а городъ Канторбери, которому досталась лѣвая рука, жаловался на то, что Йорку досталась правая, между тѣмъ какъ Канторбери долженъ бы былъ ее получить по старшинству города и епископства. Не смотря на этотъ отвратительный и смѣшной примѣръ мѣстной гордости и не смотря на начатые (?) споры о старшинствѣ цеховъ и городовыхъ частей въ Фландрскихъ городахъ, кажется, никто еще не отыскиваетъ мѣстничества на Западѣ.

*) Ты суть людье Новогородьци, отъ рода Варяжьска, прежде бо бѣша Словене. Текстъ приведенъ не точно, отъ этого не теряется его доказательное значеніе. Ср. К. Аксакова. Т. I, 537. *Изд.*

ный Іоаннъ Четвертый сокрушилъ послѣднія притязанія дружины на независимость, а кочеваніе дружины кончилось ея водвореніемъ, когда она получила выгодную осѣдлость, связанную съ другою осѣдлостью, предписанною земской стихіи. Необходимое и, въ тоже время, странное явленіе этой дружины въ Русской исторіи не вполнѣ изслѣдовано наукою, но нельзя не замѣтить его соотвѣтствія съ другимъ явленіемъ, нѣсколько подобнымъ ему. Славянское племя, вообще самое мирное изо всѣхъ племенъ Европы, одно только и произвело бытъ казачій, бытъ исключительно воинственный и которому нигдѣ нѣтъ вполнѣ соотвѣтствующаго. Русскій бытъ, изстари по преимуществу общинный, произвелъ дружину, въ которой личная отдѣленность была доведена до крайности и узаконена и которая, не имѣя съ землею никакихъ общихъ началъ, скрѣпила себя наконецъ искусственнымъ сочлененіемъ мѣстничества, уничтожая окончательно личность и обращая ее въ нумеръ. Такое раздвоеніе съ землею не могло оставаться безъ страшнаго вліянія на общую жизнь; такая полная Китайская формальность въ землѣ, крѣпкой только живыми своими началами, не могла не производить самыхъ гибельныхъ послѣдствій. Система, открывавшая путь всякому заѣзжему иноземцу (и множество изъ нихъ воспользовалось этимъ правомъ заѣзда) и преграждавшая путь всякому сыну родной земли, должна была мертвить общую жизнь и вносить въ нее безпрестанно или начала чуждыя или зародыши костенѣнія и смерти. Русская исторія представляетъ слишкомъ много свидѣтельствъ этой истинѣ; Русская сила, предводимая не высокими доблестями воинскими, а высокими мѣстническими нумерами, слишкомъ часто гибла въ борьбѣ съ слабѣйшими изъ своихъ враговъ, чтобы можно было отрицать вредное вліяніе мѣстнической формальности или отдѣленія самостоятельной и личной дружины отъ естественнаго строя Русскаго народнаго быта. Вредная въ полномъ развитіи своей самобытности, вредная даже въ своемъ паденіи, она безспорно во многомъ задержала и остановила успѣхъ той образованности, къ которой наша старая Русь была призвана. Въ ея присутствіи то высокое просвѣтительное начало цѣльности, жизни и общенія, которое сохранили для насъ святые

дѣятели и мыслители Православнаго Востока, не могло приносить полныхъ и скорыхъ плодовъ.

Но сама дружина княжескаго рода была необходимостью. Племена поступили въ союзъ, управляемый домомъ Рюрика, отчасти по волѣ, отчасти по принужденію, и каждое изъ нихъ сохраняло свое стремленіе къ отдѣльности отъ всѣхъ остальныхъ: многія питали давнюю вражду другъ къ другу; презрительный отзывъ Нестора о Древлянахъ, Вятичахъ и Радимичахъ, выражающій чувства, общія всѣмъ Полянамъ, свидѣтельствуетъ также, по всей вѣроятности, о чувствѣ взаимномъ. Разумъ требовалъ союза и цѣльности, мѣстная страсть требовала свободы своему произволу. Князья, по единству рода своего, составляли связь между областями, дружина поддерживала ее, духовенство сознавало святость ея закона: этому служитъ доказательствомъ тотъ же святой лѣтописецъ, Иларіонъ, первый изъ Русскихъ епископовъ, и всѣ голоса того времени, дозвучавшіе до насъ изъ своей монастырской тишины. И дѣйствительно, этотъ законъ святъ для человѣка, просвѣщеннаго Христіанствомъ. Великое слово: «на землѣ миръ» есть высшее благословеніе, ниспосланное Небомъ новому человѣчеству. Широкій міръ, великое братство: таково призваніе для всѣхъ; оно находило своихъ представителей въ князьяхъ, въ ихъ дружинѣ и въ духовенствѣ. Всѣ они стремились къ единству, но это единство имѣло еще характеръ отвлеченный. Стремленіе частныхъ общинъ къ отдѣльности было въ тоже время стремленіемъ къ единству болѣе узкому по своему объему, но за то и болѣе живому по своему естественному происхожденію и по своей связи съ прошедшимъ. Разумѣется, и въ отдѣльныхъ племенахъ, особенно послѣ принятія Христіанства, было нѣкоторое стремленіе къ единенію всей земли, и были люди, глубоко ему сочувствовавшіе; и въ дружинѣ были дѣятели, которыхъ сердце понимало потребность мѣстной самостоятельности и теплоту живой связи, существующей въ нѣдрахъ мелкой общины; но логическій законъ явленій не могъ быть измѣненъ. Раздвоеніе продолжало существовать между стремленіемъ къ единству и стремленіемъ къ обособленію, и представители этихъ двухъ стремленій были обще-Русская дружина съ духовен-

ствомъ и областная земщина. Такимъ образомъ существовало другое начало раздвоенія и борьбы, которое проникало насквозь все историческое развитіе Русской земли и мѣшало цѣльности, стройности и полнотѣ ея образованія.

Кому неизвѣстна исторія этой многовѣковой тяжбы между двумя чувствами, имѣющими одинаково крѣпкія основанія и почти одинаково законныя требованія? Кому непонятны причины этихъ страшныхъ и долгихъ тревогъ и внутреннее смущеніе умовъ, часто раздираемыхъ двумя равносильными призывами, когда уступка одного начала казалась отступленіемъ отъ долга Христіанскаго, отъ понятія объ обще-Русскомъ братствѣ; а уступка другаго начала казалась измѣною ближайшей любимой родинѣ, естественному братству и племенной общинѣ, согрѣвавшей всѣхъ своихъ дѣтей въ своемъ тепломъ гнѣздѣ и вскормившей ихъ всѣхъ своею животворною грудью. Историческія тяжбы называются войнами, а внутри государствъ междоусобіями. Междоусобія старой Руси, при всей мелочности и видимой безсвязности подробностей, при всей случайной и въ тоже время неизбѣжной примѣси частныхъ и своекорыстныхъ видовъ или недоумѣній, имѣютъ тотъ высокій характеръ, что всѣ они служатъ только оболочкою спора между двумя законами. Правда, Рюриковъ родъ часто раздиралъ землю Русскую неправильными или сомнительными притязаніями своихъ членовъ на старшинство и жадностью многихъ изъ нихъ къ увеличенію отчинъ; но въ этомъ родѣ заключалось и главное ручательство за ея единство. Правда, въ эти раздоры вмѣшивались племенные союзы съ какою-то слѣпотою вражды и неразумія; но они, по большей части, отстаивали старыя права, или ложнымъ путемъ вещественнаго насилія отыскивали разрѣшеніе вопроса юридическаго о престолонаслѣдіи и нравственнаго вопроса о совмѣщеніи государственной цѣльности и мѣстнаго обособленія. Изъ двухъ стремленій, которыхъ не могли примирить, высшее взяло верхъ. Ему помогли, по преимуществу, новые города, которые, при всемъ сходствѣ внутренняго устройства съ старыми, не имѣли, подобно имъ, древняго преданія, упрямой мѣстной гордости и племеннаго эгоизма. Рѣшителями же спора были Татары: раз-

рушители по своему кочевому и воинственному характеру, они, въ рукѣ Провидѣнія, сдѣлались орудіями созданія одной великой и цѣльной Руси, доказавъ своимъ сокрушительнымъ погромомъ все безсиліе отдѣльныхъ княженій и всю необходимость единства [1]). Стремленіе къ нему я назвалъ высшимъ; и я его такъ назвалъ не потому только, что внѣшнее спокойствіе есть великое дѣло и условіе благоденствія; и не потому, что мнѣ, какъ Русскому, весело взглянуть на вещественное величіе моей родины и подумать, что другіе народы могутъ ея бояться и ей завидовать: нѣтъ. Я это говорю потому, что великая держава болѣе другихъ представляетъ душѣ осуществленіе той высокой и доселѣ недосягаемой цѣли мира и благоволенія между людьми, къ которой мы призваны; потому, что душевный союзъ съ милліонами, когда онъ осуществленъ, выше поднимаетъ душу человѣка, чѣмъ связь, даже самая близкая, съ немногими тысячами; потому, что видимая и безпрестанная вражда всегда рыщетъ около тѣсныхъ границъ мелкаго общества, и что удаленіе ея облагороживаетъ и умиротворяетъ сердце; и потому, наконецъ, что по тайному (но, можетъ быть, понятному) сочувствію между духомъ человѣка и объемомъ общества, самое величіе ума и мысли принадлежитъ только великимъ народамъ [2]).

Это сремленіе было вполнѣ законное, и оно восторжествовало; но не легко было торжество и не дешево куплено. Много крови было пролито въ борьбѣ, много иска-

---

[1]) Я долженъ здѣсь замѣтить, что г. Буслаевъ въ Московскихъ Вѣдомостяхъ выразилъ свое удивленіе тому, что И. В. Киреевскій отрицаетъ существованіе пѣсенъ о Татарскомъ игѣ, г-ну же Буслаеву извѣстны многія пѣсни о Татарскихъ набѣгахъ. Можно бы легко догадаться, что и И. В. Киреевскому извѣстны кое-какія пѣсни о томъ же предметѣ. Разница только въ одномъ: г-нъ Киреевскій отрицаетъ всякое народное воспоминаніе объ игѣ Татарскомъ, а г-нъ Буслаевъ говоритъ о пѣсняхъ про набѣги. Такія пѣсни есть и въ Бѣлоруссіи, и въ Польшѣ, которыя, конечно, не были подъ владычествомъ Татаръ. Не разрѣшая самаго вопроса, позволено мнѣ будетъ сказать, что добросовѣстный трудъ г. Киреевскаго заслуживалъ болѣе вниманія отъ добросовѣстнаго ученаго.

[2]) Говоря о маленькой Элладѣ, забываютъ, что ей принадлежали по крови берега Малой Азіи, а по древнему распространенію колоній: Южная Италія и Сицилія, берега Киренаики и даже часть Гальскаго поморья.

женій допущено въ жизни. Безчувствіе и сонное равнодушіе наложили печать свою на побѣжденныхъ; гордость и склонность къ злоупотребленію торжества вкрались въ душу побѣдителей. Тутъ опять было глубокое раздвоеніе въ душевномъ настроеніи, въ бытѣ и въ характерѣ образованности. Областная земская жизнь, покоясь на старинѣ и преданіи, двигаясь въ кругу сочувствій простыхъ, живыхъ и, такъ сказать, осязаемыхъ, состоя изъ стихіи цѣльной и однородной, отличалась особенно теплотою чувства, богатствомъ слова и фантазіи поэтической, вѣрностью тому бытовому источнику, отъ котораго брала свое начало. Дружина и стихіи, стремящіяся къ единенію государственному, двигаясь въ кругу понятій отвлеченныхъ (ибо цѣль была еще не достигнута и не получила осуществленія) или выгодъ личныхъ и принимая въ себя безпрестанный приливъ иноземный, были болѣе склонны къ развитію сухому и разсудочному, къ мертвой формальности, къ принятію Римскаго Византійства въ правѣ и всего чужестраннаго въ обычаѣ. Объ излишнемъ уваженіи къ праву Византійскому сказалъ уже И. В. Киреевскій, о склонности къ чужестранному свидѣтельствуетъ многое въ нашей исторіи: Мстиславъ, отдающій Венграмъ Русскую землю, имъ же освобожденную; Татарскія названія одежды придворной или военной; Василій Ивановичъ, въ старости своей принимающій нарядъ и обычай не-Русскій; посланіе духовенства къ войску подъ Свіяжскомъ противъ принятія того же обычая; полонизмъ значительной части бояръ во время смутъ, и множество другихъ обстоятельствъ, болѣе или менѣе важныхъ, въ лѣтописяхъ, въ законодательствѣ и въ современныхъ сказаніяхъ. Къ тому же относится и заключеніе женщинъ, принятое, по всей вѣроятности, высшимъ боярствомъ отъ Татаръ: ибо ничего подобнаго не видимъ мы ни въ пѣсняхъ, ни въ сказкахъ истинно-Русскихъ, ни въ древнемъ бытѣ другихъ Славянъ, ни въ народной жизни. Къ тому же болѣе всего относится въ Иванѣ Грозномъ гордое вспоминаніе о Варяжскомъ происхожденіи и желаніе создать себѣ родословную отъ Августа. Очевидно, что Русскій, ставящій право и славу, взятыя изъ инаго народа выше Русской

славы и права своенароднаго, на половину уже отрекся отъ древней Руси. Различіе, выражающееся въ важнѣйшихъ сторонахъ жизни, высказывалось и въ самыхъ увеселеніяхъ; но забава вообще принадлежитъ не къ области разсудка, а къ области дѣтской фантазіи, данной человѣку, какъ тихій отдыхъ сна для успокоенія отъ строгой жизненной борьбы и заботы; и въ ней простота цѣльнаго естественнаго быта и живость общиннаго преданія берутъ рѣзкое превосходство передъ сухимъ и противохудожественнымъ настроеніемъ стихіи разносоставной и заключившей себя въ условный формализмъ. Безспорно (каково бы ни было сужденіе писателей прошедшаго времени), никто изъ современныхъ не поставитъ хоровода, пѣсни и поэтической затѣйливости народныхъ увеселеній на ряду со скоморошествомъ и шутовствомъ, привилегированными въ бытѣ дружинниковъ.

Впрочемъ, не должно забывать, что то, что рѣзко отдѣляется въ наукѣ и является въ опредѣленной противоположности въ анатомическомъ трудѣ критика, сливается и отчасти мирится въ ходѣ жизни и исторіи. Пѣсня, созданная народнымъ воображеніемъ, веселила боярскіе терема; сказка говорила боярину о томъ, какъ среди всѣхъ богатырей-дружинниковъ, окружавшихъ гостепріимный столъ Владимира, Краснаго Солнышка, всѣхъ чище и лучше, всѣхъ сильнѣе, и, такъ сказать, недосягаемъ въ своей разумной и смиренной силѣ, сидѣлъ старъ-матёръ Илья Муромецъ, сынъ крестьянина села Карачарова; на вѣчѣ слышался совѣтъ дружинника въ совѣтѣ мѣстной общины; на земской думѣ сливалась мысль боярина съ мыслью гостя торговаго и человѣка посадскаго, и обывателя сельскаго. Судъ былъ общій, и губные старосты выбирались голосами всѣхъ жителей округи безъ исключенія; болѣе же всего Церковь, общая всѣхъ мать, примирительница всякаго раздора, обнимала всѣхъ равно своими чадолюбивыми объятіями. Этому сліянію въ жизни соотвѣтствуетъ многое въ исторіи. Мѣстный эгоизмъ часто жертвуетъ собою для единенія общаго: начало общаго единенія и стихія, представляющая его, часто заступаются всею своею силою за право мѣстное. Тотъ же Іоаннъ, который на половину отрекается отъ своей родины для подавленія боярства и всякой

исключительной независимости, покровительствуетъ земщинѣ и оставляетъ по себѣ въ народныхъ сказаніяхъ благодарное воспоминаніе, въ которомъ трудно угадать его кровавый образъ. Иначе и быть не могло. Было раздвоеніе на землѣ Русской, но оно было фактомъ отчасти случайнымъ и происходящимъ отъ недоразумѣнія; оно не было рѣзко опредѣлено, основано на коренной неправдѣ и враждѣ и узаконено самимъ міромъ духовнымъ, какъ на Западѣ: оно существовало какъ фактъ, а не какъ сознанное начало. Начало цѣльности и единства одно только имѣло право неоспоримое, разумное и освященное благословеніемъ Вѣры. Потому-то и пришло время, когда стремленіе, прежде бывшее отвлеченнымъ, потомъ осуществленное отчасти насиліемъ, отчасти неизвинительною неправдою, сдѣлалось началомъ живымъ и горячимъ, источникомъ чувствъ глубокихъ и сердечныхъ. Тогда всѣ общины слились въ одну великую общину. Тогда сказали объ Москвѣ: «только корень основаніе крѣпко, то и древо неподвижно; только корень не будетъ, къ чему прилѣпиться?» *) Россія была спасена, и избраніе Михаила укрѣпило ея самосознанное единство. Но понятно, какъ прежнее раздвоеніе задержало развитіе начала, требующаго цѣльности, и понятно также, что прежнія раны не могли закрыться мгновенно или пропасть безъ слѣда.

Княжескій родъ съ его шаткимъ престолонаслѣдіемъ былъ склоненъ къ раздорамъ; дружина, отчасти чужеродная, долго представляла только полукочевую отдѣленность лицъ, служащихъ по волѣ; она долго не составляла цѣлаго, опредѣленно-сочлененнаго, еще долѣе не имѣла корня въ какой нибудь осѣдлости; она не охватывала всей страны желѣзной сѣтью аллодіальнаго владѣнія или феодальнаго баронства, какъ завоевательная дружина Германцевъ на Западѣ; она всегда могла служить и часто служила личнымъ выгодамъ или страстямъ временныхъ вождей своихъ, на перекоръ общей пользѣ Русской земли. Начало единенія было бы весьма слабо и никогда не могло бы восторжествовать, если бы не

*) Окружная грамота народа Московскаго 1611 года. Акты Археограф. Эксп. т. 2-й, стр. 298.

имѣло другой силы кромѣ этихъ ненадежныхъ представителей. Но оно имѣло другую силу, несравненно бо̀льшую: эта сила была въ Христіанствѣ. Другія земли новѣйшей Европы въ своей цѣлости созданы вещественною силою завоеванія и завоевательныхъ племенъ, принявшихъ въ послѣдствіи Христіанскую вѣру. Наша старая Русь создана самимъ Христіанствомъ. Таково сознаніе св. Нестора; таково сознаніе св. Иларіона, пророчески провидѣвшаго призваніе Русской земли; таково же сознаніе и перваго изъ извѣстныхъ намъ поклонниковъ нашихъ въ Іерусалимѣ, гдѣ, передъ гробомъ Спасителя, онъ соединяетъ въ одну молитву всю Святую Русь и всѣхъ ея князей. Всѣ прочія связи, рыхлыя и некрѣпкія сами по себѣ, получали крѣпость и освященіе отъ одной этой неразрушимой связи.

Но, опредѣливъ значеніе Христіанской вѣры въ ея дѣйствіи на Русскую землю, еще надобно ясно понять отношеніе Русскаго народа къ вѣрѣ Христіанской.

Какое-то глубокое отвращеніе отъ древняго своего язычества замѣтно въ народахъ Славянскихъ, кромѣ Поморія, гдѣ вражда народная произвела вражду противъ Христіанства. Казалось, что не проповѣдь истины искала Славянъ, а Славяне искали проповѣди истины. Такое движеніе умовъ замѣтно по разсказамъ лѣтописцевъ не въ одной Русской землѣ, а въ Моравіи и Чехіи, въ Болгаріи, Козаріи (которой населеніе было по большей части Славянское), въ Польшѣ. Но самое это движеніе, указывая на скрытый анализъ прежнихъ, отвергаемыхъ вѣрованій, принадлежало, по вѣроятности, сравнительно образованнѣйшей части народа, оставляя бо̀льшую часть его въ тупомъ равнодушіи, смѣшанномъ съ безсмысленнымъ суевѣріемъ, остаткомъ переродившагося или умершаго вѣрованія. Таковъ отчасти былъ ходъ умовъ въ мірѣ Эллино-Римскомъ, особенно на Западѣ, въ которомъ сёла долѣе чуждались Христіанства, чѣмъ города (отъ того и слово p a g a n i-селяне); таковъ, вѣроятно, былъ ходъ ума и въ другихъ странахъ при паденіи древнихъ религій передъ требованіемъ разума. Разумно вступали Ольга, Владиміръ, дружина и старцы градскіе въ нѣдра Православія. Съ дѣтскимъ спокойствіемъ слѣдовала за ними большая часть земской общины, управляемая болѣе довѣріемъ къ людямъ, чѣмъ вѣрою

въ высокое и сознанное начало Христіанской истины. Быть можетъ, мѣстами являлось нѣкоторое принужденіе, противное Христіанству (какъ видно изъ словъ св. Иларіона и изъ Новгородской поговорки: «Путята крестилъ огнемъ, а Добрыня мечемъ»); но, безъ сомнѣнія, вообще введеніе Православія не сопровождалось жестокостью, какъ во многихъ Германскихъ областяхъ. За всѣмъ тѣмъ безпристрастная критика должна признать, что земля Русская въ большей части своего населенія приняла болѣе обрядъ церковный, чѣмъ духовную вѣру и разумное исповѣданіе Церкви. Этому находимъ мы ясныя доказательства въ памятникахъ нашей духовной словесности и церковнаго законодательства, въ жалобахъ на языческіе обряды, какъ наприм. на поклоненіе роду и роженицѣ, на отсутствіе брака во многихъ областяхъ (въ которыхъ сельскіе жители замѣняли прогулкою около куста церковное благословеніе, считая его нужнымъ только для бояръ и князей) и на развратъ нравовъ, оставшійся, какъ наслѣдство языческаго міра (такъ, напримѣръ, обычный развратъ, о которомъ свидѣтельствуетъ уже преподобный Несторъ, сохранился въ землѣ Вятичей и Радимичей неизмѣннымъ до нашего времени и прекращенъ весьма недавно мудрою мѣрою правительства). Эти жалобы имѣютъ особый характеръ. Это не жалобы на порокъ личный, на буйство страсти, на неисполненіе закона, котораго святость человѣкъ признаётъ, но строгости котораго онъ покоряться не хочетъ: нѣтъ, это жалобы на отсутствіе закона, на тупое невѣжество, на совершенное неразумѣніе коренныхъ основъ Христіанства, и многія изъ нихъ принадлежатъ эпохѣ весьма поздней. Къ равнодушному и холодному вступленію въ церковное общество должно прибавить недостатокъ въ проповѣдникахъ Слова Божія въ первое время, а въ послѣдствіи недостатокъ въ письменныхъ его памятникахъ, которыхъ неисправность и часто грубыя ошибки свидѣтельствуютъ о непониманіи и о весьма слабомъ желаніи ихъ понимать. Наконецъ, страшные погромы Татаръ, уничтоживъ множество книгъ и раскидавъ народъ, имѣли послѣдствіемъ явное увеличеніе дикости и невѣжества. Всѣ эти данныя приводятъ къ одному заключенію, противному главной данной во второй половинѣ статьи

г-на Киреевскаго. Несовершенная полнота, «съ которою выражалось Христіанство въ общественномъ и частномъ бытѣ», была причиною преобладанія обрядности и формальности общественной и религіозной, выразившейся въ расколахъ. Но недостатокъ Христіанскаго просвѣщенія, скрывавшійся за Христіанскимъ обрядомъ, выступилъ наружу при первыхъ попыткахъ книжнаго исправленія уже при Максимѣ Грекѣ (хотя онъ страдалъ по другимъ причинамъ) и въ послѣдствіи произвелъ тѣ старообрядческіе расколы, которыхъ появленіе принадлежитъ XVII-му вѣку, а корень таится въ глубочайшей древности и въ особенностяхъ распространенія Христіанства въ Россіи. Однимъ изъ яснѣйшихъ доказательствъ моего мнѣнія можно почитать и то обстоятельство, что въ Россіи самые явные и сильные остатки язычества и его повѣрій совпадаютъ съ тѣми мѣстностями, въ которыхъ сильнѣе распространено старообрядство, и что эти мѣстности удалены отъ древнихъ и живыхъ средоточій, въ которыхъ первоначально проповѣдывалось Слово Божіе просвѣтителями Русской земли. Мнѣ кажется, что безпристрастное сознаніе исторической истины избавитъ насъ отъ необходимости искать причинъ паденія въ самомъ несовершенствѣ эпохи, предшествовавшей ему. Нѣтъ, пусть торжество односторонняго и неполнаго начала влечетъ за собою его отрицаніе и разрушеніе вслѣдствіе самой неполноты и односторонности, наиболѣе сознаваемыхъ въ минуту торжества (исторія полна примѣровъ этой истины); но съ совершеннымъ, глубокимъ убѣжденіемъ можемъ мы сказать, что цѣльная, всесторонняя и безпримѣсная истина Христіанства крѣпчаетъ и развивается въ человѣкѣ по мѣрѣ полнѣйшаго ея проявленія и не подвержена закону саморазрушенія.

Но всѣ народы Занада находились въ отношеніи еще гораздо худшемъ къ Христіанству, чѣмъ наша родина. Отъ чего же просвѣщеніе могло развиваться въ нихъ быстрѣе, чѣмъ въ древней Руси? Отъ того, что они выросли на почвѣ древне-Римской, непримѣтно пропитывавшей ихъ началами просвѣщенія, или въ прямой отъ нея зависимости, и отъ того, что просвѣщеніе ихъ, по односторонности своихъ началъ, могло, какъ я уже сказалъ, развиваться при многихъ недостаткахъ

въ жизни общественной и частной; древняя же Русь имѣла только одинъ источникъ просвѣщенія—Вѣру, а Вѣра разумная далеко не обнимала земли, которой большая часть была Христіанскою болѣе по наружному обряду, чѣмъ по разумному сознанію, между тѣмъ какъ всесовершенное начало просвѣщенія требовало жизненной цѣльности для проявленія своей животворящей силы.

Для человѣка, читающаго Русскую исторію съ тою свѣтлою любовію, которая столько же радуется всѣмъ ея истиннымъ красотамъ, сколько чуждается пристрастія, окружающаго себя ложною прелестью призраковъ, многія явленія прошедшаго времени представляются безспорно съ великимъ и человѣческимъ характеромъ цѣльности. Они радовали современниковъ, они пробуждаютъ теплое и благоговѣйное чувство отрады въ душѣ ихъ далекихъ потомковъ. При одной памяти объ нихъ, законная гордость поднимаетъ наши головы и расширяетъ освѣженную грудь. Но такія явленія, свойственныя нашей древней исторіи и только ей одной, отдѣляются отъ ея общаго развитія; они выражаютъ временное торжество кореннаго закона, но указываютъ и на его безсиліе передъ сопротивленіемъ началъ раздвоенія и формальности. Кому непамятны Довмонтъ во Псковѣ, Мстиславъ въ буйномъ Новгородѣ, а болѣе всѣхъ подвижникъ всей земли Русской, великій Мономахъ, любимецъ Кіевлянъ (которые никогда не хотѣли поднимать оружія противъ его племени) и представитель такаго единства и такой цѣльности, которыя никогда уже въ послѣдствіи не являлись? При немъ, бичъ Россіи, Половцы, отступаютъ за Донъ; а при сынѣ, преемникѣ его доблестей, Мстиславѣ, бѣгутъ за Кавказъ и Уралъ; при немъ съѣзжаются князья для братскаго совѣщанія съ избранниками областей о великихъ земскихъ дѣлахъ; при немъ въ городахъ одушевленный миръ и живое согласіе, при немъ общими силами устроивается законодательство на основѣ совершенствующагося обычая, и цѣлью закона ставится не понятіе отвлеченной правды формальной, но самъ человѣкъ съ его живою душою, драгоцѣнною передъ Богомъ. «О кто бы пригвоздилъ стараго Владимира къ стѣнамъ Кіевскимъ?» какъ говоритъ наше старое слово о просвѣтителѣ

земли Русской. Но значеніе Мономаха было въ немъ самомъ и въ его личномъ величіи. Другаго Мономаха уже не являлось, а вскорѣ уже и явиться не могло. Русь, созданная Христіанствомъ, при немъ еще не созрѣла и не вполнѣ исполнилась его духа; но за то въ ней еще не получили силы и другія начала, которыя надолго должны были ему противодѣйствовать, а эти начала уже стали развиваться при его дѣтяхъ. Духовная цѣльность и единство, выразившіяся при Мономахѣ и при его личномъ дѣйствіи, не находили еще опоры въ себѣ въ землѣ, еще непросвѣтленной, а стремленіе къ единству было уже дано: оно стало искать опоры въ силахъ вещественныхъ и вещественномъ насиліи. Начались безпрестанныя распри между князьями, имѣющими притязанія быть представителями этаго единства; началось усиленіе центровъ, которые стремились это единство утвердить за собою превосходствомъ дружины и расширеніемъ подвластныхъ имъ областей на счетъ другихъ. Страхъ и насиліе возстановляли временно единство, нарушенное раздоромъ; но раздвоеніе усиливалось все болѣе и болѣе. Князья звали самыхъ ожесточенныхъ враговъ земли Русской, Половцевъ, или недружелюбныхъ сосѣдей, Поляковъ и Венгровъ, на гибель братій своихъ и на грабежъ роднаго края. Русскіе уводили Русскихъ въ неволю, продавали ихъ, и часто по самой ничтожной цѣнѣ (по двѣ ногаты,— что доказываетъ, какъ многочисленны были эти плѣнные), жгли города, часто не щадя самыхъ храмовъ Божіихъ. Таковы были запутанность вопросовъ, трудность задачи и слабость духовнаго просвѣщенія, которое должно бы было разрѣшить ихъ. Впрочемъ иначе и быть не могло. Византія, сохранивъ цѣлость и неприкосновенность Христіанскаго начала, не могла дать ему приложенія въ бытѣ общественномъ. Наша древняя Русь, почувствовавъ эту потребность и отчасти даже выразивъ ее, не могла дать полноты своему выраженію по слабости духовнаго вѣрованія въ большей части ея жителей. То, что могло быть только плодомъ цѣльной жизни, не могло возникнуть изъ жизни раздвоенной; а высшіе представители просвѣщенія, не имѣя никакаго другаго примѣра, кромѣ Византіи, не могли дать настоящаго и сильнаго направленія смутному броженію разнородныхъ стихій. Въ мы-

ли не доставало привычки и яснаго сознанія; въ людяхъ, составляющихъ общество, т. е. въ Русскомъ народѣ, не доставало положительнаго Христіанства.

Предъ эпохою Татарскою составились два центра: одинъ Юго-Западный, Галичъ, другой Сѣверо-Восточный, Владиміръ. Первый уже принялъ въ себя такъ много иноземныхъ стихій, такъ часто переходилъ въ руки то къ Венгріи, то къ Польшѣ, что его отторженіе отъ Русской земли было почти неизбѣжнымъ. За всѣмъ тѣмъ, онъ былъ болѣе связанъ съ Южною и Западною Русью, чѣмъ Владиміръ, и болѣе долженъ былъ имѣть вліянія на ея судьбы. Такъ и случилось. Вслѣдствіе погрома Татарскаго, Владиміръ перешелъ въ Москву, а Галичъ въ Литву. И тотъ и другой увлекъ за собою свой политическій или общественный союзъ; но такъ какъ не Юго-Западная система, а Сѣверо-Восточная образовала Велико-Русскую державу, то и развитія Русской жизни должны мы искать въ области Московской.

Тутъ съ величайшею силою выразилась та борьба между общественнымъ единствомъ и мѣстнымъ обособленіемъ, о которой уже сказано. Радуясь торжеству высшаго начала, правда и безпристрастная исторія не могутъ отказать въ своемъ сочувствіи побѣжденному началу и его поборникамъ, людямъ, вѣрнымъ преданію, естественной любви къ родинѣ и тому, что̀ признавали они своимъ долгомъ, неясно понимая еще требованія высшаго призванія всей Русской земли. Клеймить безъ нужды нашихъ предковъ клеймомъ обвиненія и позора было бы дѣломъ безнравственнымъ и преступнымъ. Историческая судьба рѣшила противъ отдѣленности областной и рѣшила справедливо; но, сознавая справедливость приговора, мы можемъ соболѣзновать побѣжденному началу и воздерживаться отъ всякаго строгаго осужденія: того требуютъ благородство безпристрастной науки и голосъ правды человѣческой.

Церковь создала единство Русской земли или дала прочность случайности Олегова дѣла. Церковь возстановила это единство, нарушенное междоусобіями *). Она дала перевѣсъ

*) Римляне хвалятся распространеніемъ Христіанства и обвиняютъ Православную церковь въ томъ, что будто бы она или не имѣла проповѣди, или проповѣ-

Руси Московской надъ Литвою, въ которой язычество нѣсколько времени боролось съ Христіанствомъ, и Латинство, наконецъ, взяло верхъ надъ древнею народною вѣрою. Но и въ Великой Руси дѣйствіе просвѣтительнаго начала церковнаго было обусловлено и во многомъ измѣнено отзывами эпохи прошедшей и обстоятельствами эпохи современной. Съ тѣхъ поръ, какъ св. митрополитъ Петръ изрекъ пророческое благословеніе надъ Москвою, она стала видимо стремиться къ совокупленію всей Руси подъ державное единство князей своихъ. Опытъ прошлаго времени доказалъ, что духовное начало еще не на столько развито было въ народѣ, чтобы прочное единство и внутренній миръ могли уцѣлѣть при независимости областей. Удѣлы должны были пасть. Какія бы ни были средства, употребленныя потомками Даніила, какая бы ни была ихъ нравственность въ жизни частной или дѣйствіяхъ общественныхъ, — цѣль, къ которой стремились они сами и ихъ молодая область, была законна; ибо съ ней была связана возможность спасенія Русской земли отъ унизительной и бѣдственной подчиненности Татарамъ и отъ напора Литвы. Стягъ Московскій долженъ былъ стянуть всю Русь около себя, чтобы побѣда могла вѣнчать кровавую борьбу на Куликовомъ полѣ и чтобы плоды побѣды не могли быть снова утрачены. Духовенство, обращаясь къ Христіанскому чувству народнаго единства, постоянно стремилось къ единенію подъ державною рукою Москвы. Епископы, иноки, пустынники обращали все свое вліяніе и всю силу своихъ убѣжденій къ этой цѣли, и какъ ни темно было понятіе значительной части народа о вѣрѣ, въ немъ было то Христіанское смиреніе, которое любило голосъ своихъ пастырей и охотно слѣдовало ихъ призыву. Московскіе святители трудились не даромъ. Св. митрополитъ Алексѣй и основатель Тро-

---

вѣдывала безъ успѣха. Западъ, послѣ отпаденія своего, обратилъ къ вѣрѣ во Христа Швецію, Норвегію, Данію и часть Польши проповѣдію, а Сѣверную Германію насиліемъ оружія. Восточная Церковь послѣ той же эпохи обратила Словомъ Божіимъ всю Русь и бо́льшую часть Славянъ. Кажется, этихъ пріобрѣтеній даже и сравнивать нельзя. Къ тому прибавимъ, что всѣ страны, пріобрѣтенныя Римомъ, перешли въ Протестантство, а Православіе осталось неизмѣннымъ. Но Римскіе писатели повторяютъ и будутъ повторять туже ложь, а невѣжды все еще вѣрятъ ей.

ицкой Лавры св. Сергій, великіе подвижники міра духовнаго, болѣе содѣйствовали единенію Русской земли, чѣмъ вся хитрая политика Симеоновъ, Дмитріевъ и Іоанновъ. Слово церковнаго увѣщанія умиряло страсти, которыя возстали бы противъ насилія; оно умиряло страсти, которыя были часто раздражаемы неправдою и коварствомъ.

Говоря такимъ образомъ о дѣйствіяхъ Церкви и о вліяніи ея на Русскую исторію, боюсь, чтобы не дали моимъ словамъ ложнаго толкованія, къ которому многіе читатели могутъ быть склонны по привычкѣ къ понятіямъ иноземнымъ, съ которыми такъ тѣсно связано наше теперешнее просвѣщеніе. Постараюсь объяснить свою мысль. Г. Киреевскій въ статьѣ своей говоритъ: «Управляя личнымъ убѣжденіемъ людей, Церковь Православная никогда не имѣла притязанія насильственно управлять ихъ волею или пріобрѣтать себѣ власть свѣтски-правительственную». Это истина, всѣми признанная и неподверженная сомнѣнію; не только такъ было всегда, но и не могло быть иначе по самому существу Церкви. По догматическому и словесному своему ученію она пребываетъ для всѣхъ временъ въ Священномъ Писаніи и догматическихъ рѣшеніяхъ Вселенскихъ Соборовъ; по животворной силѣ и видимому образу она проходитъ чрезъ всѣ времена въ святыхъ Божіихъ таинствахъ и въ многозначительномъ, хотя и измѣняемомъ обрядѣ; по своему человѣческому составу она во всякое время проявляется по всей землѣ въ своихъ членахъ, т. е. въ людяхъ, признающихъ ея святой законъ. Изъ этого самаго очевидно, что не только никогда не искала она насильственнаго управленія надъ людьми, но и не могла его искать; ибо для такого управленія она должна бы отдѣлиться отъ людей, т. е. отъ своихъ членовъ, отъ самой себя. Такое отдѣленіе Церкви отъ человѣчества возможно и понятно при юридическомъ раціонализмѣ Западныхъ опредѣленій и совершенно невозможно при живой цѣльности Православія. Въ ней ученіе не отдѣляется отъ жизни. Ученіе живетъ, и жизнь учитъ. Всякое слово добра и любви Христіанской исполнены жизненнаго начала, всякій благой примѣръ исполненъ наставленія. Нигдѣ нѣтъ разрыва, ни раздвоенія. Проповѣдникъ правды на подвигѣ проповѣди, па-

стырь на дѣлѣ епархіальнаго строенія, мученикъ на кострѣ, отшельникъ въ уединеніи своей пустыни, юродивый въ своемъ добровольномъ нищенствѣ, вождь народовъ въ безтрепетной борьбѣ за правду и ея законы, судья, судящій братіи своей со страхомъ Божіимъ и не знающій другого страха, купецъ, ведущій свой общеполезный промыселъ съ всегдашнимъ памятованіемъ Божьяго суда, земледѣлъ, совершающій свой смиренный трудъ съ безпрестаннымъ возношеніемъ душевной молитвы къ своему Спасителю и Богу, всякая наконецъ жизнь, управленная вѣрою и любовью, представляетъ не только примѣръ высокаго дѣла, но и великое назиданіе, и содѣйствуетъ въ различной мѣрѣ Божественному строительству Церкви. Таково было всегда понятіе всего Православнаго міра; таково было оно и въ древней Руси. Г. Киреевскій говоритъ также и, конечно, не встрѣтитъ противорѣчія, что «Церковь всегда оставалась внѣ государства и его мірскихъ отношеній, высоко надъ ними, какъ недосягаемый, свѣтлый идеалъ, къ которому они должны стремиться и который не смѣшивался съ ихъ земными пружинами». Дѣйствительно, какъ бы ни было совершенно человѣческое общество и его гражданское устройство, оно не выходитъ изъ области случайности исторической и человѣческаго несовершенства: оно само совершенствуется или падаетъ, во всякое время оставаясь далеко ниже недосягаемой высоты неизмѣнной и богоправимой Церкви. Самый законъ общественнаго развитія есть уже законъ явленія несовершеннаго. Улучшеніе есть признаніе недостатка въ прошедшемъ, а допущеніе улучшенія въ будущемъ есть признаніе неполноты въ современномъ. Нравственное возвышеніе общества, свидѣтельствуя о возрастающей зрѣлости народа и государства и находя точки отправленія или опоры въ нравственномъ и умственномъ превосходствѣ законодателей и нравственныхъ дѣятелей общественныхъ, двигается постепенно и постепенно дѣлается достояніемъ всѣхъ. Въ законѣ положительномъ государство опредѣляетъ, такъ сказать, постоянно свою среднюю нравственную высоту, ниже которой стоятъ многіе его члены (что̀ доказывается преступнымъ нарушеніемъ самыхъ мудрыхъ законовъ) и выше которыхъ стоятъ всегда нѣкоторые (что̀

доказывается послѣдующимъ усовершенствованіемъ закона). Такова причина, почему общество не можетъ допустить слишкомъ быстрыхъ скачковъ въ своемъ развитіи. Законъ, слишкомъ низкій для него, оскорбляя его нравственность, оставляется безъ вниманія; слишкомъ высокій непонятъ и остается безъ исполненія. Между тѣмъ каждый Христіанинъ есть въ одно и тоже время гражданинъ обоихъ обществъ, совершеннаго, небеснаго — Церкви, и несовершеннаго, земнаго — Государства. Въ себѣ совмѣщаетъ онъ обязанности двухъ областей, неразрывно въ немъ соединенныхъ, и при правильной внутренней и духовной жизни переноситъ безпрестанно уроки высшей въ низшую, повинуясь обоимъ. Строго исполняя всякій долгъ, возлагаемый на него земнымъ обществомъ, онъ въ совѣсти своей, очищенной уроками Церкви, неусыпно наблюдаетъ за каждымъ своимъ поступкомъ и допрашиваетъ себя объ употребленіи всякой данной ему силы или права, дабы усмотрѣть, не оставляетъ ли пользованіе ими какого-нибудь пятна или сомнѣнія въ его душѣ, или въ убѣжденіяхъ его братій, и не лучше ли иногда воздержаться ему самому даже отъ дозволеннаго и законнаго, или нѣтъ ли наконецъ у него въ отношеніи къ его земному отечеству обязанностей, которыхъ оно еще не возлагаетъ на него. Жизнь его и слово дѣлаются въ одно время и примѣромъ, и наставленіемъ для другихъ, такъ же какъ и онъ самъ отъ другихъ, лучшихъ, получаетъ примѣръ и наставленіе. Эта искренняя, непринужденная и безропотная бесѣда между требованіями двухъ областей въ самой душѣ человѣка есть тотъ великій двигатель, которымъ небесный законъ Христіанства подвигаетъ впередъ и возвышаетъ народы, принявшіе его. Конечно, въ душѣ, въ словѣ и дѣлѣ человѣка могутъ быть ошибки; но нѣтъ исканія и, слѣдовательно, возможности улучшенія, безъ возможности ошибки. Участь же общества гражданскаго зависитъ отъ того, какой духовный законъ признаётся его членами и какъ высока нравственная область, изъ которой они черпаютъ уроки для своей жизни въ отношеніи къ праву положительному. Такова причина, почему всѣ государства не-Христіанскія, какъ ни были они грозны и могущи въ свое время, исчезаютъ передъ міромъ Христіанскимъ; и почему

въ самомъ Христіанствѣ тѣмъ державамъ опредѣляется высшій удѣлъ, которыя вполнѣ сохраняютъ его святой законъ. Онъ былъ вполнѣ признанъ древнею Русью; но, по недостатку истиннаго просвѣщенія, по темному понятію о вѣрѣ, которое оставалось въ значительной части народа, принявшей болѣе ея обрядъ, чѣмъ полноту ея духа,—та внутренняя бесѣда въ душѣ человѣка и то озареніе области гражданской свѣтомъ области духовной были невозможны. Единство было дано силою или, по крайней мѣрѣ, съ помощью силы; силою было дано спокойствіе, котораго не могли достигнуть мирными путями. Сила и страхъ были признаны надежнѣйшими пружинами для сохраненія тѣхъ благъ, которыя были достигнуты ихъ помощью. Безъ сомнѣнія, благодѣтельная жизнь Христіанскаго начала не перестала дѣйствовать и выражаться въ явленіяхъ высокихъ и утѣшительныхъ. Князья отказывались отъ законныхъ правъ своихъ въ пользу младшихъ, чтобы упрочить престолонаслѣдіе Московское; люди всѣхъ сословій ревностно исполняли въ отношеніи къ обществу обязанности, къ которымъ не были принуждаемы положительнымъ закономъ. Такъ, при Іоаннѣ Салосъ во Псковѣ, Сильвестръ и многіе другіе въ Москвѣ, а потомъ цѣлый рядъ обличителей при Самозванцѣ, представляли примѣры освященія понятій о долгѣ гражданскомъ святостью Евангельскаго ученія; но обобщеніе такихъ явленій, какъ сознаннаго закона, было невозможно: для этого въ обществѣ недоставало Христіанскаго просвѣщенія. Вслѣдствіе внутренняго разъединенія общественнаго и отсутствія истиннаго познанія о вѣрѣ въ большинствѣ народа, разумъ не могъ уясняться, и древняя Русь не могла осуществить своего высокаго призванія и дать видимый образъ мысли и чувству, положеннымъ въ основу ея духовной жизни. Въ ней недоставало внутренняго единства и общенія, а извнѣ ей не было добраго примѣра. Обращалась ли съ благоговѣйнымъ довѣріемъ къ Византіи, давшей ей начало просвѣщенія полнаго и цѣльнаго, она находила въ ней неумѣніе приложить это начало къ общежитію и легко могла принимать ложныя постановленія Римско-Византійскаго права за явленія духа Христіанскаго; обращалась ли къ Западу или къ кочевому Востоку, она вездѣ находила

только уроки въ дикости и свирѣпости, которые, къ несчастію, не оставались безъ вліянія на чужеземный составъ или приливъ дружины. Вслѣдствіе этихъ причинъ, право измѣнялось постоянно и постепенно грубѣло въ своихъ гражданскихъ и особенно уголовныхъ положеніяхъ. Явленія Западной инквизиціи (наприм. сожиганіе колдуновъ) вкрадывались иногда въ общество, исповѣдующее кротость чистой вѣры, и законъ, нѣкогда дорожившій жизнью человѣка, какъ святымъ даромъ Бога-Спасителя, принималъ все болѣе и болѣе въ свои постановленія страшныя пытки и кровавыя казни, которыми исполнены наши юридическіе памятники XVII-го вѣка. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи счастливый и благодѣтельный переломъ былъ предоставленъ волею Божіею половинѣ XVIII-го вѣка и царствованію Елисаветы. Въ древней Руси просвѣтительное начало не могло преодолѣть вещественныхъ препонъ, противопоставленныхъ ему разъединеніемъ, и мысленныхъ преградъ, противопоставленныхъ невѣжествомъ.

Неровно и неодинаково было дѣйствіе этого начала на различныя стихіи, составляющія общество. Большая часть сельскихъ міровъ приняла Христіанство безъ яснаго пониманія его высокой святости; но ихъ кроткіе нравы и семейно-общинный бытъ, согласуясь съ его требованіями, освятились его благодатнымъ вліяніемъ и проникались его живымъ духомъ. Сознаніе этого проникновенія выражаютъ они тѣмъ, что не знаютъ другого имени, кромѣ имени Христіане (крестьяне) и, обращаясь къ своему собранію, привѣтствуютъ его словомъ: «православный». Подъ благословеніемъ чистаго закона развились общежительныя добродѣтели, которымъ и до сихъ поръ удивляются даже иноземцы, нѣсколько безпристрастные, и которымъ, можетъ быть, ничего подобнаго не представляла еще исторія міра. Благородное смиреніе, кротость, соединенная съ крѣпостью духа, неистощимое терпѣніе, способность къ самопожертвованію, правда на общемъ судѣ и глубокое почтеніе къ нему, твердость семейныхъ узъ и вѣрность преданію—подаютъ всѣмъ народамъ утѣшительный примѣръ и великій урокъ, достойный подражанія (если можно подражать тому, что̀ есть послѣдствіе цѣлаго историческаго развитія). Но должно также признаться, что вслѣдствіе неяснаго

пониманія всѣхъ требованій вѣры, личныя добродѣтели далеко не развивались въ сельскихъ мірахъ въ той степени, въ какой развились добродѣтели общежительныя. Есть, безъ сомнѣнія, несчастныя (хотя рѣдкія) исключенія, испорченныя общины, и гораздо менѣе рѣдкія и въ высшей степени прекрасныя исключенія, высокія личныя добродѣтели въ сельскомъ быту; но правило общее остается неоспоримымъ. Тѣже самыя общины, удаленныя отъ внѣшней и внутренней борьбы, которая потрясала всю землю Русскую, и отъ всякихъ вредныхъ вліяній, и въ тоже время просвѣщаемые свѣтомъ многочисленныхъ обителей, основанныхъ великими святителями, составляютъ въ нѣкоторыхъ частяхъ Сѣверной Руси, особенно въ Вологдѣ, сплошное народонаселеніе, свободное отъ раскола, далеко превосходящее по своимъ нравственнымъ достоинствамъ лучшія области какой бы то ни было страны на земномъ шарѣ.—Иное было просвѣщеніе дружины. Далеко превосходя сельскихъ жителей знаніемъ и грамотностью, она стояла безспорно на высшей степени личной добродѣтели; но за то, будучи отлучена отъ живаго и естественнаго общенія сельскаго міра, она стояла на гораздо низшей степени общежительнаго развитія. Любопытнѣйшимъ и назидательнымъ доказательствомъ считаю я извѣстный *Домострой*. Произведеніе безсмертнаго дѣятеля въ нашей исторіи, человѣка, высоко стоявшаго въ рядахъ своихъ современниковъ, безстрашнаго исповѣдника правды и благодѣтеля своей родины, оно должно бы, повидимому, отражать въ себѣ всю благородную дѣятельность сочинителя. И что же? Все то, въ чемъ выражается духовное созерцаніе божественной истины, въ чемъ, такъ сказать, прямое отношеніе человѣка къ его Творцу или личное отношеніе человѣка къ его ближнему, все, чего можно бы ожидать отъ святаго отшельника, поражаетъ читателя чистотой и возвышенностью мысли и чувства, все исполнено цѣльности и правды, свидѣтельствующихъ о внутренней цѣльности и совершенствѣ просвѣтительнаго начала. Все то, что относится до общежительныхъ отношеній, до обязанности области гражданской, свидѣтельствуетъ о какой-то слабости пониманія, о какомъ-то низкомъ настроеніи духа, которыя возбуждаютъ невольную досаду въ читателѣ. Добро-

дѣтели Сильвестра были его личнымъ достояніемъ; его подвиги—плодомъ истиннаго Христіанства, глубоко понятаго его свѣтлымъ разумомъ; а непониманіе и низкое настроеніе въ дѣлахъ общежительства, не безчестя безсмертной памяти великаго мужа, указываютъ на отсутствіе добродѣтелей общественныхъ и на безсвязность общественнаго состава: ибо сознаніе и уясненіе цѣлой области мысли, и именно мысли общежительной, не могли быть дѣломъ одного какаго бы ни было лица, отдѣленнаго отъ живаго единенія съ своею братіею. Время беззаконій и смутъ, послѣдовавшее въ скоромъ времени послѣ Сильвестра, доказываетъ, какъ мнѣ кажется, истину такаго воззрѣнія. Наконецъ, важная стихія въ исторической жизни Россіи—казаки (я не говорю о Малороссійскихъ), будучи оторвана отъ мірского быта и, слѣдовательно, отъ общежительнаго приложенія Христіанства, и лишена того личнаго просвѣщенія, которое черпала высшая дружина изъ книжнаго ученія, и заражаясь безпрестанно дикостью жизни исключительно-военной и столкновеніемъ съ дикарями Азіи, представляла Христіанство на самой низкой степени развитія, хотя, конечно, не доходила до крайностей кондотьеровъ Итальянскихъ, вольныхъ ротъ Французскихъ, Брабансоновъ Сѣверныхъ, и даже, можетъ быть Англійскихъ и Шотландскихъ Бордереровъ.

Таково было нестройное и недостаточное состояніе духовнаго просвѣщенія въ старой Руси, не смотря на подвиги и труды дѣятелей и учителей вѣры во всѣхъ состояніяхъ и всѣхъ эпохахъ; и отъ этой нестройности и недостаточности происходило постепенно потемнѣніе и одичаніе во многихъ отношеніяхъ, тогда когда соединеніе общества въ одно цѣлое было великимъ шагомъ впередъ и обѣщало, повидимому, великое усовершенствованіе во всѣхъ направленіяхъ.

Слова мои кажутся въ разногласіи съ словами автора статьи о Западной образованности и отношеніи ея къ образованности Русской; но это кажущее разногласіе не мѣшаетъ нисколько полному внутреннему согласію съ его взглядомъ. Законъ цѣльности, который онъ признаетъ, остается неприкосновеннымъ, не смотря на разрозненность, нестройность и безпорядочность историческихъ стихій, на которыя дѣйствовало просвѣтительное начало, по милости

Божіей данное старой Руси. Въ немъ самомъ не было ни раздвоенія, ни даже зародышей его, а другихъ началъ никогда не признавала Русская земля. Приложеніе безпрестанно является недостаточнымъ и ложнымъ, высшій законъ всегда сохраняетъ свою чистоту. Государство, скрѣпляясь въ своемъ единствѣ для исполненія потребности разумной и неотвратимой, никогда не теряетъ изъ вида своего несовершенства и, сохраняя языкъ и чувство смиренія, не допускаетъ въ себя ни гордости, ни самоупоенія. Ему неизвѣстны ни древніе тріумфы, ни торжества самодовольной силы, ни притязанія на святость, какъ въ Святой Римской Имперіи. Русской землѣ не только неизвѣстна борьба, но даже и недоступна мысль, подавшая поводъ къ борьбѣ государственнаго права, стремившагося управлять правдою церковною, съ церковною іерархіею, стремившеюся оторваться отъ тѣла Церкви и потомъ овладѣть правомъ государственнымъ. Русской землѣ извѣстно различіе состояній, болѣе или менѣе опредѣленныхъ и даже сословій (дружины и земщины), но неизвѣстны ни вражда между ними, ни ожесточенное посяганіе однаго изъ нихъ на право другаго, ни оскорбительное пренебреженіе однаго къ другому, раздражающее страсти человѣческія болѣе, чѣмъ вещественное угнетеніе. Князь Пожарскій, вождь всего Русскаго воинства, увѣнчивая свои послѣдніе дни полнѣйшимъ посвященіемъ Богу, принимаетъ имя Козьмы, нѣкогда выборнаго человѣка всей Русской земли. Князь Пожарскій и его ратные товарищи, во время своего спасительнаго подвига и послѣ него, дѣйствуютъ всегда и во всемъ отъ имени и воли всѣхъ своихъ братьевъ-согражданъ. Жизнь историческая никогда не отрывалась отъ жизни общественной, и патріархъ могъ усмирять мятежныя волненія народа угрозою, что внесетъ повѣсть объ нихъ въ страницы обличительной лѣтописи. Монастыри обносились укрѣпленными оградами, но эти ограды назначались для защиты отъ иноплеменниковъ, а не отъ единовѣрцевъ, какъ на Западѣ; епископы не завоевывали своей паствы силою оружія; духовные не бросались въ схватки боевыя съ тяжелыми палицами и не успокоивали своей совѣсти тѣмъ, что не проливаютъ крови человѣческой, а только дробятъ человѣческія головы. Въ народѣ по-

роки, слѣдствіе невѣжества или увлеченія страсти, не оправдывали себя предъ судомъ совѣсти или закона божественнаго призраками самосозданныхъ законовъ, и никогда личное или общественное самодовольство не наряжало себя въ мишурный блескъ мнимо-праведной гордости. Роскошь не считала себя добродѣтелью; художество, хотя еще и не вполнѣ развитое, служило высокому началу и созидало памятники, въ которыхъ, не смотря на ихъ мелкіе размѣры, безпристрастное чувство узнаётъ полноту и внутренній миръ, чуждый средневѣковому стилю Германцевъ; но тоже художество не отрывалось отъ своего законнаго источника и не искало самостоятельности, повидимому, возвышающей и дѣйствительно унижающей все значеніе художественнаго стремленія, ибо она раздвояетъ художника въ его духовной сущности и убиваетъ въ немъ человѣка. Наконецъ, какія бы ни были недоразумѣнія и какъ ни гибельны были ихъ послѣдствія, законъ любви взаимной проникалъ или могъ проникать всѣ отношенія людей другъ къ другу: по крайней мѣрѣ они не признавали никакаго закона, противнаго ему, хотя часто увлекались страстями или выгодами личными въ пути превратные, а иногда преступные. Русской землѣ была чужда идея какой-бы то ни было отвлеченной правды, не истекающей изъ правды Христіанской, или идея правды, противорѣчащая чувству любви.

Такова была внутренняя цѣльность жизни и законовъ, ею признаваемыхъ, не смотря на всю нестройность и дикость ея явленій; и эта цѣльность зависѣла отъ полноты и цѣльности самаго просвѣтительнаго начала, сохраненнаго и переданнаго намъ мыслителями Православнаго Востока. Хранителями ея были всѣ люди, старавшіеся сообразовать свои дѣйствія и мысли съ чистымъ ученіемъ вѣры. Главными же представителями были безспорно писатели и дѣятели духовные, отъ которыхъ осталось намъ такъ много назидательныхъ преданій и такъ много словъ поученія и утѣшенія, и та сѣть обителей и монастырей, которыми охвачена была вся Святая Русь. Вся исторія нашего просвѣщенія тѣсно связана съ ними. Высшее духовенство любило науку и художество. Святой митрополитъ, основатель Московскаго первен-

ства въ іерархическомъ порядкѣ, трудился своеручно надъ украшеніемъ храмовъ живописью. Св. Алексѣй собиралъ съ любовью памятники древней словесности Эллинской. Св. Кириллъ переводилъ Галена, и эта связь вѣры съ наукою восходитъ до перваго озаренія Русской земли вѣрою Христовою. Монастыри, собирая богатыя книгохранилища, тогда еще рѣдкія по всей Европѣ, служили разсадникомъ всякаго знанія. Но не въ этомъ только смыслѣ правъ г. Киреевскій, когда называетъ монастыри нашими высшими духовными университетами (между монастырями и книжнымъ ученіемъ была только случайная связь, зависящая отъ обстоятельствъ прежняго времени); также и не въ томъ смыслѣ, чтобы естественное развитіе спеціальныхъ наукъ должно было находиться въ невозможной подчиненности такому началу, которому неполнота всякой науки также чужда, какъ и несовершенство всякаго гражданскаго общества (предположеніе такой зависимости было бы совершенно ложно); г. Киреевскій правъ въ томъ смыслѣ, что вліяніе иноческихъ обителей и ихъ духовной жизни давало высшее направленіе всему просвѣщенію старой Руси, и это совершенно справедливо. Бесѣда и, такъ сказать, видъ одинъ мужей, посвятившихъ всю жизнь свою созерцанію началъ вѣры (началъ по премуществу цѣльныхъ и полныхъ) должны были возвращать къ равновѣсію и согласію всѣхъ душевныхъ силъ мысль и чувство членовъ мірскаго общества, которые, при постоянной необходимости приложенія (всегда несовершеннаго) духовныхъ законовъ къ жизни дѣйствительной и при постоянной борьбѣ съ разнородными стихіями, склонны терять свою разумную цѣльность и подпадать или произволу страстей, или одностороннему вліянію, такъ называемаго, практическаго разсудка.

Таковы были неразрушимыя опоры духовной цѣльности въ древней Руси. Отъ чего же просвѣщеніе не развилось полнѣе и не принесло всѣхъ своихъ плодовъ? Я говорилъ о внутренней разъединенности общественной, происходившей отъ сопоставленія и противопоставленія дружины и земщины и отъ противорѣчія между естественнымъ стремленіемъ къ мѣстному обособленію и высшимъ стремленіемъ къ общему

единенію; я сказалъ, что то полное начало просвѣщенія, которое могло утишить и примирить всѣ разногласія,—Святая Православная Вѣра,—недовольно еще глубоко и повсемѣстно проникло въ нашу старую Русь, чтобы избавить ее отъ кровавыхъ распрей и болѣзненныхъ потрясеній, и слѣдовательно не могло дать ея развитію той стройности и мирной полноты, которыя были бы ея несомнѣннымъ достояніемъ, если бы большинство нашихъ предковъ не были Христіанами болѣе по обряду, чѣмъ по разуму. Но тутъ представляется другой вопросъ. Меньшее число не могло ли своею разумною силою управить неразуміе многихъ? Велика и, по моему мнѣнію, непобѣдима сила разума, просвѣщеннаго вѣрою истинною, и она восторжествовала бы издавна; но, если не ошибаюсь, въ древней Руси разуму недоставало сознанія.

Многіе унижаютъ сознаніе, утверждая, что только то, что̀ человѣкъ творитъ безсознательно, представляетъ всю искреннюю полноту его жизни, будучи плодомъ всей его внутренней сущности, а не дѣломъ часто обманывающаго, всегда холодящаго, а иногда мертвящаго разсужденія. Другіе, признавая сознаніе необходимымъ условіемъ всякаго дѣла разумнаго и нравственнаго, полагаютъ, что его не нужно искать по тому самому, что оно всегда присутствуетъ при всякомъ дѣйствіи человѣка, не опьяненнаго какою нибудь страстью. Первымъ отсутствіе сознанія покажется скорѣе достоинствомъ, чѣмъ недостаткомъ, вторымъ—чистою невозможностью. Думаю, что и тѣ и другіе будутъ неправы. Первые смѣшиваютъ идею сознанія съ идеею предварительнаго и односторонняго разсужденія и не понимаютъ сознанія полнаго, присущаго всякой мысли, которая облекаетъ себя въ дѣло,—сознанія, еще неотдѣляющагося, хотя и способнаго отдѣлиться, отъ дѣла. Это сознаніе, еще неуясненное, неопредѣлившееся для самого себя, не можетъ отсутствовать ни при какомъ дѣлѣ разумномъ; безъ него человѣкъ обращается просто въ одну изъ живыхъ силъ природы, движимыхъ невольными побужденіями и неподчиненныхъ никакому нравственному закону: онъ не человѣкъ. Онъ самъ не могъ бы понимать своего дѣла, если бы не сознавалъ его въ самое время совершенія;

онъ находился бы наконецъ въ томъ незавидномъ состояніи, въ которое приводятъ людей иныя болѣзни, пьянство или крайній испугъ. Правда, часто называютъ безсознательными прекраснѣйшія явленія мысленнаго міра, какъ напр., художественныя творенія, но въ этомъ случаѣ слово неясно выражаетъ мысль. Художникъ дѣйствительно имѣетъ полное сознаніе того, что хочетъ творить, и самое его твореніе есть только воплощеніе сознаннаго. Если бы ваятель не зналъ и не видѣлъ передъ своимъ внутреннимъ зрѣніемъ того Аполлона или Зевса, котораго онъ намѣренъ выбить изъ мрамора, гдѣ бы остановился его рѣзецъ? Онъ, очевидно, сталъ бы крошить камень, покуда оставался бы хоть одинъ неискрошенный кусокъ. Предѣлъ работы опредѣляется предшествующимъ сознаніемъ. Художественная воля задумываетъ, художественное воображеніе созидаетъ, художественная критика сопровождаетъ и одобряетъ твореніе. Это, кажется, ясно. И такъ собственно-безсознательнымъ можно назвать только то разумное дѣло, въ которомъ не отсутствуетъ сознаніе, но въ которомъ оно не отдѣлилось и не получило самостоятельности; въ этомъ ограниченномъ смыслѣ, но только въ немъ, справедливо высокое уваженіе къ безсознательнымъ выраженіямъ волящаго разума или разумѣющей воли; ибо отдѣльная самостоятельность сознанія, законная послѣ дѣла, не должна ему предшествовать: иначе она обезсилитъ или убьетъ самое дѣло своею ограниченностью и склонностью къ разсудочной односторонности. Она послѣднее и замыкающее звено въ цѣпи духовныхъ явленій и не должна становиться на такое мѣсто, которое ей не слѣдуетъ. Это особенно явно въ произведеніяхъ художественныхъ, потому что они требуютъ полнаго согласія и стройности душевныхъ силъ и не допускаютъ извращенія въ послѣдовательности ихъ проявленія.

Тѣмъ, которые изъ неизбѣжнаго присутствія сознанія при всякомъ разумномъ дѣйствіи человѣка заключаютъ, что его и искать не нужно, и что разумъ не можетъ никогда имѣть недостатка въ сознаніи, кажется, слѣдуетъ вникнуть глубже въ отношеніе сознанія къ разуму. Безъ сомнѣнія, оно всегда

присутствуетъ при каждомъ его дѣйствіи, но не составляетъ всего разума, а имѣетъ особенное, себѣ принадлежащее, мѣсто въ постепенномъ развитіи его проявленій. Оно не зарождаетъ явленія, оно не образуетъ явленія, но, безъ сомнѣнія, вѣнчаетъ явленіе, признавая согласіе явленія съ мыслію. Какъ сила неотъемлемая отъ разума, оно присутствуетъ на всѣхъ степеняхъ дѣйствія; но какъ сила уясненная и достигнувшая самостоятельности, оно является на послѣдней ступени. Имъ замыкается совершенная полнота разумнаго дѣйствія, и безъ него эта полнота еще не достигнута.—Но жизнь человѣка на землѣ не есть еще жизнь разумная вполнѣ; безпрестанно подчиненная законамъ, стремленіямъ и требованіямъ вещественнымъ и увлекаемая ихъ измѣнчивымъ разнообразіемъ, она даже въ частныхъ своихъ явленіяхъ рѣдко достигаетъ своей конечной полноты и рѣдко требуетъ отъ себя яснаго отчета. Такова причина, почему многія явленія, разумныя и дѣйствительно сознательныя, считаются безсознательными. Ихъ должно назвать *недосознанными*. Сверхъ того, по общему несовершенству нашей природы, несовершенство сопровождаетъ самую мысль на всѣхъ степеняхъ ея развитія. Зарожденная или задуманная въ глубинѣ души, она никогда не можетъ выразиться или воплотиться вполнѣ; выраженная, она не вполнѣ переходитъ въ ясное сознаніе. Такъ, напримѣръ, художникъ никогда не осуществляетъ (даже въ своемъ воображеніи, еще менѣе въ видимомъ твореніи) всей красоты задуманнаго идеала; осуществивъ его, никогда не сознаётъ вполнѣ отношенія своего произведенія къ своей первоначальной мысли. Отъ того-то и случается такъ часто видѣть слабость художественной критики въ отношеніи къ собственнымъ твореніямъ, даже въ великихъ художникахъ. Геніальность же художника состоитъ только въ яснѣйшемъ воображеніи задуманныхъ идеаловъ, а геніальность критики — въ яснѣйшемъ сознаніи отношенія между произведеніемъ и первоначальною мыслію, которую оно назначено было выразить. Во всѣхъ разумныхъ дѣйствіяхъ человѣка повторяется, съ большею или меньшею ясностью, таже самая постепенность мысли, которую всего легче можно прослѣдить въ

дѣятельности художника [1]). — Наконецъ, есть другое высшее сознаніе. Всякое частное явленіе въ своемъ первоначальномъ зародышѣ связывается со всѣмъ безконечнымъ множествомъ явленій, предшествовавшихъ ему, и съ ихъ законами. Высшее сознаніе, не довольствуясь отношеніемъ частнаго явленія къ частной мысли (его зародышу), старается постигнуть его отношеніе къ общему закону явленій, предшествовавшихъ ему или сопровождающихъ его. Такое сознаніе дано человѣческому несовершенству только въ весьма слабой степени.

Мысль человѣка, содержа въ себѣ начало проявленія и начало сознанія, проходитъ въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи двѣ степени: первую — степень опредѣленнаго проявленія, вторую—степень опредѣленнаго сознанія. Первая идетъ отъ мысли непроявленной (что̀ мы называемъ неизвѣстнымъ) къ проявленію; вторая возвращается отъ проявленія (слѣд. извѣстнаго) къ первоначальной мысли (неизвѣстному), которую она приводитъ въ извѣстность. Первая составляетъ область жизни и художества; вторая — область знанія и науки. Первая—синтезъ; вторая—анализъ [2]). Полнота духа заключается въ согласномъ и равномѣрномъ соединеніи обѣихъ.

Степени сознанія многоразличны и неисчислимы, отъ низшей, — которая часто заключается въ простомъ наслажденіи предметомъ или согласіемъ его съ другими, до высшей — полнаго уразумѣнія самаго предмета или его согласія съ другими предметами. Для полнаго и совершеннаго развитія разума всѣ эти степени необходимы; но человѣку дано только стремиться по этому пути и не дано совершить его. Онъ всегда останавливается, или по слабости воли, или по слабости понятія, на полудорогѣ, и большее или меньшее число пройденныхъ имъ поприщъ опредѣляетъ сравнительную силу

---

[1]) Тѣхъ, кто ищетъ начала всему въ опредѣленномъ сознаніи, называютъ раціоналистами (поклонниками разсудка); тѣхъ, которые не признаютъ необходимости опредѣленнаго сознанія для полноты разумнаго явленія, можно бы назвать инстинктивистами (поклонниками наклонности).

[2]) Говорить о синтетической наукѣ значитъ говорить слова безъ смысла. Наука иногда только пробуетъ синтетическій путь, отправляясь отъ предположенія для аналитической повѣрки.

или недостатокъ сознанія. Разумѣется, чѣмъ полнѣе и многостороннѣе предметъ и проявляемый въ немъ законъ, тѣмъ труднѣе подвигъ сознанія, и въ этомъ отношеніи ясно, что для нашей древней Руси онъ долженъ былъ быть гораздо труднѣе, чѣмъ на Западѣ, признававшемъ законъ односторонности и раздвоенія. Но вникнемъ еще далѣе. Опредѣленное проявленіе предшествуетъ опредѣленному сознанію; поэтому, казалось бы, что законъ полной цѣльности могъ бы быть воплощенъ въ жизнь, не смотря на недостатокъ сознанія. Это можетъ быть, но не всегда. Проявленіе возможно при неуясненномъ сознаніи въ дѣлѣ отдѣльнаго человѣка и тѣмъ возможнѣе, чѣмъ менѣе человѣку встрѣчается потребности во внѣшнемъ мірѣ. Наприм., человѣкъ задумываетъ произведеніе художества словеснаго. Такъ какъ слово есть выраженіе духа самое внутреннее, самое свободное отъ внѣшности, произведеніе можетъ быть прекраснымъ при отсутствіи почти совершенномъ опредѣлительнаго сознанія — критики. Человѣкъ задумываетъ произведеніе художества образовательнаго (пластическаго). Его первый и важнѣйшій трудъ есть воображеніе (совершенно ясное) своего будущаго творенія, второй—передача сознаннаго образа холсту и краскамъ, или мрамору и мѣди. Ясное воображеніе и сознаніе должны предшествовать второй минутѣ художественнаго труда. Художнику образовательному уже сознаніе необходимѣе, чѣмъ художнику слова. Державинъ ставилъ свои безсмысленныя драмы выше своихъ превосходныхъ одъ, но едва ли найдется ваятель или живописецъ, который не былъ бы довольно хорошимъ цѣнителемъ своихъ произведеній. Человѣкъ, для проявленія какого бы то ни было закона разумнаго или нравственнаго, не имѣетъ еще нужды въ опредѣлительномъ сознаніи; но оно дѣлается необходимымъ условіемъ для проповѣди. Логическій разсудокъ, который составляетъ одну изъ важныхъ сторонъ сознанія, беззаконенъ, когда онъ думаетъ замѣнить собою разумъ или даже всю полноту сознанія, но имѣетъ свое законное мѣсто въ кругу разумныхъ силъ. Общество, проникнутое вполнѣ однимъ какимъ-нибудь чувствомъ или одною мыслію, можетъ ихъ проявлять безъ полнаго сознанія; но въ такомъ случаѣ оно дѣйствуетъ, какъ живое и цѣльное

лице. Но общество, состоящее изъ стихій, неровно или слабо проникнутыхъ какимъ нибудь закономъ нравственнымъ, не можетъ уже проявлять его, если сознаніе не достигло зрѣлости и опредѣленности; ибо тѣ немногіе или многіе, которые въ себѣ сосредоточиваютъ разумную силу закона, находятся въ томъ же отношеніи къ остальному обществу, въ которомъ находится проповѣдникъ къ полупросвѣщенному слушателю, и почти въ томъ же, въ которомъ находится художникъ къ внѣшнему веществу. Ихъ разумная сила остается почти безплодною, если она не сопровождается яснымъ и опредѣлительнымъ сознаніемъ. А такого сознанія не было и быть не могло въ древней Руси.

Большая часть сельскихъ общинъ приняла, какъ я сказалъ, вѣру Христову съ тихимъ и немудрствующимъ, но за то нѣсколько равнодушнымъ довѣріемъ къ своимъ центральнымъ представителямъ, городовымъ старцамъ и боярамъ, слѣдуя и въ этомъ общему правилу: «что городъ положитъ, на томъ и пригороды станутъ». Обращеніе было болѣе обрядовое, чѣмъ разумное; но духъ Христіанства проникъ сельскій міръ, сосудъ, готовый къ его принятію, и развилъ въ высокой и до тѣхъ поръ невиданной степени общежительное начало и добродѣтели, сопровождающія его. Эта прекрасная и новая сторона проявленія жизни Христіанской въ человѣчествѣ осталась чуждою болѣе просвѣщеннымъ представителямъ личнаго разумѣнія вѣры, по весьма понятной причинѣ: они принадлежали другой стихіи, вслѣдствіе раздвоенія между дружиною и земщиною, и между стремленіемъ къ обще-Русскому единенію съ одной стороны и къ обособленію мѣстному съ другой. Слѣдовательно, для нихъ оставались доступными почти исключительно только тѣ стороны всеобъемлющаго просвѣтительнаго начала, которыя уже получили и проявленіе, и сознаніе въ просвѣтившей насъ Византіи. Новая великая задача, которая ставила насъ выше Византіи, была отчасти угадываема, и прекрасное предчувствіе ея отзывалось нерѣдко во многихъ вѣчно-памятныхъ словахъ и многихъ высокихъ дѣлахъ и учрежденіяхъ; но полное сознаніе было невозможно, а безъ сознанія было невозможно

и направленіе. Духъ цѣльнаго просвѣщенія не могъ побѣдить вещественныхъ препонъ, и исторія древней Руси, свидѣтельствуя съ одной стороны о великихъ и спасительныхъ шагахъ впередъ, которымъ мы обязаны почти единственно Православію, должна была свидѣтельствовать и дѣйствительно свидѣтельствуетъ о множествѣ искаженій въ правѣ и жизни, объ одичаніи и паденіи, которымъ объясняется позднѣйшее стремленіе къ началамъ чуждымъ и иноземнымъ. Свое, высокое и прекрасное, было неясно сознано; истинно-доброе у иноземцевъ (наука) было ясно, а мнимо-доброе было исполнено соблазновъ.

Въ этомъ видна еще другая, великая важность опредѣлительнаго сознанія во всѣхъ его видахъ. Безъ сомнѣнія, полное сознаніе не ограничивается знаніемъ логическимъ. Знаніе логическое опредѣляетъ въ разсудкѣ только внѣшность предмета или мысли и внѣшность ихъ отношеній къ другимъ; полное и живое сознаніе опредѣляетъ въ самомъ разумѣ сущность предмета или мысли и ихъ внутреннія отношенія къ другимъ. Но сознаніе живое, безъ опредѣленнаго знанія логическаго, требуетъ постоянной цѣльности и неизмѣняемаго согласія въ душѣ человѣка; а человѣкъ, твореніе слабое и шаткое, лѣнивое умомъ и дряхлое волею, постоянное игралище страстей своихъ и чужихъ, жертва всякаго соблазна жизненнаго и нагнета историческаго, не можетъ почти никогда удерживать въ себѣ душевнаго согласія и никогда не долженъ быть увѣреннымъ, что удержитъ его. При всякой душевной тревогѣ и нарушеніи внутренней цѣльности, образъ и очеркъ живаго сознанія волнуются и мутятся. Тогда якоремъ спасенія и опоры является частное логическое сознаніе, которое, при всей своей неполнотѣ, имѣетъ рѣзкую и твердую опредѣленность, неподвластную страсти вслѣдствіе самой своей отвлеченности; тогда заговоритъ оно своимъ строгимъ и неизмѣннымъ голосомъ, какъ внѣшній законъ, недостаточный для всѣхъ требованій духа, но возвращающій его къ полному и внутреннему закону, временно помраченному. Односторонняя вѣра въ логическое знаніе мертвитъ истинный разумъ и ведетъ къ самоосужде-

нію логическаго разсудка, какъ мы видѣли изъ всей исторіи Западнаго просвѣщенія; но отсутствіе или неопредѣленность логическаго знанія въ развитіи историческомъ отнимаютъ у жизни и убѣжденія ихъ разумную послѣдовательность и крѣпость. Вотъ почему, говоря словами г. Киреевскаго, «иногда Русскій человѣкъ, сосредоточивая всѣ свои силы въ работѣ, въ три дня можетъ сдѣлать болѣе, чѣмъ осторожный Нѣмецъ въ тридцать», и почему «часто для Русскаго человѣка самый ограниченный умъ Нѣмца, размѣряя по часамъ и табличкамъ мѣру и степень его трудовъ, можетъ лучше, чѣмъ онъ самъ, управлять порядкомъ его занятій». Это зависитъ, очевидно, не отъ недостатка въ руководителѣ внѣшнемъ, который самъ подверженъ тѣмъ же волненіямъ, но отъ недостатка въ руководителѣ внутреннемъ, строго и логически сознанномъ законѣ, укрѣпляющемъ шаткую волю. Явленія частной жизни повторяются въ большемъ размѣрѣ въ исторіи народовъ: цѣлые милліоны людей съ ихъ всемірною дѣятельностію, съ ихъ торжествами и героями, съ ихъ громами и славою, представляютъ разуму развитіе тѣхъ же умственныхъ силъ, которыя бѣдный ремесленникъ проявляетъ въ своемъ житейскомъ быту. Песчинка, или планета, или солнце, всѣ созданы и очерчены тѣмъ же всемогущимъ перстомъ и подчинены одному общему для всѣхъ закону *). Высокія дѣла, слова, которыхъ одно воспоминаніе заставляетъ наше сердце биться съ гордою радостію, прекрасныя и истинно-человѣческія учрежденія, умилительныя черты изъ частнаго быта свидѣтельствуютъ о присутствіи и живомъ сознаніи всецѣльнаго и совершенно просвѣтительнаго начала въ нашей старой Руси. Шаткость и непослѣдовательность, безпрестанное искаженіе и одичаніе права уголовнаго и отчасти гражданскаго, наконецъ расколы и послѣдовавшее за ними отпаденіе отъ древнихъ и истинныхъ началъ, свидѣтельствуютъ объ отсутствіи логическаго опредѣленія понятій. Оно выдается съ особенною яркостью именно въ скорбномъ появленіи старообрядческихъ расколовъ. Никто не будетъ оспа-

*) In nullis natura magis tota, quam in minimis est. Плиній.

ривать добросовѣстности и разумной ревности многихъ изъ первыхъ раскольниковъ, а они заблудились. Почему же? Издревле и всѣмъ сердцемъ чувствовалъ народъ благодатное вліяніе ученія Православнаго и его обрядовъ, которыхъ частнаго измѣненія онъ не замѣчалъ. Ими жилъ онъ во всей глубинѣ своей мысленной жизни, но логическое различіе между ученіемъ и обрядомъ было ему неизвѣстно; ему неизвѣстна была церковная свобода въ отношеніи обряда. Наступило время для исправленія вкравшихся ошибокъ или отмѣны безполезныхъ формъ, и значительной части народа показалось, что посягаютъ на самый корень ея духовной жизни, на все ея духовное сокровище, и она впала въ тотъ еще неисцѣленный расколъ, который разрываетъ внутренній миръ нашего великаго семейства и который такъ горестенъ для всѣхъ Православныхъ и, смѣло скажу, для самихъ раскольниковъ, не смотря на ихъ слѣпое и, къ несчастію, часто гордое упорство. Но расколъ, явленіе сравнительно новое, указываетъ на старую неясность понятій. Тоже самое было и въ общежительствѣ и въ обычаяхъ, хотя выражалось съ меньшею ясностью. Такова важность логическаго опредѣленія. Его отсутствіе выразилось у насъ въ общественной жизни древней Руси; необходимость же его ярко засвидѣтельствована исторіею самой Церкви. Являлись ереси, и милліоны увлекались въ обманъ. Собирались соборы и, озаренные духомъ Божіимъ, объявляли ясное опредѣленіе Апостольскаго ученія, и соблазнъ явившейся ереси исчезалъ безвозвратно для членовъ Церкви Православной; и изъ ряда соборныхъ опредѣленій, признанныхъ Церковью, составилось исповѣданіе вѣры, ея несокрушимый щитъ для всѣхъ временъ.

И такъ, вопросъ автора статьи о характерѣ Западнаго просвѣщенія: «почему, при гораздо высшемъ началѣ, не опередила древняя Русь Запада и не стала во главѣ умственнаго движенія въ человѣчествѣ», разрѣшается, какъ мнѣ кажется, безпристрастнымъ признаніемъ въ томъ: *что самое просвѣтительное начало, по своей всесторонности и полнотѣ, требовало для своего развитія внутренней цѣльности въ обществѣ, которой не было, и что этой цѣльности не*

могло оно дать мирными путями вслѣдствіе неполнаго понятія о Православіи въ значительной части людей, составляющихъ Русскій народъ, и недостатка опредѣлительнаго сознанія во всѣхъ. Съ другой стороны, я долженъ повторить, что, по моему мнѣнію, точки зрѣнія, поставленныя г. Киреевскимъ, совершенно *новы* (по крайней мѣрѣ, по опредѣленному выраженію ихъ, а это великій шагъ въ сознаніи) и совершенно справедливы. Отъ нихъ будутъ разумно отправляться всѣ дальнѣйшія изслѣдованія. Дѣйствительно, чѣмъ болѣе этотъ предметъ будетъ разсматриваться съ разныхъ сторонъ, тѣмъ яснѣе будетъ выступать раздвоенность Запада во всѣхъ его явленіяхъ, умственныхъ, нравственныхъ, общественныхъ, семейныхъ и бытовыхъ, и тѣмъ яснѣе будетъ признаваема цѣльность всѣхъ тѣхъ явленій духа, права, общества, быта и жизни семейной и частной, которыя находились подъ прямымъ вліяніемъ просвѣтительнаго начала въ древней Руси.

Изъ всего предыдущаго очевидно и то основаніе, на которомъ воздвигнется прочное зданіе Русскаго просвѣщенія. Это Вѣра, Вѣра Православная, которой, слава Богу, и по особенному чувству правды, никто еще не называлъ религіей (ибо религія можетъ соединять людей, но только Вѣра связуетъ людей не только другъ съ другомъ, но еще и съ ангелами и съ самимъ Творцомъ людей и ангеловъ), Вѣра, со всею ея животворною и строительною силою, мысленною свободою и терпѣливою любовью. Но она не со вчерашняго дня озарила Русскую землю и недаромъ жила въ ней въ продолженіе многихъ столѣтій. Много оставила она памятниковъ своего благодатнаго дѣйствія, много живыхъ слѣдовъ запечатлѣла въ просвѣщеніи отдѣльныхъ лицъ и въ общежительности народа. Почтительно изучать эти памятники въ прошедшемъ, горячо любить эти слѣды въ настоящемъ, особенно же помнить, что это не дѣло односторонняго разсудка, но дѣло цѣлой внутренней жизни, невозможное безъ постояннаго стремленія къ нравственному самоулучшенію: таковъ долгъ всякаго Русскаго, ясно понимающаго великое призваніе своей родины. Какія бы ни

были преимущества древней Руси въ иныхъ отношеніяхъ (напримѣръ, въ томъ, что расколы еще не отдѣлились и не окостенѣли въ своемъ отдѣленіи), мы должны помнить, что передъ нею мы имѣемъ великое преимущество болѣе опредѣленнаго сознанія. Вольныя или невольныя столкновенія, мирныя и военныя, съ Западомъ, вольное или невольное подражаніе ему и ученичество въ его школахъ: таковы, можетъ быть, были орудія, которыми Провидѣнію угодно было дать намъ или пробудить въ насъ эту умственную силу, которою безнаказанно мы уже не можемъ пренебрегать.

Великъ и благороденъ подвигъ всякаго человѣка на землѣ: подвигъ Русскаго исполненъ надежды. Не жалѣть о лучшемъ прошедшемъ, не скорбѣть о нѣкогда бывшей Вѣрѣ, должны мы, какъ Западный человѣкъ; но, помня съ отрадою о живой Вѣрѣ нашихъ предковъ, надѣяться, что она озаритъ и проникнетъ еще полнѣе нашихъ потомковъ; помня о прекрасныхъ плодахъ Божественнаго начала нашего просвѣщенія въ старой Руси, ожидать и надѣяться, что, съ помощію Божіею, та цѣльность, которая выражалась только въ отдѣльныхъ проявленіяхъ, безпрестанно исчезавшихъ въ смутѣ и мятежѣ многострадальной исторіи, выразится во всей своей многосторонней полнотѣ въ будущей мирной и сознательной Руси. Западъ, самоосужденный силою своего развившагося раціонализма, предлагаетъ своимъ сынамъ только выборъ между двумя равно тягостными существованіями: или безнадежное исканіе истины по путямъ, уже признаннымъ за ложные, или отреченіе отъ всего своего прошедшаго, чтобы возвратиться къ истинѣ. Русская земля предлагаетъ своимъ чадамъ, чтобы пребывать въ истинѣ, средство простое и легкое неиспорченному сердцу: полюбить ее, ея прошлую жизнь и ея истинную сущность, не смущаясь и не соблазняясь никакими случайными и внѣшними наплывами, которыхъ не могъ избѣгнуть никакой народъ новой исторіи, создавшей неизвѣстное древности общество народовъ. Тотъ, кто понимаетъ всю необходимость этой любви, скажетъ съ г. Кирѣевскимъ, что этому искреннему чувству, также какъ и разуму, противно

всякое искусственное и натянутое возвращеніе къ погибшимъ формамъ и случайностямъ старины; но онъ будетъ также привѣтствовать всякій возвратъ искренній и проистекающій отъ общительной любви, проявись онъ въ поэзіи художественнаго образа или въ воплощеніи жизни бытовой. Любовь искренняя естественно любитъ одицетвореніе.

Быть можетъ, обвинятъ меня, какъ многіе обвиняютъ г. Киреевскаго, въ несправедливости къ Западному образованію. Кажется, такой упрекъ будетъ несправедливъ. Неразумно бы было не цѣнить того множества полезныхъ знаній, которыя мы уже почерпали и еще черпаемъ изъ неутомимыхъ трудовъ Западнаго міра; а пользоваться этими знаніями и говорить объ нихъ съ неблагодарнымъ пренебреженіемъ было бы не только неразумно, но и нечестно. Предоставимъ отчаянію нѣкоторыхъ Западныхъ людей, испуганныхъ самоубійственнымъ развитіемъ раціонализма, тупое и отчасти притворное презрѣніе къ наукѣ. Мы должны принимать, сохранять и развивать ее во всемъ томъ умственномъ просторѣ, котораго она требуетъ; но въ тоже время подвергать ее постоянно своей собственной критикѣ, просвѣщенной тѣми высшими началами, которыя намъ изстари завѣщаны Православіемъ нашихъ предковъ. Такимъ только путемъ можемъ мы возвысить самую науку, дать ей цѣлость и полноту, которыхъ она до сихъ поръ не имѣетъ, и заплатить сполна и даже съ лихвою долгъ нашъ Западнымъ нашимъ учителямъ. Разумѣется, ошибки неизбѣжны; но истина дается тому, кто ее ищетъ добросовѣстно, а всякая истина служитъ Богу. Пусть только каждый изъ насъ исполняетъ долгъ свой по мѣрѣ силъ, трудясь надъ своимъ умственнымъ и нравственнымъ усовершенствованіемъ и, сколько можетъ, обогащая братій своихъ своими мысленными пріобрѣтеніями.

Можетъ быть, также найдутся иные, которымъ покажется, что я слишкомъ строго осудилъ нашу старую Русь. Не думаю, чтобы, показавъ по своему крайнему разумѣнію общія черты того, чѣмъ она была сильна и чѣмъ страдала, я впалъ сколько нибудь въ осужденіе любимой мною старины. Ненуженъ бы былъ нынѣшній вѣкъ, если бы прежніе вѣка совершили весь подвигъ человѣческаго разума; ненужны бы

были будущіе, если бы нынѣшній дошелъ до послѣдней цѣли. Каждый вѣкъ имѣетъ свой, Богомъ данный ему, трудъ, и каждый исполняетъ его не безъ крайняго напряженія силъ, не безъ борьбы и страданій, вещественныхъ или душевныхъ. Но трудъ одного вѣка есть посѣвъ для будущаго, а не легка работа посѣва. Боговдохновенный пѣвецъ говоритъ: «Сѣющіи слезами радостію пожнутъ. Ходящіе хождаху и плакахуся, метающе сѣмена своя; грядущіи же пріидутъ радостію, вземлюще рукояти своя».

ПО ПОВОДУ ОТРЫВКОВЪ

НАЙДЕННЫХЪ ВЪ БУМАГАХЪ

И. В. КИРЕЕВСКАГО.

Елецкая библіотека-читальня

По поводу отрывковъ, найденныхъ въ бумагахъ И. В. Киреевскаго *).

Входить въ подробный разборъ напечатанныхъ здѣсь отрывковъ было бы безполезно. Вѣроятно, рѣдкій изъ читателей прочелъ ихъ безъ глубокаго сочувствія, хотя бы и не раздѣляя образа мыслей, въ нихъ выраженнаго; но полагаю небезполезнымъ прибавить къ нимъ нѣсколько словъ касательно самаго предмета, о которомъ готовилась недоконченная статья.

Трудно прослѣдить философскую нить, которая должна была соединить между собою мысли, набросанныя въ видѣ отдѣльныхъ замѣтокъ или размышленій; но во всѣхъ высказывается одно: требованіе духовной цѣльности для правильнаго разумѣнія и признаніе отношенія вѣры къ разуму, не какъ къ чуждой, но какъ къ низшей стихіи, или иначе къ стихіи, которая полноту своего существованія находитъ только въ вѣрѣ. Эта черта принадлежитъ тому ученію, котораго строгая послѣдовательность возможна только въ Церкви и котораго краснорѣчивымъ представителемъ былъ И. В. Киреевскій. Постараюсь, сколько могу, уяснить самое это ученіе и отношенія его къ другимъ, уже извѣстнымъ и давно признаваемымъ, школамъ.

Глубокое уваженіе, съ которымъ И. В. Киреевскій говорилъ о прежнихъ великихъ дѣятеляхъ науки, и разумность его критическаго взгляда на нихъ доказываютъ, какъ высоко

*) Какъ отрывки, найденные въ бумагахъ И. В. Киреевскаго (большею частью философскаго и богословскаго содержанія), такъ и статья А. С. Хомякова напечатаны въ Р. Р. Бесѣдѣ 1857 г. кн. 1. Киреевскій скончался 12 іюня 1856 года.
Изд.

цѣнилъ онъ ихъ труды и какъ глубоко онъ ихъ изучалъ. Дѣйствительно, снова отыскивать то, что̀ уже давно уяснено, или томиться надъ системою, уже испытанною и уличенною въ несостоятельности: таковы двѣ опасности, предстоящія тому, кто вздумалъ бы вести мысль человѣка по новому пути, не ознакомившись вполнѣ съ старыми, ею пройденными, путями. Только отчетливое знаніе прежнихъ школъ философскихъ даетъ право признать ихъ ошибочность или неполноту и пытаться создать новое, болѣе полное и стройное ученіе. Трудъ прошлыхъ поколѣній не отвергается, но поглощается и пересозидается въ новый трудъ поколѣнія современнаго и въ будущій трудъ поколѣній, имѣющихъ за нимъ послѣдовать.

Законный владыка древняго философскаго міра и кумиръ средневѣковаго, Аристотель былъ свергнутъ возстаніемъ великихъ и свободныхъ мыслителей; но свергнутъ былъ только кумиръ, а не тотъ царь древней науки, чье имя онъ носилъ: критика и методъ Аристотелевскій торжествовали, когда мнимый аристотелизмъ падалъ. Заслуга Стагирита не умирала и не могла умереть, ибо она заключала въ себѣ стихіи безсмертія. На развалинахъ павшаго авторитета возникло множество школъ подъ знаменами эмпиризма, сенсуализма, идеализма или мистики; многія являлись имена, достойныя благодарной памяти мыслящаго человѣчества (таковы, напр., Декартъ или неподражаемо-разнообразный геній Лейбница); но по недостатку объема, или глубины, или логической строгости, всѣ ученія, всѣ школы дѣйствительно, хотя и безсознательно, разрѣшились на время въ остроумномъ, но мелкомъ и сухомъ скепсисѣ Юма. Почему умъ человѣческій такъ долго блуждалъ по ложнымъ путямъ и чѣмъ былъ обусловленъ выборъ этихъ путей, покойный Киреевскій уже объяснилъ, показавъ зависимость мышленія философскаго отъ вѣрованія религіознаго и неизбѣжное вліяніе Латинства и Протестантства на все умственное развитіе Западной Европы.

Скепсисъ Юма (особенно же его нападеніе на общепринятую связь между причиною и слѣдствіемъ) вызвалъ Канта. Этотъ свѣтлый и строго-логическій умъ нанесъ смертельный ударъ пирронизму. «Законы разума не подлежатъ

сомнѣнію, ибо они не что иное, какъ самый разумъ, самое *я* человѣка; а въ своемъ *я* человѣкъ не сомнѣвается просто потому, что не можетъ сомнѣваться: ибо нѣтъ той области, въ которую могъ бы онъ перенестись для утвержденія своего сомнѣнія, и нѣтъ орудія или процесса, посредствомъ котораго онъ могъ бы сомнѣваться. Слово пирронистъ звукъ, а не смыслъ». Такъ можно выразить строгое и простое положеніе, выведенное Кантомъ въ формулахъ, непривлекательныхъ по ихъ выраженію, но неотразимыхъ по ихъ послѣдовательности. Въ нихъ высказывается его геніально-разсудительная природа. Положеніе Канта сдѣлалось краеугольнымъ камнемъ всей новой философіи и, скажу болѣе, всякой будущей философіи. Не помню, кто-то сказалъ очень остроумно и не безъ глубокаго смысла, что древняя философія говорила: «ощущаю, слѣдовательно, есмь» (sentio, ergo sum *); новая, освобожденная отъ схоластическаго аристотелизма, сказала: «мыслю, слѣдовательно есмь» (cogito, ergo sum); Кантовская: «есмь, слѣдовательно есмь» (sum, ergo sum); и въ этомъ много правды. Полнота человѣка была поставлена съ его несомнѣнною увѣренностью въ себѣ. Но раціоналистическія формы мышленія присутствовали при рожденіи великой школы Германской: онѣ выражались въ особенностяхъ ея основателя, и имъ слѣдовало развиться далѣе при односторонности религіозныхъ вѣрованій. Такъ и было. Самъ Кантъ, не постигая вполнѣ всей важности добытаго имъ вывода, былъ исключительно раціоналистомъ во всѣхъ своихъ дальнѣйшихъ построеніяхъ и всю свою систему (т. е. во сколько она была себѣ вѣрна) основывалъ единственно на логическомъ мышленіи и, читая его, чувствуешь, что едва ли могъ онъ попасть на иной путь. Въ самыхъ первыхъ шагахъ его ученія есть скрытое «слѣдовательно», связующее непосредственное бытіе человѣка съ бытіемъ новопріобрѣтеннымъ посредствомъ труда мысли. Логическая формула, допущенная въ эту высшую область самосознанія, должна была развиться раціонализмомъ. Тѣмъ же путемъ, но еще рѣшительнѣе, шелъ пламенный Фихте, смѣло

*) Впрочемъ это требуетъ нѣкоторыхъ ограниченій, хотя вообще вѣрно.

признавая *сущимъ* для человѣка только его личное понимание въ раздвоеніи *я мыслящаго* и *я мыслимаго*, *я—не я* (иначе субъектъ и объектъ). Тѣмъ же путемъ шелъ самый геніальный изо всѣхъ дѣятелей школы, человѣкъ, которому подобные, по словамъ покойнаго И. В. Киреевскаго, родятся тысячелѣтіями, Шеллингъ. Онъ пополнилъ ученіе Фихте, примиривъ противорѣчіе мыслящаго и мыслимаго (или отрицаніе *я—не я, субъектъ-объектъ*) самымъ актомъ сознанія (субъектъ-объективація), и этимъ положеніемъ повершилъ великолѣпное развитіе самостоятельнаго духа въ его логической опредѣленности *).

Путь былъ раціональный, чисто разсудочный, но раціонализмъ ударился объ свою границу. Пусть Шеллингъ и признавалъ первое, непроявившееся бытіе тождественнымъ небытію: изъ этого положенія онъ не дѣлалъ наукообразной формулы, служащей логическимъ началомъ дальнѣйшему развитію. Дѣйствительно, это видимо-отвлеченное бытіе имѣло у него весь характеръ и права *сущаго*, ибо переходило въ объектъ и въ цѣлый міръ явленій и сознаній какою-то внутреннею, несознанною, вольною силою. Достало ли у Шеллинга ясновидѣнія, чтобъ понять, что дальнѣйшій путь въ этомъ направленіи невозможенъ, или недостало силъ, чтобы пытаться продолжать его, или, наконецъ, богатая душа почувствовала, хотя неясно, скудость раціонализма: во всякомъ случаѣ Шеллингъ остановился. Его дальнѣйшая дѣятельность, еще блестящая разнообразіемъ, глубиною и остроуміемъ отдѣльныхъ мыслей и соображеній, еще полезная наукообразнымъ противодѣйствіемъ возставшему въ силѣ Гегелизму, не принадлежитъ уже ни исторіи школы, ни исторіи чистой философіи. Рядъ блестящихъ заблужденій, перемѣшанныхъ съ высокими истинами, несвязанными между собою никакою разумною нитью, проблески поэтическихъ догадокъ, затерянныхъ въ туманѣ

*) Мнѣ кажется, вѣрнѣе бы должно назвать этотъ моментъ не субъектъ-объективацію (Subject-objectivirung), а объектъ-субъективацію (Object-subjectivirung), ибо въ законѣ сознанія мыслящее начало (τὸ πρῶτον), получая возвратное отраженіе объекта, обращается самопризнаніемъ дѣйствительно въ субъектъ.

произвольной гностики: такова послѣдняя эпоха Шеллинга, о которой И. В. Киреевскій въ своей послѣдней статьѣ говорилъ съ такою горячею любовію и съ такимъ скорбнымъ сочувствіемъ.

То, передъ чѣмъ остановился геніальный учитель, пытался совершить великій ученикъ его, Гегель. *Сущее* должно быть совершенно отстранено. Само понятіе, въ своей полнѣйшей отвлеченности, должно было все возродить изъ собственныхъ нѣдръ. Раціонализмъ или логическая разсудочность должна была найти себѣ конечный вѣнецъ и Божественное освященіе въ новомъ созданіи цѣлаго міра. Такова была огромная задача, которую задалъ себѣ Германскій умъ въ Гегелѣ, и нельзя не удивляться той смѣлости, съ какою онъ приступилъ къ ея рѣшенію. Онъ сначала беретъ простѣйшія познанія изъ житейскаго круга и подвергаетъ ихъ суду логическаго разсудка или, лучше сказать, разсудочной діалектики. Отъ опредѣленія, которое всегда оказывается неполнымъ и неудовлетворительнымъ, восходитъ онъ къ другому высшему, надъ которымъ произносится тотъ же приговоръ, и все далѣе и далѣе, выше и выше, отъ грубо-осязаемой земли до тонкаго и невидимаго эѳира мысли, и наконецъ до безпредметнаго знанія, до совершенной пустоты, которой возможно уже только одно названіе: бытіе. Гегелизмъ пройдетъ, какъ всякое заблужденіе, и теперь уже онъ живетъ болѣе въ жизни бытовой, чѣмъ въ наукѣ; но феноменологія Гегеля останется безсмертнымъ памятникомъ неумолимо-строгой и послѣдовательной діалектики, о которомъ никогда не будутъ говорить безъ благоговѣнія имъ укрѣпленные и усовершенствованные мыслители. Изумительно только то, что до сихъ поръ никто не замѣтилъ, что это безсмертное твореніе есть рѣшительный приговоръ надъ самимъ раціонализмомъ, доказывающій его неизбѣжный исходъ.

Но Гегелю этотъ исходъ казался только началомъ творческаго возсозданія. Бытіе, лишенное всякаго опредѣленія и всякаго содержанія посредствомъ умственнаго процесса, уже совершеннаго въ феноменологіи, бытіе, ничѣмъ неотличающееся отъ небытія, въ этой самой тождественности своей

съ небытіемъ находитъ силу для новаго поступательнаго движенія или, если можно такъ выразиться, для расклубленія изнутри. Въ этомъ дѣйствіи оно переходитъ рядъ степеней осуществленія, едва ли выразимыхъ въ переводѣ (ибо онѣ связаны съ самою сущностью Нѣмецкаго языка) и доходитъ наконецъ до своего высшаго осуществленія въ духѣ. Логику Гегеля слѣдуетъ назвать *воодухотвореніе отвлеченнаго бытія* (Einvergeistigung des Seyns). Таково бы было ея полнѣйшее, кажется, никогда еще невысказанное опредѣленіе. Никогда такой страшной задачи, такого дерзкаго предпріятія не задавалъ себѣ человѣкъ. Вѣчное, самовозраждающееся твореніе изъ нѣдръ отвлеченнаго понятія, не имѣющаго въ себѣ никакой сущности. Самосильный переходъ изъ нагой возможности во всю разнообразную и разумную существенность міра. Вымыселъ миѳологіи, также какъ и мелкое отрицаніе Мефистофеля, исчезаютъ передъ этимъ дѣйствительнымъ титанствомъ человѣческаго разсудка. Гегеля называли der letzte Heros des deutschen Geistes (послѣднимъ героемъ Нѣмецкаго мышленія); его скорѣе можно назвать der letzte Titan des Verstandes (послѣднимъ Титаномъ разсудка). Но едва ли онъ самъ такъ разумѣлъ свое значеніе. Добросовѣстный фанатикъ разсудка, признаваемаго за разумъ, онъ вѣрилъ вполнѣ законности и, такъ сказать, святости своего подвига, и когда, на концѣ своего поприща, онъ въ тяжелой думѣ проговаривался: «*чего-то не достаетъ въ моей философіи*» (es fehlt doch etwas an meiner Philosophie), въ словахъ его высказывалось скорбное чувство безсилія, нисколько невозмущаемое какою-нибудь примѣсью нравственнаго самоосужденія. Его чисто-разсудочная природа, воспитанная общимъ умственнымъ трудомъ Германіи и Германскимъ Протестантствомъ, была вполнѣ права передъ собою.

Разумѣется, невозможное осталось невозможнымъ. Съ самаго перваго шага въ сопоставленіи бытія и ничего, въ этомъ *плюсъ-минусъ*, въ этой полярности или хоть двуименности есть уже извнѣ вносимая категорія, и вносимая мыслію, слѣдовательно уже сущимъ. Гегель самъ это чувствовалъ смутно и мимоходомъ признавалъ (кажется, въ началѣ отдѣла объ существенномъ—Wesen). Все предпріятіе пада-

ло въ своемъ началѣ. Такіе же скачки повторялись въ самомъ развитіи системы, въ переходѣ къ существенному, въ переходѣ отъ закона призрачности (der Schein) къ явленію (die Erscheinung), въ переходѣ отъ свободы (Freyheit) къ волѣ (Wille) и т. д.; но яснаго сознанія своей ошибки никогда не имѣлъ великій мыслитель. Для него формула всегда обусловливала явленіе *). Разсудочность опять расшибалась о свои границы. Логика Гегеля была явленіемъ безплоднымъ въ своемъ догматическомъ значеніи и рѣшительнымъ въ смыслѣ отрицанія, ибо она своею несостоятельностію разрушала вѣру въ раціонализмъ. Я думаю однако, что она еще можетъ принести плоды положительные. Стоитъ только разсматривать ее, какъ изученіе категорій, черезъ которыя духъ *сущій* стремится къ собственному самопознанію въ явленіи, и устранить нѣкоторыя непослѣдовательности, истекающія изъ первой ложной задачи, и умъ читателя обогатится многими глубокими и разумными выводами,— и люди, уже отвергнувшіе авторитетъ Гегеля, почувствуютъ, что они могутъ спокойно сознавать свое согласіе съ нимъ въ ясныя минуты его могучаго мышленія. Но этимъ самымъ уже осуждаются задача Гегеля и весь самонадѣянный раціонализмъ школы, которую онъ повершилъ и разрушилъ.

Циклъ Германской философіи совершенъ. Гегелизмъ, ея послѣдній выводъ, отвергнутъ и осужденъ всѣми тѣми, кто

*) Уже давно, въ статьѣ, еще неизданной *), высказалъ я этотъ выводъ. Примѣромъ же весьма яснымъ Гегелевой ошибки можетъ служить его объясненіе причины эллиптическаго и самовращательнаго движенія земли: онъ прямо находитъ ее въ существованіи самой формулы этого движенія. Такая запутанность въ самыхъ ясныхъ умахъ, такая нестрогость въ самыхъ строгихъ, не должны удивлять людей, знакомыхъ съ науками философскими. Въ извѣстномъ опредѣленіи времени и пространства, созданномъ Лейбницемъ и усовершенствованномъ Кантомъ: („пространство есть порядокъ явленій сосуществующихъ, а время—порядокъ явленій послѣдующихъ") развѣ уже не входитъ самое время, скрытое въ словѣ: „сосуществующихъ и послѣдующихъ?" И чѣмъ же это разнится отъ извѣстнаго вопроса: quare facit opium dormire? Можетъ быть, строже можно было выразиться: пространство есть порядокъ равноправнаго самопоставленія, время есть порядокъ причинности, перешедшій въ міръ явленій.

*) Въ вышепомѣщенной статьѣ „По поводу Гумбольдта". Изд.

сколько нибудь вѣренъ самому методу ея діалектики. Для науки философской онъ уже прошедшее; но онъ продолжаетъ существовать для науки исторической, какъ стремленіе, не вполнѣ отжитое. Всякая философія имѣетъ способность обращаться въ нѣчто похожее на вѣру, или, лучше сказать, въ какой-то предразсудокъ, принятый на слово людьми, никогда не утруждавшими головы надъ философскими построеніями. Это замѣчаніе И. В. Киреевскаго относится преимущественно къ гегелизму вслѣдствіе крайней рѣшительности его положеній, отличающихся какимъ-то особымъ характеромъ самоувѣренной власти, и вслѣдствіе «*особаго сочувствія современной образованности съ его направленіемъ*» (слова Киреевскаго). Дѣйствительно, кромѣ сочувствія нравственнаго есть съ нимъ сочувствіе во всѣхъ ложно направленныхъ умахъ, вѣрющихъ въ жизненную силу формулы помимо самой существенности. Есть, такъ сказать, скрытый, безсознательный Гегельянецъ и въ общественномъ Французикѣ, который самодовольно объявляетъ, что онъ знать не хочетъ тумановъ Германскихъ, и что ему нужна «жизнь, жизнь», какъ будто это высказанное требованіе создастъ жизнь въ немъ самомъ; и въ политическомъ доктринёрѣ, который вѣритъ, что свободныя формы возбудятъ свободный духъ; и въ добродушно-фанатическомъ соціалистѣ, который думаетъ, что знамя братства вложитъ братское сердце въ грудь человѣка; и въ естествоиспытателѣ, который, обрадовавшись ячейкѣ, надѣется подмѣтить въ этомъ особомъ законѣ сочетанія вещественныхъ атомовъ какое-то самостоятельное и почти самовольное стремленіе къ развитію въ какой угодно организмъ, хотя бы и духовный; и въ государственномъ мужѣ, который вѣритъ, что учрежденія, лишенныя всякой исторической жизни, получатъ новое развитіе въ исторіи; и въ другѣ просвѣщенія, который убѣжденъ, что образуетъ народъ, наклеивая на него внѣшнія формы образованности; и наконецъ въ историческомъ критикѣ, который, не находя понятной для себя формулы въ прошедшемъ, добродушно отрицаетъ самую жизнь прошедшаго. Но все это отживетъ. Это, такъ сказать, хвостъ, а не голова или, лучше сказать, это безсознатель-

ное гніеніе системы въ обществѣ, а не сознательная жизнь ея въ наукѣ. Школа Германская кончилась.

Многое въ разногласіи закона и явленій могло бы образумить ее еще прежде, чѣмъ она достигла своего конечнаго уличительнаго развитія; но Германскій умъ былъ слишкомъ влюбленъ въ разсудочное свое мышленіе, чтобы почувствовать ошибку, еще не вполнѣ обнаружившуюся. Когда разложеніе законовъ разума и глубокомысленное изслѣдованіе его дѣйствій открыли Кантовымъ послѣдователямъ истину, отчасти угаданную древностью, о переходѣ духа изъ первой еще неразвитой субъективности (говорю языкомъ самой школы) на степени объекта и сознанія, они должны были встрѣтить слѣдующій выводъ, истекающій изъ ихъ собственныхъ положеній. Законъ всецѣлаго безусловнаго духа не подлежитъ несовершенству вслѣдствіе своей всецѣлости. Или самое отраженіе разума въ объектѣ и сознаніи не имѣетъ смысла, или отраженіе всецѣлаго духа въ его объектѣ и самопознаніи ему соотвѣтствуетъ вполнѣ. Поэтому для него нѣтъ и не можетъ быть достиженія временнаго въ отношеніи къ самому себѣ, а существуетъ только полное и совершенное самообладаніе; поступленіе же и развитіе являются только какъ принадлежности частнаго духа или частнаго явленія духа, каковъ человѣкъ. Дѣйствительно, человѣкъ ни въ какое мгновеніе своего существованія не является, какъ сущій, но только какъ стремящійся быть. Это-то стремленіе и составляетъ внутреннюю жизнь человѣка: остановка стремленія есть внутренняя смерть. Но всѣ эти феномены частнаго совершенно чужды всецѣлому. Точно такой же выводъ, и еще полнѣйшій, и еще далѣе отходящій отъ тѣсныхъ предѣловъ раціонализма, выходитъ изъ другой области, въ которой особенно замѣтна слабость Германской школы, но которая не могла не обратить на себя ея вниманія. Я говорю о развитіи нравственномъ. Кантъ поставилъ, какъ законъ нравственный, совершенно вѣрное положеніе: «ты долженъ, потому что можешь» (du sollst, weil du kannst). Гегель поставилъ новое положеніе также вѣрно: «ты долженъ, потому что не можешь» (du sollst, weil du kannst nicht). Опять тоже противорѣчіе между закономъ общаго

и закономъ частнаго, объяснимое только изъ самаго свойства человѣка, какъ явленія частнаго и слѣдовательно ненаходящаго въ себѣ полноты ни въ чемъ. Полнота и совершенство есть самый законъ; по человѣку возможно только стремленіе безъ достиженія. Стремясь выступить изъ своихъ границъ (ибо въ немъ присущъ законъ духа, который есть всецѣлая полнота), онъ встрѣчаетъ подобныя ему, частныя же явленія и ими же пополняетъ свою собственную ограниченность; но это пополненіе невозможно, покуда они ему внѣшни. Онъ долженъ ихъ усвоить, не перенося ихъ въ себя (что̀ опять невозможно, потому что власть онъ имѣетъ только надъ собою), а переносясь въ нихъ нравственною силою искренней любви. Потому всякая искренняя, самозабывающая себя любовь есть пріобрѣтеніе, и чѣмъ шире ея область, чѣмъ полнѣе она выноситъ человѣка изъ его предѣловъ, тѣмъ богаче становится онъ внутри себя. Въ жертвѣ, въ самозабвеніи находитъ онъ преизбытокъ расширяющейся жизни, и въ этомъ преизбыткѣ самъ свѣтлѣетъ, торжествуетъ и радуется. Останавливается ли его стремленіе, утрачиваетъ ли онъ пріобрѣтенное (наперекоръ присущему въ немъ закону), онъ скудѣетъ, онъ все болѣе и болѣе сжимается въ тѣсные предѣлы, наконецъ онъ заключается въ самаго себя, какъ въ гробъ, который ему противенъ и ненавистенъ и изъ котораго онъ выйти не можетъ, потому что не хочетъ. Не то ли было намъ свыше названо вѣчною смертью?

Таковы нѣкоторые изъ тѣхъ выводовъ, которые могли для Германской школы истекать естественно изъ противоположенія всецѣлаго духа и частныхъ духовныхъ явленій; но она шла мимо ихъ безъ вниманія, погруженная въ безграничное пристрастіе къ разсудочному мышленію; и такова одна изъ причинъ, почему она принесла такъ мало добрыхъ плодовъ и даже отчасти имѣла такое дурное вліяніе въ области нравственной.

Но гдѣ же область, въ которой она дѣйствительно была плодотворна, и какая мѣра ея заслуги? Вотъ вопросъ. И теперь, когда философія разсудочная остановилась, уличенная сама собою, когда вѣра въ нее пропала, есть ли дѣйствительно возможность философіи иной, высшей, фило-

софіи разумной? Этотъ новый вопросъ истекаетъ изъ перваго.

Самое паденіе Германской школы есть ея величайшее торжество. Она пала не отъ истощенія своихъ дѣятелей, могущихъ до конца, не отъ ослабленія вниманія въ обществѣ, которое за нею слѣдило съ постояннымъ и почти суевѣрнымъ вниманіемъ, не отъ распаденія на мелкіе расколы, порожденные шаткостью и темнотою положеній, выведенныхъ главными учителями; она не была вытѣснена новымъ ученіемъ, возставшимъ въ силѣ:—нѣтъ. Она одна изо всѣхъ философскихъ школъ совершила свой путь вполнѣ, строгая до послѣдняго вывода. Она остановилась и пала только передъ невозможнымъ, передъ возстановленіемъ или, лучше сказать, передъ возсозданіемъ сущаго изъ отвлеченнаго закона. Ей принадлежатъ неотъемлемая и безсмертная слава въ исторіи науки. Кругъ отвлеченнаго, чисторазсудочнаго мышленія ею обойденъ и очерченъ, законы его опредѣлены строго и отчетливо, и опредѣлены для всего человѣчества и для всѣхъ временъ. Нѣтъ мыслителя, который могъ бы говорить объ ней иначе, какъ съ благоговѣйною признательностію, и счастливыми назовемъ мы тѣхъ людей, которые закалили свои діалектическія силы въ холодныхъ, но крѣпкихъ струяхъ Кантовскаго ученія.

Школа совершила свой путь, она уже перешла въ область прошедшаго, и всякая попытка продолжить ея существованіе или дѣятельность въ прежнемъ направленіи была бы безплодна и неразумна. Отъ того-то и послѣдователи Гегеля, въ одно время суевѣрные поклонники его выводовъ и невѣрные его методу, котораго строгость обличила бы ихъ внутреннія противорѣчія, уже получили въ самой Германіи насмѣшливое прозвище Гегелинговъ (Гегеличей или Гегелятъ) и стали въ отношеніи къ своему учителю почти тѣмъ же, чѣмъ были схоластики въ отношеніи къ Аристотелю. Это уже не школа.—Но въ чемъ же состояла односторонность и, слѣдовательно, ограниченность самой школы? Отвѣтъ уже сдѣланъ. Она состояла въ томъ, что философія разсудка считала себя философіею разума, а И. В. Киреевскій выразилъ этотъ выводъ еще яснѣе, сказавъ, что ей была доступна только

истина возможнаго, а не дѣйствительнаго, или иначе, законъ, а не міръ, въ которомъ законъ проявляется.

Діалектика познанія вполнѣ соотвѣтствуетъ логикѣ познаваемаго: онѣ тождественны, но въ тоже время между ними великое различіе. Вопервыхъ, проходя одну и туже линію, онѣ проходятъ ее въ обратномъ другъ другу направленіи [1]); вовторыхъ самому познанію, т. е. знанію отвлеченному, разсудочному, въ предметѣ доступенъ только его законъ, а не дѣйствительность его. Знаніе, противупоставляясь познаваемому, ставитъ его въ отрицательномъ отношеніи къ себѣ; но всякое отрицаніе, въ философскомъ смыслѣ [2]), ставитъ отрицаемое уже какъ только возможное, а не дѣйствительно-сущее, оставляя дѣйствительность за самимъ собою. Оно есть переводъ дѣйствительнаго въ область возможнаго, въ законъ. Знаніе въ разсудочной философіи Германіи утверждаетъ за собою дѣйствительность, а міръ является ему только, какъ возможность, какъ отвлеченный законъ; и это относится не къ познанію міра внѣшняго только, нѣтъ: оно относится точно также къ міру внутреннему, къ духу, познаваемому самимъ собою. Въ немъ познаніе самого себя является въ смыслѣ положительнаго, сущаго, а самый духъ и всѣ его прочія силы являются уже въ отрицаніи. Путь развитія извращенъ; ибо въ дѣйствительности логически-познаваемое предшествуетъ познанію (разумѣется, не силѣ познавательной), и возстановленіе закона дѣйствительности совершенно невозможно; ибо это возстановленіе должно бы опять происходить путемъ діалектическимъ, т. е. такимъ дѣйствіемъ мысли, которое по необходимости отрицаетъ всякую дѣйствительность, кромѣ своей собственной [3]). Мы можемъ сказать, что мы пережили Нѣмецкую философію, ибо поняли ея односторонность не смутнымъ пониманіемъ неудовлетвореннаго духа, но яснымъ сознаніемъ разума. Діалекти-

---

[1]) Діалектически: я познаю предметъ,—и поэтому онъ существуетъ. Логически: предметъ существуетъ,—и поэтому я его познаю.

[2]) Слово отрицаніе принято въ смыслѣ противупоставленія я—не я.

[3]) Объ этомъ предметѣ и объ извращеніи развитія понятій (особенно въ Гегелевомъ приложеніи къ исторіи) говорилъ я въ двухъ еще неизданныхъ статьяхъ (См. выше. И з д.).

ческое развитіе Кантовой школы не отражаетъ вполнѣ познаваемаго (объекта), ибо отражаетъ его безъ его дѣйствительности. Она не только не есть философія всецѣлаго разума, но она даже и не есть философія проявленнаго (объектированнаго) разума; ее должно признать наукою діалектическаго разсудка (аналитическаго разума), и въ этомъ смыслѣ она есть великій и безсмертный памятникъ человѣческаго генія *).

И такъ, познаваемое не отражается вполнѣ въ той сферѣ, которая одна изслѣдована философіею, т. е. въ разсудочномъ познаніи, ибо она отражается безъ своей дѣйствительности, какъ отвлеченное; но самое познаваемое въ своей полной дѣйствительности есть ли образъ духа, переходящаго къ самопознанію? Безъ сомнѣнія такъ, если законъ духовнаго развитія вѣрно понятъ: ибо кого бы познавалъ духъ, если бы онъ не познавалъ себя на степени предмета для собственнаго мышленія? Если онъ только частью переходитъ въ образъ, то онъ уже не онъ, — и образуетъ не себя, и познаетъ не себя. Слѣдовательно по закону познаваемое въ своей полнотѣ есть полный образъ духа. Но въ дѣйствительности человѣческой не то. Мы видѣли, что духъ познаваемый не переходитъ вполнѣ въ отрѣшенное познаніе (въ чемъ впрочемъ ежедневный опытъ убѣждаетъ всякаго внимательнаго наблюдателя); мы чувствуемъ, что мы сами не вполнѣ переходимъ на степень познаваемаго (объекта). Это ясно всякому, — яснѣе художнику. Но, устраняя всякіе доводы, подверженные болѣе или менѣе разумному сомнѣ-

*) Она въ этомъ отношеніи сближается по преимуществу съ алгеброю и съ чистою математикою вообще, въ которой законъ количественности исключаетъ всякую дѣйствительность вещественную, ибо во всякомъ приложеніи ариѳметики, даже самомъ простомъ, одинъ изъ факторовъ принимается за чистое проявленіе количественнаго закона (рубль не множится на аршины, или обратно, но на количество). Впрочемъ тоже самое замѣтимъ мы и во всякомъ опредѣленіи, вслѣдствіе его отрицательнаго характера. Мы понимаемъ, что никакой законъ частный не можетъ проявиться самъ собою внѣ сущаго или данной (напр. кругъ внѣ размѣра), но инымъ кажется, что все сочетаніе частныхъ законовъ, законъ въ своей общности, можетъ проявиться самъ изъ себя. Они не понимаютъ, что отношеніе остается тоже между закономъ и проявленіемъ. Они обусловлены сущимъ, изъ котораго возникаетъ данная, износящая съ собою свой законъ.

нію. мы остановимся только на одной силѣ духа или разума — волѣ. Отрицать ее, какъ неотъемлемую принадлежность разума, невозможно. Ея логическую необходимость поймутъ всѣмъ, кто вникъ въ идею силы, какъ общаго, какъ *понятія*; а мы должны прибавить, что она ясно выведена Гегелемъ въ отдѣленіи о самоотрицающемся отрицаніи (Negation der Negation). Правда онъ ее понялъ, какъ *свойство*, и слѣдовательно только какъ возможность обо такомъ свойствѣ и такова сфера его мышленія: но свобода въ мышленіи *проявленія силы есть воля*.

Теперь спрашивается: воля, присущая силѣ разума, переходитъ ли какъ-нибудь на степень предмета мышленія или объекта? Никогда. Всякая мысль, вступая въ міръ явленій, вступаетъ въ тоже время въ область необходимости и уже не представляетъ никакихъ проявленій воли. Воля сама не переходитъ въ образъ мышленія. Дѣйствительно, пусть человѣкъ задумаетъ въ себѣ или сдѣлаетъ простую задачу, хотя легкое движеніе тѣла, повороть головы направо или налѣво, поднять или опустить руки. До исполненія онъ чувствуетъ себя свободнымъ: онъ чувствуетъ, что воля его рѣшитъ, совершить ли онъ движеніе и въ какомъ именно направленіи. Исполнено ли движеніе, — гдѣ тутъ слѣды воли? По какимъ признакамъ узнаетъ разсудочное познаніе ея присутствіе? Самъ человѣкъ стоитъ въ недоумѣніи передъ собою съ подобнымъ вопросомъ,—не бѣдность ли это выборъ тѣлесныхъ необходимостей? Воля для человѣка принадлежитъ области *непознаваемаго*. Между тѣмъ философія до сихъ поръ только отражала предметъ въ разсудочномъ знаніи, и если въ ней усмотрѣли (какъ мы сказали) самую дѣйствительность предмета, не перехожденія въ ея знаніе, тѣмъ болѣе была ей дана возможность, не переходящая въ предметъ, образъ сдѣлавшейся вещественной силы и воли. Что такое и сдѣлалось въ Германской философіи разумѣнія, и тѣмъ сдѣлать [illegible] [illegible] дѣйствительности, а въ [illegible] [illegible] [illegible]

даже совершенно чуждо ему, но неизбѣжно вызывается потребностями разума и умственною совѣстью человѣка *).

Между тѣмъ, кромѣ ея важности или, лучше сказать, вседержавности въ области нравственныхъ понятій, воля дѣйствительно занимаетъ мѣсто равное самому разсудку въ опредѣленіи всѣхъ нашихъ понятій. Не нужно доказывать уже извѣстную истину, что человѣку доступно только измѣненіе его самопознанія; что внѣшнее вмѣщается въ него только, во сколько оно принято въ вѣдѣніе мысли (ибо самое ощущеніе есть только *сознаніе впечатлѣнія*); что, наконецъ, весь міръ есть для него такой же предметъ, такое же познаваемое (объектъ), какъ и самоявленія его внутренняго существа, его *я*. На этомъ остановилась Германія. Одинъ предметъ, одно познаваемое. — Однакоже, какая бы ни была живость воображенія, представляющаго предметъ и ощущенія, отъ него происходящія, опѣшившій профессоръ не запрягаетъ воображаемаго коня въ воображаемую колясочку и не старается пить воображаемое пиво изъ воображаемой кружки. Боленъ ли человѣкъ, и получили ли уже отзвуки внѣшняго міра внутри человѣка ту независимость отъ самого человѣка, которой они не имѣютъ въ его здравомъ состояніи, — глядите, — онъ шевелитъ руками, запрягая призракъ лошади въ призракъ повозки, и жадно несетъ ко рту мнимый сосудъ. Воля въ здоровомъ состояніи отдѣляетъ самозданный предметъ отъ внѣшнаго міра; отсутствіе ея или безсознательность въ больномъ уничтожаетъ границы для самаго разумѣнія и сливаетъ образы внутренняго и образы внѣшняго въ одно хаотическое безобразіе. Предметъ внѣшній непокоренъ волѣ; предметъ внутренній ею зарождается или ею управляется, когда онъ есть невольный отзвукъ внѣшняго. Воля кладетъ на него свою печать, и если этой печати нѣтъ, предметъ мысли обращается въ призракъ, въ фантазмъ или въ то, что̀ мы называемъ видѣніемъ по преимуществу. Всякій предметъ, всякое познаваемое (въ качествѣ познаваемаго) одинаковы, всѣ поступаютъ въ человѣческое *я*, а за всѣмъ

*) Такова у Гегеля подставка воли вмѣсто свободы, подготовленная нѣсколькими предварительными пріемами софизма.

тѣмъ отношенія ихъ къ личному разумѣнію различны. Воля опредѣляетъ иныя, какъ *я и отъ меня*, другія, какъ *я, но не отъ меня*, обличая различіе первоначалъ, отъ которыхъ истекаетъ существованіе или измѣненіе самихъ познаваемыхъ предметовъ. Такъ воля сопровождаетъ каждое понятіе; такъ она обличаетъ первоначало, которое предшествуетъ явленію; такъ она, и она одна, ограничиваетъ дѣйствительные предѣлы личности. Правда, что хотя существованіе воли, какъ силы, неподвержено никакому сомнѣнію, существованіе ея, какъ силы свободной (въ лицѣ) не такъ явно. Многіе готовы ее признать за простое отношеніе частнаго центра къ силамъ общей периферіи, незамѣтно на него воздѣйствующей. Сомнѣніе это, такъ же какъ сомнѣніе разума въ самомъ себѣ (уничтоженное Кантомъ) существуетъ не на дѣлѣ, а только на словахъ. Точно такъ же, какъ сомнѣніе разума въ самомъ себѣ дѣйствительно невозможно вслѣдствіе всей сферы разумныхъ дѣйствій, къ которымъ оно само принадлежитъ; точно также и сомнѣніе въ волѣ невозможно для разума, вслѣдствіе всей сферы нравственныхъ сознаній, которая обусловлена сознаніемъ свободной воли и безъ него *не могла бы существовать для разума даже въ смыслѣ призрака, или фантазіи, или категоріи*. Мнимое же и на словахъ высказываемое сомнѣніе объясняется, во-первыхъ, тѣмъ, что свободная воля, какъ до-предметная сила мысли, никогда не можетъ перейти въ предметъ, познаваемый діалектическимъ разсудкомъ; во-вторыхъ потому, что она въ человѣкѣ неполна и несовершенна, какъ самый разумъ, и что частное (человѣкъ) только стремится волить, какъ оно стремится разумѣть; ибо оно само есть только стремленіе, а не бытіе въ смыслѣ сущаго.

Низшее разсудочное не обнаружило дѣйствительности высшаго: высшее не сообщило первоначала и разумѣ отъ себя, и самодѣятельно низшее можетъ [illegible] [illegible] даже и отличительно; а между тѣмъ мы говоримъ про эту дѣйствительность, про эти непреложныя силы и слѣдовательно законъ ихъ. Какое же это [illegible], которое не есть законъ разумный? Что не имѣетъ самостоятельности, отдѣленной отъ дѣйствительности понятія-

маго, но за то оно проникнуто всею его дѣйствительностію и разумѣетъ самую связь этой дѣйствительности съ дѣйствительностію еще непроявленнаго первоначала; оно бьется всѣми біеніями жизни, принимая отъ нея все ея разнообразіе, и само проникаетъ ее своимъ смысломъ; оно самаго себя и своихъ законовъ не доказываетъ; оно въ себѣ не сомнѣвается и сомнѣваться не можетъ; въ непроявленномъ оно чувствуетъ возможность проявленія; а въ проявляемомъ узнаётъ вѣрность и законность проявленія въ отношеніи къ первоначалу; оно не похищаетъ области разсудка, но оно снабжаетъ разсудокъ всѣми данными для его самостоятельнаго дѣйствія и взаимно обогащается всѣмъ его богатствомъ; наконецъ — оно знаніе живое въ высшей степени и въ высшей степени неотразимое. Это еще не всецѣлый разумъ, ибо разумъ въ своей всецѣлости объемлетъ сверхъ того всю область разсудка; это то, что̀ въ Германской философіи является иногда подъ весьма неопредѣленнымъ выраженіемъ непосредственнаго знанія (das unmittelbare Wissen), то, что̀ можно назвать знаніемъ внутреннимъ, но что̀ по преобладающему характеру всей области слѣдуетъ назвать вѣрою. Разумъ живъ воспріятіемъ явленія въ вѣрѣ и, отрѣшаясь, самовоздѣйствуетъ на себя въ разсудкѣ; разумъ отражаетъ жизнь познаваемаго въ жизни вѣры, а логику его законовъ—въ діалектикѣ разсудка *).

Слѣпорожденный человѣкъ пріобрѣтаетъ познанія; онъ въ полномъ кругѣ наукъ встрѣчается съ оптикою, изучаетъ ее, постигаетъ ея законы, остроумно характеризуетъ нѣкоторыя ея явленія (сравнивая, напр., яркій багрянецъ съ звукомъ трубы), даже, можетъ быть, обогащаетъ ее нѣкоторыми новыми выводами; а дворникъ ученаго слѣпца видитъ. Кто же изъ нихъ лучше знаетъ свѣтъ? Ученый знаетъ его законы, но эти законы могутъ быть сходны съ законами другихъ силъ; быть можетъ, найдется даже сила,

*) Въ числѣ многихъ причинъ, почему слово „вѣра“ никогда не занимало никакого мѣста въ Нѣмецкихъ философіяхъ, можно, кажется, полагать слабость самаго слова glauben. Это что-то среднее между вѣрю и мню. Безконечно воздѣйствіе слова на мысль. Это одно изъ проявленій умственной опеки народа надъ человѣкомъ.

подчиненная самому характеристическому изо всѣхъ закону интерференцій; но кто же знаетъ что-нибудь подобное самому свѣту? Зрячій дворникъ знаетъ его; а ученый слѣпецъ не имѣетъ даже понятія о немъ, да и все то, что знаетъ объ его законахъ, знаетъ онъ только изъ данныхъ, полученныхъ отъ зрячаго. Тоже самое, что мы видимъ въ сопоставленіи двухъ лицъ, происходитъ въ каждомъ человѣкѣ въ сопоставленіи знанія непосредственнаго отъ вѣры съ знаніемъ отвлеченнымъ отъ разсудка. Это непосредственное, живое и безусловное знаніе, эта вѣра есть, такъ сказать, зрячесть разума.

Нашъ незабвенный Киреевскій указалъ на тѣ историческія причины, по которымъ область разсудка сдѣлалась предметомъ исключительнаго изученія въ новѣйшей философіи. Эта область въ ея полной отвлеченности одинаково доступна, сказалъ онъ, всякой отдѣльной личности, каковы бы ни были ея внутренняя высота и устроеніе. Разумѣется, онъ не думалъ утверждать, чтобы способности разсудочныя были одинаково развиты у всѣхъ людей. Онъ зналъ, что иной умъ движется также легко и свободно въ запутаннѣйшей и многосложнѣйшей сѣти діалектическихъ построеній, какъ въ простомъ обиходномъ разговорѣ, между тѣмъ какъ другой въ потѣ лица еле можетъ карабкаться по лѣстницѣ простѣйшихъ силлогизмовъ; но онъ былъ правъ, признавая въ истинѣ разсудочной одинакую для всѣхъ доступность и обязательность, ибо доступность не есть легкость, а только возможность добыванія. Такъ законы нравственности, красоты, жизненнаго сознанія, по ихъ безконечному разнообразію, во многомъ вовсе недоступны для многихъ и въ своей цѣлости конечно недоступны никому, между тѣмъ какъ законы чистой математики доступны и неотразимы для всѣхъ (какъ бы горько ни доставалось ихъ изученіе въ иныхъ случаяхъ), а всѣ формулы діалектическаго разсудка въ этомъ отношеніи сходствуютъ съ чистою математикою. «Совокупленіе всѣхъ познавательныхъ способностей въ одну силу, внутренняя цѣльность ума, необходимая для сознанія цѣльной истины, не могутъ быть достояніемъ всѣхъ» (слова Киреевскаго). Личные разумы

разнствуютъ другъ отъ друга не столько по степени ихъ разсудочности, сколько по степени зрячести.

Категорія логическихъ отношеній, — область разсудка, — крайне скудна и однообразна; явленія жизни духовной и умственной безконечны въ своемъ многообразіи и также, какъ въ мірѣ физическомъ, органы чувствъ, для правильнаго и полнаго отправленія своего дѣла, должны быть согласны съ общими законами природы не только въ формѣ и геометрическомъ очертаніи, но и во всемъ своемъ химическомъ составѣ и динамическомъ строѣ, и различествуютъ въ разныхъ лицахъ сравнительнымъ совершенствомъ: такъ и въ мірѣ умственномъ и духовномъ, для разумѣнія истины, самый разсудокъ долженъ быть согласенъ со всѣми законами духовнаго міра, не только въ отношеніи къ логическому устроенію, но и въ отношеніи ко всѣмъ своимъ внутреннимъ живымъ силамъ и способностямъ. Поэтому степени разумѣнія безконечны; но за то и задача высшаго разума для сообщенія другимъ своихъ пріобрѣтеній крайне трудна, потому что (говоря словами Киреевскаго) «всѣ системы мышленія, исходящія изъ низшихъ степеней, понятны тому, кто стоитъ на высшей степени и видитъ ихъ ограниченность; но для мышленія, стоящаго на низшей степени, высшая непонятна и предстявляется неразуміемъ». Въ жизни бытовой опытъ убѣждаетъ близорукаго и оправдываетъ передъ нимъ дальнозоркаго, котораго онъ безъ того считалъ бы лгуномъ; не такъ въ жизни умственной, особенно въ ея высшихъ развитіяхъ; опытъ или вовсе, или почти, невозможенъ; а когда онъ и является на дѣлѣ, обыкновенно случается, что самодовольный близорукій успѣлъ уже умереть со всѣмъ своимъ поколѣніемъ, прежде чѣмъ историческое развитіе человѣчества оправдало его дальнозоркаго современника.

И такъ, для постиженія разумной цѣлости сущаго, для пониманія его истинной и живой дѣйствительности, для ощущенія до-предметнаго движенія всесущей мысли, наконецъ, для воспріятія всего того, что̀, разъ принятое, опредѣляется сознаніемъ воли, какъ *я*, *но не отъ меня*, необходимъ разумъ, согласный съ законами всего разумно-сущаго не толь-

ко въ отношеніи къ діалектическому разсудку, но и въ отношеніи ко всѣмъ живымъ и нравственнымъ силамъ духа. Ибо то, что̀ мы показали примѣромъ, взятымъ изъ міра вещественнаго, относится также строго и несомнѣнно къ міру явленій духовныхъ, и человѣкъ точно также можетъ понимать всѣ законы какаго бы то ни было нравственнаго побужденія (скажемъ, любви), не постигая нисколько самой дѣйствительности этого побужденія — любви, и оставаясь слѣпымъ оптикомъ разумно-духовнаго міра. Поэтому всѣ глубочайшія истины мысли, вся высшая правда вольнаго стремленія доступны только разуму, внутри себя устроенному въ полномъ нравственномъ согласіи съ всесущимъ разумомъ, и ему одному открыты невидимыя тайны вещей Божескихъ и человѣческихъ. Это полнѣйшее развитіе внутренняго знанія и разумной зрячести было названо вѣрою по преимуществу и опредѣлено съ изумительною строгостію величайшимъ изъ богоозаренныхъ мыслителей Церкви, который въ тоже время призналъ, что оно не есть еще окончательное развитіе всецѣлаго разума (невозможное при земномъ несовершенствѣ), а только видѣніе какъ бы отражаемаго въ зеркалѣ. И мы сохранимъ это названіе той высшей степени, которая уже такъ названа, и оставимъ названіе знанія внутренняго, можетъ быть *живознанія*, нижнимъ ступенямъ, помня, однакоже, что вся лѣстница получаетъ свою характеристику отъ высшей степени — вѣры; помня также, что она не похищаетъ области разсудка, но своею самостоятельностію охраняетъ его свободу и въ тоже время обогащаетъ его анализъ безконечнымъ богатствомъ данныхъ, пріобрѣтаемыхъ ея ясновидѣніемъ *).

Уразумѣвъ, что только внутреннее, нравственное согласіе со всемірными законами расширяетъ область вѣдѣнія и возноситъ мысль до возможной для нея высоты, мы уже должны изучить самые эти законы, дабы съ ними согласовать строй собственнаго духа. Путь намъ издревле сказанъ, тотъ

---

*) Это различіе знанія внутренняго или живаго и, такъ сказать, внѣшняго или формальнаго, ясно обозначено въ нѣкоторыхъ произведеніяхъ православной словесности.

живой путь, который самъ ведетъ человѣка впередъ къ его высшей цѣли. Изъ всемірныхъ законовъ волящаго разума или разумѣющей воли (ибо таково опредѣленіе самого духа) первымъ, высшимъ, совершеннѣйшимъ является неискаженной душѣ законъ любви. Слѣдовательно, согласіе съ нимъ по преимуществу можетъ укрѣпить и расширить наше мысленное зрѣніе, и ему должны мы покорять, и по его строю настроивать упорное нестройство нашихъ умственныхъ силъ. Только при совершеніи этого подвига можемъ мы надѣяться на полнѣйшее развитіе разума. Конечно, философскія науки при этомъ воззрѣніи кажутся менѣе опредѣленными, менѣе доступными, чѣмъ при прежнемъ понятіи объ нихъ; но за то онѣ дѣйствительно становятся разнообразнѣе, богаче и плодотворнѣе: ибо по опредѣленію, данному Киреевскимъ, сама «философія есть не что иное, какъ переходное движеніе человѣческаго разума отъ области вѣры въ многообразное приложеніе мысли бытовой».

Мы сказали, что изо всѣхъ законовъ нравственнаго міра, по которымъ разумъ долженъ строиться, чтобы получить вѣдѣніе, первымъ и высшимъ является любовь; она по преимуществу необходима для разумнаго развитія. Это положеніе само по себѣ уже богато послѣдствіями. Любовь не есть стремленіе одинаковое: она требуетъ, находитъ, творитъ отзвуки и общеніе, и сама въ отзвукахъ и общеніи растетъ, крѣпнетъ и совершенствуется. И такъ, общеніе любви не только полезно, но вполнѣ необходимо для постиженія истины, и постиженіе истины на ней зиждется и безъ нея невозможно. Недоступная для отдѣльнаго мышленія, истина доступна только совокупности мышленій, связанныхъ любовію. Эта черта рѣзко отдѣляетъ ученіе Православное отъ всѣхъ остальныхъ: отъ Латинства, стоящаго на внѣшнемъ авторитетѣ, и отъ Протестантства, отрѣшающаго личность до свободы въ пустыняхъ разсудочной отвлеченности. То, что̀ сказано о высшей истинѣ, относится и къ философіи. По-видимому — достиженіе немногихъ, она дѣйствительно твореніе и достояніе всѣхъ.

Такъ видимъ мы, что философское мышленіе строгими выводами возвращается къ незыблемымъ истинамъ вѣры, и

разумность Церкви является высшею возможностью разумности человѣческой, не стѣсняя ея самобытнаго развитія; такъ оправдывается отдѣльная замѣтка Киреевскаго, что «истинныя убѣжденія благодѣтельны и сильны только въ совокупности и въ разработкѣ общественнаго самосознанія»; такъ, наконецъ, науки философскія, понятыя во всемъ ихъ живомъ объемѣ, по необходимости отправляясь отъ вѣры и возвращаясь къ ней, въ тоже время даютъ разсудку свободу, внутреннему знанію силу и жизни полноту.

Задача моя была: уяснить то ученіе, къ которому принадлежалъ покойный И. В. Киреевскій и, сколько могъ, я исполнилъ ее. Счастливъ, если ознакомилъ читателя съ мыслями, которыя до сихъ поръ еще не были выражены, и если мнѣ удалось быть справедливымъ къ памяти незабвеннаго дѣятеля, остановленнаго смертію на срединѣ своихъ краснорѣчивыхъ поученій.

О СОВРЕМЕННЫХЪ ЯВЛЕНІЯХЪ

ВЪ ОБЛАСТИ ФИЛОСОФІИ.

О современныхъ явленіяхъ въ области философіи.

Письмо къ Ю. Ѳ. Самарину *).

Давно уже, любезный Юрій Ѳедоровичъ, обѣщалъ я вамъ написать письмо о современныхъ явленіяхъ въ области философіи и, по своему обыкновенію, откладывалъ со дня на день исполненіе своего обѣщанія, надѣясь на скорое свиданіе и предпочитая слово устное письменному. Теперь вы надолго отъ насъ удалились, и по неволѣ приходится браться за перо. Но кстати ли зазывать васъ въ область отвлеченностей, когда вы работаете въ области практической, и позволительно ли даже приглашать васъ на тяжелый трудъ философскаго мышленія, когда вы и безъ того несете нелегкій трудъ безконечныхъ соображеній, толкованій и преній, какъ дѣятель въ разрѣшеніи современнѣйшаго изъ всѣхъ нашихъ вопросовъ?

Я было и призадумался къ вамъ писать, какъ вдругъ случайно попалъ въ Шеллингѣ на слѣдующія слова: «Счастливы государства, гдѣ люди зрѣлые и богатые положительными знаніями постоянно возвращаются къ философіи, чтобы освѣжать и обновлять духъ свой и пребывать въ постоянной связи съ тѣми всеобщими началами, которыя дѣйствительно управляютъ міромъ и связуютъ какъ бы въ неразрывныхъ узахъ всѣ явленія природы и мысли человѣческой. Только отъ частаго обращенія души къ этимъ общимъ началамъ образуются мужи въ полномъ смыслѣ слова,— способные всегда становиться передъ проломомъ и не пу-

*) Напечатано въ Русской Бесѣдѣ 1859 г кн. I.

гаться никакаго явленія, какъ бы грозно оно ни казалось, и вовсе неспособные положить оружіе передъ мелочностью и невѣжествомъ, даже тогда, когда (какъ нерѣдко бываетъ) многолѣтняя общественная вялость позволила крайне-посредственнымъ людямъ возвыситься и крайне-невѣжественнымъ сдѣлаться вожаками общества». Эти слова разсѣяли мои сомнѣнія. Дѣйствительно, чѣмъ многообразнѣе и утомительнѣе ваши занятія въ мірѣ практическомъ, тѣмъ полезнѣе, можетъ быть, освѣжать душу напряженіемъ мысли въ другомъ направленіи, тѣмъ необходимѣе обновлять силы духа погруженіемъ его въ оживительную и укрѣпляющую среду безстрастныхъ и отвлеченныхъ созерцаній. Какъ бы ни былъ человѣкъ крѣпокъ, ему часто нужно сосредоточиваться, дабы не растрачивать своей крѣпости: нужно, чтобы душевныя способности, разсѣевающіяся въ жизненной борьбѣ, какъ воины въ продолжительномъ бою, были часто возвращаемы, какъ будто трубнымъ звукомъ, въ твердый и правильный строй вокругъ центральныхъ силъ нашего богообразнаго разума.

Васъ я смѣло могу приглашать на крутыя высоты философскаго мышленія. Альпійскій охотникъ съ раннихъ лѣтъ, вы вспомните съ удовольствіемъ прежніе года. Не со всѣми было бы тоже. Строгіе уступы этой горы и рѣзкій воздухъ ея вершинъ большей части нашихъ соотечественниковъ не внушаютъ никакихъ другихъ чувствъ, кромѣ головокруженія и тоски, какъ всходъ на Монъ-Бланъ. Грустно сказать, а должно признаться: мы слишкомъ непривычны къ требованіямъ философской мысли. Молодежь, непокорившая ума своего законамъ методическаго развитія, переходитъ у насъ въ совершенный возрастъ, вовсе неспособною къ правильному сужденію о вопросахъ сколько нибудь отвлеченныхъ, и этой неспособности должно приписать многія нерадостныя явленія въ нашей жизни и въ нашей словесности. Самая полемика у насъ не приноситъ по большей части той пользы, которой слѣдовало бы отъ нея ожидать. Вы доказали своему противнику нелогичность его положеній или выводовъ: чтожъ? убѣдили вы его? Нисколько. Онъ отъ себя логичности и не требовалъ никогда. Убѣдили вы по крайней мѣрѣ читателя? Нисколько. И тому нѣтъ дѣла

до логики: онъ ея не требуетъ не отъ себя, ни отъ другихъ; а разумѣется, чего не требуешь отъ себя въ мысли, того не потребуешь отъ себя и въ жизни. Вялая распущенность будетъ характеристикою и той и другой. Конечно, многіе полагаютъ, что философія и привычки мысли, отъ нея пріобрѣтаемыя, пригодны только (если къ чему нибудь пригодны, въ чемъ опять многіе сомнѣваются) къ спеціальнымъ занятіямъ вопросами отвлеченными и въ области отвлеченной. Никому въ голову не приходитъ, что самая практическая жизнь есть только осуществленіе отвлеченныхъ понятій (болѣе или менѣе сознанныхъ) и что самый практическій вопросъ содержитъ въ себѣ весьма часто отвлеченное зерно, доступное философскому опредѣленію, приводящему къ правильному разрѣшенію самаго вопроса. Это мы видѣли недавно по случаю спора *объ общинѣ*. Между ея противниками явились такіе, которые, нападая на нее, требовали ея уничтоженія, во имя человѣческой свободы, и значительная часть публики имъ сочувствовала. Добро бы это случилось въ то время, когда насъ увѣряли, что Русскій міръ созданъ неизвѣстно когда-то и кѣмъ-то, и какими-то административными мѣрами, помимо Русской жизни; но нѣтъ: это уже дѣло поконченное изслѣдованіями и особенно свидѣтельствами, доставленными г. Иванишевымъ изъ Южной Руси. Міръ признанъ тѣмъ, что онъ и есть, созданіемъ нравственной свободы Русскаго народа, и онъ-то долженъ быть уничтоженъ въ пользу личнаго произвола. Полюбуйтесь на эту великолѣпную логику! Свобода есть еще только возможность силы (воли); ея первое безусловное проявленіе есть произволъ, ея освященіе заключается въ ея самоопредѣленіи, какъ начала разумнаго и нравственнаго. И такъ, по новому правилу выходитъ, что должно жертвовать полнымъ проявленіемъ въ пользу возможности будущаго, безусловнаго проявленія; однимъ словомъ, должно уничтожать созданія свободы, задавая ей постоянный запросъ: «Ну-ка, начни снова! Такъ ли ты опять создашь, какъ создала?» Безспорно, дѣло, созданное нравственною свободою народа, не должно ограждать Китайскою стѣною административныхъ учрежденій, точно такъ же, какъ не должно охватывать желѣзными

обручами растущее дерево или вколачивать ему въ сердцевину желѣзный колъ, чтобы вѣтромъ не качалс это было бы безразсудно. Свобода, которую уважаемъ въ прошедшемъ, должна быть уважаема и въ будущемъ. Ей должно быть дано право измѣнять, стѣснять или расширять формы своего проявленія; но, въ пользу ея возможности, разрушать ея сферы было бы чистою и полною нелѣпостію. Пусть противъ общины ратуютъ по хозяйственнымъ и другимъ такаго рода соображеніямъ: тутъ есть смыслъ, хотя бы (какъ я въ томъ убѣжденъ) и не было правды; пусть во имя личности проповѣдь нападаютъ на все тѣ, которые вообще протестуютъ за лицо (der Einzelne) противъ общества (народа); въ этомъ есть послѣдовательность. Но у насъ ни писавшіе, ни читавшіе и одобривавшіе, не принадлежатъ къ Штирнеристамъ. Какъ же это случилось? Очень просто. Писавшій не понималъ того, что пишетъ; а читавшій и хваливший не понималъ того, что читалъ. Ни тотъ, ни другой не принимали требовать отчета отъ своего мышленія. Точно тоже повторяется у насъ безпрестанно и съ вопросомъ *о собственности*, но я этаго не стану умножать. Вотъ примѣры того пресмѣшнаго вліянія невоспитаннаго мышленія на практическую жизнь, о которомъ я говорилъ.

Простите мнѣ это отступленіе, которое, впрочемъ, кажется области вашихъ теперешнихъ занятій. Я не могъ отъ него воздержаться, но теперь возвращаюсь къ главному предмету, о которомъ хотѣлъ писать.

Справедливо сказалъ покойный Киреевскій, что въ наше время философія, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, «остановилась въ своемъ развитіи по всей Европѣ и живетъ болѣе въ своихъ разнообразныхъ, часто безсознательныхъ приложеніяхъ, чѣмъ въ видѣ отдѣльной и самостоятельной науки. Эпоха наша питается трудомъ недавно миновавшей великой эпохи Германскихъ мыслителей. Это положеніе онъ изложилъ въ той превосходной статьѣ, которая дала Московскому Сборнику значеніе дѣйствительной поворотной точки въ исторіи Русскаго просвѣщенія. Въ другой статьѣ, которую смерть не позволила ему кончить, Киреевскій продолжалъ развитіе своего перваго положенія и доказывалъ, что строго западной образованности, вслѣдствіе односторонности своей и ея

историческихъ причинъ, долженъ былъ придти къ остановкѣ и къ безвыходному раціонализму. Я старался, какъ вы знаете, опредѣлить самую точку, на которой остановилось это философское движеніе, и показать ту послѣднюю форму, въ которой высказалась задача Германіи. Кратчайшее ея выраженіе будетъ слѣдующее: возсозданіе цѣльнаго разума (т. е. духа) изъ понятій разсудка. Какъ скоро задача опредѣлила себя такимъ образомъ (а собственно таковъ смыслъ Гегелевой дѣятельности), путь долженъ былъ прекратиться: всякій шагъ впередъ былъ невозможенъ. Но не осталась же Германія безъ философіи: къ ея чести должно сказать, что она безъ философіи немыслима. Какое же направленіе приняла и должна была принять эта новая эпоха мышленія? Новыхъ основъ мышленіе принять не могло вслѣдствіе причинъ, такъ превосходно изложенныхъ Киреевскимъ; оно должно было оставаться при старыхъ и довольствоваться ихъ видоизмѣненіемъ. Въ чемъ же состоитъ это современное видоизмѣненіе и которую изъ ложныхъ сторонъ прежней философіи старалось оно исправить или пополнить?

Вся школа Канта есть школа разсудочная. Правда, что точка отправленія ея — отрицаніе безусловнаго сомнѣнія (скепсиса) — поставлена въ самомъ средоточіи мысли, въ мыслящемъ *я;* но, расширяя и слѣдовательно отвергая положеніе Декарта: «мыслю, слѣдовательно есмь», и ставя болѣе правильное и широкое: «есмь, слѣдовательно есмь», т. е. «для себя есмь безусловно», она впадаетъ постоянно въ стремленіе опредѣлить это средоточіе однимъ изъ его началъ, понятіемъ, слѣдовательно разсудкомъ. Безсмертный Кантъ, основатель и безспорно сильнѣйшій мыслитель всей этой великой школы, уже обличаетъ въ себѣ такое стремленіе самымъ раздѣленіемъ философіи на двѣ философіи или критики: чистаго разума и практическаго разума, т. е. собственно - чистаго отвлеченнаго разсудка, и практическаго, т. е. дѣйствительнаго разума. Вторая часть, не смотря на всю геніальность ея творца, несравненно слабѣе первой и входитъ въ исторію самой школы, какъ великолѣпный эпизодъ, но только какъ эпизодъ, а не какъ необходимая степень перехода или дальнѣйшаго развитія. Философія прак-

тическаго разума, такъ сказать, эксцентрична истинной Кантовой системѣ, и поэтому не вошла и не могла войти въ наслѣдство, которое приняли и разработали его преемники. Ближайшій изъ нихъ, Фихте, былъ вполнѣ раціоналистомъ, какъ бы на зло своей страстной и энергически дѣятельной натурѣ. Рѣзко и опредѣленно, безъ примиренія, отрывается у него понятіе, какъ положительное начало, отъ предмета, какъ отрицательнаго; строго и полно развивается положительное понятіе, обращая отрицательный міръ въ какой-то смутный образъ. Подумаешь, что передъ мыслію Фихте носилась безсознательно возможность объяснить отношеніе мысли къ явленію на манеръ Индѣйскій, въ видѣ какой-то Майи (самосознаннаго сновидѣнія Брахмы); но Индія сохраняла въ своемъ объясненіи болѣе спиритуализма, чѣмъ Германскій раціоналистъ, у котораго собственно одни только понятія разсудка носятъ характеръ самостоятельности и право на существованіе. Примиритель внутренняго разногласія, возстановитель разумныхъ отношеній между явленіемъ и сознаніемъ, слѣдовательно возсоздатель цѣльности духа,—Шеллингъ даетъ разумное оправданіе природѣ, признавая ее отраженіемъ духа. Изъ раціонализма онъ переходитъ въ идеализмъ, а впослѣдствіи (по закону ли собственнаго развитія, ускореннаго Гегельянствомъ, или прямо въ противодѣйствіи Гегельянству), онъ переходитъ въ мистическій спиритуализмъ. Послѣдняя эпоха его имѣетъ впрочемъ значеніе эпизодическое еще болѣе, чѣмъ философія практическаго разума у Канта, и далеко уступаетъ ей въ смыслѣ геніальности. Первая же и дѣйствительно плодотворная половина Шеллинговой дѣятельности остается въ важнѣйшихъ своихъ выводахъ высшимъ и прекраснѣйшимъ явленіемъ въ исторіи философіи до нашихъ дней. Не будетъ и не можетъ быть такаго вѣка въ просвѣщеніи человѣка, который бы вспомнилъ о Кантѣ, какъ основателѣ разумной увѣренности, или о Шеллингѣ, какъ опредѣлителѣ внутренняго движенія самосознающагося разума, безъ благоговѣйной благодарности. Но пріобрѣтеніе, добытое путемъ разсудочнаго анализа, осталось опять только въ области разсудка. Отраженіе всего разума въ разсудкѣ (т. е. разумъ

на послѣдней и вѣнчающей степени его развитія, на степени уясненнаго самосознанія) опять заняло мѣсто полнаго разума, и слѣдовательно разсудокъ сохранилъ одинъ за собою значеніе безусловно положительное, а всѣ другія начала откинуты подразумѣвательно (implicite) въ область отвлеченности. Поэтическое слово, поэтическая мысль Шеллинга утаиваютъ этотъ выводъ. Онъ самъ его не сознавалъ. Его ученики покачаютъ головою на мое опредѣленіе; но законность приговора легко бы было доказать, а Шеллингъ самъ потрудился ее выставить въ одномъ словѣ. Вѣрный своему прежнему пути и понимая этотъ путь гораздо глубже и яснѣе своихъ учениковъ, въ послѣднюю эпоху своей философской дѣятельности, онъ самую точку отправленія всего духовнаго развитія, *то протонъ* духа, опредѣляетъ словомъ: «чистая возможность бытія (das reine Seyn-können)»*). Для человѣка, знакомаго съ ходомъ философской мысли, другаго объясненія не нужно. Существенность и самостоятельность обратились очевидно въ отвлеченность: бытіе выказалось своимъ отраженіемъ въ понятіи. Законность Гегеля, какъ окончательнаго вывода изъ всѣхъ его предшественниковъ, не подлежитъ сомнѣнію.

Гегель—полнѣйшій и, смѣло скажу, единственный раціоналистъ въ мірѣ. То, что̀ у Фихте являлось невольнымъ выводомъ изъ направленія, признаннаго его умомъ за единственно разумное; то, что̀ Фихте проповѣдывалъ и защищалъ наперекоръ всѣмъ внутреннимъ стремленіямъ своей благородно-страстной природы, все это совершенно согласовалось съ характеристическими особенностями Гегелева генія и приходилось по мѣркѣ его тонкаго и строго діалектическаго ума, его смѣлой и глубокомысленной, но нѣсколько сухой и односторонней природы, неспособной къ увлеченію, не требующей образа и вполнѣ довольной безплотнымъ міромъ понятія. Гегель могъ довести и довелъ раціонализмъ до крайняго предѣла. Чтобы увидѣть разомъ весь путь, пройденный школою отъ Канта до Гегеля, достаточно одного примѣра. Начальникъ школы говорилъ: «Вещи (предмета) мы не можемъ знать въ ней самой». Довершитель школы

*) Philos. der Offenbarung, I Th., стр. 204, изд. 1858. Zehnte Vorl. У Шеллинга употреблено выраженіе „unmittelbare“, а не „reine“. *Изд.*

говоритъ: «Вещь (предметъ) въ себѣ самой не существуетъ: она существуетъ только въ знаніи (понятіи)». Путь, пройденный между этими двумя изреченіями, неизмѣримъ; но онъ пройденъ строго логически, какъ вы сами знаете и какъ я отчасти показалъ прошлаго года въ статьѣ объ Иванѣ Васильевичѣ Киреевскомъ. Смѣшно бы было предполагать, что Гегель, говоря о понятіи, думалъ о понятіи личномъ: въ такое неразумѣніе впали только непонявшіе его ученики и преемники; самъ онъ выше такой ошибки и, если иногда какъ будто впадаетъ въ нее при разсмотрѣніи частныхъ вопросовъ, то это случается только по общему недостатку людей самыхъ геніальныхъ. Quandoque bonus dormitat Homerus. Между тѣмъ это изреченіе его есть краеугольный камень всей системы или замокъ всего свода. Значеніе этого изреченія слѣдующее. Предметъ въ себѣ есть не что иное, какъ понятіе объ немъ; но при этомъ выраженіи не должно предполагать не только понятіе въ личномъ пониманіи человѣка, но даже и понятіе въ общемъ какомъ бы то ни было пониманіи реально-понимающаго духа. Понятіе тутъ вполнѣ абсолютно: это не понятіе, а понимаемость, возможность въ предметѣ сдѣлаться понятіемъ. Иначе, это понятіе самосущее, независимо отъ понимающаго и отъ понимаемаго, и въ своемъ развитіи ставящее и того и другаго. Вся реальность въ немъ, и отъ него истекаютъ всѣ реальности, завершаемыя духомъ. Вотъ въ какомъ смыслѣ я и сказалъ, что задача Гегеля есть самосозданіе духа. Кажется, далеконько до матеріализма, а школа его перешла въ матеріализмъ. Это явленіе любопытно и стоитъ изученія.

Понимаемость есть сущность, или иначе возможность понятія (его законъ), есть начало всего сущаго: вотъ самая система Гегеля. Реальность возникаетъ въ движеніи этого закона, этой возможности. Провести такую систему было невозможно. Дѣйствительно, съ самаго начала Гегель привноситъ къ понятію о безусловномъ бытіи понятіе объ отрицаніи, т. е. понятіе о цѣломъ, уже существующемъ мірѣ (ибо отрицаніе есть уже отношеніе, т. е. прямо противоположно безусловному). Вы знаете, что таково было мое возраженіе при первомъ появленіи у насъ Гегелевой логики, возраженіе тогда новое, теперь уже принятое всѣми серьез-

ными мыслителями Германіи, чающими и неимѣющими уже философіи въ строгомъ смыслѣ слова. Въ дальнѣйшемъ развитіи, такъ какъ переходъ отъ возможности къ дѣйствительности опять таки невозможенъ безъ предшествующей дѣйствительности, Гегель вводитъ мимоходомъ, не останавливаясь на немъ, мышленіе (das Denken), которое поскорѣе утаиваетъ. Такъ творитъ онъ всю свою Логику, огромный фокусъ-покусъ, если смотрѣть на нее какъ на разрѣшеніе предположенной имъ задачи, и великое твореніе, не смотря на всѣ ея недостатки, если смотрѣть на нее какъ на изученіе законовъ понятія въ дѣйствительномъ мышленіи.

Гегель ввелъ слово «мышленіе» и снова утаилъ его по необходимости. Ввелъ потому, что безъ него ничто не подвигалось къ дѣйствительности, а утаилъ потому, что ясно понималъ свою задачу: создать субстратъ, а не предполагать его ни духовно-матеріальнымъ, какъ Спиноза, ни духовнымъ, какъ всегда предполагалъ (хотя прежде и не высказывалъ этаго) Шеллингъ. Шеллингъ же и самъ мимоходомъ, и еще болѣе черезъ своихъ послѣдователей, уличилъ его въ скрытомъ признаніи и безсознательной утайкѣ субстрата или основы (почвы), и показалъ, что безъ этой почвы все ученіе Гегеля обращается «въ мысль, при которой ничто не мыслится» (Ein Gedanke, wo nichts gedacht wird).

Такъ кончила путь свой великая школа Канта, показавъ свою несостоятельность въ смыслѣ общей всеобъемлющей философіи, но совершивъ дѣло незабвенное въ смыслѣ критики понятія. Ея высшее развитіе, также какъ и крайняя односторонность, выразилась въ Гегелѣ, а эта односторонность состояла въ принятіи законовъ пониманія за законъ всецѣлаго духа. Дѣйствительно, *понятіе есть понимаемое въ понимающемъ*, но реальность остается за понимающимъ; въ немъ утверждается полюсъ положительный, обращающій предметъ въ отрицаніе, какъ это и выразилъ Фихте въ своемъ *не-я*. Съ другой стороны, напротивъ, въ развитіи мысли предметъ логически предшествуетъ понятію. Этому учитъ насъ самый языкъ; преемственное выраженіе народной мудрости (слѣдовательно, болѣе или менѣе всечеловѣческаго ума), въ самыхъ формахъ своего выраженія begreifen, *по-н-имать*;

и этимологія слова вполнѣ оправдывается изученіемъ мысленнаго нашего движенія. Пониманіе, какъ сила, мыслимо безъ предмета; понятіе безъ предмета немыслимо. Пониманіе пріемлетъ отъ предмета содержаніе, обращающее его въ понятіе, хотя бы этимъ предметомъ было самое пониманіе; но разумѣется также, что предметъ не можетъ быть первою ступенью мысленнаго развитія: ибо тогда невозможно бы было даже предположить его тождества съ пониманіемъ и поглощенія въ пониманіи какъ предмета. Точно также, какъ понятіе предполагаетъ предшествующій ему предметъ, такъ предметъ предполагаетъ предшествующее (логически) пониманіе, которое въ своемъ до-предметномъ значеніи является какъ *хотѣніе пониманія*. (Разумѣется, что я говорю не о цѣлости духа, а только объ области пониманія). Замѣтьте, что это хотѣніе пониманія есть дѣйствительная точка отправленія всего мысленнаго развитія (которое я въ прежней статьѣ назвалъ *расклубленіемъ*), и въ тоже время оно есть послѣдняя добыча понятія, передъ которымъ оно, сила живая, зачинательница всякой дѣйствительности, является какъ отвлеченность и слѣдовательно какъ отрицаніе. Иначе и быть не можетъ; потому что понятіе въ своемъ самосозерцаніи, отправляясь отъ себя, по необходимости въ себѣ самомъ и только въ себѣ признаетъ дѣйствительность и значеніе начала положительнаго: оттого-то Шеллингъ, безсознательный раціоналистъ, и въ своихъ послѣднихъ твореніяхъ поставилъ точкой отправленія чистую возможность бытія (das reine Seyn-können); а Гегель, болѣе сознательный, понимая, что такой субстратъ не можетъ имѣть смысла въ наукѣ, напередъ совершенно отказался отъ него и искалъ невозможнаго субстрата въ самосущемъ понятіи о бытіи, тождественномъ съ ничтожествомъ (Nichts).

Общая ошибка всей школы, еще не ясно выдающаяся въ ея основателѣ—Кантѣ и рѣзко характеризующая ея довершителя—Гегеля, состоитъ въ томъ, что она постоянно принимаетъ движеніе понятія въ личномъ пониманіи за тождественное съ движеніемъ самой дѣйствительности (всей реальности). Быть можетъ, вы вспомните, что̀ я говорилъ объ этой ошибкѣ въ давнишней статьѣ моей «по поводу нѣсколькихъ словъ Гумбольдта». Пути понятія и реальности дѣй-

ствительно тождественны, но тождественны, какъ лѣстница одна и таже для всходящаго и нисходящаго. Путь тотъ же, да движеніе діаметрально противоположно. Для понятія вещь сознается, и потому она есть или можетъ быть; въ реальности же она есть, и потому она сознается или можетъ быть сознана. Такое простое правило даже и не приходило на умъ Гегелю. Въ математикѣ онъ добродушно утверждаетъ, что формула движенія планетъ есть причина ихъ движенія, иначе, реальность формулы опредѣляетъ не только возможность, но реальность планетарной орбиты, между тѣмъ какъ въ дѣйствительности данное сочетаніе силъ даетъ реальность или осуществленіе формулѣ возможной; ибо формула есть только законъ возможности, безъ которой движеніе не существовало бы, а не законъ дѣйствительности, по которому оно существуетъ. Въ исторіи точно также міръ является ему извращеннымъ. Настоящее кажется ему причиной прошедшаго потому только, что прошедшее доходитъ до своего уразумѣнія только въ настоящемъ. Тутъ мы не можемъ не видѣть въ великомъ мыслителѣ человѣка, обманутаго мнимымъ тождествомъ въ движеніи понятій и явленій. Дѣйствительный ходъ исторіи есть слѣдующій (я беру любое преемство фактовъ). Такой-то папа захотѣлъ выстроить храмъ св. Петра; поэтому онъ назначилъ архитектора, положимъ Буонаротти; поэтому Буонаротти выстроилъ храмъ; поэтому я теперь вижу этотъ храмъ. Все это рядъ слѣдствій по реальности явленія. Ходъ понятія есть слѣдующій. Я вижу храмъ св. Петра; поэтому онъ выстроенъ; поэтому былъ архитекторъ, выстроившій его, положимъ Буонаротти; поэтому храмъ былъ заказанъ папою такимъ-то. Опять рядъ слѣдствій въ порядкѣ понятій движущихся умозаключеніями, и этотъ-то послѣдній рядъ, который дѣйствительно представляетъ порядокъ исторической критики, принялъ Гегель за порядокъ историческихъ причинъ. Для него Пруссія есть дѣйствительная причина Египетской или Германской исторіи, и вовсе не въ смыслѣ телеологическомъ.

Какой же путь его мысли? Умъ человѣческій въ своей внутренней дѣятельности представляетъ развитіе законовъ болѣе многосложныхъ, чѣмъ область внѣшнихъ и видимыхъ

явленій. Причина такой разницы очень проста: онъ самъ есть цѣлый міръ отраженный и не даромъ былъ названъ малымъ міромъ (микрокозмъ), тогда какъ область явленій внѣшнихъ и видимыхъ есть только частное указаніе на міръ великій или макрокозмъ. Такъ напр. время, представляющее въ области явленій внѣшнихъ послѣдовательность причинности до такой степени, что она можетъ служить ему опредѣленіемъ (какъ я уже сказалъ въ одной изъ моихъ статей), время уже не имѣетъ такаго значенія въ отношеніи къ внутренней дѣятельности человѣка. Вотъ передъ вами картина художника, писанная въ такомъ-то году, а вотъ скиццы пріуготовительныя, писанныя десятью годами раньше. Вѣдь эта картина причина скиццовъ, а не скиццы причина картины, не смотря на противорѣчіе съ порядкомъ времени, и это не въ смыслѣ телеологическомъ, а въ смыслѣ прямомъ. Разумѣется, та картина, которая породила цѣлый рядъ скиццовъ, есть не та самая, которую вы видите, ибо она была еще только въ творческомъ началѣ, на степени хотѣнія, но въ тоже время она была безспорно таже самая. Перенесемъ это въ исторію, и окажется, что Пруссія есть дѣйствительная причина Египта и Греціи (предполагаю на сей разъ, что Пруссія, о которой вы писали такъ поучительно для насъ, сдѣлалась предметомъ любви для васъ, какъ для Гегеля или коекого другаго). Таково историческое понятіе, поставленное Гегелемъ; но въ этомъ понятіи заключается непремѣнно который нибудь изъ двухъ мистицизмовъ: или мистицизмъ телеологическій, созидающій олицетвореніе судьбы (fatum или anagke), или мистицизмъ, созидающій какой-то субъективный, личный и въ тоже время собирательный геній человѣчества. Первая форма мистицизма никѣмъ не была упомянута, какъ слишкомъ неразумная; вторая наполнила собою и каѳедры историческія, и книги, и убѣжденіе многихъ, особенно въ Германіи. Нескоро догадались, но все-таки догадались, что она такъ же неразумна, какъ и первая; и Фейербахъ, сознавая это неразуміе, но въ тоже время не имѣя возможности отдѣлиться отъ ученій своего умственнаго отца-Гегеля, ввелъ въ объясненіе исторіи крайне остроумное измѣненіе (собственно amendement), которое плѣнило мно-

гихъ. «Человѣчество», таковъ смыслъ Фейербаха, «т. е. всякій человѣкъ, вслѣдствіе своей родовой природы, носитъ какъ бы смутный образъ будущаго развитія, и всѣ поколѣнія представляются какъ бы собирательнымъ художникомъ, преемственно трудящимся (не смотря на безпрестанныя ошибки) надъ уясненіемъ и осуществленіемъ идеала, лежащаго въ каждомъ и во всѣхъ». Нельзя не признавать остроумія въ этомъ объясненіи. Безъ сомнѣнія, въ немъ есть и великая доля правды; но она вовсе не истекаетъ изъ общей задачи философіи, поставленной прежнею школою, и напротивъ того показываетъ, какъ сильно сузился объемъ ея нѣкогда безконечныхъ притязаній. У Фейербаха судьба человѣческаго развитія является безъ всякой связи съ общею міровою жизнію: это какое-то полу-духовное пятнышко въ безконечной толкотнѣ грубо-вещественнаго міра, — чистая случайность. Упадокъ философскаго духа явенъ, и, не смотря на странный мистицизмъ раціоналиста Гегеля, вы вѣроятно скажете со мною: Malo errare cum Hegelio. У него судьба земная тѣсно и неразрывно связана съ всемірнымъ развитіемъ; это разныя ступени, по которымъ отвлеченное понятіе, или собственно возможность понятія вырабатывается до реальнаго духа. Невозможное осталось невозможнымъ, но нельзя не признать гигантской силы и величія требованій въ самой задачѣ. Нельзя было начать развитія съ того субстрата, или лучше сказать, съ того отсутствія субстрата, отъ котораго отправлялся Гегель; отъ этого цѣлый рядъ ошибокъ, смѣшеніе личныхъ законовъ съ законами міровыми (я говорю смѣшеніе, ибо Гегель не признавалъ личнаго, всемірнаго и въ тоже время развивающагося духа, какъ его признавали другія, менѣе строго-логическія головы); отъ этого также постоянное смѣшеніе движеній критическаго понятія съ движеніемъ міра явленій, не смотря на ихъ противоположность; отъ этого и разрушеніе всего титанскаго труда. Корень же общей ошибки Гегеля лежалъ въ ошибкѣ всей школы, принявшей разсудокъ за цѣлость духа. Вся школа не замѣтила, что, принимая понятіе за единственную основу всего мышленія, разрушаетъ міръ: ибо понятіе обращаетъ всякую, ему подлежащую, дѣйствительность въ чи-

стую, отвлеченную возможность. Такъ напр. математическая формула планетарной орбиты есть только выраженіе возможности нисколько не зависитъ отъ реальности и не измѣняется ею, а математическая формула есть совершеннѣйшее выраженіе чисто-разсудочнаго понятія. Этотъ законъ неотразимъ.

Гегель, какъ полнѣйшее и самое вѣрное олицетвореніе Нѣмецкой школы, былъ, безспорно, полновластнымъ владыкою Германскаго ума. Его философія не была обслѣдуема критически, его творенія рѣдко бывали читаемы въ ихъ систематической послѣдовательности; но ученіе его было принято съ какою-то религіозною вѣрою. Почти безмолвный протестъ Шеллинга и нѣсколькихъ отдѣльныхъ мыслителей долго не имѣлъ никакаго значенія. Цѣлое поколѣніе выросло въ Гегелизмѣ, а между тѣмъ учитель имѣлъ полное право говорить и говорилъ, что никто его не понималъ. Дѣйствительно, не было философа болѣе почитаемаго и менѣе понимаемаго. Такое странное отношеніе мыслителя къ ученикамъ, можетъ быть единственное въ исторіи, уже замѣчено теперь въ самой Германіи и высказано у насъ (статья въ Библіотекѣ для Чтенія); но оно не объяснено и не можетъ быть объяснено изъ одной исторіи философіи. Оно получило свое начало изъ другой еще высшей области, изъ исторіи религіи. Лютеръ, или, лучше сказать, реформа, разрушилъ внутреннее спокойствіе человѣческаго духа въ Германіи, подкопавъ не только вѣру, основанную на односторонности авторитета, но самое чувство вѣры, брошенной произволу частной критики. Правда, цѣлый рядъ ученій, болѣе или менѣе удачныхъ, старался возстановить это нарушенное спокойствіе духа посредствомъ произвольныхъ сдѣлокъ между безусловною, узаконенною критикою и условной религіею; но ума человѣческаго не обманешь навсегда. Германія смутно сознавала въ себѣ полное отсутствіе религіи и переносила мало-по-малу въ нѣдро философіи всѣ требованія, на которыя до тѣхъ поръ отвѣчала вѣра. Кантъ былъ прямымъ и необходимымъ продолжателемъ Лютера. Можно бы было показать въ его двойственной критикѣ чистаго и практическаго разума характеръ вполнѣ лютеранскій, а въ

его отношеніяхъ къ скепсису Юма отношеніе Лютера къ безграничному скептицизму современной ему Италіи; но я боюсь этихъ сближеній, въ которыхъ слишкомъ часто остроумная догадка замѣняетъ трезвую строгость науки. Для науки довольно и того, чтобы она ясно сознала значеніе философіи въ Германіи прошедшаго вѣка и поняла, почему отвлеченное мышленіе должно было поглотить всѣ интересы жизни человѣческой. Радостно шелъ міръ, созданный Протестантствомъ (Англія и Америка не его созданія) по тому пути, который обѣщалъ начало новой жизни: всякій успѣхъ философіи былъ торжествомъ каждаго и всѣхъ; и когда мыслитель геніальный довершилъ дѣло, когда съ добродушною, добросовѣстною, заразительною увѣренностію онъ сказалъ: «*Еврика*, я разрѣшилъ задачу и въ ней всѣ задачи міра», когда онъ это рѣшеніе представилъ на общій судъ въ твореніяхъ дѣйствительно-глубокихъ и, повидимому, несокрушимыхъ, по строгости и послѣдовательности выводовъ, понятно, какъ обрадовалась Германія и какъ всякій Нѣмецъ бѣжалъ къ своему сосѣду съ тѣмъ же крикомъ: «*Еврека*, я нашелъ Гегеля, а Гегель нашелъ то, въ чемъ возстановляется миръ духа человѣческаго». Читали мало, а вѣрили много, и это понятно. Гегель былъ не только довершителемъ философіи, онъ былъ для Германіи возстановителемъ, если не вѣры, то, по крайней мѣрѣ, чувства вѣры.

Чуждыми Гегельянству остались въ Германіи только непобѣдимое тупоуміе строгихъ Лютеранъ, такъ сказать Нѣмецкая Аввакумовщина, да небольшое число сильныхъ мыслителей (каковъ особенно былъ Шеллингъ), смутно видѣвшихъ впереди самораспаденіе Гегелева зданія, но въ тоже время грустно сознававшихъ, что это паденіе было паденіемъ всей прежней школы и ея безконечныхъ надеждъ.

Гегель былъ нѣсколько лѣтъ вѣрою, теперь остался привычкою Нѣмецкаго ума. Ему перестали поклоняться, но выйти изъ него не могутъ. Когда наступило для него время критики, многіе изъ прежнихъ его послѣдователей, разочарованные, пристали къ прежнимъ его критикамъ; но тутъ они не нашли уже философской системы (ибо Шеллингизмъ былъ пережитъ) и живутъ теперь въ какомъ-то грустномъ

чаяніи будущей философіи, для которой, впрочемъ, Германія не представляетъ ни данныхъ, ни точки отправленія. Большая же часть Гегельянцевъ вообразили, что они могутъ продолжать существованіе и развитіе Гегелевой мысли введеніемъ въ нее недостающей стихіи. Собственно это, и только это, отдѣленіе Гегелевой школы и имѣетъ какую-то дѣятельность и, за недостаткомъ философіи дѣйствительной, держится по крайней мѣрѣ за призракъ философіи.

Критика сознала одно: полную несостоятельность Гегельянства, силившагося создать міръ безъ субстрата. Ученики его не поняли того, что въ этомъ-то и состояла вся задача учителя, и очень простодушно вообразили себѣ, что только стоитъ ввести въ систему этотъ недостающій субстратъ, и дѣло будетъ слажено. Но откуда взять субстратъ? Духъ очевидно негодился, во-первыхъ потому, что самая задача Гегеля прямо выражала себя, какъ исканіе процесса, созидающаго духъ; а во-вторыхъ и потому, что самый характеръ Гегелева раціонализма, въ высшей степени идеалистическій, вовсе не былъ спиритуалистическимъ. И вотъ самое отвлеченное изъ человѣческихъ отвлеченностей, — Гегельянство, — прямо хватилось за вещество и перешло въ чистѣйшій и грубѣйшій матеріализмъ. Вещество будетъ субстратомъ, а за тѣмъ система Гегеля сохранится, т. е. сохранится терминологія, бо̀льшая часть опредѣленій, мысленныхъ переходовъ, логическихъ пріемовъ и т. д., сохранится однимъ словомъ то, что̀ можно назвать фабричнымъ процессомъ Гегелева ума. Не дожилъ великій мыслитель до такого посрамленія; но, можетъ быть, и не осмѣлились бы его ученики рѣшиться на такое посрамленіе учителя, если бы гробъ не скрылъ его грознаго лица.

Страннымъ кажется на первый взглядъ, что неожиданное и неразумное извращеніе Гегельянства, ново-Нѣмецкій матеріализмъ, основано людьми дѣйствительно даровитыми, одаренными блестящимъ остроуміемъ и нелишенными ни проницательности, ни діалектической способности (стоитъ только назвать Фейербаха); но тоже самое явленіе повторяется безпрестанно въ исторіи наукъ и отчасти художествъ. Ни въ чьихъ рукахъ не искажается наслѣдство лю-

дей геніальныхъ такъ легко, какъ въ рукахъ людей талантливыхъ, и никто не оказываетъ такъ мало способности понимать мысль глубокую, какъ люди остроумные. Еще страннѣе можетъ казаться то, что ученіе, правда раціоналистское, но въ высшей степени отвлеченное, перешло прямо въ противоположную крайность матеріализма Это опять явленіе, постоянно возвращающееся въ исторіи философіи и въ исторіи религій. Крайность самоубійственнаго Іогизма истекаетъ изъ тѣхъ же началъ Шиваизма, изъ которыхъ истекаетъ и крайнее развитіе физическаго разврата. Отвлеченнѣйшее изо всѣхъ вѣроученій, Будгаизмъ съ одной стороны разрѣшается въ созерцательный Нигилизмъ, а съ другой переходитъ въ самый грубый Фетишизмъ. Словомъ, односторонняя мысль или, лучше сказать, односторонняя ложь мысли заключаетъ въ себѣ или поставляетъ по необходимости ложь противуположной односторонности, по закону полярности, точно такъ, какъ Римскій Католицизмъ не могъ не разрѣшиться въ Протестантство. Поэтому понятно, что самая грубая форма общаго субстрата должна была явиться въ томъ философскомъ мірѣ, который хотѣлъ вовсе обойтись безъ субстрата.

Дѣйствительно, вся школа, которой Фейербахъ служитъ блистательнѣйшимъ средоточіемъ, считаетъ себя Гегельянскою, а между тѣмъ посмотрите на ея отношенія къ основнымъ положеніямъ Гегеля. Кантъ говорилъ, что мы *вещи въ ней самой знать не можемъ*. Гегель говорилъ, что *вещь въ себѣ самой вовсе не существуетъ, а существуетъ только въ понятіи*. У него это положеніе не случайное, не вводное, а коренное и прямо связанное съ самымъ основаніемъ его философіи; ибо вся его система есть не что иное, какъ возможность понятія, развивающаяся до всего разнообразія дѣйствительности и завершающаяся дѣйствительностью духа. И вотъ у его учениковъ *вещь* вообще является какъ общій субстратъ, и именно *вещь въ себѣ самой*, не какъ самоограничивающееся понятіе (что̀ было уже отвергнуто критическимъ судомъ, произнесеннымъ надъ чистымъ Гегельянствомъ) и даже не какъ предметъ понятія (что̀ предполагало бы предсуществующее пониманіе), а именно въ себѣ самой.

Вы видите, что я былъ правъ, говоря, что ново-Нѣмецкая школа, мнимо Гегельянская, взяла отъ учителя только, такъ сказать, фабричный процессъ мышленія и терминологическія графы, будучи въ тоже время совершенно чуждою его духу и смыслу.

Понятіе, движущееся безъ субстрата, или возможность быть понятіемъ, переходящая въ дѣйствительность помимо чего нибудь понимаемаго и чего нибудь понимающаго, такова была задача Гегеля, и объ ней-то вообще Шеллингъ сказалъ, что это мысль, въ которой ничто не мыслится. Для осуществленія всей системы, хотя разумѣется съ полнымъ ея извращеніемъ, введено было новое начало — вещь, какъ вещество вообще. Устранено ли было по крайней мѣрѣ то обвиненіе, которое падало на первоначальный, настоящій Гегелизмъ, т. е. получена ли мысль, въ которой что нибудь мыслится? Смутный и чувственный образъ вещества получилъ значеніе понятія, область ощущеній сдѣлалась точкою отправленія для мысли, первое мѣсто въ философской системѣ учениковъ дано тому свидѣтельству, которое, подъ именемъ sinnliche Gewissheit, было такъ низко поставлено учителемъ. Все это само-по-себѣ уже очень сомнительно; но приговоръ критики требуетъ болѣе прямыхъ уликъ, и система, необличенная во внутреннемъ противорѣчіи, имѣетъ право существовать, какъ бы ни казались шаткими ея основы.

Ново-Нѣмецкая школа не представила на критическій судъ ни одного произведенія, въ которомъ изложены бы были въ послѣдовательности ея основныя положенія, лексиконъ ея терминологіи и развитіе допускаемыхъ ею понятій: она довольствуется разрозненными набѣгами на отдѣльныя отрасли человѣческаго знанія, не требуя ни отъ себя, ни отъ читателя той логической строгости, къ которой привыкла и насъ пріучила великая школа Канта. Во всѣхъ ухваткахъ ея слышится какое-то Французское настроеніе ума, которое указываетъ на утрату самобытности и на преобладаніе внѣшнихъ началъ. Мысль, утомленная долгимъ и страшнымъ напряженіемъ, впадаетъ въ отдыхъ безсилія, прикрытаго какимъ-то призракомъ формальной дѣятельности.

Тоже самое явленіе видимъ мы въ Германіи и въ области художества и даже въ области общественныхъ учрежденій. Мнѣ нѣтъ дѣла до этихъ двухъ областей, но не могу не замѣтить мимоходомъ, что отношенія Гейне къ Гёте совершенно одинаковы съ отношеніями Фейербаха къ Гегелю. Таже зависимость, тотъ же переходъ отъ сосредоточенности мысли къ разрозненности практическаго приложенія, тоже обмельчаніе. Къ несчастію, бойкая и талантливая посредственность доступнѣе для большинства, геніальной глубины; и умственный міръ, во сколько онъ находится подъ вліяніемъ своего высшаго представителя Германіи, представляетъ тоже самое, крайне нерадостное явленіе. Кругъ ея дѣйствія, повидимому расширяется, но самое дѣйствіе утратило свой благотворный и возвышенный характеръ. Мнѣ кажется, что это замѣтно и у насъ.

Возвращаюсь къ самому вопросу: вещество, какъ безпредѣльная основа сущаго, представляетъ ли разуму человѣческому такую мысль, которая была бы дѣйствительно мыслима и могла служить точкою отправленія для философскаго мышленія.?

Отстранимъ смутные образы, не имѣющіе никакого права выдавать себя за понятія или за явленія сознающаго разума, и посмотримъ на самое значеніе слова *вещество* въ области мысли.

Вещество передъ взоромъ мысли является какъ нѣчто имѣющее предѣлы и внѣшнее очертаніе,—какъ измѣримое;

Какъ составленное изъ частей, въ которымъ цѣлое находится въ числительномъ отношеніи, будь это отношеніе опредѣлимое или колеблющееся между предѣлами (maximum и minimum);

Какъ мысленно дробимое, подъ тѣмъ неизмѣннымъ условіемъ, что всякая дробь меньше своего цѣлаго. Я не говорю: таково вещество; но я говорю: таково оно передъ понятіемъ, такъ оно мыслится и иначе мыслимо быть не можетъ. Оно не есть созданіе мысли, а привносится къ ней путемъ внѣшняго познаванія и приноситъ съ собой свои фактическія опредѣленія, которыхъ отстранять мы не можемъ.

Теперь посмотрите на безконечный субстратъ, выдаваемый за вещество.

Онъ не имѣетъ ни предѣловъ, ни внѣшняго очертанія.

Неизмѣримъ.

Не состоитъ изъ частей, къ которымъ находился бы въ числительномъ отношеніи, и никогда не можетъ быть разсматриваемъ, какъ сумма или итогъ.

Онъ недробимъ мысленно, или дробимъ такъ, что всякая его дробь безконечна, какъ и онъ самъ.

Я говорю: такова идея безконечнаго, которая не извнѣ приносится, но съ неотразимою властію возникаетъ въ пониманіи, какъ одна изъ категорій самаго пониманія.

Теперь, говоря, что вещество есть безконечный субстратъ всего сущаго, или vice versa, что безконечный субстратъ всего сущаго есть вещество, т. е. соединяя двѣ мысли совершенно противуположныя, говоримъ ли мы что-нибудь? Очевидно также мало, какъ произнося слова; круглый квадратъ, зеленый звукъ, громкій пудъ или что нибудь въ томъ же родѣ. Это звуки, а не слова, это потрясенія глотки, а не мысль, или, какъ говоритъ Шеллингъ, эта мысль, при которой ничто не мыслится.

Или упростимъ опредѣленіе вещества, оподозривъ односторонность понятія и остановившись на самомъ процессѣ, посредствомъ котораго возникло наше понятіе о веществѣ.

Вещество есть ощутимое, т. е. нѣчто, производящее въ нашемъ организмѣ измѣненія, доступныя нашему сознанію.

Во-первыхъ ясно, что мы переносимъ уже всю предположенную основу всемірно-сущаго и обращаемъ его просто въ явленіе мысли; во-вторыхъ, что же мы выиграли? Именно безконечное-то и неощутимо; оно-то и не производитъ измѣненій въ организмѣ и вовсе органамъ недоступно; ощутимо только конечное. Мы впали опять въ «круглый квадратъ».

Всевещество является уже опять отвлеченностью невещественною и вовсе не имѣющею характера вещества.

Но въ тоже время эта отвлеченность оказывается не просто отвлеченнымъ закономъ, добытымъ работою мысли, а за-

кономъ дѣйствительности, присущей веществу, и выраженнымъ въ *силѣ*. Сила не принадлежитъ дробности или частямъ вещества. Нѣтъ силы въ частяхъ: въ механическихъ ли своихъ явленіяхъ (такъ назовемъ мы тѣ, которыя стремятся къ перемѣщенію въ пространствѣ), въ химическихъ ли, въ чисто-динамическихъ ли, сила есть только отношеніе одной части къ другимъ (какъ уже замѣтилъ Тенъ). Она есть воздѣйствіе всей совокупности вещества на каждую его частицу, а между тѣмъ самая эта совокупность не есть ни итогъ, ни сумма, и не имѣетъ ни одного изъ признаковъ, опредѣляющихъ вещество.

Очевидно *всесила*, принадлежащая всевеществу, такъ же невещественна, какъ и оно.

Такъ получаемъ мы антиномію: ограниченное безгранично, измѣримое—неизмѣримо, ощутимое—неощутимо и т. д., или иначе вещество—не вещество. Конечно, антиномія не отрицаетъ дѣйствительности предмета, выражающаго въ немъ свою двойственность, но она безспорно отрицаетъ въ каждой изъ двухъ сторонъ, въ которыхъ она является, право на самостоятельность и особенно право выдавать себя за всемірный субстратъ. Матеріализмъ, подвергнутый испытанію логики, обращается въ безсмысленный звукъ.

И сколько однакоже вѣковъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ этотъ безсмысленный звукъ въ первый разъ выдалъ себя за философствующую мысль! Древняя Греція въ нѣкоторыхъ изъ своихъ остроумнѣйшихъ мыслителей уже подпала его обману; древняя Индія еще ранѣе ея создавала цѣлыя школы матеріалистовъ; средніе вѣка были нечужды тому же направленію, хотя сдержанному и утаенному; новѣйшія времена видѣли его развитіе въ огромныхъ размѣрахъ, и наконецъ нашъ гордый XIX вѣкъ, объ которомъ Московскія Вѣдомости и нѣкоторые наши журналы не могутъ, кажется, говорить иначе, какъ почтительно снимая шляпу, и онъ видитъ возстановленіе призрака, столько разъ уже обличеннаго во лжи. Неужели даромъ являлись мыслители истинные? Неужели даромъ трудилась величайшая изо всѣхъ философскихъ школъ, цѣлымъ послѣдовательнымъ рядомъ геніальныхъ дѣятелей

пріобрѣтшая для Германіи право считать себя передовою страною на пути мыслительнаго образованія? Именно ученики этой-то самой школы и впали въ старую колею, которую многіе считали заросшею и заглохшею навсегда. Я постарался показать причину такаго неожиданнаго явленія и думаю, что вы признаете ея основательность. Когда школа въ своемъ послѣднемъ, Гегелевскомъ развитіи дошла до окончательнаго отрицанія какого бы то ни было субстрата, понятно, что ея послѣдніе ученики, чтобы спасти погибающее ученіе, съ которымъ они срослись всѣми привычками ума, рѣшились ввести въ него субстратъ самый осязательный, самый противоположный той отвлеченности, отъ которой гибла система учителя, и не позаботились спросить у себя, примиримы ли между собою понятія, которыя они насильно сводили.

Въ развитіи ново-Нѣмецкаго матеріализма до сихъ поръ, какъ я сказалъ, не было строго научной послѣдовательности, и поэтому всѣ его внутреннія противорѣчія утаились отъ его послѣдователей и, вѣроятно, отъ самыхъ основателей; но нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, что крайняя небрежность и неопредѣленность терминологіи, составленной изъ остатковъ строгой терминологіи Гегеля, смѣшанныхъ съ словами, взятыми изъ рѣчи бытовой и произвольно облеченными въ философское значеніе, много содѣйствовали къ затемнѣнію самыхъ простыхъ вопросовъ, которые должны были по необходимости встрѣтить мыслителей при ихъ первыхъ шагахъ на новомъ пути. Я не говорю уже о всей области нравственныхъ вопросовъ, одинаково не разрѣшавшихся ни при Гегелевскомъ раціонализмѣ, ни при Шеллинговскомъ гностицизмѣ (такъ можно характеризовать его послѣднюю эпоху); нѣтъ, я говорю о самомъ переходѣ отъ вещества, какъ единственной первоначальной почвы, къ мысли, являющейся развитіемъ вещества. Гдѣ возможный переходъ отъ одного къ другому? Какое изъ свойствъ вещества сближаетъ его сколько-нибудь съ мыслію? Вы видите измѣненіе, перемѣщеніе, сотрясеніе, охлажденіе, согрѣваніе и т. д., гдѣ же тутъ какое-нибудь сходство съ сознаніемъ? Допустите цѣлый рядъ всевозможныхъ ве-

щественныхъ перемѣнъ, химическихъ или динамическихъ, протяните этотъ рядъ въ безконечность, и все-таки вы въ цѣломъ рядѣ и во всѣхъ членахъ его получаете только измѣненное вещество, т. е. вещество въ новой формѣ, и не болѣе. Сосредоточьте эти измѣненія посредствомъ какихъ угодно нитей къ одному центру, отражающему въ себѣ ихъ результаты; назовите, если угодно, эти результаты впечатлѣніями; предположите, что центръ въ свою очередь передаетъ свои потрясенія какой бы то ни было периферіи и слѣдовательно производитъ рядъ новыхъ периферическихъ явленій: что же? Хоть на одинъ шагъ двинулись ли вы къ разрѣшенію неразрѣшенной задачи? Нисколько. Безконечной бездны не перехватишь никакимъ мостомъ. Ни логика, ни простой здравый смыслъ вамъ не позволятъ себя обмануть ни на минуту, если вы только всмотритесь серьезно въ вопросъ. Вещественное измѣненіе остается вещественнымъ измѣненіемъ. Хорошо было Французамъ XVIII вѣка порѣшать его такъ: «мысль есть результатъ сравненныхъ впечатлѣній». Сравненныхъ кѣмъ? Эти впечатлѣнія, которыя суть не что иное, какъ вещественныя измѣненія, откуда взялся у нихъ даръ сравненія? Это все равно, что вообразить себѣ, что аршинъ, механически движимый по куску сукна, мѣритъ это сукно. Вы тутъ,—и аршинъ дѣйствительно мѣритъ сукно, а безъ васъ онъ можетъ всю вѣчность проѣздить по сукну, и мѣра все-таки не возникнетъ. Такія разрѣшенія годны были только для Французовъ, и то въ XVIII вѣкѣ. Дѣло, какъ вы знаете, старались поправить, назвавъ мысль «претвореннымъ впечатлѣніемъ», т. е. вторично измѣненнымъ измѣненіемъ. Не правда ли, умно? Чудная способность у людей довольствоваться звуками вмѣсто мысли!

«Но посмотрите», говорятъ намъ, «на животныхъ!» Это чудное предложеніе упрощается въ слѣдующій, болѣе общій видъ: не угодно ли вамъ объяснить то, что̀ вы знаете, тѣмъ, чего вы не знаете; ибо мы себя знаемъ, а животныхъ вовсе нѣтъ (я говорю о внутренней тайнѣ ихъ жизни). Такого рода предложенія нелѣпы, къ какой бы наукѣ они ни относились. Матеріализмъ, если бы онъ былъ дѣйствительно серьез-

нымъ (etwas ernstes), призналъ бы свою несостоятельность на первомъ шагу; но серьезнымъ въ области мышленія его вовсе признать нельзя.

Не могу однако не остановиться на минуту и не сказать нѣсколько словъ о животныхъ. Разскажу вамъ, что̀ было со мной. Боюсь, что этотъ приступъ напомнитъ вамъ извѣстный анекдотъ, какъ кто-то въ Конвентѣ началъ рѣчь словами: «Господа, человѣкъ есть животное», а другой его перервалъ: «предлагаю напечатаніе рѣчи съ портретомъ автора». Но все равно, продолжаю. Въ концѣ зимы, въ Москвѣ, опоздавши однажды къ общему обѣду, я сѣлъ обѣдать одинъ съ книгою; холодный супъ закусывалъ я сухарями Гюльмановой исторіи Нѣмецкихъ сословій. Кажется, не отъ чего было разыграться фантазіи. Читаю и вдругъ начинаю чувствовать, что въ моей головѣ проходятъ, какъ сны, картины сельской жизни, лѣта, вечера, рощи и пр. Отряхиваюсь отъ нихъ: не могу. Сильнѣе и живѣе выступаютъ они, и такъ ярко, такъ выпукло и живо, что читать становится неловко. Я кладу книгу въ сторону и думаю: что̀ бы это такое было? Сперва ничего не замѣчаю, но минуты черезъ двѣ слышу, что далеко, въ другомъ этажѣ и на другомъ концѣ дома, кормилица напѣваетъ надъ колыбелью меньшой моей дочери деревенскую пѣснь. Звуки ея еле-еле доходили до моего уха. Я улыбнулся и взялся опять за холодный супъ и сухаго Гюльмана. Было ли во мнѣ ощущеніе этой пѣсни? Очевидно нѣтъ. Я ея не слыхалъ, т. е. не слыхалъ сознательно, и ощущенія не было; ибо мы не ощущаемъ того, чего не знаемъ. Мнѣ небольно, когда я не сознаю, что мнѣ больно. Но впечатлѣніе отъ пѣсни очевидно было и выражалось, такъ сказать, сномъ на яву. Этотъ сонъ былъ уже ощущеніемъ, ибо я зналъ про него. Вмѣсто такого сна, происшедшаго отъ сопротивленія волющей мысли внѣшнему, впрочемъ незамѣчаемому впечатлѣнію, могъ бы явиться цѣлый рядъ периферическихъ явленій, какъ послѣдствіе потрясенія той непонятной дагерротипной доски, въ которой сосредоточивается все безконечно многосложное строеніе вещественнаго организма: напѣваніе, или присвистываніе, или стремленіе къ

движенію и прогулкѣ и т. д.; но ощущенія бы не было. Вотъ процессъ жизни животныхъ, который человѣкъ можетъ въ себѣ подсмотрѣть и ясно отдѣлить отъ человѣческой своей жизни. Я надѣюсь, что это объясненіе получше Шеллингова: «das Thierleben ist das Wissen selbst». И такъ центральныя потрясенія, т. е. то, что̀ можно назвать впечатлѣніями, и ихъ периферическія воздѣйствія составляютъ всю жизнь животныхъ. Я называю ихъ впечатлѣніями, отдѣляя отъ другихъ измѣненій, потому что они могутъ быть предметомъ сознанія и тогда переходятъ въ ощущеніе (какъ я уже сказалъ вскользь въ прежней статьѣ). Ощущеніе уже принадлежитъ человѣку, какъ одна изъ формъ познанія, и безъ познанія оно немыслимо. Думаю, что это различіе нигдѣ не было положено съ достаточною ясностію. Какъ бы то ни было, мнѣ кажется, что различіе между жизнію природы и жизнію человѣка можетъ быть выражено слѣдующимъ краткимъ афоризмомъ: *Природѣ живется, и только человѣкъ живетъ.*

Возвращаюсь къ главному вопросу. Мышленіе не можетъ быть слѣдствіемъ вещественнаго процесса измѣненія и можетъ, слѣдовательно, быть признаваемо не иначе, какъ присущимъ веществу вообще, т. е. не иначе, какъ отраженіемъ въ немъ его совокупности, т. е., какъ я уже сказалъ, невещественности. При этомъ понятно, что такое тождество вещества съ мыслію оставляетъ за мыслію значеніе положительнаго, а за веществомъ только значеніе отрицательнаго, по той весьма простой причинѣ, что какъ все пониманіе вопроса происходитъ въ области мысли, она не можетъ никогда въ отношеніи къ самой себѣ лишиться характера положительности. Но сверхъ того мы видимъ, что вещество (*вещь о себѣ*), дѣлаясь предметомъ, т. е. основою знанія или понятія, тѣмъ самымъ полагаетъ пониманіе, безъ котораго предметъ (какъ предметъ) существовать не можетъ, и *слѣдовательно ставитъ себя положительно какъ мышленіе*, передъ которымъ является отрицательно какъ предметъ. *Вещь же о себѣ* оказывается вовсе немыслимою, ибо не существуетъ ни въ самосознаніи мысли, ни во внѣшнемъ отношеніи къ мысли, къ которой она относится только какъ

предметъ. И такъ мы снова видимъ полную немыслимость матеріализма, и должно сказать словами Шеллинга: «эта мысль, въ которой ничто не мыслится». Гегелизмъ остается при своей коренной несостоятельности, только умноженной безконечнымъ рядомъ противорѣчій.

Тождество мысли и вещества насъ приводитъ опять къ старому зданію геніальнаго Жида Спинозы (слово это *Жидъ* не имѣетъ для меня значенія упрека, а смыслъ чисто-научный). Но дальнѣйшее развитіе будетъ повтореніемъ прежней работы, уже перешедшей черезъ руки Канта и Фихте къ Гегелю. Дѣйствительно, матеріализмъ есть только одна изъ переходныхъ эпохъ этого труда, несостоятельная въ себѣ и требующая дальнѣйшаго созиданія, оканчивающагося, какъ уже доказано исторіею Нѣмецкой школы, самораспаденіемъ всей постройки. Матеріализмъ не выдерживаетъ ни малѣйшей научной критики; но передъ чистымъ раціонализмомъ онъ имѣетъ то кажущееся превосходство, что представляетъ какой-то (хотя и мнимый) субстратъ и тѣмъ удовлетворяетъ внутреннему требованію дѣйствительности, которое лежитъ въ душѣ человѣка; оба же, и раціонализмъ чистый, и матеріализмъ, суть не что иное, какъ двѣ стороны одной и той же системы, которую я иначе не могу назвать, какъ системою *нецессаріанизма*, иначе безвольности. Вы знаете, какую важность я ей приписываю въ исторіи религій *).

Утомленный умъ, долго лишенный всякой основы, ищетъ отдыха, ищетъ представленій, и вотъ какъ безпрестанно снова возникаютъ школы матеріальной философіи, вовсе ничего незначущія для разума, но увлекающія слабомыслящія головы соблазномъ образа, (призрака) за который онѣ ухватываются съ какою-то отчаянною радостію. Вотъ отчасти разгадка современной Германіи.

Вопросы нравственные, невольно напрашивающіеся на разрѣшеніе и уже давно затронутые прежними дѣятелями мысли Нѣмецкой (особенно Кантомъ и его современниками), въ наше время снова обратили на себя вниманіе нѣкоторыхъ

*) Ср. Записки о Всеобщей Исторіи. *Изд.*

мыслителей. Въ числѣ этихъ писателей, вообще весьма слабыхъ, нѣсколько замѣчательнымъ показался мнѣ авторъ книги: «Поиски въ области нравственности» (кажется, Антонъ Ре). Книга умна, исполнена тонкихъ и иногда глубокихъ наблюденій, но сходитъ къ порядочной нелѣпости, а именно къ признанію воли, но воли несвободной. Такое безсмысленное сочетаніе словъ не требуетъ опроверженія; но оно само служитъ важнымъ признакомъ для опредѣленія внутренняго направленія того ученія, изъ котораго могло возникнуть и высказаться подъ перомъ человѣка, замѣчательнаго по своей даровитости. Авторъ книги, о которой я упомянулъ, не принадлежитъ ни къ ново-Нѣмецкому матеріализму, ни даже къ строгому Гегельянству; онъ созданъ цѣлымъ направленіемъ Кантовской школы, и ея невысказанное направленіе высказывается невольнымъ неразуміемъ весьма логическаго мыслителя. Вся великая школа Нѣмецкаго раціонализма, такъ же какъ и ея слабый перородокъ, матеріализмъ, заключала въ себѣ безсознательно идею *безвольности* (нецессаріанизма). Это ея внутренняя болѣзнь, непремѣнно приводящая къ неразрѣшимымъ противорѣчіямъ и слѣдовательно къ распаденію. Правда, что опредѣленіе воли, какъ начала самостоятельнаго, приводитъ также къ противорѣчіямъ, и мы опять попадаемъ въ антиномію; не эта мнимая антиномія есть только діалектическій обманъ. Противорѣчія въ ученіи о безвольности осуждаютъ самое ученіе, потому что точка его отправленія уже принадлежитъ области логической и логическихъ понятій, не погружаясь даже въ сущность предмета или объекта (какъ я сказалъ въ статьѣ объ Иванѣ Васильевичѣ Киреевскомъ). Противорѣчіе же въ логическомъ опредѣленіи воли вовсе ничего не доказываетъ, потому что она сама не подлежитъ опредѣленію, принадлежала міру до-предметному.

Я постарался изложить нѣкоторыя изъ тѣхъ логическихъ причинъ, почему признаю матеріализмъ за немыслимую мысль, и думаю, что ихъ развитіе приводитъ къ слѣдующему заключенію. Невещественность является съ одной стороны явною принадлежностію всеобщаго мірового субстрата, а съ другой— принадлежностію частнаго пониманія. Вещество есть не что иное, какъ явленіе ихъ взаимнаго прикосновенія.

Слышалъ я, что когда-то, въ какой-то столицѣ, было въ полиціи слѣдующее донесеніе: «У такого-то юноши собираются по вечерамъ его сверстники и составляютъ общество матеріалистовъ; а матеріалистское направленіе общества очень ясно доказывается тѣмъ обстоятельствомъ, что собравшіеся молодые люди только что пьютъ чай и разговариваютъ, а не занимаются ни картами, ни виномъ и никакими другими забавами, приличными ихъ возрасту» *). Это милое и крайне логическое доказательство заключаетъ въ себѣ весьма дѣльное наблюденіе, хотя, разумѣется, я не оподозриваю ни полицію въ дѣльныхъ наблюденіяхъ, ни молодое общество въ матеріализмѣ. Дѣльное же наблюденіе состоитъ въ томъ, что дѣйствительно жизнь послѣдователей матеріалистскихъ школъ весьма часто не представляетъ признаковъ воздѣйствія ученія на ея направленіе. Это явленіе проистекаетъ изъ той непослѣдовательности, которую вы въ одномъ случаѣ назвали благородною, а я позволяю себѣ назвать неблагонадежною, и которой начало обыкновенно таится въ привычкѣ и преданіи, а иногда въ непримиримости ложнаго начала съ коренными стремленіями души человѣческой. Безъ сомнѣнія, матеріализмъ, такъ же какъ и чистый раціонализмъ, есть ученіе противное нравственности, у которой онъ отнимаетъ всякую разумную основу (ибо тамъ нѣтъ долга и нравственнаго понятія, гдѣ нѣтъ воли: человѣкъ, падающій съ крыши и паденіемъ своимъ убивающій другого, не поступаетъ безнравственно). Но какіе бы ни были выводы изъ матеріализма или послѣдствія его, поводъ къ нему рѣдко заключается въ стремленіи къ уничтоженію понятія о нравственности (я говорю о мыслителяхъ, а не о стадѣ ихъ послѣдователей, въ которомъ побужденія бываютъ часто нечисты); поводъ же къ нему дѣйствительно подаетъ утомленіе ума отвлеченностями, односторонность предшествующихъ школъ, какъ я показалъ въ Гегельянствѣ, и естественное требованіе образности, той représentation, на которую такъ часто нападалъ Гегель. Давно немыслимость современнаго

*) Вѣроятно, намекъ на сборища у П. Н. Рыбникова. *Изд.*

намъ матеріализма обличилась бы сама, если бы онъ рѣшился выступить полною и замкнутою системою, а не ограничивался набѣгами на разныя отрасли наукъ; если бы, слѣдовательно, онъ явился съ полною терминологіею (ибо онъ теперь довольствуется искаженною терминологіею Гегеля), если бы наконецъ онъ имѣлъ свой лексиконъ.

Лексиконъ, т. е. строгое опредѣленіе языка философскаго, составляетъ одну изъ первыхъ и основныхъ потребностей всякой философской системы, и всѣ системы должны по необходимости различаться другъ отъ друга своими лексиконами: ибо общій жизненный или бытовой языкъ слишкомъ текучъ и неопредѣлененъ для систематическаго употребленія, и слова, изъ него взятыя, требуютъ всегда новаго и строжайшаго опредѣленія, измѣняющагося согласно съ тѣмъ порядкомъ, въ которомъ развиваются понятія въ послѣдовательномъ ихъ построеніи у различныхъ мыслителей. Необходимость и различія этихъ частныхъ лексиконовъ показываютъ въ одно время на всю пользу и на всю трудность общаго лексикона для языка философскаго, такаго лексикона, въ которомъ введены бы были опредѣленія отдѣльныхъ философскихъ выраженій, указаны бы были ихъ мѣста въ разныхъ системахъ, и оцѣнена бы была вѣрность и строгость самыхъ опредѣленій. Безспорно, такое предпріятіе, трудъ цѣлой жизни, посвященной мышленію, можетъ составить эпоху въ словесности и славу ея. Даже несовершенный успѣхъ (совершенный едва ли возможенъ) уже долженъ обратить на себя сочувственное и теплое вниманіе критики, и нельзя не счесть за весьма неутѣшительное явленіе то равнодушіе, которымъ былъ встрѣченъ первый томъ философскаго лексикона, составляемаго г. Гогоцкимъ. Я не говорю даже о достоинствахъ его, о его благородномъ тонѣ, о высоко просвѣщенной терпимости, которая слышна въ отзывахъ о мыслителяхъ, которымъ онъ вовсе не сочувствуетъ, и объ ученіяхъ, которыхъ ложное направленіе приписываетъ онъ всегда ошибкамъ мысли, а не злому настроенію души; но скажу, что въ такое время, когда журнальная критика въ безконечныхъ статьяхъ взвѣшиваетъ на

дифференціальныхъ вѣсахъ сравнительное достоинство произведеній и писателей, которыхъ имя и память не можетъ даже оставить слѣда въ просвѣщеніи и словесномъ богатствѣ Россіи, странно видѣть, что такой великій трудъ остается безъ всякой оцѣнки. Важный во всякой литературѣ, какъ бы богата она ни была, онъ по преимуществу важенъ въ нашей литературѣ, крайне бѣдной философскими произведеніями, и для нашего читателя, вовсе незнакомаго съ исторіею и вопросами философіи. Молчаніе или невнимательное слово объ немъ въ журналахъ (которыхъ такъ много) очень неутѣшительно: это одно изъ самыхъ ясныхъ доказательствъ несерьезности нашего просвѣщенія и нашей литературы, или иначе—это одно изъ доказательствъ крайней ея безнравственности. Тутъ вижу я подтвержденіе давнишняго и вамъ извѣстнаго убѣжденія моего, что наша литература прошлыхъ десятилѣтій была самою безнравственною изъ всѣхъ когда либо бывшихъ литературъ; ибо не то слово общественное безнравственно по преимуществу, которое враждебно какимъ бы то ни было даннымъ нравственнымъ началамъ, а то, которое чуждо всякому нравственному вопросу; и въ этомъ смыслѣ я смѣю сказать, что вполнѣ безнравственна только та литература, которая не можетъ запнуться ни за какую цензуру и которую всякій цензоръ можетъ и долженъ пропустить. Думаю, что это замѣчаніе не безъ важности для исторіи общественнаго просвѣщенія.

Какъ бы то ни было, когда вамъ опять дастся досугъ, обратите вниманіе на этотъ прекрасный трудъ нашего ученаго. Много найдете вы статей, которыя удовлетворятъ васъ вполнѣ, и еще болѣе такихъ, которыя пробудятъ въ васъ живой интересъ философской мысли. Я не критикъ и потому не вхожу въ подробности; но долженъ прибавить, что при всѣхъ достоинствахъ творенія, которое должно бы находиться у всякаго просвѣщеннаго Русскаго, я тоже не могу не замѣтить нѣсколько важныхъ недостатковъ, которые, впрочемъ, легко могутъ быть или исправлены, или пополнены въ видѣ прибавленій. Нѣтъ, напр., вовсе весьма важныхъ

словъ: *Вещество* (какъ вещь о себѣ); конечно опредѣленіе этого слова можетъ находиться подъ словомъ матерія, но лучше было бы подъ Русскимъ словомъ. *Впечатлѣніе*: слово весьма великой важности и рѣдко опредѣляемое съ достаточною строгостью. *Время*: объ важности этого слова въ смыслѣ философскомъ даже и говорить нечего. Можетъ быть еще кое-какія другія менѣе важныя слова. Желательно бы было, чтобы статья—*воля* была еще переработана и чтобы выводы были яснѣе; а въ статьѣ—*Бэконъ*, статьѣ весьма хорошей, желательно бы было видѣть пополненія, для которыхъ превосходный трудъ Куно-Фишера представляетъ уже тотовый матеріалъ. О патерѣ Босковичѣ, нашемъ Славянинѣ, сказано слишкомъ мало. Въ немъ весьма много замѣчательныхъ мыслей объ отношеніяхъ *силы* и *вещества*, и это сближаетъ его съ Беркелеемъ. Наконецъ, я нахожу нѣкоторыя имена вовсе ненужными, имена людей ничего незначащихъ въ исторіи философской мысли, и не нахожу ни ересіарховъ, ни многихъ Отцовъ Церкви, которыхъ мышленіе такъ важно и скрываетъ такъ много чисто философскихъ положеній въ формѣ или въ объясненіи догматовъ. Изъ ересіарховъ между прочими назову Валентина, о которомъ съ такимъ высокимъ сочувствіемъ и съ такимъ благороднымъ безпристрастіемъ отозвались нѣкоторые изъ раннихъ Святыхъ Отцовъ. Это струя непочатая и обѣщающая большое богатство. Вотъ моя критика книги, которую считаю крайне утѣшительнымъ явленіемъ. Дай Богъ автору терпѣнія въ трудѣ, а еще болѣе терпѣнія къ нашему равнодушію.

Достало ли у васъ терпѣнія и досуга, любезный Юрій Ѳедоровичъ, дочитать мое письмо до конца? На возраженія отъ васъ не надѣюсь. Вамъ не до того. Вы бодро стоите за общее наше дѣло въ одной изъ его частныхъ, но конечно самыхъ важныхъ формъ. Это дѣло есть дѣло *прогресса истиннаго*, который по тому самому есть и *истинный консерватизмъ*. Въ теперешней борьбѣ меня многое утѣшаетъ (не говорю о самой борьбѣ, до которой я охотникъ), меня утѣшаетъ то, что во многихъ изъ ошибающихся консерваторовъ я вижу задатки истиннаго прогресса, которыхъ часто не

встрѣчаю въ мнимыхъ прогрессистахъ, и слѣдовательно могу приписать заблужденіямъ ума, весьма извинительнымъ, то сопротивленіе, которое часто приписываютъ дурной волѣ. Отъ васъ, какъ я сказалъ, возраженій не ожидаю; не будетъ ли возраженія отъ другихъ, хотя бы отъ одного изъ нашихъ давнихъ знакомыхъ, котораго я нѣкогда любилъ, къ которому я и теперь неравнодушенъ, и который помнитъ мой полемическій характеръ? *) Во всякомъ случаѣ возраженіе на мой разборъ матеріализма очевидно не есть заступничество за матеріализмъ, а только нападеніе на мои логическія способности. Тотъ конечно еще не безбожникъ, кто говоритъ, что я плохо доказываю существованіе Божества.

Прощайте; можетъ быть до другого письма, если это письмо вамъ не покажется черезъ-чуръ тяжелымъ.

---

*) Не Кавелинъ ли? *Изд.*

ВТОРОЕ ПИСЬМО КЪ Ю. Ѳ. САМАРИНУ.

ПРЕДСМЕРТНОЕ НЕОКОНЧЕННОЕ СОЧИНЕНІЕ.

Елецкая библиотека читальня

Второе письмо о философіи къ Ю. Ѳ. Самарину *).

Любезный Юрій Ѳедоровичъ!

Я не побоялся писать вамъ о философіи и звать васъ на трудный подвигъ ея строгихъ изслѣдованій въ то время, когда вы и безъ того заняты были нелегкимъ подвигомъ въ области нашей гражданственности. Я былъ увѣренъ, что и вы, не смотря на свои занятія, не испугаетесь путешествія по другой, болѣе суровой области, по области безусловнаго мышленія за предѣлами міра явленій. Умственное напряженіе однаго рода служитъ, по моему мнѣнію, лучшимъ отдыхомъ послѣ напряженія другаго рода: такъ кончикъ рысью или колѣнцо вскачь возстановляетъ силы усталаго пѣшехода скорѣе, чѣмъ тюфякъ или перина,—таковъ, по крайней мѣрѣ,

*) Это послѣднее, предсмертное, неоконченное сочиненіе Алексѣя Степановича. Оно помѣщено во 2-й книгѣ Р. Бесѣды 1860 года, съ такимъ предисловіемъ, „Не станемъ пояснять все печальное значеніе настоящей статьи. Ея содержаніе, касающееся высшихъ вопросовъ, доступныхъ человѣческому знанію; ея направленіе, стремящееся развязать наиболѣе запутанный узелъ современнаго мышленія; самая ея неконченность — съ перерывомъ именно на томъ мѣстѣ, гдѣ должна сосредоточиться вся сила изслѣдованія, гдѣ авторъ самъ „не безъ страха" приступаетъ къ дальнѣйшимъ вопросамъ, сознавая ихъ крайнюю важность; наконецъ, обстоятельство, что сочиненіе не только было послѣднимъ, но что смерть, можно сказать, застала за нимъ автора; что послѣднія, эти самыя неконченныя строки писаны были уже въ преддверіи смерти, можетъ быть, въ ея предчувствіи,—все это, само по себѣ, краснорѣчиво. Намъ остается пожелать, чтобы трудъ мысли, начатый здѣсь, какъ и во многомъ другомъ нашимъ рано похищеннымъ дѣятелемъ, не остался безъ продолжателей. Если не всякому доступна та умственная высота и то разнообразіе даровъ, какимъ обладалъ покойный, тѣмъ не менѣе да послужитъ всякому примѣромъ та высота нравственная, та полнота искренности, съ какою онъ, буквально до гробовой доски, служилъ своему призванію, то стремленіе, наконецъ, быть внѣ умственной зависимости, внѣ духовнаго рабства, внѣ всякаго обольщенія, какихъ бы оно ни было видовъ и наименованій.

Русская Бесѣда".

былъ опытъ моей молодости. И вы дѣйствительно не попеняли на меня за безвременность моего письма; вотъ теперь и другое о томъ же предметѣ. Оно дойдетъ къ вамъ въ такое время, когда вы уже кончите ту великую работу, которой, въ продолженіе полутора года, вы отдавались всѣми силами ума, всею напряженностью воли, всею искренностью совѣсти: не откажитесь, вмѣсто стакана добраго вина послѣ дневной работы, распить со мною стаканчикъ холодной воды изъ родника философіи. Вѣдь это тоже своего рода вода живая и мертвая, которая возвращала жизнь и силу богатырямъ; разница только въ томъ отъ нашей сказочной воды, что вода изъ мысленнаго родника дѣлается живою или мертвою по свойствамъ піющаго. Васъ можно потчивать смѣло.

Тому дня четыре, позднимъ вечеромъ, т.-е., какъ вы знаете, за полночь, подошелъ я къ окошку. Ночь была необыкновенно ясна; далекая и глубокая даль отрѣзывалась отчетливо противъ ночнаго неба; почти полный мѣсяцъ, ужъ на ущербѣ, плылъ тихо, не слишкомъ высоко надъ землею; недалеко отъ него алмазнымъ огнемъ горѣла планета, кажется Юпитеръ; въ сторонѣ сверкалъ и мигалъ красноватый Сиріусъ, и безчисленное множество звѣздъ покрывало все небо серебряною насыпью. Полюбоваться бы, да и заснуть; нѣтъ! Тутъ мнѣ пришла мысль, нѣсколько странная, но математически вѣрная, о которой я и намѣренъ съ вами поговорить. Мнѣ пришла мысль, что вся эта красота, которою я любуюсь, есть уже прошедшее, а не настоящее. Положимъ, что край горизонта видѣлся мнѣ только какою нибудь долею терціи позже, чѣмъ онъ дѣйствительно существовалъ; но ужъ мѣсяцъ, мною видимый, былъ слишкомъ цѣлою секундою старше настоящаго, а свѣтъ, который онъ посылалъ ко мнѣ, былъ уже несовремененъ нѣсколькими минутами; еще далѣе въ прошедшее уходилъ Юпитеръ; Сиріусъ, мигающій передъ глазами жителя села Богучарова, былъ не теперешній, а тотъ, который былъ тому года два или болѣе назадъ; а тѣ мелкія безчисленныя звѣзды, которыя искрились по всему небу, это были звѣзды, которыя были тому десять, пятнадцать, сто или тысячу лѣтъ и болѣе назадъ. Я не видалъ ничего, ровно ничего современнаго моему видѣнію, и почти ни

одного предмета, современнаго другому. Все, что я видѣлъ, могло уже не быть, а я бы видѣлъ. Странно! Потомъ, тишина ночная была полна звуковъ, отъ чиликанія какихъ-то насѣкомыхъ въ саду до далекаго грохота почтовой кареты по щебенкѣ, до почтоваго колокольчика, еще болѣе далекаго, и до караульной доски, которая изрѣдка слышалась, чуть-чуть слышалась, за нѣсколько верстъ. Опять все прошедшее, болѣе или менѣе близкое, но все таки прошедшее. Что же? Вѣдь всякая сила, дѣйствующая въ природѣ, несовременна своему дѣйствію. Свѣтъ ли, электричество ли, магнитность ли, все равно. А притяженіе? Объ немъ всегда говорятъ, всегда думаютъ какъ о чемъ-то связующемъ два предмета въ современности. Это пустяки, этаго быть не можетъ. Правда, мы не можемъ опредѣлить того времени, которое ему нужно, чтобы проявиться. Единственныя данныя для этаго могли бы быть выведены изъ теоріи приливовъ; но, очевидно, и это невозможно, по крайней неправильности морскихъ и атмосферическихъ движеній и по неправильности земной формы, а пертурбаціи планетъ и ихъ спутниковъ едва ли уловимы съ достаточною опредѣленностію. И такъ, измѣрить время, нужное для проявленія притяженія, мы, вѣроятно, никогда не сумѣемъ; но все равно. Когда всѣ прочія силы требуютъ времени, нельзя предположить силу, не требующую его; рѣшительно нельзя, тѣмъ болѣе, что электричество и магнитность, представляющія въ себѣ явленіе притяженія, уже уличены въ зависимости, и весьма сильной зависимости, отъ времени. И такъ, всѣ силы безъ исключенія, т. е. всякое дѣйствіе предмета, т. е. всякое существованіе предмета для другаго предмета, заключается въ послѣдовательности времени. Представьте себѣ Плеяды съ усовершенствованною оптикою, и ихъ жителямъ (т. е. зрѣнію ихъ жителей) будетъ современенъ не Гарибальди или рѣзня въ Сиріи, а Домиціанъ и христіанскіе мученики, или, можетъ быть, Авраамъ, ведущій свои большія стада по (тогда еще зеленой) Палестинѣ, невыжженной Божіимъ огнемъ. Обманъ ли это зрѣнія субъективнаго? Нѣтъ; ибо и земля сама, по взаимодѣйствію притяженія, для Плеядъ не теперешняя, и Плеяды для земли не

теперешнія. Современность существуетъ только въ каждомъ предметѣ отдѣльно; я сказалъ бы болѣе—въ каждомъ атомѣ отдѣльно, если бы разумный человѣкъ могъ серьезно говорить о самостоятельномъ атомѣ. Собственно современность существуетъ только въ отвлеченіи, *предметъ же современный не существуетъ для другого предмета; другой для каждаго есть уже прошедшее.*

Конечно, таковъ обманъ нашихъ чувствъ или, лучше сказать, обманъ нашей вѣры въ чувства, что видимое нами кажется всегда существующимъ. «Клянусь», говорилъ, кажется, герой какой-то Англійской поэмы, «этими свѣтящими звѣздами». Чтобы остаться въ предѣлахъ истины, онъ долженъ бы сказать: «Клянусь этими когда-то свѣтившими звѣздами», потому что свѣтятся ли, существуютъ ли даже онѣ въ то время, какъ онъ клянется, онъ знать не можетъ, развѣ только по догадкѣ. Безспорно и то, что, при небольшихъ разстояніяхъ, предметы кажутся современными не только чувству, но и самому воображенію, не вмѣщающему въ себѣ слишкомъ малую дробь времени, необходимую для проявленія существованія; но вѣдь разумъ стоитъ выше вещественнаго ощущенія и полувещественнаго воображенія. Если звукъ тенора долетаетъ до моего слуха, по вечерней зарѣ, секунды въ четыре или болѣе,—ясно, что каждая часть этого разстоянія соотвѣтствуетъ какой-нибудь частицѣ времени. Если свѣтъ солнца доходитъ до моего глаза и до кожи, въ которой онъ возбуждаетъ растительное движеніе, въ восемь минутъ и около двадцати секундъ,—ясно, что каждая верста, болѣе, каждая малѣйшая частица его пути требуетъ какой-нибудь дроби времени, хотя бы эта дробь была несравненно меньше той, которую нашъ острый[illegible] [illegible] [illegible] заставилъ вмѣститься графическое общее правило остается неизмѣнимъ. На всякій предметъ природы дѣйствуетъ не то, что существуетъ, а то, что существовало, т. е. дѣйствуетъ только несуществующее въ реальномъ настоящемъ пространствѣ; ибо дѣйствіе прошедшаго есть отрицаніе дѣйствія настоящаго. То солнце, которое нами видимо, его уже нѣтъ; а то, которое есть, то нами еще не видимо, и будетъ ли нами видѣнно, это знаетъ еще

яснѣе, когда вы сообразите, что человѣкъ можетъ быть убитъ другимъ человѣкомъ, который уже былъ убитъ прежде его самого. Замѣтьте, какъ тѣсно сплетается существующее съ несуществующимъ въ пространствѣ, мнимо-реальное съ мнимо-нереальнымъ, и какъ тѣсна связь пространства со временемъ. Все это, конечно, давно извѣстно, но еще не сознано съ достаточною ясностію и не введено въ науку мысли съ достаточнымъ значеніемъ.

Міръ является разуму какъ вещество въ пространствѣ и какъ сила во времени. Нѣмецкіе мыслители уже сознали такое дѣленіе понятій, и Шеллингъ говорилъ о немъ очень много въ своей Пропедевтикѣ *), называя, между прочимъ, время жизнію; но тутъ великому философу измѣняетъ сила и ясность мысли: метафорическія выраженія (то-есть элементъ мистицизма) становятся на мѣсто выраженій строго сознательныхъ, и кажущаяся (только кажущаяся) послѣдовательность діалектической критики смѣшивается незаконно съ неопредѣленнымъ созерцаніемъ и съ обманами представленія (der Representation). Различіе между пространствомъ и временемъ не находитъ у него никакой логической формулы, и шаткость выраженій доходитъ до того, что въ одномъ мѣстѣ онъ оставляетъ за пространствомъ только значеніе безсильнаго распаденія, что̀, конечно, противно всякому здравому философскому смыслу. Я сказалъ, что міръ является разуму какъ вещество въ пространствѣ, какъ сила во времени; но тутъ встрѣчаетъ насъ вопросъ: что̀ такое вещество? Откинемъ безразсудное и дѣтское представленіе о самостоятельномъ атомѣ, понятіе, которое не заслуживаетъ даже и опроверженія (ибо неизмѣняемое — атомъ—не можетъ быть ни причиною, ни орудіемъ дѣйствія, и обращается въ простое понятіе объ отвлеченномъ пунктѣ): за тѣмъ вещество, относительно къ формѣ, является какъ произведеніе силы, между тѣмъ какъ, кромѣ формы, мысль за нимъ ничего утвердить не можетъ; сила же является какъ измѣненіе или, лучше сказать, какъ начало измѣненія формы. Слѣдовательно, пространство и время являются одинаково категоріями силы.

*) Точнѣе было бы указать на систему общей философіи, къ которой Пропедевтика можетъ почитаться введеніемъ. *Изд.*

Это ихъ общее отношеніе къ одной данной и еще къ одной категоріи количественности подало поводъ къ весьма законному и всѣми употребляемому выраженію: «пространство времени», и къ Русскому: «съ часъ мѣсто». Но разница въ опредѣленіяхъ пространства и времени относительно къ силѣ такова: *время есть сила въ ея развитіяхъ; пространство—въ ея сочетаніяхъ.*

Само вещество передъ мыслію утратило вполнѣ свою самостоятельность, будучи, очевидно, произведеніемъ или проявленіемъ, а никакъ уже не началомъ силы. Отъ того-то школа матеріалистовъ въ наше время, признавъ невозможность удержать за веществомъ его самобытность, перешла въ ученіе мнимаго реализма, не понимая, что этотъ мнимый реализмъ точно такъ же несостоятеленъ, какъ и прежній матеріализмъ, и по той же причинѣ, именно потому, что удерживаетъ за дробнымъ и количественнымъ тѣ свойства, которыя могутъ принадлежать только цѣльному и единичному. Какъ много выше ея былъ старикъ Спиноза! Матеріалисты XIX-го вѣка, кажется, даже не въ состояніи понять этаго великаго мыслителя: ихъ умъ какъ будто неспособенъ къ напряженію чистаго мышленія, къ созерцанію отвлеченнаго понятія. Въ немъ есть какая-то тучность, что-то похожаго на сельскую попадью, для которой легкій паръ надъ сытной кулябякою есть крайній предѣлъ духовнаго представленія. Какъ скоро матеріалистъ устранилъ или спряталъ отъ себя слишкомъ яркія противорѣчія грубой вѣры въ самостоятельное вещество, онъ совершенно покоенъ и глядитъ вамъ смѣло въ глаза, не понимая даже, чего бы еще не доставало: вѣдь, кажется, все ладно! Таковъ даже остроумный Фейербахъ, не говоря о dii minores, которыхъ тупость доходитъ часто до комизма.

Но Кантъ былъ правъ, когда и времени и пространству онъ давалъ только значеніе категорій нашего же разума, то-есть когда онъ отнималъ у нихъ самостоятельное содержаніе, и изъ Лейбницева ordo rerum переименовывалъ ихъ въ ordo visionum. Таково было требованіе критики въ его время. Онъ былъ правъ въ этомъ отношеніи, хотя самое опредѣленіе его, такъ же какъ и Лейбницево, есть чистѣйшая безсмыслица: ибо, какъ я уже говорилъ, слова coexistentes и

consequentes, введенныя имъ въ опредѣленіе времени и пространства, заключаютъ уже въ себѣ ту самую мысль, которую они будто бы должны опредѣлить. Я теперь говорю только объ измѣненіи слова res въ слово visiones. Этою перемѣною онъ возвращалъ время и пространство въ явленія нашего внутренняго міра, изъ котораго они, какъ и все прочее, были незаконно выведены и приписаны къ недоказанному внѣшнему міру. Объ этомъ я уже писалъ. Отъ чего же я снова даю этимъ категоріямъ значеніе какъ будто бы внѣшнее? Постараюсь объясниться. Вся Нѣмецкая критика, вся философія Кантовской школы, осталась еще на той степени, на которую ее поставилъ Кантъ. Она не двинулась далѣе разсудка, то-есть той аналитической способности разума, которая сознаетъ и разбираетъ данныя, получаемыя ею отъ цѣльнаго разума и, имѣя дѣло только съ понятіями, никогда не можетъ найти въ себѣ критеріума для опредѣленія внутренняго и внѣшняго, ибо имѣетъ дѣло только съ тѣмъ, что̀ уже воспринято и, слѣдовательно, сдѣлалось внутреннимъ. Вы помните, любезный Юрій Ѳедоровичъ, что стараясь, отчасти изложить тотъ великій шагъ, который совершенъ былъ нашимъ, слишкомъ рано умершимъ мыслителемъ, И. В. Киреевскимъ, именно—разумное признаніе цѣльности разума, и стараясь притомъ продолжить его мысленный подвигъ по пути, имъ указанному, я назвалъ *вѣрою* ту способность разума, которая воспринимаетъ дѣйствительныя (реальныя) данныя, передаваемыя ею на разборъ и сознаніе разсудка. Въ этой только области данныя еще носятъ въ себѣ полноту своего характера и признаки своего начала. Въ этой области, предшествующей логическому сознанію и наполненной сознаніемъ жизненнымъ, не нуждающимся въ доказательствахъ и доводахъ, сознаётъ человѣкъ, что̀ принадлежитъ его умственному міру и что̀ міру внѣшнему. Тутъ, на оселкѣ воли, сказывается ему, что̀ въ его предметномъ (объективномъ) мірѣ создано его творческою (субъективною) дѣятельностью, и что̀ независимо отъ нея. Время и пространство или, лучшѐ сказать, явленія въ этихъ двухъ категоріяхъ, сознаются тутъ независимыми отъ его субъективности или, по крайней мѣрѣ, завися-

щими отъ нея въ весьма малой мѣрѣ. Вотъ почему я и имѣлъ право уже говорить о нихъ, какъ о категоріяхъ силы, помимо человѣческой личности, и опредѣлять ихъ въ этомъ смыслѣ; но тутъ еще мышленіе останавливаться не можетъ.

Полнота разума или духа человѣческаго сознаётъ всѣ явленія объективнаго міра *своими*, но, какъ я уже сказалъ, идущими или отъ него самого, или не отъ него. Въ обоихъ случаяхъ онъ принимаетъ ихъ еще непосредственно (по выраженію Нѣмцевъ), то-есть вѣрою. Тотъ слѣпой оптикъ, о которомъ я говорилъ, познаётъ законы недоступнаго ему свѣта, но онъ принялъ ихъ, какъ явленія, вѣрою въ чужое чувство, точно такъ же какъ зрячій—вѣрою въ собственное чувство, и точно такъ же какъ художникъ—вѣрою въ собственное творчество. При всѣхъ возможныхъ обстоятельствахъ, предметъ (или явленіе, или фактъ) есть вѣруемый, и только воздѣйствіемъ сознанія обращается вполнѣ въ сознаваемаго, и мѣра сознанія никогда не переходитъ предѣловъ, или, лучше сказать, не измѣняетъ характера, съ которымъ принятъ первоначально предметъ (такъ слѣпой оптикъ будетъ всегда знать свѣтъ только какъ перемѣну въ чужой жизни, а не въ своей; такъ призраки доктора Николаи продолжали быть для него реальными, хотя онъ и сознавалъ ихъ ничтожность). Но, съ другой стороны, думать о сознаваемомъ мы можемъ не иначе, какъ въ законахъ или категоріяхъ самаго сознанія; иначе мы еще думаемъ о немъ какъ о вѣруемомъ, воображая, что думаемъ о сознаваемомъ, то-есть мы уже не думаемъ, ибо есть внутреннее противорѣчіе въ нашей думѣ. Она не просто неполная, какъ была бы при недостаточности въ данныхъ, но самоуничтоженная, то-есть ложная. Таковъ вообще недостатокъ мистиковъ, таковъ недостатокъ и большей части философовъ, когда они начинаютъ толковать о мірѣ реальномъ. Этотъ недостатокъ ярко бросается въ глаза въ томъ опредѣленіи времени и пространства, которое намъ дано было Германіею (каковы, напримѣръ, слова *послѣдующій* и *сосуществующій*). Въ томъ опредѣленіи, на которомъ я остановился и въ которомъ сила признаётся просто какъ неизвѣстная причина вѣруемыхъ явленій, то-есть въ положеніи:

«время есть сила въ ея развитіяхъ, пространство—сила въ ея сочетаніяхъ», отстраненъ прежній порокъ; но вы чувствуете, что слова *развитіе* и *сочетаніе* не вполнѣ еще освобождаютъ насъ отъ безсознательной предметности и не вполнѣ переводятъ самое опредѣленіе въ область строго логическаго сознанія; они еще не подчинились его категоріямъ. Дѣйствительно, они принадлежатъ міру умственному и области чистаго сознанія; но въ нихъ заключается уже незамѣтное, напередъ сдѣланное, приложеніе логическихъ категорій къ внѣшнему міру. Всмотритесь въ нихъ внимательно, и слово *развитіе*, какъ слово *сочетаніе*, обращаются въ категоріи *причинности* и *взаимности*. Поэтому, сознательное опредѣленіе времени и пространства будетъ: время есть сила въ категоріи причинности, а пространство — въ категоріи взаимности, т. е. *время и пространство суть категоріи причинности и взаимности въ мірѣ явленій независимыхъ отъ субъективной личности человѣка.*

Теперь мы настолько очистили самое понятіе, что, съ полною отчетливостію анализа, можемъ отдѣлить въ опредѣленіи сознанное отъ вѣруемаго, и видимъ, что къ послѣднему относится уже только идея явленія и внѣшности въ отношеніи къ субъективности человѣческой; слѣдовательно, время и пространство утратили всякое самостоятельное значеніе въ отношеніи къ разуму вообще, сохраняя значеніе только въ отношеніи къ личности. Таковъ логическій выводъ. Разумѣется, онъ рѣшаетъ вопросъ положительно только въ отношеніи къ человѣку и, оставаясь отрицательнымъ въ отношеніи къ общности міровой, въ этомъ послѣднемъ отношеніи онъ опредѣляетъ чего мы сказать не можемъ, а не ставитъ положенія дѣйствительнаго. Иначе и быть не можетъ, потому что ни самое явленіе, ни внѣшность, не имѣютъ положительнаго опредѣленія, оставаясь въ области вѣры, а не познанія, котораго конечная цѣль—уравняться съ вѣрою, быть вполнѣ сознанною вѣрою — не достигнута и недостижима для человѣческаго мышленія. За всѣмъ тѣмъ, подвигъ мысли еще не конченъ и въ этомъ частномъ вопросѣ. Слово «явленіе» удерживаетъ насъ еще въ матеріальномъ мірѣ, ибо для человѣка разумнаго міръ явленій есть

уже міръ вещества, и нѣтъ никакой нужды воображать себѣ вещество, какъ его представляетъ, впрочемъ остроумный, Лондонскій писатель, въ видѣ какой-то крупы, болѣе или менѣе туго набивающей безконечную пустоту пространства (представленіе—достойное сельской попадьи, — и это говоритъ умный человѣкъ, и это, безъ зазрѣнія совѣсти, предлагаетъ онъ какъ наукообразное начало юнымъ умамъ! — за него совѣстно). Мы знаемъ, что всякая чужая мысль, покуда она еще только выраженіе, а не мысль, принятая внутрь нашего собственнаго мышленія и имъ сознанная, остается еще для насъ въ мірѣ явленій, въ мірѣ силъ формальныхъ и слѣдовательно вещественныхъ. Болѣе этого мы сказать не можемъ; но уже изъ этого получаемъ право не признавать самостоятельности за формальною силою. При всемъ томъ она становится передъ нами какъ внѣшнее, какъ чужое, какъ *не я*, ставимое не творчествомъ нашей субъективной личности, недоступное нашему положительному сознанію, но доступное, хотя отчасти, его отрицательной критикѣ. Дѣйствительно, сознаніе не сознаетъ явленія: оно можетъ понять его законы, его отношеніе къ другимъ явленіямъ, болѣе — его внутренній смыслъ (какъ, напримѣръ, мы понимаемъ слово устное или писанное), но оно не понимаетъ его какъ явленіе. Отъ того-то слѣпой не видитъ, хотя и опредѣляетъ законы свѣта, и глухой не слышитъ, какъ бы ни былъ силенъ въ акустикѣ, между тѣмъ какъ полное разумѣніе есть возсозиданіе, т. е. обращеніе разумѣваемаго въ фактъ нашей собственной жизни. Явленіе недоступно сознанію какъ явленіе, но его законы, его внутренняя логика намъ не чужды: мы изучаемъ его, мы опредѣляемъ связь и взаимное отношеніе его формъ; мы можемъ обличить ложь и противорѣчіе въ сужденіи объ немъ; наконецъ, мы достигаемъ въ сужденіи объ немъ всего того, что доступно отрицательному, а не положительному познанію.

Поэтому, разумъ, давъ общее названіе *силы* началу измѣняемости міровыхъ явленій, требуетъ отъ себя отвѣта на вопросъ: какое именно понятіе заключается въ этомъ словѣ? Тэнъ *) старался доказать безсмысленность самаго слова и

*) Les philosophes classiques du XIX siècle en France. *Изд.*

выставить его какъ простой алгебраическій знакъ безсмысленнаго предположенія. Его выводы не лишены остроумія и нѣкоторой тонкости критической; но (какъ почти всегда выводы Французскихъ писателей) они не исчерпываютъ предмета и показываютъ недостатокъ въ умственной глубинѣ. Онъ отвергаетъ самостоятельность силы, и онъ въ этомъ правъ; но онъ правъ только противъ тѣхъ, которые ее предполагаютъ,—да гдѣ же разумный человѣкъ, предполагающій ее? Кому изъ прошедшихъ черезъ школу Нѣмецкаго мышленія придетъ такое предположеніе въ голову? Сила,—будь она, по Гегелю, только законъ понятія самотворящаго, изъ самаго себя сознаваемое и сознающее, или, по Шелингу, того же понятія, дѣйствующаго на грунтѣ Божественнаго мышленія, или законъ явленія вообще и его измѣненій,—сила никогда и нигдѣ не предъявляетъ притязаній на самостоятельность, а всегда обозначаетъ свойство чего-нибудь другого, предъявляющаго болѣе логическія права на нее. Исключая нѣкоторыхъ, крайне ограниченныхъ, псевдо-философовъ, незаслуживающихъ серьезнаго опроверженія, у всѣхъ другихъ сила есть только какъ бы алгебраическое названіе законовъ движенія (или сопротивленія, что̀ однозначуще), и понятіе о ней падаетъ или сохраняется вмѣстѣ съ паденіемъ или сохраненіемъ цѣлой системы, которой она составляетъ часть или, лучше сказать, сокращенное выраженіе, ибо въ ней дѣйствительно сжимается всегда цѣлая система. Опредѣлите силу по какому-нибудь философскому ученію, и вы опредѣлили самое ученіе. Конечно, такое свойство принадлежитъ и всякой частности въ строго послѣдовательныхъ системахъ; но ни въ какой оно не выступаетъ, можетъ быть, болѣе, чѣмъ въ словѣ *сила*. Вотъ что Тэну слѣдовало замѣтить и чего онъ не замѣтилъ. Во всемъ предыдущемъ я принималъ силу въ смыслѣ закона измѣненія явленій, не формулы только этого измѣненія (по глубоко мысленному, но, какъ я уже сказалъ, несостоятельному ученію Гегеля, для котораго формула явленія есть въ тоже время его начало), а дѣйствительнаго начала измѣненія явленій. Вопросъ родится невольно слѣдующій: какъ относится къ самому явленію живой законъ его измѣненій или начало ихъ—сила?

Возращаюсь къ тѣмъ двумъ категоріямъ, о которыхъ я началъ. Мы видѣли, что кажущееся пространство или такъ называемое вещество, въ его взаимодѣйствіи, не одновременно, а что одновременность его заключается либо въ отвлеченномъ мышленіи, либо въ атомистическомъ сосредоточеніи, либо въ субъективномъ видѣніи. Точно также мы видимъ, что кажущееся время или такъ называемая сила въ веществѣ, въ порядкѣ причинности, не однопространственно; ибо явленія, связываемыя мыслію въ одинъ мигъ времени, не могутъ еще воздѣйствовать другъ на друга и слѣдовательно находиться въ условіяхъ истиннаго пространства, а между тѣмъ время и пространство связаны другъ съ другомъ такъ неразрывно, что они (какъ реальные) другъ безъ друга немыслимы. Дѣйствительно, говоря или думая объ явленіи или силѣ въ развитіи причины и дѣйствія, т. е. думая о нихъ, какъ о времени, вы ставите уже идею формы, т. е. предѣла и, слѣдовательно, взаимности, какъ показываетъ Гегель въ своей превосходной статьѣ (Gränze und Schranke). Итакъ, вы ставите уже пространство; говоря же или думая о пространствѣ, какъ взаимодѣйствіи, вы ставите уже категорію причинности, т. е. время. Прежній ложный кругъ устраненъ, и мнимое опредѣленіе замѣнено опредѣленіемъ логическимъ; но связь двухъ категорій не только не исчезла, но выступила еще съ большею ясностію.

Такъ, отдѣляя въ категоріяхъ пространства и времени все, что въ нихъ внесено чувственнымъ представительствомъ, и возвращая ихъ естественнымъ путемъ діалектическаго мышленія къ болѣе строгому понятію, мы приходимъ, по необходимости, къ тому, что преобладаніе стихіи мысленной оставляетъ за ними только одно значеніе внѣшняго, необращеннаго сознаніемъ во внутреннее, отнимая у нихъ самостоятельность существованія. Не создается ли дѣйствительно пространство и время различными отношеніями мысли къ себѣ самой и къ другимъ? Вы думаете о предметѣ, вглядываясь въ одни его законы, будь это объ вашемъ домѣ, объ землѣ, о планетарной системѣ, и ничто пространственное или временное не вмѣшивается въ вашу думу; а между тѣмъ мысли ваши, если такъ можно выра-

зиться, соприкасаются, взаимодѣйствуютъ, и выводы летятъ отъ причины къ слѣдствію, вмѣщаясь всѣ въ одно мгновеніе, въ одну точку (я употребляю выраженія представительныя, но вы чувствуете, что мысль отъ нихъ свободна). Часто, по порядку времени внѣшняго, вы чувствуете, что при такой чисто внутренней работѣ, не хотящей отчуждать свои понятія, слѣдствіе предшествуетъ причинѣ, и отдаленное опереждаетъ ближайшее. Вы вполнѣ въ мірѣ сознанія. Но вы не такъ хотите относиться къ своей мысли, будь она трудомъ надъ воспринятымъ или надъ сотвореннымъ вами, все равно: вы хотите ее имѣть не какъ законъ только, а какъ фактъ, сдѣлать ее, такъ сказать, чѣмъ-то чужимъ самимъ себѣ, и этотъ домъ, отечество, планетарная система, или эта статуя, картина, или хоть деревянная ложка, они уже сдѣлались пространствомъ, пространствомъ вполнѣ; они заняли какое-то мѣсто, очертились предѣлами, и эти предѣлы, въ свою очередь, поставили за собою пространственную безконечность; а время пошло своими днями и годами, или, по крайней мѣрѣ, своей послѣдовательностью и постепенностью измѣненій. Чѣмъ это не пространство, чѣмъ не время? Правда, они не то, общее всѣмъ, пространство, не то, общее всѣмъ, время, о которомъ мы привыкли говорить; но они точно также реальны,—законъ и категорія новосозданнаго вами объективнаго міра, какъ и предметы вашей мысли, суть вещественныя его стихіи. Они для васъ отличаются отъ такъ называемыхъ реальныхъ только однимъ: они подчинены волѣ, и вы это знаете, какъ я уже сказалъ въ одной статьѣ (объясняя вопросъ: почему Нѣмецкій философъ не довольствуется самозадуманнымъ пивомъ, а беретъ его въ лавочкѣ). Они ваши, внутренніе, хотя и отчужденные волею, — а не дѣйствительно внѣшніе, общіе. *Они не только ваши, но и отъ васъ.* Но вспомните чудный разсказъ Тысячи и Одной Ночи о султанѣ, погрузившемъ голову въ лоханку, или путешествіе Магомета по небесамъ, или хоть менѣе умныя сказки объ видѣніяхъ подъ вліяніемъ магнетизма, на которыхъ мистики строятъ столько нелѣпыхъ толковъ, не будучи въ состояніи сдѣлать ни одного путнаго вывода. (Между нами, они вѣдь также тупы, какъ матеріалисты; они даже тѣже матеріалисты,

или, иначе—тѣже попадьи, только болѣе нервныя). Вспомните все это! Я говорю о сказкахъ, правда; но въ этихъ сказкахъ скрывается глубокое чутье, болѣе—вѣрное сознаніе истины внутренней. Безъ этого сознанія не стали бы вы и всякій читатель, съ истиннымъ чувствомъ художественной правды, восхищаться видѣніемъ Египетскаго султана. Тутъ есть неотразимое убѣжденіе, что, если бы было дано человѣку вглядѣться въ чужую мысль (уже отчуждаемую волею мыслителя въ дѣятельности воображенія), онъ почувствовалъ бы себя въ новомъ времени и новомъ пространствѣ, уже отъ него независимыхъ, а данныхъ ему и нисколько не разнящихся отъ общаго, хотя и совершенно иныхъ. Яснѣе выраженіе этой мысли будетъ, кажется, слѣдующее. Человѣкъ чувствуетъ, что міръ внѣшній и чувственный относится къ нему какъ слово. Одно слово общé, положимъ, цѣлому народу; но и всякое другое, только бы было основано на разумныхъ законахъ, возможно. (Глубока мысль К. С. Аксакова въ его грамматикѣ, что слово есть возсозданіе міра). Міръ субъективнаго созданія, съ его пространствомъ и временемъ, также дѣйствителенъ, какъ міръ внѣшній; а міръ внѣшній есть только всѣмъ общій, Божій, какъ говоритъ Русскій человѣкъ: Божій міръ, Божіе солнце, Божій хлѣбъ, и т. д. Я очень хорошо знаю, что у насъ эта форма выраженія «Божій» имѣетъ, по преимуществу, значеніе благодѣянія, но думаю, что и не безъ примѣси понятія объ «общемъ», напримѣръ: въ Божіемъ мірѣ.

Кажется, отношеніе силы къ явленію высказывается ясно; но пойдемъ къ нему по другому, еще болѣе эмпирическому, пути со всевозможною строгостію анализа. Гдѣ начало явленія, иначе—сила? Самое слово явленіе заключаетъ въ себѣ понятіе объ отношеніи между сознающимъ и сознаваемымъ, или, лучше сказать, еще только вѣруемымъ. Если начало явленія находится въ субъективно-сознающемъ, то оно заключается, очевидно, не въ явленіи; но, говоря о томъ разрядѣ явленій, которыя независимы отъ субъективности, т. е. объ явленіяхъ міра всѣмъ общаго, мы уже не можемъ ихъ начала искать въ сознающемъ субъектѣ. Въ этомъ случаѣ находится ли онъ въ самомъ явленіи? Всѣ явленія

внѣшняго міра таковы, что они не имѣютъ дѣйствительно никакой самостоятельности, а представляются опыту, также какъ и разуму, произведеніемъ силъ, началъ или причинъ, существующихъ помимо каждаго особеннаго явленія и только сочетающихся къ созданію его. Вы перевязываете жилу животному, уничтожаете въ немъ движеніе крови и умерщвляете его; или останавливаете притокъ воздуха и заставляете его задохнуться; останавливаете ростъ дерева, или осушаете озеро; комета въ своемъ заносчивомъ бѣгѣ сталкиваетъ съ пути, или разрушаетъ астероидъ, или сама попадается въ область планетнаго притяженія и откидывается на новый путь въ пространствѣ, или гибнетъ цѣлая солнечная система (все равно, гибнутъ ли онѣ въ дѣйствительности или нѣтъ, разумъ сознаетъ внутреннюю возможность такой погибели),—разрушеніе или сохраненіе явленія зависитъ не отъ него. Причина его существованія не въ немъ, а внѣ его, въ силахъ или началахъ, не ему принадлежащихъ. Оно само случайно для себя, хотя и не случайно, а разумно и логически выводимо изъ общихъ міровыхъ законовъ. Внутри себя оно живетъ или существуетъ опять не по законамъ или началамъ, имъ постановленнымъ, а по началамъ, получаемымъ извнѣ, какъ послѣдствіе общей міровой жизни. И такъ, вся его сущность принадлежитъ не ему, и слѣдовательно каждое явленіе есть только извѣстное преломленіе или сочетаніе и узелъ общихъ причинъ. Сила или причина бытія каждаго явленія заключается во «всемъ».

Но это «все» не есть итогъ явленій. Вы можете сказать, что аршинъ есть часть версты или земнаго радіуса, но не можете сказать, что аршинъ есть часть всемірнаго поперечника, обращающая этотъ поперечникъ въ итогъ аршиновъ. Точно также, не можете вы сказать, что явленіе есть часть «всего», обращающая это «все» въ итогъ явленій. Частное не итожится въ безконечное «все», а начало всякаго явленія, очевидно, заключается именно въ этомъ «все», т. е. въ мыслимомъ, а не представляемомъ и не являемомъ.

Но начало заключается только ли во «всемъ», или въ сочетаніи его съ частнымъ явленіемъ? (Замѣтьте, пожалуйста, что, отдѣливъ внѣшнее отъ внутренняго въ субъективномъ

сознаніи, я уже не имѣю права ставить, какъ Германская философія, «все» и всѣ явленія въ движеніи самосознающагося субъекта. Я думаю, что уже получилъ право отказаться отъ этой призрачной простоты, дошедшей, путемъ логической необходимости, до самоубійства системы въ Гегелѣ. Признавъ внѣшнее человѣческому мышленію, т. е. лично человѣческому, я отношусь къ міру, какъ внѣшнему, и долженъ допрашивать его о началахъ явленія, признавая въ немъ возможность самостоятельности). Мы видѣли случайность явленія въ отношеніи къ нему самому; но, при всей этой случайности, не можетъ ли мысль признать его полярнымъ факторомъ въ отношеніи къ цѣлому, факторомъ, производящимъ новое явленіе и слѣдовательно возвратно объясняющимъ всякое предшествующее и самый вѣчный корень своего существованія? Всмотримся въ любое явленіе; положимъ, что это выстрѣлъ, убившій звѣря. Допустимъ конечный результатъ какъ явленіе. Какое же ему предшествовало, въ которомъ могъ бы заключаться факторъ для произведенія будущаго? Вы съ вашимъ ружьемъ, съ вашимъ вѣрнымъ глазомъ и твердою рукою (я не забылъ, какъ видите, того, чѣмъ вы во время оно, по справедливости, хвалились: желаю вамъ того же и въ будущемъ); но во всемъ этомъ когда же переставали дѣйствовать міровые законы? Летѣла дробь изъ ружья; но какой же моментъ былъ дѣйствительнымъ явленіемъ? Во все время этого полета дѣйствовали: сила пороха, тяжесть, устремленная по прямой линіи, притяженіе земли, измѣняющее эту линію, сопротивленіе воздуха, даже легкое вліяніе боковаго, встрѣчнаго или попутнаго вѣтра, законы химическіе, удерживающіе дробь въ ея видѣ или окисляющіе ее на лету и измѣняющіе ея тяжесть. Нѣтъ той точки, той формы, на которой бы мы могли остановиться и сказать: вотъ явленіе. Тоже было и прежде. Ваше ружье, вашъ порохъ, вы сами — все это никогда не было, все это рядъ измѣненій или, лучше сказать, постоянное измѣненіе, при которомъ мысль не имѣетъ права, не можетъ остановиться ни на минуту и признать что-либо за явленіе. Тоже и послѣ. А планета? а солнечная система? Вдумайтесь въ нихъ, и онѣ точно тоже, что этотъ мгно-

венный выстрѣлъ. Эта рука, эта нога, эта цвѣтущая былка, эта засохшая соломинка, все это, по всей поверхности и во всей своей внутренности, безпрестанно разлагается и составляетъ новыя сочетанія. Кость внутри тѣла, камень въ нѣдрахъ земли, не остаются ни на одинъ мигъ безъ измѣненія. Нѣтъ ни одного момента времени, въ которомъ хотя бы малѣйшая частица оставалась собою. Ничто не существуетъ: все im Werden, какъ сказала уже Германія (въ *гряденіи*, сказалъ бы я; ибо werden есть не что иное какъ *гряду*, или gradior Латинскій. Эта этимологія для меня несомнѣнна). Правда, мы говоримъ объ явленіи; но что называемъ мы этимъ именемъ? Что-то выхваченное изъ общаго, что-то не имѣющее дѣйствительно никакихъ предѣловъ, а опредѣляемое только нашею слабостью и нашею личностью, которая сама, помимо субъективности, опять не имѣетъ ни предѣла, ни формы. Прибавьте къ моимъ словамъ великолѣпныя строки Паскаля sur l'infiniment grand и l'infiniment petit, строки, еще болѣе понятныя современной наукѣ, чѣмъ наукѣ его времени, и вы увидите, что какъ явленіе въ своемъ разростаніи ушло во «все» мыслимое, а не являемое и не представляемое, такъ точно, въ своемъ желаніи опредѣлиться, оно, раздробляясь, пропало въ «атомѣ» или моментѣ мыслимомъ, а не представляемомъ и не являемомъ. Оба фактора вырвались передъ вашими глазами изъ міра явленій и перешли въ міръ мысли. Оба освободились отъ формы или лишились ея, слѣдовательно не признаютъ уже надъ собою ея владычества и стали предъ нашимъ мысленнымъ взглядомъ какъ положительно сущее, кажущееся отвлеченностью, потому что добыто отвлеченіемъ, сущее, тождественное самому себѣ, но разбитое на мнимую полярность «всего» и «атома» слабостью нашего субъективнаго созерцанія.

Но скажутъ: этотъ результатъ не необходимъ, потому что путь произвольно мною выбранъ. Нѣтъ, онъ непроизвольно выбранъ. Человѣкъ можетъ отказаться идти по немъ, какъ онъ можетъ отказаться отъ всякаго мышленія, по завидному праву, которымъ такъ многіе пользуются, особенно у насъ; но онъ неизбѣженъ для мысли: онъ суще-

ствуетъ въ каждомъ человѣкѣ самоправно и дѣйственно, какъ бы онъ отъ него ни отказывался, и неразлученъ съ его существомъ. Это путь строгаго анализа; результатъ, имъ дойденный, необходимъ. Сущее осталось передъ нами вполнѣ свободное отъ явленія, отъ формы мнимо-реальной, и доступное только мышленію; но это сущее, это «все» заключаетъ въ себѣ и мышленіе, которое одно уцѣлѣло передъ анализомъ частныхъ явленій. И такъ, характеръ и значеніе мысли остались за нимъ, но уже неподчиненныя никакому внѣшнему стѣсненію, въ полной своей свободѣ. Явленіе есть уже его движеніе, его какъ сознаваемаго или какъ предмета для сознанія, слѣдовательно—его движеніе для сознающаго. Оно свободно, но разумно, т. е. согласно съ законами разума.

Разумность не есть необходимость, хотя ее и смѣшиваютъ съ нею, особенно вслѣдствіе Гегелева логическаго ученія: разумность не есть необходимость, она есть только условіе возможности. Треугольникъ есть треугольникъ потому, что нетреугольный треугольникъ — это звукъ, а не мысль; но этотъ законъ относится только къ мысли о треугольникѣ вообще и нисколько не обусловливаетъ существованія какаго бы то ни было треугольника. Движеніе мысли заключаетъ въ себѣ возможность этого движенія, т. е. не допускаетъ никакаго противорѣчія самому себѣ; но возможность не опредѣляетъ дѣйствительнаго существованія. Возможность или разумность слѣдуетъ правильно называть мыслимостью, и если бы это слово было употребляемо Германскою школою, она избѣгла бы весьма многихъ ошибокъ, въ которыя впала вслѣдствіе употребленія слова vernünftig, котораго двусмысленность постоянно привносила чуждую и слѣдовательно ложную стихію къ идеѣ мыслимости. Правильное развитіе всякой лжи разумно потому только, что неправильное развитіе немыслимо, ибо оно не развитіе; но правильное развитіе лжи не обращаетъ ее въ правду: оно не измѣняетъ первой данной и, разумѣется при своемъ конечномъ выводѣ, обличитъ ее во лжи и, слѣдовательно, уничтожитъ ее; а до тѣхъ поръ оно мыслимо, оно возможно, и часто является въ ограниченной субъективности человѣка

и человѣческаго рода потому только, что внутреннее противорѣчіе первой данной не вдругъ уясняется для ограниченной мысли. Собственно правильное развитіе лжи есть ея обличеніе, а не развитіе, и такимъ образомъ разумно; но покуда процессъ не конченъ, онъ имѣетъ признаки развитія, будучи въ дѣйствительности уничтоженіемъ данной. Собственно ложь немыслима и невозможна въ мірѣ, который есть правда сущаго; поэтому, свобода «всего», т. е. мысли, не стѣсняется нисколько тѣмъ, что она разумна, т. е. мыслима.

Но свобода, какъ и возможность, не заключаютъ еще и не могутъ заключать въ себѣ начала или причины явленіямъ. Оба эти понятія отрицательны; оба опредѣляютъ только отношеніе внѣшнее (возможности ко лжи, свободы къ принужденію); оба принадлежатъ, такъ сказать, страдательной области пониманія, а не дѣятельности полнаго разума; ихъ нѣтъ въ самомъ сознаваемомъ и, слѣдовательно, въ явленіи: ибо сознаніе добываетъ ихъ посредствомъ противоположенія. Принужденіе, какъ сила, находится не въ предметѣ, на который оно дѣйствуетъ, а во внѣшнемъ, дѣйствующемъ на него, и только изъ отрицанія этого принужденія истекаетъ понятіе о свободѣ. Въ этомъ словѣ положительно не оно само, а принужденіе; существенность, какъ я уже прежде сказалъ, принадлежитъ только положительному. Поэтому, движеніе, которое мы называемъ свободнымъ, черезъ то самое ставится нами какъ несущественное или несамосущее. Свобода не можетъ, въ смыслѣ положительномъ, быть началомъ явленія, хотя мы и получили ее, какъ качество для этого начала, путемъ отрицанія. Начало же движенія въ положительно-сущемъ должно быть положительнымъ. Явленіе, какъ реальное, какъ итогъ явленій, мы это уже видѣли, не можетъ быть признано факторомъ въ движеніи «всего»; явленіе же, какъ законъ, есть только возможность, и слѣдовательно также не можетъ быть факторомъ для міра положительнаго. Самостоятельными остались только, кромѣ мышленія, «все» и моментъ или «атомъ» — оба принадлежащіе міру мысли, а не явленія или представленія. Они тождественны; но если бы мы даже признали за ними отношенія

тождественности полярной (что, впрочемъ, привносится нами, а не присуще имъ), то и тогда сочетаніе ихъ будетъ только свободою или возможностью, а не болѣе. Содержанія еще нѣтъ. Математикъ выразилъ бы это логическое понятіе формулою: $\infty \times 0$, которая есть формула математической свободы, т. е. возможность всякаго количества, и слѣдовательно (помимо внѣшняго опредѣленія) отрицаніе всякаго опредѣлительнаго количества, вслѣдствіе равноправности всѣхъ.

Поэтому, какъ я уже сказалъ, свобода не можетъ въ себѣ заключать начала явленія; но это начало, по отрицанію, опредѣляется сознаніемъ разсудка, какъ свободное (слѣдуя закону, который я объяснялъ въ статьѣ, помѣщенной въ Русской Бесѣдѣ *). Оно заключается не въ *свободѣ мысли*, оставшейся единственнымъ опредѣленіемъ «всего», *но въ мысли свободной, т. е. волѣ разума.*

Вотъ, любезный Юрій Ѳедоровичъ, тотъ корень движимаго и измѣняемаго міра явленій, къ которому приводитъ насъ строгость анализа, откуда бы мы ни начали свой логическій путь, если только пойдемъ по немъ неуклонно, отстраняя обманы міра представленій и требуя отчетливаго отвѣта отъ всякой степени мысленнаго развитія, на которой вздумалось бы намъ незаконно остановиться. Воля—это послѣднее слово для сознанія, такъ же какъ оно первое (и именно потому, что оно первое) для дѣйствительности. *Воля разума*, и—прибавляю—*разума въ его полнотѣ*, ибо измѣненіе явленій есть измѣненіе въ сознаваемомъ (а не въ сознаніи, которое, съ своей стороны, воспринимаетъ одинаково всякій предметъ), но сознаваемое, какъ таковое,—уже предполагаетъ или, лучше сказать, заключаетъ въ себѣ уже присущее существованіе до-предметнаго сознанія, той первой степени мысленнаго бытія, которая не переходитъ и не можетъ перейти въ явленіе, всегда предшествуя ему. (Это ложно названный *субъектъ*, между тѣмъ какъ субъектъ есть таже степень, но уже признанная сознаніемъ). И такъ, самое измѣненіе явленій, совершаемое въ сознаваемомъ, ставитъ уже полноту мысленнаго существа, и поэтому только въ полнотѣ разума находимъ мы начало явленія и его измѣненій, т. е. силы.

*) По поводу отрывокъ Киреевскаго.

Воля—я уже прежде показалъ, что понятіе объ ней не дается человѣку извнѣ. Въ себѣ, а не внѣ себя добылъ онъ его, какъ понятіе о самомъ разумѣ. Міръ внѣшній не училъ его такому понятію; міръ внѣшній не представлялъ для него ни основъ, ни данныхъ. Цѣлыя категоріи мыслей зависятъ отъ него и не могли бы вовсе существовать безъ его существованія, а его существованіе ничѣмъ необъяснимо. Все движется по закону причинъ и слѣдствія; все одинако покорено необходимости. Свобода можетъ являться только относительною, т. е. въ отношеніи къ одной какой либо силѣ, а никакъ не ко всѣмъ. Откуда же возникло признаніе воли? Ею собственно, какъ я уже сказалъ, опредѣляются границы субъективности человѣческой въ отношеніи къ объективаціи или къ внутреннему представительству; ею для человѣка отмѣчается то, что̀ въ немъ отъ него самого, и отдѣляется отъ того, что̀ въ немъ не отъ него; она же сама не узнается ни изъ какаго опыта, ни изъ какаго явленія, и не переходитъ ни въ какое явленіе. Вольнаго предмета человѣкъ не знаетъ и не видалъ, то есть такого предмета, котораго дѣйствіе само носило бы на себѣ признаки воли.

Единственное возраженіе, которое можно бы сдѣлать противъ моего положенія, было бы слѣдующее. Человѣкъ, сосредоточенное отраженіе внѣшняго міра, служитъ для себя какъ бы узломъ его силъ, и силы эти, дѣйствуя на него, такъ сказать, съ периферіи, признаются имъ какъ внѣшнія и какъ необходимость; но, дѣйствуя снова изъ этого центральнаго узла (хотя, разумѣется, тоже по необходимости), кажутся какъ бы получившими самостоятельность и самопроизвольность. Центръ себѣ приписываетъ какъ свое, какъ собственное, то, что̀, дѣйствительно, есть только отраженіе периферическаго дѣйствія (такъ, напримѣръ, мы говоримъ о притяженіи центра земнаго, тогда какъ оно, въ дѣйствительности, есть притяженіе всѣхъ ея частей, скрещивающихся и составляющихъ какъ бы узелъ въ центрѣ); но обманутый умъ называетъ этотъ призракъ самодѣятельности центральной—волею, отдѣляя ее отъ явно невольнаго для насъ дѣйствія силъ внѣшней природы. Таково един-

ственное, нѣсколько разумное, возраженіе, по крайней мѣрѣ, на первый взглядъ; но и оно нисколько не выдерживаетъ критики. Правда, сознаніе внутренней дѣятельности, дѣятельности свободной, такъ сильно и первобытно въ насъ, что человѣкъ непросвѣщенный переноситъ туже мысль на самую природу, и вѣритъ, въ младенчествѣ ума своего, что и каждая часть ея также самодѣятельна, будь то животное, или растеніе, или даже вовсе неорганическое вещество; но первая мысль, создавшая цѣлую новую категорію, не могла возникнуть изъ обмана. Ложное приложеніе категоріи есть призракъ, и призракъ очень обыкновенный, но созданіе цѣлой категоріи невозможно; категоріи, это—законы самого разума. Человѣкъ знаетъ свои тѣлесные предѣлы, положимъ, не по границамъ воли, а по границѣ двойнаго впечатлѣнія (ибо внѣшнее даетъ только одиночное впечатлѣніе), но человѣкъ приписываетъ своей волѣ далеко не все то, что̀ дѣйствуется въ этихъ предѣлахъ. Судорогу и корчу, миганіе и множество другихъ дѣйствій не признаётъ онъ вольными. Физіологъ скажетъ: это не отправленіе мозга; но какой же толковитый физіологъ, изучивъ сколько нибудь анормныя и болѣзненныя явленія человѣческой природы, не видалъ, что человѣкъ отрицается отъ многихъ дѣйствій, которыя тотъ же физіологъ припишетъ именно мозговымъ отправленіямъ? «Я это дѣлалъ, но я не то дѣлалъ, что̀ хотѣлъ. Я это говорилъ, но говорилъ помимо воли своей. Я чувствовалъ и зналъ, что не то дѣлаю и не то говорю; хотѣлъ дѣйствовать и говорить иначе, но не могъ». Это объясненіе слышится безпрестанно отъ нервно-больныхъ. «Вяжите меня, я хочу васъ кусать», говоритъ несчастная жертва водобоязни. Воля разумная не отдѣляется отъ потребности животнаго центра? Но предположимъ, наконецъ, что самое тѣло заключаетъ въ себѣ нѣсколько центровъ, болѣе или менѣе независимыхъ, которые, вслѣдствіе раздраженія, получаютъ иногда преобладаніе надъ тѣмъ мозговымъ центромъ, который человѣкъ привыкъ считать и называть собою, и эта уступка (которую я считаю совершенно справедливою) приводитъ къ тому же выводу. Всѣ тѣ движенія языка, гортани и членовъ, о которыхъ я говорилъ, получают-

ся опять только отъ мозга. Пусть черезъ него дѣйствуетъ другой органъ; но и всѣ его силы точно также заимствованы, и, однако, принимаются имъ за собственную силу, за волю. Очевидно, онъ и тутъ принимать извнѣ силу не могъ бы отъ себя, ибо она впала бы въ общій разрядъ. Обманъ мысли, принимающій центральность впечатлѣній и отраженій за свою волю, немыслимъ.

Повторяю снова сказанное прежде; человѣкъ-младенецъ часто ошибается, приписывая волю предметамъ внѣшняго міра. Это возраженіе не разъ повторялось противъ существованія свободной дѣятельности въ человѣкѣ тою школою тучныхъ мозговъ, которую называютъ матеріалистами или, пожалуй, вѣжливѣе въ нашъ вѣжливый вѣкъ, реалистами; но что же оно доказываетъ? Замѣтьте, тотъ же человѣкъ-младенецъ который приписываетъ волю веществу, всегда приписываетъ ему и сознаніе. Какъ же это? Человѣкъ приписываетъ предмету сознаніе, потому что самъ имѣетъ его безъ сомнѣнія, и приписываетъ волю потому, что самъ ея не имѣетъ! Не явная ли это нелѣпость? Не явно ли только одно, что человѣкъ не можетъ мыслить сознаніе безъ воли? Этотъ выводъ, этотъ законъ мысли, неотразимъ. Человѣкъ иначе думать не можетъ, и когда онъ себя и другихъ увѣряетъ въ противномъ онъ только набираетъ звуки, а не мысли, точно также, какъ когда увѣряетъ, что сомнѣвается въ существованіи своего сознанія или себя самого. Анализъ Канта точно также приложимъ къ одному случаю, какъ и къ другому. Никто въ своей волѣ не сомнѣвается, потому что онъ понятіе объ ней не могъ получить изъ внѣшняго міра, міра необходимостей; потому что на сознаніи воли основаны цѣлыя категоріи понятій; потому что въ ней, какъ я уже сказалъ, лежитъ различеніе между предметами міра существеннаго и міра воображаемаго (такъ, напримѣръ, отличалась для Николаи невольная галлюцинація, представлявшая ему призраки людей отъ вольно воображаемаго имъ отсутствующаго человѣка); потому, наконецъ, что разумъ точно *также не можетъ сомнѣваться въ своей творческой дѣятельности—волѣ, какъ и въ своей отражательной воспріимчивости—вѣрѣ, или окончательномъ сознаніи—разсудкѣ.*

Явленіе, предшествующее своей причинѣ, силѣ, для логики также нелѣпо, также немыслимо, какъ предметъ предшествующій сознающему, когда онъ—предметъ только для сознанія (ибо онъ былъ бы иначе не предметомъ; чѣмъ же бы онъ былъ?). Поэтому, свободная сила неявленнаго, мысли, иначе—воля есть такое требованіе разума, отъ вѣры въ которую онъ вовсе не можетъ отказаться. Нельзя нисколько осуждать младенчествующаго ума, который предметамъ внѣшняго міра приписываетъ и сознаніе, и волю: онъ вполнѣ правъ; онъ вѣренъ законамъ разума гораздо болѣе, чѣмъ тѣ мнимые мыслители, которые отрицаютъ (или воображаютъ, что отрицаютъ) и то и другое. Ошибка его состоитъ только въ одномъ,—въ томъ, что онъ, перенося свою человѣческую субъективность на явленія дробныя, уравниваетъ ихъ съ собою и придаетъ дробному являемому то, что̀ принадлежитъ мыслимому всему. Великая же его правда состоитъ въ томъ, что, сознавая внѣшнія явленія какъ необходимость въ отношеніи къ самому себѣ, онъ признаетъ дѣйствующую свободу, волю, въ ихъ источникѣ. Тутъ въ немъ выражается глубокое сознаніе истины, что *необходимость есть только чужая воля*, а такъ какъ всякая объективація есть уже вольное самоотчужденіе мысли—не я, то—*необходимость есть проявленная воля.*

Законъ, т. е. условіе понятій и слѣдовательно отношенія между всѣмъ, что̀ есть, не имѣетъ ничего общаго съ необходимостью. Это не что иное, какъ мыслимость или возможность существованія. Поэтому, крайне нелогичны тѣ, которые признаютъ неволю въ мысли (и слѣдовательно необходимость) потому только, что всѣ ея явленія непремѣнно согласны съ понятіемъ. Формулируйте эту мнимую необходимость, и вы находите слѣдующее: явленія мысли всегда согласны съ нею, т. е. мыслимы, это несомнѣнно; но гдѣ же тутъ необходимость? Какой человѣкъ въ здравомъ смыслѣ увидитъ ее тутъ? Гегель чувствовалъ или, лучше сказать, зналъ это. Отъ того-то онъ и признавалъ собственно началомъ самоотрицающуюся необходимость, свободу (die sich nigirende Negation und die Nothwendigkeit); но онъ смутно чувствовалъ, что эти, добытыя отрицаніемъ,

формулы не могутъ ни объяснить положительно сущаго, ни быть его началомъ. Отъ того-то онъ и ввелъ въ свою логику ученіе о случайности (die Zufälligkeit), которое замѣчательно глубоко въ сцѣпленіи своихъ выводовъ; но такъ какъ сама случайность есть опять только законъ, онъ перешелъ отъ нея незаконнымъ скачкомъ къ случаю (Zufall), который есть уже дѣйствительно сущее. (У него такой же скачокъ отъ Schein къ Erscheinung и много другихъ, и всѣ обусловлены однимъ и тѣмъ же скрытнымъ, чувствуемымъ, но непризнаваемымъ или несознаннымъ требованіемъ дѣйствительности). До идеи воли онъ не доходилъ и дойти не могъ, по весьма простой причинѣ. Онъ шелъ путемъ аналитическаго сознанія (разсудка) и ставилъ въ немъ полюсъ положительности; слѣдовательно, реально предшествующее являлось ему всегда съ знакомъ отрицанія, и воля, начало по преимуществу положительное, но предшествующее всякому сознанію и всякому сознаваемому (т. е. предметамъ), являлась ему уже въ видѣ удвоеннаго отрицанія свободы, т. е. исчезала изъ положительнаго міра. Снова повторяю: онъ не созналъ, какъ и всѣ Нѣмецкіе мыслители не сознаютъ, того правила, что путь анализа тождественъ съ путемъ реальности, но только въ обратномъ направленіи...

И такъ, откуда бы мы ни шли, отъ своей ли личной субъективности и сознанія, отъ анализа ли явленій въ ихъ міровой общности, одно выступаетъ въ конечномъ выводѣ — воля въ ея тождествѣ съ разумомъ, какъ его дѣятельная сила, неотдѣлимая ни отъ понятія объ немъ, ни отъ понятія объ субъективности. Она ставитъ все сущее, выдѣляя его изъ возможнаго, или, иначе, *выдѣляя мышленное изъ мыслимаго* свободою своего творчества. Она, по существу своему, разумна, ибо разумно все, что мыслимо, а она — разумъ въ его дѣятельности, также какъ сознаніе есть разумъ въ его отражательности или страдательности, или, если угодно, воспріимчивости. Обѣ эти степени, съ посредствующею объективностью или предметностью, гдѣ воля ставитъ себя предметомъ для сознанія (слѣдовательно, уже какъ мнимую необходимость), присущи разуму и состав-

ляютъ его полноту, цѣлость его внутренняго разклубленія (эволюціи). Напрасно отдѣляютъ волю отъ произвола, называя этимъ непочетнымъ именемъ тѣ движенія воли, которыя будто бы несогласны съ общими міровыми законами и оставляя лестное имя свободы за явленіями законными. Во всѣхъ этихъ аки бы опредѣленіяхъ нѣтъ ни послѣдовательности, ни логики, а простая путаница, происходящая, какъ я уже сказалъ, отъ смѣшенія полюсовъ дѣйствительности и анализа. Произволъ, по своей сущности, весьма вѣрно опредѣляемый самою этимологіею слова, есть первоизволеніе, т. е. воля въ своей полной свободѣ. Кстати—простите отступленіе! Вы считаете себя нѣсколько недругомъ этимологіи; я увѣренъ, что это просто ошибка въ вашемъ самосознаніи. Этимологія есть бесѣда съ прошедшимъ въ его существеннѣйшемъ содержаніи, бесѣда съ мыслію минувшихъ поколѣній, вычеканенною ими изъ звуковъ. Это дѣло великое, котораго вы не можете не цѣнить, даже возставая противъ его злоупотребленія. Въ общемъ словѣ людей или народа, т. е. языкѣ, скрывается глубокая мудрость, высшая частнаго мудрованія и способная часто возвращать его къ легко забываемой истинѣ. И такъ, я говорю, что слово «произволъ» есть только воля въ ея полной свободѣ, первоизволеніе. Замѣтьте, что онъ не можетъ быть неразуменъ, ибо онъ былъ бы тогда немыслимъ; онъ не можетъ быть несогласенъ съ общими міровыми законами, ибо онъ тогда не могъ бы и проявляться вовсе. Весь логическій путь, имъ совершаемый, во всѣхъ его явленіяхъ слѣдуетъ тѣмъ же общимъ, основнымъ законамъ, которымъ слѣдуетъ и такъ называемая разумная свобода въ своихъ твореніяхъ. Въ мірѣ несогласнаго съ міромъ нѣтъ и быть не можетъ; между тѣмъ нѣтъ никакаго сомнѣнія, что въ словѣ «произволъ» заключается, вслѣдствіе обычая, т. е. постепеннаго движенія мысли человѣческой, понятіе о дисгармоніи, о какомъ-то разногласіи, — но между кѣмъ? и въ какомъ отношеніи?

Трудно или, лучше сказать, невозможно, любезный Юрій Ѳедоровичъ, человѣку проникнуть умомъ или выразить

словомъ ту бездну бытія, въ которой онъ самъ является такимъ ничтожнымъ дуновеніемъ, такою меньше чѣмъ пылинкою, а умъ задаетъ себѣ безконечные запросы, требуетъ себѣ отвѣта, критикуетъ и бракуетъ эти отвѣты, добивается въ нихъ стройности и строгой послѣдовательности, чувствуетъ, что онъ не можетъ установить первыхъ данныхъ, но стремится создать себѣ мысленный міръ, въ которомъ не было бы противорѣчія съ ними. Поэтому иду далѣе, удерживая, я надѣюсь, правильное сцѣпленіе понятій; но иду не безъ страха, зная, какъ легко, даже при кажущейся вѣрности логической, впасть въ своего рода логическій мистицизмъ, принимающій слово за мысль, точно также какъ болѣе обыкновенный мистицизмъ принимаетъ за мысль представленія.

Мы видѣли, что міръ явленій возникаетъ изъ свободной силы, воли; но этотъ міръ представляется какъ сочетаніе двухъ фактовъ, «всего» и момента или «атома», двухъ мыслимыхъ, а не являемыхъ, которыя, впрочемъ, двумя называетъ только наша субъективная слабость, обманутая нашимъ путемъ по міру представленій. Оба уже вышли изъ міра явленій, освободились отъ всякихъ, извнѣ полагаемыхъ, признаковъ, и сошлись въ полное тождество для строго-логическаго разсудка. Но затѣмъ остается, можетъ быть, и безправная вѣра въ двойственность, хотя мы этой двойственности формулировать не можемъ; остается разумное убѣжденіе, что личное сознаніе видитъ въ мірѣ необходимость, чего оно не могло бы признавать, если бы онъ былъ фактомъ ея воли; остается, наконецъ, стремленіе оправдать являемое, которое, при единствѣ субъекта, было бы только мыслимое, или сознательно-мыслимое даже въ явленіи.

Все сущее сказалось передъ разумомъ, какъ свободная сила мысли, волящій разумъ, ставящій себя какъ мышленное (для своего же сознанія, о чемъ теперь не нужно говорить). Какъ «все» и полнота «всего», онъ сохраняетъ эту полноту бытія даже на степени мышленнаго. Въ немъ нѣтъ и быть не можетъ призраковъ дробнаго явленія, или при-

знанія чего-нибудь чуждаго, хотя онъ себя, такъ сказать, отчуждаетъ, или дѣйствительнаго движенія, которое есть принадлежность начинающагося или дробнаго. Въ немъ нѣтъ возникновенія; а между тѣмъ есть въ . . . . . .
. . . . . .

ОБЪ ОБЩЕСТВЕННОМЪ ВОСПИТАНІИ

ВЪ РОССІИ.

Объ общественномъ воспитаніи въ Россіи *).

Для того, чтобы опредѣлить разумное направленіе воспитанія въ какой бы то ни было землѣ и полезнѣйшее вліяніе правительства на это воспитаніе, кажется, надобно прежде всего опредѣлить смыслъ самаго слова: Воспитаніе.

Воспитаніе въ обширномъ смыслѣ есть, по моему мнѣнію, то дѣйствіе, посредствомъ котораго одно поколѣніе приготовляетъ слѣдующее за нимъ поколѣніе къ его очередной дѣятельности въ исторіи народа. Воспитаніе въ умственномъ и духовномъ смыслѣ начинается также рано, какъ и физическое. Самые первые зачатки его, передаваемые посредствомъ слова, чувства, привычки и т. д., имѣютъ уже безконечное вліяніе на дальнѣйшее его развитіе. Строй ума у ребенка, котораго первыя слова были Богъ, тятя, мама, будетъ не таковъ, какъ у ребенка, котораго первыя слова были деньги, нарядъ или выгода. Душевный складъ ребенка, который привыкъ сопровождать своихъ родителей въ церковь по праздникамъ и по Воскресеньямъ, а иногда и въ будни, будетъ значительно разниться отъ душевнаго склада ребенка, котораго родители не знаютъ другихъ праздниковъ, кромѣ театра, бала и картежныхъ вечеровъ. Отецъ или мать, которые предаются восторгамъ радости при полученіи денегъ или житейскихъ выгодъ, устраиваютъ духовную

*) Эта статья не входила въ собранія сочиненій А. С. Хомякова. Она написана около 1858 года и, если не ошибаемся, передана была князю П. А. Вяземскому, въ то время товарищу Министра Народнаго Просвѣщенія. Можетъ быть, заключительныя строки этой статьи и послужили побужденіемъ къ послѣдовавшему за тѣмъ измѣненію Цензурнаго Устава (льготы Русскому печатному слову были исходатайствованы княземъ П. А. Вяземскимъ). *Ив.*).

жизнь своихъ дѣтей иначе, чѣмъ тѣ, которые при дѣтяхъ позволяютъ себѣ умиленіе и восторгъ только при безкорыстномъ сочувствіи съ добромъ и правдою человѣческою. Родители, домъ, общество уже заключаютъ въ себѣ бо́льшую часть воспитанія, и школьное ученіе есть только меньшая часть того же воспитанія. Если школьное ученіе находится въ прямой противоположности съ предшествующимъ и, такъ сказать, приготовительнымъ воспитаніемъ, оно не можетъ приносить полной, ожидаемой отъ него пользы; отчасти оно даже дѣлается вреднымъ: вся душа человѣка, его мысли, его чувства раздвояются; исчезаетъ всякая внутренняя цѣльность, всякая цѣльность жизненная; обезсиленный умъ не даетъ плода въ знаніи, убитое чувство глохнетъ и засыхаетъ; человѣкъ отрывается, такъ сказать, отъ почвы, на которой выросъ, и становится пришельцемъ на своей собственной землѣ. Таково было дѣйствіе переворота, совершеннаго Петромъ Первымъ. Ошибка извиняется, можетъ быть, многими обстоятельствами его времени, но повторять такую ошибку безпрестанно было бы непростительно. Школьное образованіе должно быть соображено съ воспитаніемъ приготовляющимъ къ школѣ, и даже съ жизнію, въ которую долженъ вступить школьникъ по выходѣ изъ школы, и только при такомъ соображеніи можетъ оно сдѣлаться полезнымъ вполнѣ.

Изъ этаго опредѣленія воспитанія слѣдуетъ, что оно есть дѣло всего общества въ обширномъ смыслѣ слова, и что оно повидимому должно быть предоставлено самому обществу безъ всякаго вмѣшательства правительственной власти; но такой выводъ былъ бы несправедливъ. Нѣтъ сомнѣнія, что государство, признающее себя за простое или, лучше сказать, торговое скопленіе лицъ и ихъ естественныхъ интересовъ, какъ напримѣръ Сѣверо-Американскіе Штаты, не имѣетъ почти никакаго права вмѣшиваться въ дѣло воспитанія, хотя и они не дозволили бы воспитательнаго заведенія съ явно-безнравственною цѣлью; но то, что въ государствѣ, подобномъ Сѣверной Америкѣ, является только сомнительнымъ правомъ, дѣлается не только правомъ, но прямою обязанностію въ государствѣ, которое, какъ земля Русская, признаетъ въ себѣ внутреннюю задачу проявленія человѣческаго общества, основаннаго на законахъ высшей нравственности и Христіанской правды. Такое

государство обязано отстранять отъ воспитанія все то, что̀ противно его собственнымъ основнымъ началамъ. Такова разумная причина, изъ которой истекаетъ необходимость прямаго дѣйствія правительственнаго на общественное образованіе. Впрочемъ, это дѣйствіе, какъ я сказалъ, есть дѣйствіе только отрицательное. Право на дѣйствіе положительное, повидимому, сомнительно; но и это сомнѣніе исчезаетъ при внимательномъ разсмотрѣніи. Во всякомъ обществѣ, кромѣ потребностей постоянныхъ и общихъ, могутъ явиться потребности временныя, частныя, на которыя еще оно отвѣчать не умѣетъ. Для удовлетворенія этихъ потребностей могутъ быть нужны учебныя заведенія, исключительныя и временно-необходимыя до той поры, когда само общество вполнѣ пойметъ свои новыя задачи и будетъ въ состояніи свободно удовлетворять свои новыя требованія. Это право безспорно должно быть допущено всякимъ государственнымъ законодательствомъ. Такимъ образомъ, положительное вмѣшательство правительства въ дѣло общественнаго образованія также законно, какъ и отрицательное его вліяніе; а все то, что̀ составляетъ право правительства, составляетъ въ тоже время часть его обязанности. И такъ, въ число прямыхъ обязанностей правительства, вѣрно выражающаго въ себѣ законныя требованія общества, входятъ: устраненіе всего, что̀ противно внутреннимъ и нравственнымъ законамъ, лежащимъ въ основѣ самаго общества, и удовлетвореніе тѣхъ потребностей, которыхъ само общество еще не можетъ удовлетворить вполнѣ. Изъ этаго положенія слѣдуетъ, что правила общественнаго воспитанія должны измѣняться въ каждомъ государствѣ съ характеромъ самаго государства и въ каждую эпоху съ требованіями эпохи. Въ отношеніи къ отрицательному вліянію правительства на общественное образованіе должно замѣтить, что правительство, которое допустило бы въ немъ начала, противныя внутреннимъ и нравственнымъ законамъ общества, измѣнило бы чрезъ то само общественному довѣрію. Поэтому, чтобы опредѣлить направленіе правительственныхъ дѣйствій на воспитаніе, надобно прежде всего опредѣлить самый характеръ земли, которой судьба вручена правительству: ибо то, что̀ можетъ быть невинно или даже похвально въ Англіи, было бы вредно и даже преступно въ Гишпаніи.

Внутренняя задача Русской земли есть проявленіе общества Христіанскаго, Православнаго, скрѣпленнаго въ своей вершинѣ закономъ живаго единства и стоящаго на твердыхъ основахъ общины и семьи. Этимъ опредѣленіемъ опредѣляется и самый характеръ воспитанія; ибо воспитаніе, естественно даваемое поколѣніемъ предшествующимъ поколѣнію послѣдующему, по необходимости заключаетъ и должно заключать въ себѣ тѣ начала, которыми живетъ и развивается историческое общество. И такъ, воспитаніе чтобы быть Русскимъ, должно быть согласно съ началами не богобоязненности вообще и не Христіанства вообще, но съ началами Православія, которое есть единственное истинное Христіанство, съ началами жизни семейной и съ требованіями сельской общины, во сколько она распространяетъ свое вліяніе на Русскія села....

Правило, что воспитаніе въ Россіи должно быть согласно съ бытомъ семейнымъ и общиннымъ, указываетъ болѣе на то, чего избѣгать должно, чѣмъ на то, что̀ должно дѣлать. Жизненныхъ началъ общества производить нельзя: они принадлежатъ самому народу или (въ избѣжаніе слова, слишкомъ часто употребленнаго во зло и слишкомъ дурно понятаго) самой землѣ, по выраженію старо-Русскому. Можно и должно устранять все то что̀ враждебно этимъ началамъ, но развивать самыя начала почти не возможно. Жизненное и историческое дѣйствіе общества похоже на живыя явленія природы и, можетъ быть, еще неуловимѣе ихъ. Опасно вступать въ эти многосложныя и неосязаемыя тайны и поручать механикѣ и химіи то, что̀ поручено Промысломъ законамъ, которыхъ никто еще не постигъ вполнѣ. Всякая премія назначенная добродѣтели есть премія, предлагаемая пороку. Правительство, поощряющее подвиги безкорыстной доблести какою бы то ни было корыстною наградою, отравляетъ источникъ, который хочетъ очистить; правительство, которое беретъ семью подъ свое покровительство и опеку, обращаетъ ее по-китайски въ полицейское учрежденіе и слѣдов. убиваетъ семейность. Нѣтъ никакой извѣстной возможности развить или произвести чувство, связывающее Русскаго крестьянина съ его общиною, или Русскаго человѣка съ его семьею; но есть возможность подавить или уничтожить эти чувства. Хорошо направленное воспитаніе должно избѣгать всѣхъ тѣхъ

мѣръ, которыя могли бы произвесть такое гибельное послѣдствіе. Сельское училище, даже высшее, не должно вырывать селянина изъ его общиннаго круга и давать излишнее развитіе его индивидуальности. Все воспитаніе и всѣ училища должны быть, во сколько возможно, соображены съ условіями семейной жизни. Любовь къ семьѣ не внушается отвлеченными теоріями съ каѳедры: она растетъ и крѣпнетъ только привычкою къ семейному быту. Хорошо разсчитанныя мѣстности для школъ и хорошо распредѣленныя вакаціи должны доставлять ученикамъ возможность возвращаться нерѣдко въ кругъ семейный или даже въ кругъ чужой семьи, если нѣтъ своей. Семьѣ, въ лицѣ ея старшихъ членовъ, долженъ быть открытъ доступъ въ самыя нѣдра училищъ; ибо ни деканскій присмотръ, ни инспекторское подслушиваніе, ни ректорская повѣрка не могутъ замѣнить бдительнаго надзора семейнаго общества. Наконецъ, чисто семейному воспитанію должны быть возвращены права, которыхъ оно теперь лишено. Ставить замкнутыя и привилегированныя школы вдали отъ центровъ Русскаго народонаселенія есть ошибка; обращать воспитаніе юношей въ какую-то тайну для ихъ семей есть дѣло неразумное; награждать преміями и привилегіями воспитанниковъ, которые выросли на счетъ общества и правительства, и лишать всѣхъ выгодъ и правъ тѣхъ, которые воспитаны на счетъ своей семьи и не стоили никакихъ издержекъ государству, было бы противно здравому смыслу вездѣ, а въ землѣ Русской это было бы прямымъ извращеніемъ ея коренныхъ началъ.

То самое, что сказано о семейномъ бытѣ, относится болѣе или менѣе къ Вѣрѣ. Безъ сомнѣнія Христіанство, т.-е. Православіе, имѣетъ свою наукообразную сторону, которую можно изучать и которую должно преподавать; но самое поверхностное наблюденіе уже показываетъ, что преподаваемое ученіе Вѣры весьма недостаточно и шатко. Оно вообще не имѣетъ и имѣть не можетъ теплоты апостольской проповѣди, укрѣпляющей вѣрныхъ и обращающей невѣрующихъ; оно не имѣетъ и (кромѣ развѣ высшихъ училищъ) не можетъ имѣть той глубины философскаго ученія, которое покоряетъ упорство разума его же оружіемъ, стройною и неотразимою логикою. Вообще оно не представляетъ ничего кромѣ сухаго перечня отдѣльныхъ

положеній, безъ строгихъ доказательствъ и безъ живой связи, перепутанныхъ паутиною схоластики у преподавателей, имѣющихъ притязаніе на ученую послѣдовательность, и затемненныхъ туманами мистики у преподавателей, имѣющихъ притязаніе на глубокое чувство. Оно необходимо, но не въ немъ заключается основа Христіанскаго и Православнаго развитія душевныхъ способностей въ юношествѣ. Эта основа заключается въ чувствахъ сердца, укрѣпленныхъ постоянною привычкою къ внѣшнему обряду Православія. Сердце воспитывается къ Христіанству, слава Богу, еще въ большей части Русскихъ семей, и училищамъ предстоитъ только поддержать его привычкою къ обряду. Нѣтъ ничего неразумнѣе, ничего смѣшнѣе и, скажу, болѣе ничего, что́ бы столько приготовляло молодого человѣка къ невѣрію, какъ добродушные уроки священника, расказывающаго преважно школьникамъ объ учрежденіи того или другого поста, того или другого праздника, между тѣмъ какъ школьникъ не думаетъ ни поста соблюдать, ни праздника праздновать. Практическое воспитаніе Христіанина въ училищахъ Христіанскихъ требуетъ неизбѣжнаго исполненія обряда. Да будетъ постъ въ постъ и праздникъ церковный въ праздникъ, или да оставятъ всякое попеченіе о Христіанскомъ воспитаніи. Всѣ полумѣры и полусоблюденія обрядовъ представляютъ ясновидѣнію молодаго чувства тоже, что́ они представляютъ глазамъ просвѣщеннаго разума—смѣшной и ничѣмъ не оправдываемый произволъ. Разумѣется, говоря объ училищахъ, я не говорю о заведеніяхъ для малолѣтныхъ, и, говоря объ обрядѣ, я разумѣю подъ нимъ общецерковный, укоренившійся въ Русскомъ народѣ, а не мѣстный или монашескій обрядъ, неприспособленный къ трудовой жизни мірянъ. Наукообразное преподаваніе закона Божьяго во всѣхъ школахъ должно быть по преимуществу историческое, въ высшихъ же училищахъ оно можетъ и даже должно до нѣкоторой степени имѣть направленіе полемическое. Но эта полемика должна ограничиваться опредѣленіемъ отношенія ученія самой Церкви къ разнымъ ученіямъ, возникшимъ исторически изъ нея, а не отваживаться на схватку съ самымъ началомъ аналитическаго сомнѣнія или скепсиса. Эта вѣковая борьба рѣдко кому по силамъ. Конечно она неизбѣжна, но должна быть предоставлена мыс-

лителямъ, говорящимъ или пишущимъ для слушателей или читателей уже зрѣлыхъ; она неприлична рядовому преподавателю, говорящему передъ школьниками, слабыми въ разумѣ, сильными въ самоувѣренности, всегда готовыми къ сомнѣнiю, какъ къ признаку умственной свободы и всегда одаренными искусствомъ подмѣчать слабую сторону въ преподавателяхъ своихъ. Тутъ для Вѣры равно опасны и неловкiй защитникъ, и молодой слушатель неловкой защиты. Общiй духъ школы долженъ быть согласенъ съ Православiемъ и укрѣплять сѣмена его, посѣянныя семейнымъ воспитанiемъ, а лекцiи катихизиса или богословiя должны только уяснять понятiя о Вѣрѣ.

То, что́ называемъ мы общимъ духомъ школы, признающей надъ собою высшiй судъ закона Христiанскаго, не только не противно нѣкоторой свободѣ въ преподаванiи наукъ, но еще требуетъ этой свободы. Всякая наука должна выговаривать свои современные выводы прямо и открыто, безъ унизительной лжи, безъ смѣшныхъ натяжекъ, безъ умалчиванья, которое слишкомъ легко можетъ быть обличено. Нѣтъ сомнѣнiя, что показанiя нѣкоторыхъ наукъ положительныхъ, какъ геологiя, фактическихъ, какъ исторiя, или умозрительныхъ, какъ философiя, кажутся не вполнѣ согласными съ историческими показанiями Священнаго Писанiя или съ его догматической системою. Тоже самое было и съ другими науками, и иначе быть не могло. Науки не совершили круга своего, и мы еще далеко не достигли до ихъ окончательныхъ выводовъ. Точно такъ же не достигли мы и полнаго разумѣнiя Св. Писанiя. Сомнѣнiя и кажущiяся несогласiя должны являться; но только смѣлымъ допущенiемъ ихъ и вызовомъ наукъ къ дальнѣйшему развитiю можетъ Вѣра показать свою твердость и непоколебимость. Заставляя другiя науки лгать или молчать, она подрываетъ не ихъ авторитетъ, а свой собственный. Въ системѣ инквизицiи религiозной вредны не столько ея жестокости, сколько робость и безвѣрiе, которыя въ ней скрываются. Многое, что́ считалось противнымъ Закону Божiю, теперь допущено и безвредно. Папское богословiе запрещало землѣ вертѣться, а мы всѣ повторяемъ за Галилеемъ: e pur si muove (а все-таки она вертится) и знаемъ, что движенiе планеты не уничтожаетъ Священнаго Посанiя; но нелѣпый приговоръ духовныхъ судей былъ повторяемъ нерѣдко не-

вѣрующими прошлаго и нынѣшняго столѣтія, какъ укоръ Христіанству, и нерѣдко увлекалъ слабые умы къ безвѣрію. Опасна не свобода наукъ: она необходима столько же для ихъ успѣха, сколько для достоинства Вѣры; а опасно Нѣмецкое суевѣріе въ непреложность наукъ на каждомъ шагу ихъ развитія. Это суевѣріе, вредное для наукъ и еще вреднѣйшее для религіи, должно быть устранено изъ всякаго преподаванія. Но какъ устранить ошибку, къ которой склонны преподаватели по своему ремеслу, а ученики по молодости, довѣрчивости и по самой любви къ наукѣ? Средство просто. Семейство и общество должны имѣть свободный доступъ въ училища, особенно высшія. Суевѣріе въ наукѣ и безвѣріе въ религіи не распространятся и не устоятъ передъ надзоромъ общества вѣрующаго (ибо таково еще большинство), общества уже знакомаго съ наукою, и для котораго она не имѣетъ ни соблазна новизны, какъ для учениковъ, ни соблазна ремесленности, какъ для преподавателей.

Воспитаніе, какъ уже сказано, есть передача всѣхъ началъ нравственныхъ и умственныхъ отъ одного поколѣнія послѣдующему за нимъ поколѣнію. Всѣ особенности мѣстныя заключаются въ началахъ нравственныхъ: объ нихъ уже говорено. Начала умственныя заключаютъ въ себѣ знанія, т.-е. науку въ строгомъ смыслѣ, и пониманіе науки. Эти начала имѣютъ одинаковыя требованія вездѣ, и правила для удовлетворенія этихъ требованій одинаковы во всѣхъ странахъ свѣта, ибо они основаны на общихъ законахъ человѣческаго разумѣнія.

Германія и особенно Англія держатся въ отношеніи къ воспитанію старыхъ преданій и старой системы, оправданныхъ опытомъ вѣковъ. Во Франціи и въ Россіи борятся двѣ системы, совершенно противоположныя другъ другу. Одна система дробитъ знаніе на многія отрасли и, ограничивая умъ каждаго юноши одною какою-нибудь изъ этихъ отраслей, надѣется довести его до совершенства на избранномъ заранѣе пути, не знакомя его почти нисколько съ остальными предметами человѣческаго знанія. Это система спеціализма или, такъ сказать, выучки. Другая, принимая все человѣческое знаніе за нѣчто цѣльное, старается ознакомить юношу болѣе или менѣе съ цѣлымъ міромъ науки, предоставляя его собственному уму выборъ

предмета, наиболѣе сроднаго его склонностямъ, и пути, наиболѣе доступнаго его врожденнымъ способностямъ. Это система обобщенія, или иначе — пониманія. Обѣ системы имѣютъ своихъ приверженцевъ; но, кажется, успѣхъ первой изъ этихъ системъ ничему иному приписать нельзя, кромѣ пристрастія ума человѣческаго ко всему новому: ибо она такъ же мало оправдана опытомъ, какъ она мало согласна съ общими законами разума. Страна, наиболѣе отличающаяся учеными и изобрѣтателями-спеціалистами, Англія, почти не имѣетъ спеціальныхъ школъ. Люди, прославившіеся самыми блистательными открытіями въ отдѣльныхъ отрасляхъ наукъ и подвинувшіе ихъ наиболѣе впередъ, никогда не были питомцами раннихъ спеціальныхъ разсадниковъ. Ньютоны и Лавуазье, Вобаны и Кегорны, Деви и Савиньи не были съ дѣтства отданы на выучку какому-нибудь одному мастерству въ области наукъ. Нѣтъ сомнѣнія, что и изъ спеціальныхъ школъ выходили изрѣдка люди, съ честію подвизавшіеся на избранномъ заранѣе пути; такіе примѣры бывали, но они крайне рѣдки; сколько же примѣровъ можно найти воспитанниковъ спеціальной школы, заслужившихъ почетное имя въ спеціальностяхъ, совершенно чуждыхъ ихъ воспитанію, столько же и еще болѣе можно найти примѣровъ геніальныхъ самоучекъ. Это исключенія, а не правило; до сихъ же поръ спеціальныя школы посылаютъ своихъ лучшихъ учениковъ совершенствоваться въ тѣ страны, гдѣ или совсѣмъ нѣтъ школъ спеціальныхъ, или гдѣ онѣ служатъ только пополненіемъ общаго просвѣщенія. Таковъ опытъ современный и таковъ будетъ опытъ всѣхъ временъ.

Разумъ человѣка есть начало живое и цѣльное; его дѣятельность въ отношеніи къ наукѣ заключается въ пониманіи. Самые предметы, представляемые наукою, какъ и предметы видимаго и осязаемаго міра, суть только матеріалы, надъ которыми трудится пониманіе. Истинная цѣль воспитанія умственнаго есть именно развитіе и укрѣпленіе пониманія; а эта цѣль достигается только посредствомъ постояннаго сравненія предметовъ, представляемыхъ цѣлымъ міромъ науки и понятій, принадлежащихъ ея разнымъ областямъ. Умъ, сызмала ограниченный одною какою-нибудь областью человѣческаго знанія, впадаетъ по необходимости въ односторонность и тупость и дѣлается неспособнымъ

къ успѣху даже въ той области, которая ему была предназначена. Обобщеніе дѣлаетъ человѣка хозяиномъ его познаній; ранній спеціализмъ дѣлаетъ человѣка рабомъ вытверженныхъ уроковъ. Самое богатство матеріаловъ, если они всѣ принадлежатъ къ одной какой-нибудь отрасли науки и не пробуждаютъ дремлющей силы сравнивающаго пониманія, обращается въ тягость: оно лежитъ безплоднымъ и свинцовымъ грузомъ въ сонной головѣ, между тѣмъ какъ меньшее количество матеріаловъ, пробудившее дѣятельность ума съ разныхъ сторонъ и въ разныхъ направленіяхъ, приноситъ богатые плоды и самому человѣку, и обществу, которому онъ принадлежитъ. Такъ несчастный ученикъ ремесленно-художественной школы, вѣкъ свой трудившійся надъ рисованіемъ орнаментовъ, никогда не нарисуетъ и не придумаетъ того затѣйливаго орнамента, который шутя накинетъ въ одно мгновеніе рука академика, никогда не думавшаго о сплетеніи виноградныхъ и дубовыхъ листьевъ.

Иначе и быть не можетъ. Умственная жизнь человѣка подчинена законамъ, подобнымъ тѣмъ, которыми управляется его жизнь физическая. Такъ, кто желалъ бы воспитать извѣстное число скороходовъ, носильщиковъ, кулачныхъ бойцовъ и т. д., дастъ имъ всѣмъ сперва общее воспитаніе атлета, подчинитъ ихъ общей діетѣ и общимъ упражненіямъ, укрѣпитъ всю ихъ мускульную систему и потомъ уже обратитъ ихъ къ предназначеннымъ спеціальностямъ, согласуясь, сколько возможно, съ ихъ врожденными способностями: онъ достигнетъ своей цѣли. Но тотъ, кто съизмала, раздѣливъ воспитанниковъ по будущему ремеслу на скороходовъ, носильщиковъ, бойцовъ, вздумалъ бы развивать въ будущемъ скороходѣ единственно силу ногъ и дыханія, въ будущемъ носильщикѣ единственно крѣпость спины и въ бойцѣ мускулы руки, тотъ выроститъ множество безсильныхъ уродовъ, изъ которыхъ едва ли одинъ окажется сколько-нибудь способнымъ къ работѣ, на которую былъ предназначенъ. Никому и не придетъ въ голову такое нелѣпое воспитаніе физическое. Отчего же такъ нераскаянно умничаютъ надъ человѣческимъ умомъ люди, которые посовѣстились бы позволить себѣ тѣже самыя несообразности въ тѣлесномъ воспитаніи человѣка? Въ общественномъ отношеніи должно еще прибавить и слѣдующее: человѣкъ, получившій

основное образованіе общее, находитъ себѣ пути по обстоятельствамъ жизни; человѣкъ, замкнутый въ тѣсную спеціальность, погибъ, какъ скоро непредвидимая и неисчислимая въ случайностяхъ жизнь преградитъ ему единственный путь, доступный для него. Воспитаніе, основанное на раздѣленіи спеціальностей, необходимо сопряжено съ привилегированными школами, т.-е. съ монополіею, и эта монополія даетъ десять умныхъ недовольныхъ на каждаго осчастливленнаго тупицу.

Спеціальность не можетъ быть положена въ основу воспитанія. Твердою и вѣрною основою можетъ служить только просвѣщеніе общее, расширяющее кругъ человѣческой мысли и его понимающей способности; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы это общее просвѣщеніе не имѣло своихъ степеней. Низшая сельская школа, приготовляя своихъ воспитанниковъ въ отношеніи къ общимъ познаніямъ, разумѣется, не должна и не можетъ ихъ доводить до такаго развитія, до какаго они будутъ доведены въ школахъ, служащихъ приготовленіемъ къ Гимназіи и Университету. Познакомивъ ученика вкратцѣ съ великими очерками мірозданія и подробнѣе съ основаніями разумнаго Христіанства, т.-е. Православія, она или возвращаетъ его къ его сельскому труду, или переводитъ его въ другую, высшую и болѣе спеціальную школу, но ни въ какомъ случаѣ не пробуждаетъ въ немъ безполезнаго стремленія къ наукамъ отвлеченнымъ, точно также какъ она и не запутываетъ его головы поверхностными и слѣдовательно всегда ложными понятіями о теоріи его сельской спеціальности, которую онъ уже узнаетъ въ послѣдствіи, въ высшей школѣ. И такъ, степени общаго просвѣщенія, передаваемаго ученикамъ въ разныхъ приготовительныхъ училищахъ, могутъ быть весьма различны; но характеръ всѣхъ приготовительныхъ школъ долженъ быть одинаковъ: оно служитъ расширенію и обобщенію мысли, а не размежеванію ея областей.

Исключеніе спеціальныхъ направленій изъ училищъ приготовительныхъ или переходныхъ не исключаетъ спеціальности изъ воспитанія вообще; оно допускаетъ ее и даже признаётъ ея необходимость, но опредѣляетъ ей совсѣмъ иное мѣсто. Ученіе спеціальное не есть уже просто ученіе: оно уже есть дѣло жизненное, выборъ, такъ сказать, первый подвигъ граж-

данственности. Оно не начинаетъ, а повершаетъ воспитаніе общественное.

Вслѣдствіе такихъ соображеній, изъ курса гимназическаго должна быть устранена исключительная спеціальность занятій; но такъ какъ въ раннемъ возрастѣ отчасти уже выражаются умственныя способности учащихся и ихъ склонности, или еще чаще направленіе, данное имъ желаніемъ родителей, то можно допустить раздѣленіе общаго курса на два отдѣленія, на отдѣленіе словесности и отдѣленіе математики. Предметы обоихъ курсовъ должны быть одинаковы, ученіе общее. Различіе должно быть въ экзаменѣ. Характеръ отдѣленій опредѣляется преобладаніемъ языкознанія въ одномъ и математики въ другомъ. Въ обоихъ эти, отчасти спеціальныя, занятія должны быть сколько возможно менѣе направлены къ практической цѣли и слѣдовательно сколько возможно болѣе заключены въ области отвлеченнаго знанія. Словесность должна по преимуществу обращаться къ древнимъ языкамъ, математика—къ алгебраическимъ формуламъ. Задача переходнаго училища состоитъ именно въ томъ, чтобъ расширить и укрѣпить пониманіе, и этой цѣли можетъ оно достигнуть только такою системою, которая доставляетъ трудъ уму и пищу размышленію. Преподаваніе языковъ живыхъ и математики прикладной раскидываетъ мысль; преподаваніе языковъ древнихъ и чистой математики сосредоточиваетъ ее въ самой себѣ. Одно изнѣживаетъ и разслабляетъ, другое трезвитъ и укрѣпляетъ. Тотъ, кто учится Французскому и другимъ Европейскимъ языкамъ, пріобрѣтаетъ только новое средство читать журналы и романы и лепетать въ обществѣ на разныхъ ломаныхъ нарѣчіяхъ; тотъ, кто учится языкамъ древнимъ, пріобрѣтаетъ знаніе не языковъ, но самихъ законовъ слова, живаго выраженія человѣческой мысли. Однаго знанія древнихъ языковъ достаточно, чтобы Русскій человѣкъ превосходно овладѣлъ своимъ собственнымъ языкомъ; а знаніе многихъ живыхъ языковъ достаточно, чтобы Русскій совершенно раззнакомился со всѣми живыми особенностями роднаго нарѣчія. Почти тоже самое можно сказать и объ математикѣ. Чистая математика приготовляетъ человѣка къ прикладной; прикладная дѣлаетъ человѣка почти неспособнымъ къ ясному ура-

зумѣнію законовъ чистой математики. Наконецъ, познаніе языковъ новѣйшихъ и наукъ физическихъ легко пріобрѣтается и по выходѣ изъ школы: сама жизнь помогаетъ этому пріобрѣтенію. Языки древніе и чистая математика никогда уже не пріобрѣтаются тѣмъ, кого школа съ ними не подружила. Ученіе, повидимому, безполезное въ отношеніи практическомъ, созидаетъ людей крѣпкихъ и самомыслящихъ; ученіе, повидимому, чисто-практическое, воспитываетъ пустыхъ повторителей заграничной болтовни. И такъ, знаніе древнихъ языковъ и знаніе математики умозрительной составитъ характеръ двухъ отдѣленій Гимназіи; но, какъ уже сказано, преподаваніе въ обоихъ отдѣленіяхъ должно быть одно и тоже, и только при экзаменѣ, по собственному желанію учениковъ, опредѣляется различіе между ними. Просящіе экзамена по словесности экзаменуются строже въ языкахъ древнихъ и легче въ математикѣ, которая считается для нихъ предметомъ только вспомогательнымъ; просящіе экзамена по математикѣ экзаменуются строже по алгебрѣ и геометріи и легче по древнимъ языкамъ, которые для нихъ уже составляютъ ученіе только вспомогательное...

Гимназія есть училище переходное. Съ этой точки зрѣнія должно смотрѣть на нее, и въ этомъ смыслѣ должно направить въ ней преподаваніе. Безъ сомнѣнія многіе ученики могутъ отказаться отъ дальнѣйшаго университетскаго образованія; это возможно, но не для нихъ должна быть разочтена внутренняя система преподаванія. По всѣмъ соображеніямъ курсъ гимназическій можетъ быть вполнѣ конченъ въ 6 годовъ или классовъ. Тотъ ученикъ, который съ успѣхомъ выдержалъ выпускной экзаменъ 6-го класса, долженъ быть допущенъ въ Университетъ безъ повторительнаго испытанія; для тѣхъ же учениковъ, которыхъ собственная воля и обстоятельства или воля родителей не допускаютъ до окончательнаго университетскаго образованія, можетъ съ пользою быть сохраненъ 7-й классъ, въ которомъ ученіе должно быть уже чисто-практическое и состоять изъ краткаго курса отечественныхъ законовъ; изъ нѣкоторыхъ началъ наукъ физическихъ и изъ уроковъ для усовершенствованія въ которомъ-нибудь изъ новѣйшихъ языковъ, входившихъ въ прежніе семь классовъ единственно какъ предметъ вспомогательный.

Университетъ, какъ высшее изо всѣхъ государственныхъ училищъ, опредѣляетъ значеніе всѣхъ остальныхъ. Его процвѣтаніе есть процвѣтаніе всѣхъ, его паденіе—паденіе ихъ. Плохой Университетъ дѣлаетъ всѣ остальныя школы ничтожными, иныя вслѣдствіе ихъ прямой зависимости, другія вслѣдствіе того соревнованія, которое заставляетъ даже спеціальную школу стремиться къ совершенству, чтобы не уступить слишкомъ явнаго первенства высшему учебному заведенію. И такъ, улучшеніе Университетовъ должно считать предметомъ первой важности въ дѣлѣ образованія общественнаго, и къ нему должно прилагать всевозможныя старанія.

Въ недавнее время проявилось мнѣніе, будто бы Университеты вообще можно уничтожить. Это мнѣніе должно отстранить однажды навсегда, и оно отстраняется само собою при малѣйшемъ размышленіи. Вопросъ объ уничтоженіи Университетовъ тождественъ съ вопросомъ объ общемъ направленіи народнаго просвѣщенія. Или все воспитаніе распадается на училища чисто-спеціальныя, или для высшаго и всеобъемлющаго образованія должны существовать высшія училища, вмѣщающія въ себѣ преподаваніе всѣхъ наукъ, связанныхъ между собою одною общею мыслительною системою; но послѣ того, что̀ сказано о преобладаніи спеціализма, перваго предположенія уже и опровергать не нужно. Съ другой стороны, или общество должно давать бо̀льшія преимущества и бо̀льшую вѣру школамъ замкнутымъ и огражденнымъ отъ нравственнаго вліянія и надзора семьи и самаго общества, или на первой и высшей ступени оно должно поставить заведеніе, доступное его же надзору и его нравственному вліянію; но первое предположеніе противно здравой логикѣ вездѣ и противно нравственнымъ законамъ въ землѣ, которая признаетъ семью главною своею основою и лучшею порукою своего преуспѣянія и своего духовнаго достоинства. Итакъ, *необходимость Университетовъ* и разумность ихъ главныхъ законовъ неопровержимы; остается только разсмотрѣть, какими путями могутъ они удобнѣе достигать своей цѣли.

Вообще люди, говоря объ образованіи въ Россіи, признаютъ, что оно имѣетъ болѣе характеръ поверхностнаго всезнанія, чѣмъ дѣльной спеціальности. Это мнѣніе сильно распростра-

нено, но тѣмъ не менѣе вполнѣ ложно. Безъ сомнѣнія, дѣльную спеціальность встрѣтить у насъ не совсѣмъ легко; но не всезнаніе мѣшаетъ ей развиваться, а чистое невѣжество, прикрытое лоскомъ одной спеціальности, самой неопредѣленной и самой пустой изо всѣхъ. Эта спеціальность есть довольно полное знаніе современной беллетристики, т. е. чего-то средняго между промышленною словесностью и общественною болтовнею. Разумѣется, эта спеціальность, рѣзко отличающая наше общество, имѣетъ какой-то обманчивый видъ всезнанія; но она соединяется по большей части съ полнымъ и совершеннымъ невѣжествомъ во всѣхъ отрасляхъ человѣческаго знанія, начиная отъ практическихъ законовъ отечественнаго языка до отвлеченностей математики или философіи. Не излишняя общность знанія мѣшаетъ развитію спеціальностей; нѣтъ, эта мнимая общность, выдуманная, можетъ быть, иностранцами, поверхностно изучившими Русское общество и охотно допущенная нашею хвастливою скромностью, не существуетъ. Спеціальности у насъ ничтожны просто потому, что общее знаніе у насъ ничтожно, что уровень нашего просвѣщенія весьма низокъ, что умъ лишенъ всякой силы и всякаго напряженія, и что наше совершенное невѣжество прикрыто отъ поверхностнаго наблюденія только одною спеціальностью: знаніемъ современной беллетристики.

Университеты наши еще такъ далеки отъ всезнанія, что не всѣ юристы въ состояніи порядочно выразить свои мысли по-русски, а изъ математиковъ и медиковъ бо̀льшая часть не имѣетъ никакого понятія объ исторіи всеобщей или отечественной. Неизбѣжная и неотвратимая небрежность вступительныхъ экзаменовъ допускаетъ въ Университетъ воспитанниковъ весьма слабо приготовленныхъ, а самый курсъ университетскій, разсчитанный единственно на спеціальныя требованія отдѣльныхъ факультетовъ, не пополняетъ и не можетъ пополнить недостатковъ первоначальнаго образованія. Очевидно, вступительные экзамены не обезпечиваютъ вполнѣ Университета отъ невѣжества студентовъ, и Университетъ долженъ внутри себя найти средства къ отвращенію этого зла.

Еще въ весьма недавнемъ времени курсъ университетскій былъ годомъ короче теперешняго; его продлили на годъ съ на-

мѣреніемъ дать большій просторъ спеціальному ученію. Соотвѣтствовалъ ли успѣхъ ожиданіямъ? Отвѣтъ долженъ быть отрицателенъ, если мы отстранимъ всякое предубѣжденіе и всякій самовольный обманъ. Остроградскіе и Перевощиковы—ученики короткихъ курсовъ, и едва ли имѣютъ они себѣ равныхъ соперниковъ въ питомцахъ курсовъ четырехлѣтнихъ. Лучшихъ соперниковъ они безспорно еще не имѣютъ. Факультеты, при удлиненномъ курсѣ, загромождены безполезными каѳедрами, развивающими мелкія спеціальности въ спеціальности самой науки (напр. каѳедры технологіи, сельскаго хозяйства, аналитическихъ функцій, теоріи вѣроятностей и проч.); наука ничего не выигрываетъ, время улетаетъ даромъ для учениковъ, общее просвѣщеніе не подается ни на шагъ впередъ, и щедрыя пожертвованія, дѣлаемыя правительствомъ для благой цѣли, пропадаютъ безъ всякой пользы. Скажемъ болѣе: наука отъ введенія пустыхъ каѳедръ не только не выигрываетъ ничего, но рѣшительно много теряетъ. Она теряетъ свою строгость, свою умозрительную важность и получаетъ характеръ ремесленности; она теряетъ уваженіе учениковъ и сама пріучаетъ ихъ къ пустотѣ и легкомыслію. Всѣ ненужныя каѳедры должны быть устранены или по крайней мѣрѣ обращены въ каѳедры знаній вспомогательныхъ, доступныхъ любознательности немногихъ, но *не требуемыхъ* отъ большинства, всегда равнодушнаго. Курсы должны быть снова сокращены на прежніе сроки, и требованія выпускныхъ экзаменовъ должны быть преимущественно и даже почти единственно обращены на предметы общіе и знанія умозрительныя. Такъ, напримѣръ, зоологія или ботаника не должны идти наравнѣ съ чистою математикою, или знаніе условныхъ и случайныхъ законодательствъ нашего времени — съ строго-логическимъ развитіемъ Римскаго права до искаженія его неудачными попытками позднѣйшей Византіи, которая желала ввести въ стройное зданіе Римскихъ юристовъ начала безспорно высшія, но не умѣла и не могла дать имъ цѣльности и гармоніи.

Сокращеніе курсовъ въ отношеніи къ ученіямъ спеціальнымъ должно быть съ избыткомъ вознаграждено развитіемъ просвѣщенія общаго. Первые два года университетскаго ученія должны быть посвящены такимъ предметамъ, которые равно необходимы

всякому образованному человѣку, къ какой бы онъ спеціальности ни готовился. Таковы знанія Русскаго языка и Русской словесности, исторія словесности всемірной и понятіе объ ея образцовыхъ произведеніяхъ; исторія всеобщая въ широкихъ очеркахъ, безъ мелкихъ подробностей, начала математики въ ихъ отношеніяхъ къ мыслительной способности человѣка, и естественныхъ наукъ въ ихъ отношеніяхъ къ системѣ міра (т. е. космологіи), наконецъ, и болѣе всего, ученіе Церкви Православной, какъ высочайшее духовное благо, какъ завѣтъ высшей свободы въ отношеніи къ разуму, свободно принимающему свѣтъ Откровенія, и въ отношеніи къ волѣ, свободно подчиняющей себя законамъ безконечной Любви. Многіе изъ этихъ предметовъ уже знакомы слушателямъ изъ курса гимназическаго, но всѣ являются на лекціяхъ университетскихъ съ высшимъ и болѣе всеобъемлющимъ значеніемъ. Таковъ долженъ быть приготовительный курсъ университетскій для всѣхъ факультетовъ, кромѣ медицинскаго. Никто не долженъ быть отъ него освобожденъ. Исключенія допускаются только для первыхъ нумеровъ Гимназіи и училищъ, равныхъ Гимназіи, и для тѣхъ, которые, вмѣсто общаго вступительнаго экзамена, потребуютъ прямо экзамена переходнаго изъ пріуготовительнаго курса къ курсамъ спеціальнымъ. Такимъ исключеніемъ возвысится самое ученіе въ Гимназіяхъ, и рвеніе лучшихъ учениковъ получитъ значительную награду; а съ другой стороны, правительство представитъ великое поощреніе воспитанію домашнему, добро направленному и основанному на разумныхъ началахъ. Главнымъ же исключеніемъ изъ общаго правила будетъ медицинскій факультетъ. Медицина—не наука въ строгомъ значеніи этаго слова, она не имѣетъ никакихъ умозрительныхъ основъ; и поэтому требованія и назначеніе медицинскаго факультета совершенно различествуютъ отъ требованій и назначенія другихъ факультетовъ, и на него должно смотрѣть не какъ на факультетъ университетскій, но какъ на спеціальную школу, причисленную къ Университету для того, чтобы придать спеціальному преподаванію форму и значеніе нѣсколько наукообразныя. Студенты медицинскіе могутъ быть освобождены отъ обязанности слушать курсъ приготовительныхъ наукъ и должны слушать только чтенія объ отечественномъ языкѣ, о Законѣ Божіемъ и объ естественныхъ наукахъ.

Такое распредѣленіе курсовъ дастъ твердую основу образованію университетскому и уравняетъ между собою всѣ четыре факультета.

Воспитаніе умственное, какъ уже сказано, имѣетъ цѣлію не только передачу частныхъ познаній, но и общее развитіе всей мыслящей способности. Его заключеніе есть обращеніе воспитанниковъ къ предметамъ спеціальнымъ, и эти спеціальные предметы, признанные за необходимые, суть: слово человѣческое (орудіе и выраженіе его мысли), право (основа его общественныхъ отношеній) и математика (законъ всего вещественнаго міра). Таково теперь существующее раздѣленіе, и нѣтъ никакихъ явныхъ причинъ къ его измѣненію.

По окончаніи приготовительнаго курса, студенты объявляютъ, къ какой спеціальности они намѣрены обратиться, и уже экзаменуются согласно съ своимъ желаніемъ, т. е. строже по предметамъ избраннаго ими факультета и снисходительнѣе по другимъ; но этотъ экзаменъ принимается въ соображеніе при экзаменѣ выпускномъ, и тѣ, которые изъ предметовъ постороннихъ получили слишкомъ неудовлетворительные балы, не имѣютъ права на кандидатство и по своему факультету кромѣ того случая, если бы они попросили дополнительнаго экзамена и выдержали его съ успѣхомъ.

Въ самыхъ факультетахъ направленіе ученія должно соотвѣтствовать своимъ началамъ и основамъ. Все, не принадлежащее къ спеціальности факультета, должно быть исключено. Такъ напр., статистика и политическая экономія не должны существовать въ факультетѣ словесномъ, а теорія краснорѣчія не должна быть преподаваема въ факультетѣ права. Съ другой стороны мелкія спеціальности науки должны быть совершенно устранены или должны быть преподаваемы только желающимъ. Такими мелкими спеціальностями называемъ технологію и сельское хозяйство въ факультетѣ математическомъ, частныя и мелкія юриспруденціи въ факультетѣ права, теорію и исторію частныхъ формъ словесности въ факультетѣ словесномъ. Точно также должны быть совершенно отстранены всѣ лекціи о теоріяхъ не необходимыхъ для полнаго образованія человѣка ученаго по предмету имъ избранному, хотя бы сами теоріи и представляли много поучительнаго и любопытнаго.

Студентъ теперешняго курса чистой математики теряетъ едва ли не половину своего времени на слушаніе теоріи аналитическихъ функцій и теоріи вѣроятностей, между тѣмъ какъ теорія вѣроятностей въ смыслѣ науки составляетъ только часть ученія о разрѣшеніи высшихъ уравненій и входитъ въ нее по необходимости; а изъ теоріи аналитическихъ функцій приходится сказать на послѣдней лекціи: «Вотъ попытка знаменитаго Лагранжа, желавшаго замѣнить Ньютоновы дифференціалы; попытка была остроумна, но никуда не годилась, и вы можете забыть ее хоть завтра, нисколько не теряя возможности быть великимъ математикомъ». Такія злоупотребленія времени и труда должны быть отстранены навсегда. Взамѣнъ многихъ, совершенно безполезныхъ лекцій должны поступить лекціи еще не существующія, но необходимыя для полнаго развитія математическаго ума. Таковы: исторія математики и объясненіе законовъ мысли, скрывающейся подъ видимою вещественностью алгебраической формалистики. Этому геніальный Ньютонъ далъ, самъ того не зная, прекрасный примѣръ въ своей безсмертной биноміи; но примѣръ его нашелъ мало послѣдователей въ формалистахъ алгебры, не понимающихъ даже разницы между строго-мыслительнымъ ходомъ науки и ея слѣпою ощупью, между глубокимъ созерцаніемъ Англійскаго математика въ его биноміи и безсмысленнымъ приложеніемъ тригонометрической формулы къ рѣшенію высшихъ уравненій, сдѣланнымъ остроуміемъ Француза. Точно также исторія естественныхъ наукъ, съ ихъ удачами и неудачами, съ показаніемъ ихъ строгихъ выводовъ, ихъ былыхъ и теперешнихъ гипотезъ, ихъ прежнихъ ошибокъ и теперешнихъ пробѣловъ, необходима для пополненія курса въ томъ отдѣленіи математическаго факультета, которое посвящено наукамъ естественнымъ. Факультетъ юридическій не полонъ безъ исторіи права, разсмотрѣнной съ логической точки зрѣнія, и факультетъ словесности не существуетъ безъ каѳедры кореннаго нарѣчія, Санскритскаго, и безъ исторіи философіи.

Есть люди, которые боятся смѣлаго полета мысли, привыкшей къ отвлеченностямъ. Это пустой страхъ, не основанный ни на какихъ данныхъ и ни на какомъ опытѣ. Наука серьезная и многотребовательная отрезвляетъ страсти и приводитъ

человѣка къ разумному смиренію; только пустая и поверхностная наука раздражаетъ самолюбіе и внушаетъ человѣку требованія, несоразмѣрныя съ его заслугами. Наука въ высшихъ курсахъ Университета не можетъ быть слишкомъ глубокою и всеобъемлющею: ей нужна свобода мнѣнія и сомнѣнія, безъ которой она лишается всякаго уваженія и всякаго достоинства; ей нужна откровенная смѣлость, которая лучше всего предотвращаетъ тайную дерзость.

Таковы должны быть направленіе и характеръ университетскихъ курсовъ. Они будутъ значительно разниться отъ нынѣ существующихъ и будутъ гораздо болѣе соотвѣтствовать истиннымъ требованіямъ общественнаго образованія. Многія перемѣны должны также быть введены въ порядокъ и внутреннее устройство Университетовъ. Вступительные экзамены останутся тѣже, но отъ нихъ увольняются всѣ ученики Гимназій и училищъ равныхъ Гимназіямъ, выдержавшіе успѣшно выпускные свои экзамены. Въ приготовительномъ курсѣ экзамена съ курса на курсъ быть не должно. Переходный экзаменъ отъ общаго курса къ спеціальнымъ факультетамъ необходимъ для всѣхъ слушателей этаго пріуготовительнаго курса; онъ дозволяется всѣмъ молодымъ людямъ, воспитаннымъ дома, требующимъ прямо этаго высшаго экзамена; но въ немъ поставляется правиломъ, что по каждой отрасли наукъ новоступающаго испытываетъ не тотъ профессоръ, который ее преподавалъ въ первоначальномъ курсѣ. Отъ переходнаго экзамена увольняются первые нумера гимназическихъ воспитанниковъ. Они вступаютъ изъ Гимназій прямо въ факультеты. Успѣшно выдержанный переходный экзаменъ даетъ въ общественной службѣ университетскимъ студентамъ и всѣмъ постороннимъ права и выгоды, предоставляемыя лучшимъ гимназистамъ. Спеціальные курсы продолжаются три года, но лишній годъ дозволяется всѣмъ студентамъ, которыхъ успѣхи могли быть замедлены или болѣзнію, или обстоятельствами домашними, а иногда и посторонними занятіями. Въ спеціальномъ курсѣ отмѣняются всѣ экзамены и весь счетъ годовыхъ баловъ, на основаніи котораго, въ противность здравому смыслу, ученикъ, улучшавшійся съ года на годъ, становится иногда ниже ученика, который былъ старателенъ въ первые годы и нѣсколько нерадивъ въ послѣдній. Этотъ счетъ,

повидимому, созданъ только для упражненія секретаря университетскаго въ четырехъ правилахъ ариѳметики и для возбужденія досады, часто весьма разумной, въ студентахъ. Выпускной экзаменъ даетъ попрежнему степень студента или кандидата, смотря по успѣхамъ. Экзамены должны быть весьма строгими, и для того чтобы они могли быть строгими, всѣ положенія, наказывающія неуспѣхъ какъ преступленіе, должны быть отмѣнены. Ни одинъ добросовѣстный профессоръ, ни одинъ честный человѣкъ не рѣшится приговорить (какъ бы слѣдовало по теперешнему положенію) молодаго человѣка къ наказанію за то, что онъ нетвердо знаетъ Греческія спряженія или какое количество ситца выдѣлывается ежегодно на Англійскихъ фабрикахъ. Въ этомъ увѣрены всѣ студенты. Испытанія обращаются въ пустую форму, и мѣра, придуманная для того, чтобы экзамены были какъ можно строже, совершенно уничтожаетъ экзаменъ.

Испытанія на высшія ученыя степени могутъ оставаться безъ измѣненія; къ нимъ должны быть допускаемы всѣ безъ исключенія.

Иностранцы всегда пользовались въ Россіи правомъ экзаменовъ на степень доктора, и нѣтъ никакихъ разумныхъ причинъ, почему, то, что́ дозволяется уроженцу Іорка или Эдинбурга, было бы воспрещено человѣку, воспитавшемуся въ Иркутскѣ, Тифлисѣ, Воронежѣ, или въ степномъ поселкѣ. Наконецъ, слѣдуетъ прибавить, что, по моему мнѣнію, входъ на лекціи долженъ быть открытъ всѣмъ безъ исключенія. Этаго требуетъ польза науки и образованія общественнаго; этаго требуетъ нравственная справедливость, не дозволяющая, чтобъ ученіе дѣтей было тайною для родителей; этаго требуютъ выгоды самаго правительства, пріобрѣтающаго въ надзорѣ общества вѣрнѣйшую поруку въ дѣльности и безвредности самаго преподаванія. Точно также должно давать и экзаменамъ на высшія степени или по крайней мѣрѣ диспутамъ величайшую общедоступность: входъ долженъ быть свободенъ, возраженіе свободно. Всякое ограниченіе этой свободы должно быть устранено. Безъ нея испытаніе кандидата на ученую степень дѣлается ничтожнымъ, и таково оно отчасти теперь, когда и кандидатъ за своею каѳедрою, и возражатели на своихъ стульяхъ спорятъ другъ съ другомъ какъ будто подъ страхомъ уголовнаго

слѣдствія или Гайнаускаго суда. Въ самыхъ семинаріяхъ понимаютъ, что возражатели на диспутѣ не могутъ стѣсняться постановленіями и ученіемъ Церкви. Это простое требованіе здраваго смысла.

Таковъ, какъ кажется, долженъ быть уставъ Университетовъ. Въ Университетахъ же заключается главный двигатель всеобщаго просвѣщенія, и они должны быть признаны не только на словѣ, но и на дѣлѣ, высшими изо всѣхъ учебныхъ заведеній, изъ которыхъ ни одно не должно равняться съ ними въ правахъ и преимуществахъ.

Сказавъ свое мнѣніе объ училищахъ и преподаваніи наукъ, я считаю себя обязаннымъ замѣтить, что точно такъ же, какъ воспитаніе не начинается школою, точно также оно и не кончается ею. Послѣдній и высшій воспитатель есть самое общество, а разумное орудіе общественнаго голоса есть книгопечатаніе. Вредъ, происходящій отъ злоупотребленія книгопечатанія, обратилъ на себя вниманіе многихъ и сдѣлался въ послѣднее время предметомъ страха почти суевѣрнаго. Книгопечатаніе, какъ самое полное и разнообразное выраженіе человѣческой мысли, въ наше время есть сила и сила огромная. Какъ сила, оно можетъ произвести вредъ и вредъ значительный, хотя мнѣніе объ этомъ вредѣ вообще очень преувеличено, и ему приписываются такія явленія, которыя или вовсе или почти вовсе отъ него не зависѣли. Но изъ того, что какая нибудь сила можетъ произвести гибельныя послѣдствія, должно ли ее умерщвлять? Если бы Богъ далъ слабому человѣку такое могущество, конечно нашлись бы люди, которые вздумали бы уничтожить тѣ силы, которыя, появляясь въ видѣ бурь и землетрясеній, разрушаютъ великіе города и опустошаютъ цѣлыя цвѣтущія области: эти люди изъ благихъ намѣреній убили бы жизнь природы, и спасаемыхъ ими братій, и свою собственную. Тоже самое должно сказать и о книгопечатаніи. Люди, возстающіе противъ него, не догадываются, что въ ихъ собственной головѣ изъ мыслей, которыя они считаютъ своею собственностію, едва-ли сотая принадлежитъ имъ и не почерпнута прямо или косвенно изъ того источника, который они хотѣли бы изсушить. Всякая мелочность и подавно мелкій страхъ долженъ

быть отстраненъ отъ общественнаго управленія вездѣ и по преимуществу въ такихъ высшихъ державахъ какъ Россія.

Книгопечатаніе можетъ быть употреблено во зло. Это зло должно быть предотвращено цензурою, но цензурою не мелочною, не кропотливою, не безрасудно-робкою, а цензурою просвѣщенною, снисходительною и близкою къ полной свободѣ. Пусть унимаетъ она страсти и вражду, пусть смотритъ за тѣмъ, чтобы писатели, выражая мнѣніе свое, говорили отъ разума (конечно всегда ограниченнаго) и обращались къ чужому разуму, а не разжигали злаго и недостойнаго чувства въ читателѣ; но пусть уважаетъ она свободу добросовѣстнаго ума. Цензура, безразсудно строгая, вредна вездѣ (этому Австрія служитъ примѣромъ и доказательствомъ: закормленная, запоенная и одуренная Вѣна была въ 1848 году хуже Берлина и Парижа); но цензура безмѣрно-строгая была бы вреднѣе въ Россіи, чѣмъ гдѣ-либо. По милости Божіей, наша родина основана на началахъ высшихъ, чѣмъ другія государства Европы, не исключая даже Англіи: ими она живетъ, ими крѣпка. Эти начала могутъ и должны выражаться печатно. Если выраженіе ихъ затруднено, и жизнь словесная подавлена: мысль общественная и особенно мысль молодаго возраста предается вполнѣ и безъ защиты вліянію иноземцевъ и ихъ словесности, вредной даже въ произведеніяхъ самыхъ невинныхъ, по общему мнѣнію. Такъ напримѣръ, письма изъ Парижа въ Revue Étrangère, въ которыхъ старый аристократъ облизывается при воспоминаніи объ ужинахъ Людовика XV-го, хуже въ своихъ нравственныхъ послѣдствіяхъ, чѣмъ жалкій бредъ Консидерана или остроумное и странное безуміе Прудона. Я скажу болѣе: иностранная словестость сама по себѣ, безъ противодѣйствія словесности Русской, вредна даже въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя, по общему мнѣнію, заслуживаютъ наибольшей похвалы и особеннаго поощренія. Для Русскаго взглядъ иностранца на общество, на государство, на вѣру, превратенъ; неисправленныя добросовѣстною критикою Русской мысли, слова иностранца, даже когда онъ защищаетъ истину, наводятъ молодую мысль на ложный путь и на ложные выводы, а между тѣмъ, при оскудѣніи отечественнаго слова, Русскій читатель долженъ по неволѣ пробавляться произведеніями заграничными. Но скажутъ: строгость цензуры никогда

не можетъ падать на произведенія безвредныя или полезныя. Это не правда. Можно доказать, что излишняя цензура дѣлаетъ невозможною всякую общественную критику, а общественная критика нужна для самаго общества, ибо безъ нея общество лишается сознанія, а правительство лишается всего общественнаго ума. Но если бы даже это было правдою, то и тогда вредъ былъ бы неизчислимъ. Честное перо требуетъ свободы для своихъ честныхъ мнѣній, даже для своихъ честныхъ ошибокъ. Когда, по милости слишкомъ строгой цензуры, вся словесность бываетъ наводнена выраженіями низкой лести и явнаго лицемѣрія въ отношеніи политическомъ и религіозномъ, честное слово молчитъ, чтобы не мѣшаться въ этотъ отвратительный хоръ, или не сдѣлаться предметомъ подозрѣнія по своей прямодушной рѣзкости: лучшіе дѣятели отходятъ отъ дѣла, все поле дѣйствія предоставляется продажнымъ и низкимъ душамъ; душевный развратъ, явный или кое-какъ прикрытый, проникаетъ во всѣ произведенія словесности; умственная жизнь изсякаетъ въ своихъ благороднѣйшихъ источникахъ, и мало-по-малу въ обществѣ растетъ то равнодушіе къ правдѣ и нравственному добру, котораго достаточно, чтобы отравить цѣлое поколѣніе и погубить многія за нимъ слѣдующія.

Такіе примѣры бывали въ исторіи, и ихъ должно избѣгать.

Елецкая библіотека-читальня
Архіепископа Иннокентія + въ памятъ столѣтія

КЪ СЕРБАМЪ.

ПОСЛАНІЕ ИЗЪ МОСКВЫ.

Къ Сербамъ. Посланіе изъ Москвы *).

Много получили вы, братья, милостей отъ Господа Бога въ послѣдніе годы: свободу отъ нестерпимаго ига народа дикаго и невѣрнаго, самостоятельность и самобытность въ дѣлахъ общественныхъ, возможность мирнаго и безмятежнаго житія, возможность развитія умственнаго, нравственнаго и духовнаго, согласно съ духомъ просвѣтившаго насъ Христіанства и, наконецъ, возможность содѣйствовать благу меньшихъ братій вашихъ наставленіями и примѣрами вашими. Такихъ счастливыхъ пріобрѣтеній достигли вы собственнымъ мужествомъ, отчасти также содѣйствіемъ и сочувствіемъ единокровнаго, единовѣрнаго вамъ народа Русскаго, болѣе же всего благословеніемъ Бога, устроившаго обстоятельства политической жизни для прекращенія бѣдствій и униженія, которыми испытывалъ Онъ въ продолженіе вѣковъ вашу вѣру и терпѣніе.

Такимъ Божьимъ милостямъ не могли бы мы не порадоваться, когда бъ онѣ посѣтили и всякій другой, вполнѣ намъ чуждый, народъ; но никому не можемъ мы сочувствовать такъ, какъ вамъ и другимъ Славянамъ, особенно же Православнымъ. Никакой иноземецъ (какой бы ни былъ онъ добрый и благомыслящій) не можетъ въ этомъ съ нами равняться: ибо для него вы все-таки чужіе, а для насъ, Сербы, вы земные братья по роду и духовные братья по Христу. Намъ любезенъ вашъ наружный образъ, свидѣтельствующій о кровномъ родствѣ съ нами; любезенъ языкъ, звучащій одинаково съ нашимъ роднымъ языкомъ; любезенъ обычай, идущій отъ одного корня съ нашимъ собственнымъ обычаемъ. И такъ искренно и отъ глу-

---

*) Напечатано было отдѣльною книжкой въ Лейпцигѣ, въ 1860 году, съ Сербскимъ переводомъ, не задолго до кончины А. С. Хомякова. Это послѣдній завѣтъ его не только единоплеменникамъ Сербамъ, но и соотечественникамъ Русскимъ. *Изд.*

бины души благодаримъ мы Бога за милости, которыя Онъ вамъ ниспосылаетъ, и просимъ, дабы Онъ продлилъ и увеличилъ ваше благоденствіе и прославилъ васъ всякою истинною славою блага духовнаго и преуспѣянія общественнаго предъ всѣми народами.

Доброе начало положено вами.

Великое ваше терпѣніе подъ многовѣковымъ игомъ, блистательное мужество въ часъ освобожденія, болѣе же всего разумъ и чувство правды, которые недавно васъ освободили отъ правителя, мнимаго защитника и истиннаго измѣнника Сербскаго народа *) останутся навсегда незабвенными. Такія прекрасныя начала обѣщаютъ и прекрасное будущее. Народъ Сербскій, внушившій уже почтеніе другимъ народамъ, не унизитъ никогда своего достоинства. Но мы знаемъ, что послѣ испытаній, чрезъ которыя вы уже прошли, предстоятъ вамъ другія испытанія, не менѣе опасныя, хотя, повидимому, и менѣе тяжелыя. Свобода, величайшее благо для народовъ, налагаетъ на нихъ въ тоже время великія обязанности; ибо многое прощается имъ во время рабства, ради самаго рабства, и извиняется въ нихъ бѣдственнымъ вліяніемъ чужеземнаго ига. Свобода удвоиваетъ для людей и для народовъ ихъ отвѣтственность предъ людьми и передъ Богомъ. Съ другой стороны, счастіе и благоденствіе преисполнены соблазна, и многіе, сохранившіе достоинство въ несчастіяхъ, предались искушеніямъ, когда видимое несчастіе отъ нихъ удалилось и, заслуживъ Божіе наказаніе, навлекли на себя бѣдствія хуже тѣхъ, отъ которыхъ уже избавились. Всякія внѣшнія и случайныя несчастія могутъ легко быть побѣждены; часто даже, испытывая народную силу, они ее еще укрѣпляютъ и воспитываютъ для будущей славы; но пороки и слабости, вкравшіеся въ жизнь и душу народа, раздваиваютъ его внутреннюю сущность, подрываютъ въ немъ всякое живое начало, дѣлаются для него источникомъ болѣзней неизцѣльныхъ и готовятъ ему гибель въ самые, повидимому, цвѣтущіе годы его благоденствія и преуспѣянія. Поэтому да позволено будетъ намъ, вашимъ братьямъ, любящимъ васъ любовью глубокою и искреннею и болѣющимъ душевно при всякой мысли о какомъ-

*) Изгнаніе въ 1858 году Александра Карагеоргіевича и вторичное возвращеніе стараго Милоша. *Изд.*

нибудь злѣ, могущемъ васъ постигнуть, обратиться къ вамъ съ нѣкоторыми предостереженіями и совѣтами. Мы старше васъ въ дѣйствующей исторіи, мы прошли болѣе разнообразныя, хотя не болѣе тяжелыя, испытанія, и просимъ Бога, чтобы опытность наша, слишкомъ дорого купленная, послужила нашимъ братьямъ въ пользу, и чтобы наши многочисленныя ошибки предостерегали ихъ отъ опасностей, часто невидимыхъ и обманчивыхъ въ своемъ началѣ, но крайне гибельныхъ въ своихъ послѣдствіяхъ; ибо опасности для всякаго народа зарождаются въ немъ самомъ и истекаютъ часто изъ началъ самыхъ благородныхъ и чистыхъ, но не ясно сознанныхъ, или слишкомъ односторонне развитыхъ. Посему просимъ васъ, братья, не обвинять насъ въ гордости, какъ людей, надѣющихся на свою мудрость, для преподаванія вамъ какихъ-нибудь уроковъ, но вѣрить въ нашу братскую любовь, которая не хочетъ, чтобы знаніе, пріобрѣтенное нами посредствомъ многихъ и горькихъ опытовъ, оставалось для васъ безполезнымъ.

Первая и величайшая опасность, сопровождающая всякую славу и всякій успѣхъ, заключается въ гордости. Для человѣка, какъ и для народа, возможны три вида гордости: гордость духовная, гордость умственная и гордость внѣшнихъ успѣховъ и славы. Во всѣхъ трехъ видахъ она можетъ быть причиною совершеннаго паденія человѣка или гибели народной, и всѣ три встрѣчаемъ мы въ исторіи и въ мірѣ современномъ. Самый разительный примѣръ гордости духовной находимъ мы не въ Римѣ (гдѣ все духовное является болѣе предлогомъ, чѣмъ началомъ), но въ позднѣйшихъ или нынѣшнихъ Грекахъ. Богу угодно было избрать ихъ языкъ для прославленія Своего имени въ Священномъ Писаніи и ихъ самихъ для распространенія вѣры въ мірѣ. Незабвенна память ихъ мучениковъ, незабвенна слава ихъ духовныхъ учителей. Отъ нихъ просвѣтились многіе народы; и мы, Славяне, отъ нихъ получили лучшее свое достояніе, истинное знаніе Бога и Спасителя нашего, свободное отъ всякой ереси и лжи, которыми помрачены народы Западные. Никогда безъ благодарности и безъ искренняго благоговѣнія не могли бы мы вспомнить такіе великіе труды и заслуги Грековъ; но отъ этихъ самыхъ заслугъ возгордились они безумно. Славу своихъ прежнихъ подвижниковъ переносятъ они

на себя и, наряжаясь въ нее, превозносятся передъ другими народами и презираютъ братьевъ своихъ о Христѣ. Вѣру, которой нѣкогда служили ихъ предки, считаютъ они какъ бы не общею для всѣхъ исповѣдающихъ ее, но своею, Греческою, и себя единственными сынами Церкви, а другихъ какъ будто рабами и пріемышами. Изъ этого гибельнаго начала проистекаетъ ненависть ихъ ко всѣмъ другимъ народамъ, не согласнымъ съ ихъ неумѣстными притязаніями, и въ особенности къ намъ, Славянамъ; желаніе порабощать насъ или держать насъ въ рабствѣ Турецкомъ, чтобы черезъ Турокъ надъ нами господствовать; вражда противъ нашего языка, который, если бы могли, они изгнали бы изъ храмовъ Божіихъ и изъ священнодѣйствія церковнаго, въ противоположность ихъ же первоучителямъ; и, наконецъ, такое ожесточеніе, что православный Грекъ становится тяжелѣ племенамъ Славянскимъ, чѣмъ Турокъ-магометанинъ. Это извѣстно всему міру. Конечно, и другія страсти, какъ-то корыстолюбіе и любовь къ власти, примѣшиваются къ враждѣ Грековъ противъ Славянъ; но начало ея есть духовная гордость, вслѣдствіе которой они, какъ Евреи въ древности, готовы считать себя единственными избранниками Божіими, а всѣ другіе народы чѣмъ-то низшимъ и созданнымъ для служенія избранному племени, Греческому. Таковы въ нихъ плоды духовной гордости: вражда ко всѣмъ народамъ и умственная слѣпота, не позволяющая имъ видѣть свои собственныя выгоды. Дай Богъ, чтобы они исправились отъ такого страшнаго порока! Мы и теперь любимъ ихъ, какъ братьевъ и учителей нашихъ; но какъ еще ревностнѣе стали бы мы тогда заботиться о ихъ благѣ и даже проливать нашу кровь за нихъ, забывая всякое зло и помня только объ ихъ заслугахъ и о великой Божіей благодати, данной ихъ предкамъ!

Духовной гордости Грековъ соотвѣтствуетъ умственная гордость всѣхъ Западныхъ народовъ. Богу угодно было оградить ихъ отъ такихъ бѣдствій, которыя обрушились на Грецію и на племена Славянскія, и облегчить имъ преуспѣяніе въ развитіи наукъ, художествъ и гражданственности. Они воспользовались милостію Божіею и достигли высокаго развитія умственнаго; но, ослѣпленные своими успѣхами, они, съ одной стороны, сдѣлались (какъ извѣстно) вполнѣ равнодушными къ высшему

благу—Вѣрѣ, и коснѣють въ слѣпотѣ духовной, а съ другой—сдѣлались не благодѣтелями остальнаго человѣчества (къ чему были призваны), но врагами его, всегда готовыми утѣснять и порабощать другіе народы. Горькій опытъ слишкомъ ясно доказалъ это Славянамъ; да и въ цѣломъ мірѣ корабли Европейскихъ народовъ считаются не вѣстниками мира и счастія, а вѣстниками войны и величайшихъ бѣдствій. Какова надменность Англичанина или любаго Нѣмца (какъ бы ни было мелко и ничтожно его собственное отечество), каково презрѣніе его ко всѣмъ остальнымъ народамъ міра, каково желаніе попирать ногами всѣ ихъ права и обращать ихъ въ безсильныя орудія своей корысти,—знаютъ всѣ. Гибельное сѣмя даетъ и гибельный плодъ, и вражда Западныхъ народовъ, особенно же Англичанъ и Нѣмцевъ, противъ всѣхъ, порождаетъ естественную и справедливую ненависть во всѣхъ народахъ противъ нихъ. Таково наказаніе гордости умственной.

Обращаясь къ вамъ, братія наши, съ полною откровенностію любви, не можемъ мы скрыть и своей вины. Русская земля, послѣ многихъ и тяжкихъ испытаній отъ нашествій съ Востока и Запада, по милости Божіей освободившись отъ враговъ своихъ, раскинулась далеко по земному шару, на всемъ пространствѣ отъ моря Балтійскаго до Тихаго Океана, и сдѣлалась самымъ обширнымъ изъ современныхъ государствъ. Сила породила гордость; и когда вліяніе Западнаго просвѣщенія исказило самый строй древне-Русской жизни, мы забыли благодарность къ Богу и смиреніе, безъ которыхъ получать отъ Него милости не можетъ ни человѣкъ, ни народъ. Правда, на словахъ и изрѣдка, во время великихъ общественныхъ грозъ, на самомъ дѣлѣ душою смирялись мы; но не таково было общее настроеніе нашего духа. Та вещественная сила, которою мы были отличены передъ другими народами, сдѣлалась предметомъ нашей постоянной похвальбы, а увеличеніе ея единственнымъ предметомъ нашихъ заботъ. Умножать войска, усиливать доходы, устрашать другіе народы, распространять свои области, иногда не безъ неправды,—таково было наше стремленіе; вводить судъ и правду, укрощать насиліе сильныхъ, защищать слабыхъ и беззащитныхъ, очищать нравы, возвышать духъ, казалось намъ безполезнымъ. О духовномъ усовершенствованіи мы

не думали; нравственность народную развращали; на самыя науки, о которыхъ, повидимому, заботились, смотрѣли мы не какъ на развитіе Богомъ даннаго разума, но единственно какъ на средство къ увеличенію внѣшней силы государственной, и никогда не помышляли о томъ, что только духовная сила можетъ быть надежнымъ источникомъ даже силъ вещественныхъ. Какъ превратно было наше направленіе, какъ богопротивно наше развитіе, уже можно заключить и изъ того, что во время нашего ослѣпленія мы обратили въ рабовъ въ своей собственной землѣ болѣе двадцати милліоновъ нашихъ свободныхъ братій и сдѣлали общественный развратъ главнымъ источникомъ общественнаго дохода. Таковы были плоды нашей гордости. Война,—война справедливая, предпринятая нами противъ Турціи, для облегченія участи нашихъ Восточныхъ братій, послужила намъ наказаніемъ: нечистымъ рукамъ не предоставилъ Богъ совершить такое чистое дѣло. Союзъ двухъ самыхъ сильныхъ державъ въ Европѣ, Англіи и Франціи, измѣна спасенной нами Австріи, и враждебное настроеніе почти всѣхъ прочихъ народовъ, заставили насъ заключить унизительный миръ: предѣлы наши были стѣснены, военное наше господство на Черномъ морѣ уничтожено. Благодаримъ Бога, поразившаго насъ для исправленія. Теперь узнали мы тщету нашего самообольщенія; теперь освобождаемъ мы своихъ порабощенныхъ братій, стараемся ввести правду въ судъ и уменьшить развратъ въ народныхъ нравахъ. Дай Богъ, чтобы дѣло нашего покаянія и исправленія не останавливалось, чтобы доброе начало принесло добрый плодъ въ нашемъ духовномъ очищеніи, и чтобы мы познали навсегда, что любовь, правда и смиреніе одни только могутъ доставить народу, также какъ и человѣку, милость отъ Бога и благоволеніе отъ людей.

Безъ сомнѣнія, гордость силъ вещественныхъ по самой своей основѣ унизительнѣе, чѣмъ гордость умственная и гордость духовная; она обращаетъ все стремленіе человѣка къ цѣли крайне недостойной, но за то она не столь глубоко вкореняется въ душу и легко исправляется, уже и потому, что ложь ея обличается первыми неудачами и несчастіями жизни. Бѣдственная война насъ образумила; твердо надѣемся, что и успѣхи (когда Богу угодно будетъ насъ утѣшить ими) не вовлекутъ насъ въ прежнее заблужденіе.

И вы, братія наши Сербы, легко можете подпасть такому же искушенію въ отношеніи къ другимъ, нашимъ общимъ братіямъ. Передъ иными можете вы превозноситься, видя ихъ слѣпоту въ дѣлѣ богопознанія, передъ другими—видя ихъ порабощеніе, передъ многими—видя ихъ слабость. Но подумайте, что у васъ лучшее богопознаніе не отъ васъ самихъ, а отъ милости Божіей: отцы ваши завѣщали вамъ Православіе, какъ инымъ завѣщали ересь, а сохранять истину легче, чѣмъ возвратиться къ истинѣ отъ наслѣдственной лжи. Тутъ есть великая причина къ радости и благодаренію, но нѣтъ повода къ гордости. Также и порабощеніе, хотя и горькое, не даетъ повода къ пренебреженію. Успѣхъ въ борьбѣ часто зависитъ отъ обстоятельствъ, которыхъ самое отчаянное мужество побѣдить не можетъ. Не долго ли рабствовали вы сами? Не долго ли рабствовала Русская земля передъ Татарами? И вотъ Господь освободилъ сперва насъ, а потомъ и васъ; а Болгаре, которыхъ царство славилось далеко, теперь подъ игомъ; а Чехи, которыхъ подвиги достойны были всякаго удивленія, преклоняютъ голову предъ чужероднымъ владычествомъ. Такова воля Божія теперь, но будущее неизвѣстно: ибо хотя по несчастію большая часть Славянъ порабощена чужой власти, но по мужеству своему они всѣ достойны свободы. Также и слабость племени не оправдываетъ пренебреженія, ибо часто слабые и незамѣчательные въ мірѣ дѣлаются самыми крѣпкими орудіями воли Божіей. Поэтому не оскорбляйте братьевъ презрѣніемъ, которое несноснѣе самаго угнетенія, но помните, что они вамъ равны, хотя менѣе счастливы. Вы, по милости Божіей, Православные, свободные и сильные, искреннимъ дружелюбіемъ привлекайте къ себѣ слабыхъ, порабощенныхъ и ослѣпленныхъ. Пусть всякій Славянинъ, изъ какого бы края онъ ни былъ, видя вашу къ нему братскую любовь, будетъ готовъ васъ подкрѣплять доброжелательствомъ, сердечнымъ сочувствіемъ и союзомъ на дѣлѣ. Таковъ законъ Божій, и такова даже ваша собственная выгода. Богъ устроилъ современныя намъ судьбы міра такъ, что лучшая изъ человѣческихъ добродѣтелей,—братолюбіе,—есть въ тоже время единственное спасеніе для Славянъ и единственная сила, могущая освободить ихъ отъ враговъ и утѣснителей, которыхъ, вы сами знаете, и называть не нужно. Благодаримъ Его святую волю.

Мы знаемъ, что есть Славянскія племена, которыя еще ничѣмъ не прославились, между тѣмъ какъ вы уже изстари можете хвалиться многими блистательными подвигами; но и тутъ нѣтъ повода къ гордости; ибо подумайте! Хотя уже и въ прежнее время вы отличались мужествомъ, но сколько въ лѣтописяхъ вашихъ разврата, измѣны, междоусобнаго кровопролитія, братоубійствъ и даже отцеубійствъ, чѣмъ и язычники гнушаются? Не явно ли, что святая Вѣра, озарившая вашихъ предковъ, не проникла въ сердца ихъ и не сдѣлалась, какъ слѣдовало, для нихъ источникомъ святости и добродѣтели? За ихъ пороки и черезъ эти самые пороки Господь Богъ наказалъ ихъ на многія поколѣнія. Это говоримъ мы, конечно, не съ тѣмъ, чтобы оскорбить васъ, нашихъ дорогихъ и уважаемыхъ братій, но съ тѣмъ, чтобы, отстранивъ всякую гордость и уразумѣвъ, какъ свои собственныя вины, такъ и наказанія Божіи, вы стремились впередъ ко всякой добродѣтели и всякой честной славѣ, достойной народа христіанскаго, и пріобрѣли отъ всѣхъ почтеніе и любовь, чему, какъ мы уже сказали, доброе начало вами положено.

Поистинѣ, Сербы, великія милости даровалъ вамъ Богъ, бо́льшія, думаемъ, чѣмъ вы сами знаете. Тѣлесное здоровье есть одно изъ лучшихъ благъ для человѣка; но цѣну этого блага узнаётъ онъ, когда лишится его, или когда изучитъ чужія болѣзни и сравнитъ ихъ съ своимъ собственнымъ здоровымъ состояніемъ. Такъ и вы можете узнать свои преимущества только по сравненію съ недостатками другихъ обществъ (а на такое сравненіе вы еще не обращали вниманія), или по откровенному признанію самыхъ этихъ обществъ, узнавшихъ изъ опыта свои болѣзни и ихъ причины. Пусть это знаніе послужитъ вамъ предостереженіемъ, дабы вы могли избѣжать ошибокъ, которыхъ другіе народы избѣгнуть не умѣли, и дабы, перенимая доброе и полезное, вы не заразились злыми началами, часто примѣшанными къ добру и вовсе незамѣтными для неопытнаго глаза.

Первое, важнѣйшее и неоцѣнимое счастіе ваше, Сербы,—это единство ваше въ Православіи, то есть въ высшемъ знаніи и въ высшей истинѣ, въ корнѣ всякаго духовнаго и нравственнаго возрастанія. Таково ваше единство въ Вѣрѣ, что для

Турка слова «Сербъ» и «Православный» кажутся однозначущими. Этимъ лучшимъ изъ всѣхъ благъ болѣе всѣхъ должны вы дорожить и охранять его, какъ зѣницу ока: ибо дѣйствительно, что̀ есть Православіе, какъ не зѣница ока внутренняго и духовнаго?

Не насиліемъ посѣяно Христіанство въ мірѣ; не насиліемъ, а побѣждая всякое насиліе, возросло оно. Поэтому не насиліемъ должно быть охраняемо оно, и горе тѣмъ, которые хотятъ силу Христову защищать безсиліемъ человѣческаго орудія! Вѣра есть дѣло духовной свободы и не терпитъ принужденія; Вѣра же истинная побѣждаетъ міръ, а не проситъ меча мірскаго для торжества своего. Поэтому уважайте всякую свободу совѣсти и Вѣры, дабы никто не могъ оскорблять истину и говорить, что она боится лжи и не смѣетъ состязаться съ ложью оружіемъ мысли и слова. Ревнуйте къ чести Божіей не робостью и сомнѣніемъ въ ея могуществѣ, но смѣлою и спокойною увѣренностью въ ея побѣдѣ.

Но съ другой стороны имѣйте всегда въ виду значеніе и достоинство Вѣры. Весьма ошибаются тѣ, которые думаютъ, что она ограничивается простымъ исповѣданіемъ, или обрядами, или даже прямыми отношеніями человѣка къ Богу. Нѣтъ: Вѣра проникаетъ все существо человѣка и всѣ отношенія его къ ближнему; она какъ бы невидимыми нитями или корнями охватываетъ и переплетаетъ всѣ чувства, всѣ убѣжденія, всѣ стремленія его. Она есть какъ будто лучшій воздухъ, претворяющій и измѣняющій въ немъ всякое земное начало, или какъ бы совершеннѣйшій свѣтъ, озаряющій всѣ его нравственныя понятія и всѣ его взгляды на другихъ людей и на внутренніе законы, связующіе его съ ними. Поэтому Вѣра есть также высшее общественное начало; ибо само общество есть не что иное, какъ видимое проявленіе нашихъ внутреннихъ отношеній къ другимъ людямъ и нашего союза съ ними.

Здоровое общество гражданское основывается на понятіи его членовъ о братствѣ, правдѣ, судѣ и милосердіи; а эти понятія не могутъ быть одинаковыми при различныхъ вѣрахъ. Еврей и Магометанинъ исповѣдуютъ единаго Бога, какъ и Христіане; но одинаковы ли ихъ понятія о правдѣ и милости съ нашими? Конечно, скажутъ, что они не знаютъ ни таинства Святой и

Приснопоклоняемой Троицы, ни любви Божіей, спасшей насъ черезъ Христа, и что слѣдовательно различіе между ими и нами слишкомъ велико; но мы знаемъ, что и у Христіанъ, кромѣ истинной Православной Церкви, нѣтъ ни вполнѣ яснаго понятія, ни вполнѣ искренняго чувства братства. Это понятіе, это чувство воспитывается и крѣпнетъ только въ Православіи. Не даромъ община, и святость мірскаго приговора, и безпрекословная покорность каждаго передъ единогласнымъ рѣшеніемъ братьевъ—сохранились только въ земляхъ Православныхъ. Ученіе Вѣры воспитываетъ душу даже безъ общественнаго быта. Папистъ ищетъ власти посторонней и личной, какъ онъ привыкъ ей покоряться въ дѣлахъ Вѣры; Реформатъ доводитъ личную свободу до слѣпой самоувѣренности, также какъ и въ своемъ мнимомъ богопознаніи. Таковъ духъ ихъ ученія. Одинъ только Православный, сохраняя свою свободу, но смиренно сознавая свою слабость, покоряетъ ее единогласному рѣшенію соборной совѣсти. Оттого-то и не могла земская община сохранить свои права внѣ земель Православныхъ; оттого и Славянинъ вполнѣ Славяниномъ внѣ Православія быть не можетъ. Сами наши братья, совращенные въ западную ложь, будь они Паписты или Реформаты, съ горемъ сознаются въ этомъ. Тоже окажется и во всѣхъ дѣлахъ суда и правды и во всѣхъ понятіяхъ объ обществѣ; ибо въ основѣ его лежитъ братство.

Да будетъ же всѣмъ полная свобода въ Вѣрѣ и въ исповѣданіи ея! Да не терпитъ никто угнетенія или преслѣдованія въ дѣлѣ богопознанія или богопоклоненія! Никто, хотя бы онъ былъ (чего Боже избави) совратившійся съ пути истиннаго Сербъ! Да будетъ онъ вамъ все еще братомъ, хотя несчастнымъ и ослѣпленнымъ! Но да не будетъ уже онъ ни законодателемъ, ни правителемъ, ни судьею, ни членомъ общиннаго схода: ибо иная совѣсть у него, иная у васъ. Великій Апостолъ языковъ говоритъ: «Не стыдно ли вамъ, Христіанамъ, судиться передъ язычниками? Пусть судятъ между васъ братья». Поэтому иновѣрецъ долженъ быть для васъ, какъ гость, охраняемый вами отъ всякой неправды и пользующійся всѣми вашими правами въ дѣлахъ жизни частной, но не долженъ быть полноправнымъ гражданиномъ или сыномъ великаго Сербскаго дома, судящимъ съ братьями въ дѣлахъ общественныхъ. Богъ

избавилъ васъ отъ внутренняго разъединенія: не допускайте такого разъединенія въ самыхъ нѣдрахъ совѣсти народной и общественнаго духа. Горько намъ подумать, что не всѣ Славяне Православны. Вѣримъ, что и они со временемъ всѣ просвѣтятся истиною; любимъ ихъ душою и всегда готовы протянуть имъ руку братства и помощи противъ всѣхъ; но думаемъ, что они такимъ исключеніемъ оскорбиться не могутъ, и сами, по любви къ вамъ, не захотѣли бы внести сѣмена раздора и разномыслія въ ваше общество.

Есть между вами богатые и бѣдные, точно также, какъ сильные и слабые, здоровые и немощные, умные и глупые; но что бы вы сказали о законѣ, по которому велѣно бы было такому-то быть богатымъ, а такому-то быть бѣднымъ, или такому-то быть сильнымъ, а такому-то быть слабымъ, или такому-то умнымъ, а такому-то глупымъ? Разуменъ ли былъ бы такой законъ и согласенъ ли съ Христіанствомъ? Не всѣ ли вы люди? Не всѣ ли вы Славяне? Не всѣ ли Сербы? Счастливы вы предъ всѣми народами въ томъ, что всякій Сербъ смотритъ на Серба, какъ на брата равнаго ему, и нѣтъ между вами высшаго или низшаго, кромѣ службы обществу, которая опредѣляетъ людямъ разные чины, по разнымъ заслугамъ или потребностямъ государства. Сохраняйте это равенство, дорожите такимъ великимъ сокровищемъ! Не допускайте никакихъ законовъ, никакихъ мѣръ правительственныхъ, никакихъ обычаевъ, которые могли бы разрывать братство. Во всѣхъ другихъ земляхъ ввелось такое злое начало, что иной считается благороднымъ, иной низкимъ по крови: «такой-то мнѣ не равенъ», или «такой-то не можетъ быть въ нашемъ кругѣ, потому что онъ низкаго происхожденія», или «такой-то не смѣетъ сваться за мою дочь, потому что онъ неблагороднаго дома», и такъ далѣе. Изъ великой неправды возникаетъ великое общественное зло: гордость мнимо-высшихъ, злоба и зависть мнимо-низшихъ, и слѣдовательно раздоры и слабость общественная. Пусть это зло остается при тѣхъ, у которыхъ оно уже существуетъ и проистекло изъ исторіи. Не прививайте себѣ болѣзни, отъ которой васъ Богъ избавилъ! Не забывайте примѣра Польши, вамъ единокровной. Тамъ немногія тысячи считали себя народомъ, а народъ считали стадомъ, едва достойнымъ имени человѣческаго; и вотъ,

не смотря на всѣ свои ратные подвиги, на все свое мужество, на свою славу, государство Польское пало. Не забывайте такаго урока! Пусть судія судитъ, и правитель управляетъ, и князь княжитъ, какъ нужно обществу; но внѣ своей должности да будетъ всякій Сербъ, нынѣ и всегда, равенъ своимъ братьямъ.

Многому еще должны вы учиться, братья, у тѣхъ народовъ, которымъ Богъ далъ издавна свободу отъ внѣшняго угнетенія, и возможность посвятить мысль и дни свои усовершенствованію наукъ и художествъ. Сами вы видите, и не нужно вамъ доказывать, какія силы наука даетъ человѣку, и какъ покоряетъ она ему самую природу. Но наука даетъ еще болѣе: она расширяетъ предѣлы Богомъ даннаго намъ разума, уясняетъ наши понятія, просвѣтляетъ наши умственные взоры, раскрываетъ тайны міра Божьяго и чудеса Его творческой премудрости. Пріобрѣтать науку не только необходимо для жизни общественной, но и обязательно для исполненія воли Божіей, давшей намъ разумъ, какъ поле многоплодное, которое не должно лежать въ залежи и поростать терніями невѣжества и ложныхъ мнѣній, но украшаться жатвою знанія и истины. И такъ мы говоримъ, что много добрыхъ и полезныхъ знаній еще должны вы пріобрѣсти отъ другихъ народовъ (будь они Нѣмцы или иные) для достиженія той степени умственнаго развитія, къ которой вы призваны. Но знаніе не есть еще истинное просвѣщеніе. Знаніе есть расширеніе умственнаго богатства; просвѣщеніе же истинное, сверхъ знанія, заключаетъ въ себѣ развитіе высшихъ началъ нравственныхъ и духовныхъ. Пріобрѣтеніе знанія не многотрудно, пріобрѣтеніе же высшаго нравственнаго развитія есть высшая задача для человѣка, и многіе люди, лишенные по обстоятельствамъ жизни знанія научнаго, но глубоко проникнутые нравственнымъ свѣтомъ, ближе къ полному просвѣщенію, чѣмъ многознающіе, но лишенные силы жизни духовной.

Вѣрьте намъ, Сербы, знающимъ и испытывающимъ надъ собою, и отчасти надъ самымъ отечествомъ нашимъ, болѣзни современнаго міра! Многіе и лучшіе люди въ цѣлой Европѣ завидуютъ вамъ, хотя и не вполнѣ еще знаютъ ваши преимущества. И эта зависть понятна: ибо въ единствѣ Вѣры, въ законѣ и чувствѣ братскаго равенства, въ цѣльности жизни и простотѣ

нравовъ заключаются такія сокровища, которыхъ уже не купятъ ни знаніе, ни усилія частныя, ни сила и учрежденія государственныя. Вы приступаете къ развитію умственныхъ своихъ богатствъ и, конечно, еще многому должны научиться; но вы приходите не какъ убогіе, а какъ богатые, не какъ низшіе въ обществѣ народовъ, а какъ высшіе; ибо все то, что́ есть у другихъ, вы можете пріобрѣсти съ небольшимъ трудомъ, а что́ у васъ собственнаго, Богомъ даннаго, того они пріобрѣсти не могутъ. Храните свои сокровища и дорожите ими! Гордость есть великій и гибельный порокъ; но не менѣе гибельно и самоуниженіе, не знающее цѣны даровъ, полученныхъ нами отъ Бога. Пусть наши ошибки послужатъ вамъ предостереженіемъ и урокомъ.

И мы имѣли многія изъ тѣхъ преимуществъ, которыя вы имѣете теперь, нѣкоторыя въ меньшей степени, какъ напримѣръ братское равенство и простоту жизни; нѣкоторыя даже въ высшей, какъ напримѣръ полноту и силу общиннаго устройства. И мы, такъ же, какъ вы, вслѣдствіе происшествій историческихъ, пришли въ соприкосновеніе съ Европою и ея просвѣщеніемъ. Съ горестью увидѣли мы свое невѣжество, съ удивленіемъ чужое знаніе. Мы полюбили это знаніе, мы старались усвоить себѣ его сокровища, и мы были правы: ибо такова обязанность человѣка. Но въ слѣпомъ благоговѣніи передъ чужимъ богатствомъ, мы не умѣли распознать его злую примѣсь, а свое высшее богатство забыли. Намъ казалось, что страны, болѣе насъ ученыя, должны превосходить насъ во всѣхъ отношеніяхъ, и что всякій обычай ихъ, всякое учрежденіе лучше нашихъ собственныхъ. Всему чужому стали мы не учиться только, какъ слѣдовало, а подражать. Вмѣсто смысла просвѣщенія, вмѣсто внутренняго зерна мысли, въ немъ проявляющейся, стали мы перенимать его формы и наружный видъ: вмѣсто того, чтобы возбудить въ себѣ самодѣйственную силу разума, мы стали безъ разбора перенимать всѣ выводы, сдѣланные умомъ чужимъ, и вѣровать въ нихъ безусловно, даже когда они были ложны, такъ что то самое, что́ должно было въ насъ пробуждать бодрственную дѣятельность мысли и духа, погрузило насъ надолго въ умственный сонъ. Судъ принимали мы отъ Нѣмцевъ, съ его тайною и съ его формальностію, от-

страняющею права человѣческой совѣсти; управленіе строили на Нѣмецкій ладъ, не соотвѣтствующій нашимъ собственнымъ потребностямъ; чиноначалія гражданскія и военныя рядили въ иностранныя имена; войско обращали по-нѣмецки въ движущіяся машины, наперекоръ народному духу, и эти машины стягивали въ уродливые наряды, какъ въ цѣпи, уничтожающія всякое свободное движеніе членовъ; красивую и удобную одежду нашихъ предковъ замѣняли безобразными одеждами Западныхъ народовъ, о которыхъ со временемъ безъ насмѣшки и вспомнить нельзя будетъ; всѣ обычаи свои измѣняли, чтобы принимать обычаи чужіе, и снова безпрестанно мѣняли эти новые обычаи по указу иноземному; наконецъ (даже стыдно объ этомъ вспомнить) самый языкъ свой, великое нарѣчіе рѣчи Славянской, древнѣйшаго и лучшаго изо всѣхъ словъ человѣческихъ, презирали мы и бросали на письмѣ, въ обществѣ, и даже въ дружеской бесѣдѣ, замѣняя его жалкимъ лепетомъ самаго скуднаго изо всѣхъ языковъ Европейскихъ. Таково было наше безуміе; таковы были явленія того времени, когда вещественная гордость государства сопровождалась самоуниженіемъ народа. Но это самоуниженіе было не въ народѣ, а только въ высшемъ сословіи, оторвавшемся отъ народа. Оно хотѣло подражать всему иноземному, хотѣло казаться иноземнымъ, и для народа оно сдѣлалось иноземнымъ. Исчезло всякое довѣріе, исчезло всякое духовное общеніе, всякій размѣнъ мысли. Разумъ милліоновъ оставался безплоднымъ для общества, добровольно заключившаго себя въ тѣсные предѣлы тѣхъ немногихъ тысячъ, которыя согласились отказаться отъ всѣхъ своихъ родныхъ обычаевъ. Эти немногіе, подъ именемъ просвѣщенія, гонялись только за его ложнымъ призракомъ, гордясь тѣмъ, что въ глазахъ народа они казались Нѣмцами; а народъ удалялся отъ истиннаго знанія, видя въ немъ какъ бы силу враждебную и гибельную для Русскаго народа. Ошибка высшихъ ввела низшихъ въ ошибку, ей противоположную, и наше слѣпое поклоненіе знанію и просвѣщенію Европы остановило надолго развитіе знанія и просвѣщенія въ Русской землѣ.

Не нужно, братья, объяснять вамъ, какъ гибельны были послѣдствія такаго внутренняго разъединенія, какое множество ошибокъ истекло изъ одной ошибки, какими неправдами и стра-

даніями въ жизни частной, какою безплодностью въ жизни общественной, какимъ безсиліемъ въ жизни государственной были мы наказаны за наше чужепоклонство. И теперь не избавились мы, и еще нескоро избавимся, отъ его горькихъ плодовъ. Для насъ они видны и чувствительны вездѣ и во всемъ. Для васъ, живущихъ далеко, они не могутъ быть столько явными, и поэтому мы считаемъ необходимымъ представить вамъ хоть одинъ примѣръ, по которому вы могли бы судить о прочихъ.

Извѣстно всѣмъ, что, прежде императора Петра Перваго, берега Чернаго моря принадлежали Турціи, и только одно устье Днѣпра было въ рукахъ Русскихъ казаковъ, нашихъ братьевъ Запорожцевъ. Не было у нихъ ни кораблей, ни возможности строить корабли. На легкихъ челнокахъ, часто на однодеревкахъ и душегубкахъ, пускались они въ бурное море, изстари страшное мореплавателямъ, страшное даже и теперь при всѣхъ усовершенствованіяхъ мореплаванія, и тысячами налетали на берега вѣчныхъ враговъ имени Христіанскаго. Отъ Батума до Цареграда гремѣла ихъ гроза. Трапезундъ и Синопъ и самые замки Босфора дрожали передъ ними. Турецкіе флоты, смѣло гулявшіе по Средиземному морю и нерѣдко грозившіе берегамъ Франціи, Италіи и Испаніи, прятались въ пристани предъ лодками Запорожскими. Не изъ хвастливости, но по истинной правдѣ говоримъ мы: свидѣтелями намъ самыя Турецкія лѣтописи и еще теперь незабытыя преданія. Не было въ цѣлой Европѣ ни однаго народа, который могъ бы похвалиться такими дивными подвигами мужества на моряхъ,—и опять безъ хвастливости можемъ мы сказать, что люди Сѣверные ничѣмъ не уступали своимъ Южнымъ братьямъ. Не слѣдовало ли думать, что съ такими людьми Русскій флотъ далеко превзойдетъ флоты другихъ народовъ, когда лодки замѣнятся могущими и сильно вооруженными судами? Такой успѣхъ былъ вѣроятенъ; смѣло скажемъ, онъ былъ несомнѣненъ. Но ожиданія не сбылись: въ этомъ должны мы признаться, не смотря на безспорное мужество нашихъ моряковъ. Отъ чего же такая неудача? Отъ чего люди, далеко превосходившіе на морѣ всѣхъ своихъ соперниковъ, стали едва равными имъ? Причина весьма проста. Они стали не тѣми людьми, которыми были прежде. Императоръ Петръ началъ первый у насъ строить большіе корабли

по образцу Голландскому (и за это ему честь и слава!), но къ разумному дѣлу онъ примѣшалъ страшное неразуміе. Названіе всѣхъ частей корабельныхъ, всѣ слова, относящіяся до мореходства, всѣ слова команды принялъ онъ также отъ Голландцевъ. Какія же вышли послѣдствія? Этихъ Нѣмецкихъ словъ, этихъ названій, вовсе безсмысленныхъ для Русскаго уха и не представляющихъ ничего Русскому уму, набрались тысячи. Теперь поступаетъ на корабль будущій морякъ, человѣкъ, котораго Богъ одарилъ и ловкостью, и смѣлостью необычайною, человѣкъ подобный тѣмъ, которые въ старые годы на узкихъ лодкахъ громили берега Чернаго моря, потрясали Царьградъ и уничтожали флоты Турецкіе; но онъ теперь поступаетъ не въ моряки, а въ школьники. Ему надо твердить тысячи безсмысленныхъ и дико звучащихъ словъ, и въ этомъ безсмысленномъ ученіи проходятъ года его горячей и живой молодости. Вмѣсто любви къ своему дѣлу, вмѣсто опытности моряка, онъ пріобрѣтаетъ равнодушіе, и даже какъ бы отвращеніе отъ своего занятія, отъ своего корабля, отъ самаго моря. Пройдутъ года, и морской богатырь обратится въ полумертвый Нѣмецкій словарь. Правда, онъ будетъ исправлять свою обязанность, потому что онъ Христіанинъ и Русскій; но истинный морякъ уже погибъ въ немъ безвозвратно. По этому примѣру, братья, судите и обо всемъ. Вся земля Русская обратилась какъ бы въ корабль, на которомъ слышатся только слова Нѣмецкой команды. По милости Божіей мы теперь начали образумливаться и возвращаться къ своему языку, къ своему собственному духу. Насъ спасла Вѣра, которой мы не измѣнили, насъ спасла стойкость народа, который не обольстился примѣромъ высшаго сословія; но нескоро излѣчивается болѣзнь, и потерянные года уже не возвратятся. Да будетъ нашъ примѣръ урокомъ для васъ! Учитесь у Западныхъ народовъ, это необходимо; но не подражайте имъ, не вѣруйте въ нихъ, какъ мы въ своей слѣпотѣ имъ подражали и вѣровали. Да избавитъ васъ Богъ отъ такой страшной напасти!

Чужой умъ долженъ въ васъ пробуждать дѣятельность собственнаго ума, и этою дѣятельностію будете вы возвышаться болѣе и болѣе; но вы не должны прививать къ себѣ чужой жизни, потому что съ нею вы привьете къ себѣ не чужое здо-

ровье, а чужія болѣзни. Даже скажемъ болѣе: то, что́ въ другомъ народѣ не только безвредно, но даже и полезно, то въ васъ сдѣлается началомъ зла и гибели. Всякое живое созданіе имѣетъ свои законы бытія, свой строй и ладъ, на которыхъ основано самое существо его, и которые въ свою очередь опредѣляютъ свойства его проявленій и произведеній. Но то, что́ въ одномъ стройно и ладно (потому что согласно съ его существомъ) дѣлается началомъ нестройности и разладицы, когда оно привито къ другому, котораго существо основано на иномъ законѣ. Никто не можетъ пѣть чужимъ голосомъ, или красиво ходить чужою походкою.

Такъ и внутренняя жизнь народа приходитъ въ нестройность и разладъ, когда она позволяетъ струѣ жизни чужой влиться въ ея жилы. Поэтому обсуживайте строго чужія мысли, прежде чѣмъ примете ихъ, и не будьте спѣшны на нововведенія, развѣ бы польза ихъ была ясна и несомнѣнна.

Много есть у васъ единокровныхъ за границею вашего княжества, и эти единокровные вамъ люди истинно желаютъ вамъ добра, и часто по своей образованности и знаніямъ могутъ принести вамъ много пользы. Принимайте ихъ съ любовію, выслушивайте ихъ добрые совѣты, пользуйтесь ихъ сердечною службою съ сердечною же благодарностью; но и тутъ не откладывайте осторожности. Часто бываетъ, что они жили и образовались подъ сильнымъ вліяніемъ чужеземныхъ началъ, хоть бы напр. Нѣмецкихъ, и не остались чуждыми ихъ прелести. Часто случается, что, по привычкѣ, принятой изъ дѣтства, они измѣнили безсознательно ладъ своей жизни внутренней и своего ума; научились, напримѣръ, принимать умноженіе формальностей за правительственную мудрость, стѣснительныя мѣры за порядокъ, бумажную отчетливость за ручательство, которое будто бы лучше и вѣрнѣе человѣческой совѣсти; чиновническое вмѣшательство во все и чиновническую опеку надо всѣмъ— за единственную охрану спокойствія и порядка общественнаго; наконецъ, вообще Нѣмецкую хитрость за образованность истинную, а Славянскую простоту за остатокъ старинной дикости. Точно также и многіе обычаи иноземные привыкли они часто предпочитать своимъ, Сербскимъ. Конечно ихъ въ этомъ винить нельзя, ибо самая ихъ ошибка очень естественна; но васъ

просимъ мы оберегаться ея, а ихъ просимъ мы не слишкомъ довѣрять своей мнимой мудрости и помнить, что они приступаютъ къ вашему союзу не какъ чистѣйшіе и безусловно лучшіе, но напротивъ того, какъ люди, нѣсколько искаженные и требующіе, такъ сказать, внутренняго омовенія отъ иноземной проказы. Простота есть степень высшая въ общественной жизни, чѣмъ искусственность и хитрость, и всякое начало, истекающее изъ духа и совѣсти, далеко выше всякой формальности и бумажной административности. Одно живо и живитъ, другое мертво и мертвитъ. Предоставьте послѣднее Австріи!

Точно такое же слово обращаемъ мы и къ вашимъ молодымъ согражданамъ, чадамъ Православной Сербіи, получившимъ свое научное воспитаніе внѣ предѣловъ родной земли, въ странахъ чужихъ, на Западѣ, а можетъ быть даже и въ нашей Россіи. Безъ сомнѣнія много умственныхъ сокровищъ пріобрѣли они для обогащенія своего отечества, и иначе пріобрѣсть ихъ не могли; но рѣдкій изъ нихъ, и едва ли кто нибудь, остался свободнымъ отъ всякаго вреднаго вліянія. Они сами не должны себѣ слишкомъ много довѣрять. Живая связь съ отечествомъ не перерывается на нѣсколько лѣтъ вовсе безнаказанно: много замираетъ,—хотя на время,—чувствъ добрыхъ и естественныхъ, много закрадывается въ душу соблазновъ и неустройствъ. Пусть возвратившійся самъ себя ставитъ какъ бы на искусъ! Пусть сживается онъ опять вполнѣ съ своей родиной, до тѣхъ поръ, покуда самъ почувствуетъ себя опять истиннымъ, простымъ Сербомъ, только кое-чему научившимся въ школѣ другихъ народовъ! Пусть заслуживаетъ онъ ваше довѣріе, прежде чѣмъ получитъ довѣріе къ самому себѣ!

Ни строгостью, ни законами нельзя оградить обычаевъ отъ искаженія. Строгіе законы только обличаютъ неувѣренность общества въ своей собственной твердости и, подъ ихъ мнимой защитой, тайный источникъ нравственной порчи растетъ и наполняется мало-по-малу скрытымъ наращеніемъ, до тѣхъ поръ покуда онъ осилитъ или измѣнитъ самый законъ. Часто даже строгость закона переживаетъ его самого, и обращается на то, что́ онъ прежде ограждалъ. Такъ напримѣръ: у насъ нѣкогда уголовными и неразумными законами думали оградить обычаи Русскіе отъ измѣненія иноземнаго; а потомъ императоръ Петръ

сталъ наказывать смертію или ссылкою на каторгу не только тѣхъ, которые держались Русскаго обычая въ одеждѣ, но даже и тѣхъ, которые такую одежду изготовляли для желающихъ носить ее. Трудно повѣрить такому безумному ожесточенію противъ нравовъ отечественныхъ, но мы не выдумываемъ, а свидѣтельствуемся собраніемъ Русскихъ законовъ, и признаемъ, что начало позднѣйшей жестокости заключалось въ неразуміи прежнихъ, мнимо охранительныхъ мѣръ. Только внутреннее убѣжденіе и чувство народное могутъ охранять обычай, который всегда истекаетъ изъ внутренней жизни. Да будетъ же у васъ огражденіемъ Сербскаго обычая не строгость законовъ, но презрѣніе общественное къ его нарушителямъ. Мы знаемъ, что обычаи не могутъ оставаться навсегда неизмѣнными, и что требованія жизни мало-по-малу измѣняютъ или приноравливаютъ ихъ согласно измѣненіямъ самой жизни. Внутреннее чувство народа само служитъ мѣриломъ для законности и необходимости этихъ постепенныхъ измѣненій. Такъ, напримѣръ, самый языкъ принимаетъ отъ другихъ языковъ необходимый приливъ чужихъ словъ для выраженія предметовъ или понятій, чуждыхъ природѣ отдѣльной страны или жизненному строю ея жителей. Не нужно, конечно, Сербу выдумывать свои названія для заморскаго тигра или крокодила, для Англійскаго пера, для Французской моды или Нѣмецкой дипломатіи; но къ чему бы стали вы, подобно намъ, искать чужихъ словъ для тѣхъ предметовъ и понятій, которые точно также могутъ получить названія изъ вашего собственнаго нарѣчія? Въ такомъ приливѣ иноземныхъ звуковъ, повидимому, заключается только пустая ошибка; но это не такъ: въ ней заключается прямой и страшный вредъ, котораго послѣдствія трудно исчислить. Начало его есть умственная лѣнь и пренебреженіе къ своему собственному языку: послѣдствіе же его—оскудѣніе самаго языка, т. е. самой мысли народной, которая съ языкомъ нераздѣльна, гибельная примѣсь жизни чужой и часто разрушеніе самыхъ священныхъ началъ народнаго быта. Дайте какой бы то ни было власти названіе иноземное, и всѣ внутреннія отношенія ея къ подвластнымъ измѣнятся, и получатъ иной характеръ, который нескоро исправится. Назовите святую Вѣру религіей, и вы обезобразите самое Православіе. Такъ важно, такъ многозначительно слово

человѣческое, Богомъ данная ему сила и печать его разумнаго величія.

Мы уже показали вамъ, какъ вредно было для насъ иноземное названіе всѣхъ предметовъ, принадлежащихъ къ мореплаванію, и могли бы показать еще много и много другихъ примѣровъ; но что скажемъ мы о несчастной Польшѣ? Рано вступила она въ тотъ гибельный путь, на который мы попали поздно и, надѣемся, только на время; рано исказила она свою жизнь этою словесною иноземщиною. Шляхта, кастеляны, маршалки, рыцари, войты, изуродовали ея Славянскій бытъ и Славянскую простоту ея общественныхъ отношеній: народъ разорвался пополамъ, и зародышъ будущей гибели запалъ и разросся въ самое время мнимой государственной силы. Польша гордилась тѣмъ, что въ ней процвѣталъ языкъ Римскій (вмѣстѣ съ Римскою религіей); Польша гордилась тѣмъ, что во Франціи ея паны удивляли самихъ Французовъ изяществомъ слова; а слово народное, а мысль народная спали какъ заброшенное поле, не приносящее никакихъ добрыхъ плодовъ человѣку. Послѣдствія вамъ извѣстны. Горько намъ говорить объ ошибкахъ и грѣхахъ Польши, но мы обязаны вамъ напоминать о несчастныхъ примѣрахъ, уже представленныхъ другими народами, и, какъ видите, непристрастно говоримъ о самихъ себѣ.

Обогащайте умъ знаніемъ языковъ, но у себя не допускайте чужеязычія. Пусть въ Сербіи добровольный чужеязычникъ пользуется только тѣмъ уваженіемъ, которое подобаетъ попугаю. Предоставьте ему топырить хохолъ и охорашиваться на своей насѣсти.

Повидимому, весь обычай состоитъ изъ мелочей, но онъ не мелочь. Чтó могло бы быть, напримѣръ, важнаго въ одеждѣ? Не все ли равно, какъ человѣкъ одѣтъ, и какъ сшиты лоскуты, которыми онъ прикрывается? Вѣдь это вещь вовсе мертвая и неспособная дѣйствовать на жизнь? Такъ и у насъ толкуютъ, но вы этимъ толкамъ не вѣрьте. Таково благородство души человѣческой, что и мертвое получаетъ отъ нея живое значеніе, въ свою очередь дѣйствуетъ на жизнь. Измѣненіе одежды народной и предпочтеніе одежды Западной происходятъ отъ злаго источника, отъ презрѣнія къ своему и раболѣпства передъ

чужимъ. Совмѣстно ли такое чувство съ братолюбіемъ и съ тѣмъ почтеніемъ, которое всякій человѣкъ обязанъ питать къ своей родинѣ и къ своему народу? Извинительно было бы измѣненіе платья для бо̀льшаго удобства или даже для красоты; но судите сами: было ли что нибудь удобнаго или красиваго въ одеждахъ Западныхъ отъ шитаго кафтана и нудры до теперешняго фрака и галстука? О женскихъ одеждахъ и говорить нечего: онѣ всегда были то уродливыми, то непристойными, а по большей части уродливыми и непристойными вмѣстѣ. Западная одежда безпрестанно измѣняется, и безпрестанно опредѣляется такъ называемою модою; а что такое мода? Гдѣ нибудь (по большей же части въ Парижѣ) извѣстный кружокъ людей перемѣняетъ покрой платья или прическу по своей прихоти, и остальные Французы, а за ними и другіе народы, не медля принимаютъ эту перемѣну, не смѣя даже сомнѣваться въ ея красотѣ, какъ бы ни была она нелѣпа. Вдумайтесь безпристрастно въ причины этаго подражанія, и вы убѣдитесь, что оно происходитъ изъ душевнаго холопства передъ мнимовысшими; а гдѣ замѣшалось холопство, тамъ душа теряетъ чистоту и благородство. Одежда народная есть свободный обычай народа; измѣненіе ея ради удобства можетъ отчасти показать нѣкоторую свободу и даже разумность человѣка (ибо и самый обычай такъ созидался), но подражаніе Западному наряду есть не что иное, какъ признанное холопство передъ вкусомъ мнимовысшаго общества. Пусть тѣ, которымъ нравится такое признаніе, пользуются уваженіемъ, которое они заслуживаютъ, а именно тѣмъ самымъ, которое человѣкъ оказываетъ обезьянѣ.

Многому, какъ мы уже сказали, должны вы учиться у иноземцевъ, часто даже пользоваться ихъ услугами. Умѣйте цѣнить ихъ, награждайте ихъ, любите ихъ и благодарите за пользу, которую они вамъ принесутъ; но не включайте ихъ въ свое общественное братство, развѣ бы они были Православные, а особенно Православные Славяне, ибо эти вамъ не иноземцы. Мы говоримъ: пользуйтесь ихъ услугами и по мѣрѣ услугъ награждайте ихъ, но все это говоримъ мы о дѣлахъ торговли, наукъ и искусства:—въ дѣло гражданственности вашей имъ вмѣшиваться не должно. Что же сказать о дѣлѣ ратномъ? Честно и праведно сражаться за родину и братьевъ,

честно и праведно сражаться за всякую правду человѣческую; но есть люди, которые, не разбирая за кого и за что сражаться будутъ, нанимаются биться за иноземцевъ и за чужія государства. За деньги продаютъ они свою кровь и кровь тѣхъ, которыхъ убивать будутъ; и есть цари и народы, которые покупаютъ ее. И то и другое да будетъ чуждо вамъ, благороднымъ и мужественнымъ Сербамъ. Предоставьте разнымъ Нѣмцамъ продавать себя въ убійцы, а храброму Неаполю, честной Англіи и главѣ Римской религіи, Папѣ, предоставьте покупать ихъ. При нихъ пусть и остается такая мерзость! Мы думаемъ, что намъ не слѣдовало бы васъ и предостерегать въ этомъ; но вы вступили въ кругъ другихъ народовъ, въ которомъ понятіе о честномъ и безчестномъ весьма шатко и неопредѣленно, и по неволѣ должны мы васъ предостерегать противъ такаго зла, которое еще мало оглашено и осуждено, и слѣдовательно можетъ соблазнить людей, не предупрежденныхъ противъ него. И мы въ старину нанимали Нѣмцевъ сражаться за насъ; за то немало и поработали мы имъ впослѣдствіи.

Не вдавайтесь въ соблазнъ быть Европейцами. Это слово употребляется теперь нерѣдко, но какой же въ немъ смыслъ? Испанцы, Шведы и Французы одинаково Европейцы; похожи ли они другъ на друга? Въ нихъ общаго весьма мало. Или не означаетъ ли это слово какаго-нибудь высшаго развитія человѣческаго духа? Хорошо нравственное развитіе обществъ, защищающихъ себя руками продажныхъ убійцъ и не понимающихъ даже гнусности своего грѣха; а эти общества тоже Европейскія. Хорошо нравственное развитіе обществъ, составившихъ союзъ для спасенія народа, искони враждебнаго Христіанству и законамъ человѣчества; а это союзъ обществъ Европейскихъ. Хорошо развитіе обществъ, которыхъ представители безъ стыда постоянно готовы брататься съ такими отступниками, каковы Омеръ-паша Очень невысоко нравственное достоинство Европы. Еще недавно, при несчастномъ кораблекрушеніи, Негръ-Африканецъ, чтобы спасти своихъ сотоварищей отъ голодной смерти, добровольно пожертвовалъ жизнію; а эти товарищи, Нѣмецкіе Европейцы, приняли жертву и съѣли его. Кто былъ выше передъ людьми и передъ Богомъ? Черный ли Африканецъ, отдавшій жизнь свою для спа-

сенія братьевъ, или Нѣмцы, съѣвшіе его, чтобы продлить свою жизнь? Гдѣ же честь Европейскаго имени? И дѣйствительно, между собою народы полу-Римскіе и Нѣмецкіе не хвалятся имъ: они, или лучше сказать, ихъ хитрые посланцы, да наши братья, измѣнившіе своему родному обычаю, употребляютъ это слово, какъ ловкую приманку для Славянъ, чтобы привесть ихъ въ духовное рабство,—и къ несчастію часто еще поддаемся мы на ихъ обманъ. Будьте глухи къ этому жалкому соблазну! Ищите имени человѣковъ, а еще болѣе Христіанъ, и всего того, чѣмъ такія имена оправдываются, и не думайте вовсе о томъ, какими путями, Европейскими или иными, достигнете вы своей высокой цѣли. Не надѣвайте на свою умственную свободу щегольского ошейника съ надписью «Европа».

Сохраняйте простоту своихъ нравовъ. Въ ней одной найдете вы залогъ общественной силы и общественнаго здоровья; въ ней корень истиннаго мужества и способности къ самопожертвованію. Пусть Сербъ въ своемъ отечествѣ не думаетъ отличаться отъ своихъ братьевъ ничѣмъ, кромѣ услуги, оказанной своему отечеству или землямъ Славянскимъ. Еслибъ даже онъ заслужилъ почести въ иныхъ земляхъ, какое вамъ дѣло до нихъ? Ему чваниться такими подвигами передъ вами не прилично, и вамъ не слѣдуетъ дозволять такаго тщеславія. Положимъ, что его уважаютъ, или ему благодарны за что ни было иноземные властители: пусть и выставляетъ онъ на показъ знаки этаго уваженія или благодарности внѣ Сербіи; но въ соборѣ Сербовъ имъ мѣста быть не должно. Всегда ли похвала Англійской королевы или Австрійскаго императора будетъ похвалою и въ вашихъ глазахъ? Не думаемъ. Пусть Сербъ украшается только наградами, полученными имъ отъ народнаго мнѣнія и отъ государства Сербскаго. Если случится, что его труды даже въ другихъ земляхъ послужили ко благу или чести его родинѣ и братьямъ, пусть сама Сербія о томъ судитъ и награждаетъ, а чужаго суда и чужихъ наградъ вамъ допускать нельзя. Въ самыхъ почестяхъ и знакахъ отличія будьте осторожны. Да служатъ они воздаяніемъ только за службу общественную! Кто служилъ отечеству, можетъ получать отъ общества свидѣтельство своей службы; но не допускайте и отвергайте всякое внѣшнее отличіе за тѣ подвиги, которые человѣкъ-

Христіанинъ совершаетъ въ пользу ближняго, или въ исполненіе закона Христова. Въ нихъ служитъ онъ уже не обществу людскому, а высшему Судіи, своей совѣсти и Тому, Кто судитъ его совѣсть, Богу. Всякая общественная награда, всякій знакъ отличія былъ бы оскорбленіемъ самаго подвига и посягательствомъ на такой судъ, который выше вашего. Мы знаемъ что другіе народы позволяютъ себѣ такую незаконность, но вы удаляйтесь отъ нея съ презрѣніемъ. Разсудите сами: осмѣлились бы вы дать какую-нибудь золотую бляху на грудь Апостолу Павлу за его апостольство? Такъ точно судите, хотя и въ меньшей степени, обо всякомъ подвигѣ, совершенномъ ради совѣсти и Бога, будь то милостыня, или спасеніе людей съ опасностію собственной жизни, или трудъ духовный. Что́ можетъ быть, напримѣръ, неразумнѣе, и, скажемъ болѣе, что́ можетъ быть богопротивнѣе знаковъ отличія, данныхъ людьми за дѣло проповѣди, поученія или правленія церковнаго? Почему же бы уже не давать наградъ за постъ, за усердіе къ молитвѣ и за дары исцѣленія? Общество отличаетъ и награждаетъ службу общественную, но это не должно подавать повода къ тщеславію; и поэтому мы совѣтовали бы вамъ отличать только старцевъ, уже кончившихъ свое служеніе, чтобы ихъ всякій могъ узнавать въ соборѣ народномъ и радоваться, глядя на заслуженнаго старца; а тому, кто еще служитъ, пусть будетъ наградою его самая служба, его должность и ваше довѣріе къ нему.

Презирайте роскошь: она сама по себѣ не достойна людей разумныхъ, а васъ она сдѣлала бы данниками другихъ народовъ. Не увлекайтесь ихъ примѣромъ, не смѣшивайте предметовъ, служащихъ къ истинному удобству жизни, съ предметами роскоши. Одни улучшаютъ мало-по-малу жизнь даже бѣдняка (какъ напр. лучшее освѣщеніе, крѣпкія и легкія ткани, огнеупорные сосуды и пр.), а другіе служатъ только къ нѣгѣ богатыхъ. Не смѣшивайте искусства, которое выражаетъ лучшія стремленія души человѣческой и облагороживаетъ ее, съ щегольствомъ или потѣхою, которыя унижаютъ ее. Во всемъ этомъ мы ни отъ кого не могли слышать предостереженія и впадали, и часто еще и теперь впадаемъ, въ ошибки, вредныя для нашей общественной и частной жизни. И теперь мы еще готовы отличать почти одинаково великаго пѣснопѣвца, про-

славляющаго свое отечество, и театральную плясею, которой искусство ничего не заслуживаетъ кромѣ презрѣнія. Теперь вы еще бѣдны, какъ недавно вышедшіе изъ рабства; но земля ваша богата дарами Божіими, и вы сами трудолюбивы, богатство ваше должно увеличиваться. Не употребляйте новаго богатства на пустой блескъ, нѣгу и роскошь! Пусть богатый употребляетъ лишки своего богатства на помощь бѣднымъ (разумѣется, не поощряя тунеядства), или на дѣло общей пользы и общаго просвѣщенія. Пусть будетъ у земли Сербской та святая роскошь, чтобы въ ней не было нужды и лишеній для человѣка трудолюбиваго! Затѣмъ богатство и блескъ да украшаютъ храмы Божіи. Но въ вашихъ частныхъ жилищахъ должна быть простота также, какъ и во всемъ вашемъ домашнемъ быту. Роскошь частнаго человѣка есть всегда похищеніе и ущербъ для общества. Она должна внушать вамъ пренебреженіе. Бархаты да парчи Польскихъ пановъ одѣли Польшу въ рубище, да и намъ нечѣмъ похвалиться. Въ самыхъ общественныхъ зданіяхъ соблюдайте строгую простоту, которая, впрочемъ, не исключаетъ красоты. И въ нихъ роскошь, щегольство и блескъ всегда сопровождаются пожертвованіемъ истинной пользы, и даже когда повидимому безвредны, уже вредны тѣмъ, что служатъ признакомъ общественной гордости и государственнаго самопоклоненія, а ко всему этому Богъ не благоволитъ. Поистинѣ, Сербы, та земля велика, въ которой нѣтъ ни нищеты у бѣдныхъ, ни роскоши у богатыхъ, и въ которой все просто и безъ блеска, кромѣ храма Божія. Такая страна дѣйствительно сильна: она угодна Богу и честна у людей.

По свѣту ходитъ объ васъ великая похвала, которую, какъ думаемъ, вы заслуживаете: это похвала чистотѣ вашихъ нравовъ. Съ нею связаны святость и крѣпость узъ семейныхъ, счастіе и истинныя радости жизни, здоровье народное и, прямо или косвенно, всѣ начала общественнаго преуспѣянія. Не умаляйте своей славы! Пусть будетъ безъ чести въ обществѣ, кто не честенъ въ своей жизни домашней. Тотъ, кто не имѣетъ чистой совѣсти, или совѣсти не слушается въ своемъ дѣлѣ личномъ, не послушается ея въ дѣлѣ общественномъ, и слѣдовательно ему довѣрить нельзя; а показывая уваженіе къ людямъ порочнымъ, общество дѣлается участникомъ ихъ поро-

ковъ. Напрасно говорятъ иные, что должно допускать ихъ до гражданскихъ должностей за ихъ умственныя способности: это несправедливо. Удаляйте порочныхъ, и изъ добрыхъ найдутся люди съ неменьшимъ умомъ и болѣе заслуживающіе довѣрія. Наконецъ, должно сказать, что та частная польза, которую могъ бы принести умъ человѣка порочнаго въ должности общественной гораздо ниже того соблазна, который истекаетъ изъ его возвышенія. Вы теперь больше прежняго будете находиться въ сношеніяхъ съ другими народами; не увлекайтесь примѣромъ ихъ равнодушія къ чистотѣ нравовъ, особенно же примѣромъ Франціи и Германіи. Въ этомъ отношеніи много выше всѣхъ другихъ народовъ Англія, и отъ чистоты ея домашняго быта зависитъ даже ея политическая сила. Также есть у многихъ народовъ нелѣпое и богопротивное мнѣніе, что чистота нравовъ болѣе прилична женщинѣ, чѣмъ мужчинѣ. Смотрите на такое мнѣніе съ презрѣніемъ! Отъ нравовъ мужескихъ зависитъ нравственность женщины; а мужчинѣ, сосуду крѣпкому и главѣ созданія Божьяго, требовать отъ сосуда слабаго—женщины,—такихъ добродѣтелей, которыхъ въ немъ самомъ нѣтъ, есть дѣло не только не разумное, но и не честное.

Будьте строги въ судѣ общественнаго мнѣнія: безъ этого не убережетесь отъ постепенной порчи нравовъ. Но не давайте воли неразумнымъ подозрѣніямъ и недовѣрію, а исправляющихся не отталкивайте и не оскорбляйте. Въ судѣ же законномъ и уголовномъ будьте милосердны: помните, что въ каждомъ преступленіи частномъ есть бо̀льшая или меньшая вина общества, мало оберегающаго своихъ членовъ отъ первоначальнаго соблазна, или не заботящагося о Христіанскомъ образованіи ихъ съ раннихъ лѣтъ. Не казните преступника смертью. Онъ уже не можетъ защищаться, а мужественному народу стыдно убивать беззащитнаго, Христіанину же грѣшно лишать человѣка возможности покаяться. Издавна у насъ на землѣ Русской смертная казнь была отмѣнена, и теперь она намъ всѣмъ противна, и въ общемъ ходѣ уголовнаго суда не допускается. Такое милосердіе есть слава Православнаго племени Славянскаго. Отъ Татаръ да ученыхъ Нѣмцевъ появилась у насъ жестокость въ наказаніяхъ, но скоро исчезнутъ и послѣдніе слѣды ея. Будьте, говоримъ мы, милосердны въ нака-

заніяхъ, но милосердіе ваше да будетъ разумно. Лучше казнь повидимому строгая, но поражающая истиннаго преступника, чѣмъ мнимо легкая, но падающая на его семью. Въ такомъ наказаніи болѣе неправды, чѣмъ милосердія. Многіе ищутъ того, чтобы наказаніе было не унизительно для преступника, и думаютъ, что въ этомъ они слѣдуютъ духу человѣколюбія. Это великая ошибка. Всякое наказаніе (кромѣ духовнаго назиданія), унизительно потому самому, что оно есть насиліе надъ человѣкомъ; но честь его уже нарушена преступленіемъ, и наказаніе, будучи послѣдствіемъ преступленія, имѣетъ своею цѣлію исправленіе и не прибавляетъ ничего къ безчестію: ибо человѣкъ безчестится не тѣмъ, что̀ терпитъ поневолѣ, а тѣмъ, что̀ дѣлаетъ по волѣ своей. Всякое другое понятіе прилично только людямъ, не вѣрующимъ въ достоинство духа человѣческаго, и годно развѣ для Нѣмцевъ, отъ которыхъ оно и пошло, а не для Славянъ. Правда и милосердіе въ наказаніяхъ заключаются въ томъ, чтобы всякая ненужная жестокость была устранена, и чтобы невинный нисколько не страдалъ за виновнаго. Напримѣръ, не болѣе ли правды въ судѣ Китайскомъ (хотя, разумѣется, мы и того не хвалимъ) по которому отцы отчасти наказываются за дѣтей, которыхъ они воспитали, чѣмъ въ судѣ Европейскомъ, гдѣ дѣти отчасти наказываются за отцовъ, на которыхъ они никогда не могли имѣть вліянія? Наказаніе, говоримъ мы, не можетъ быть унизительнымъ для преступника; оно можетъ только быть унизительнымъ для самого наказывающаго; но и въ этомъ должно сохранять здравое понятіе. Человѣкъ не унижается, исполняя горькую обязанность, налагаемую на него обществомъ и охраненіемъ спокойствія и жизни братьевъ. Часовой, стоящій у темницы и, такъ сказать, связывающій преступника, дѣлается уже орудіемъ казни; но онъ этимъ не унижается. Тоже скажемъ и обо всѣхъ временныхъ исполнителяхъ суда военнаго или общиннаго. Унизительно ремесло постояннаго казнителя, посвящающаго жизнь свою совершенію казней надъ братьями, ремесло палача; вездѣ онъ въ презрѣніи, какъ лицо безнравственное и унижающее человѣческую природу; но достойны ли уваженія тѣ общества, которыя сами созидаютъ ремесло, унижающее человѣка, и потомъ презираютъ его за то, чему сами виноваты? Это или лицемѣріе, или фари-

сейская неправда. Устройте уголовные законы такъ, чтобы у васъ не было палача. Именемъ этого ремесла безчестятся законъ и общество, которымъ этотъ законъ управляетъ. Наконецъ дайте въ судѣ болѣе мѣста совѣсти, чѣмъ формѣ, и тогда судъ Сербскій будетъ уважаться всѣми народами. Такъ было изстари въ племенахъ Славянскихъ: такъ теперь въ Англіи, и она этимъ славится.

Еще скажемъ: да не будетъ у васъ никакой торжественности въ наказаніяхъ; ибо всякое частное преступленіе и его наказаніе есть уже общее горе.

Дайте совѣсти мѣсто и въ судѣ гражданскомъ. Стыдно, когда законный обрядъ въ обществѣ болѣе имѣетъ значенія, чѣмъ правда и добрая совѣсть; а это часто случается у другихъ народовъ. Не развивайте у себя сутяжничества: оно противно миру и братолюбію. Мы думаемъ, что хорошо бы было, если бы всякій споръ шелъ сперва на третейскій судъ; затѣмъ, если третьи несогласны между собою, пусть споръ рѣшается общиною; а если онъ происходитъ между членами разныхъ общинъ, пусть онъ идетъ на судъ людей постороннихъ, чтобы не было раздора между общинами.

Болѣе всего держитесь всякаго учрежденія и всякаго суда общиннаго. Въ немъ болѣе правды, чѣмъ во всякомъ другомъ; да черезъ него и люди привыкаютъ искать добраго мнѣнія у братій своихъ. Гдѣ сходъ сельскій или городской рѣшаетъ дѣла, тамъ уже съ раннихъ лѣтъ воспитывается въ человѣкѣ здравое понятіе о законности и справедливости, развивается разумное сужденіе, и уничтожается гибельное и весьма обыкновенное у многихъ народовъ равнодушіе къ общему дѣлу. Сходъ мірской есть для народа училище, которое выше всякаго книжнаго воспитанія и никакою книжною мудростію не замѣняется. Мірскими сходами были спасены духъ и разумъ Русскихъ крестьянъ, не смотря на рабство, въ которое заковалъ ихъ неправедный законъ.

Желательно, чтобы сходъ рѣшалъ дѣла приговоромъ единогласнымъ. Таковъ былъ издревле обычай Славянскій. Отъ Нѣмцевъ перешелъ къ Славянамъ обычай считать голоса, какъ будто бы мудрость и правда всегда принадлежали большему числу голосовъ, тогда какъ дѣйствительно большинство зави-

сить весьма часто отъ случая. Разсудите еще и о томъ, что гдѣ дѣла идутъ на рѣшеніе большинствомъ, въ людяхъ пропадаетъ или, по крайней мѣрѣ, слабѣетъ желаніе убѣдить своихъ братьевъ, а слѣдовательно слабѣетъ и самое стремленіе къ согласію въ совѣсти и разумѣ. Если уже нельзя получить рѣшеніе единогласное, лучше передать дѣло посреднику излюбленному отъ всего схода. Совѣсть и разумъ человѣка, почтеннаго общимъ довѣріемъ, надежнѣе, чѣмъ игра въ счетъ голосовъ. У Англичанъ въ судѣ уголовномъ требуется единогласіе присяжныхъ для осужденія, и ихъ судъ уважается всѣмъ міромъ.

Вы Христіане, вы Православные: да будетъ же у васъ правда выше всего! Не вѣрьте, чтобы какому-нибудь народу могла служить неправда основою долговѣчнаго успѣха и счастія; она возстановляетъ противъ него чувство злобы въ другихъ народахъ и окружаетъ его врагами. Много на свѣтѣ людей, которые думаютъ, что доброй цѣли позволительно достигать и злыми путями. Таково, какъ извѣстно, ученіе Іезуитовъ; но оно строго осуждается Святымъ Апостоломъ. Всякая неправда отъ лжи и отъ темнаго духа; а его не заставишь служить свѣту Божію, развѣ побѣждая его правдою. И перехитрить его нельзя, ибо весь умъ его въ хитрости. Если когда и кажется, что добрая цѣль бываетъ достигнута злымъ путемъ, это только обманъ, которому не должно поддаваться. Отъ злыхъ средствъ остается въ самомъ добрѣ закваска, чрезъ которую видимое добро обращается въ неожиданное зло, и люди неразумные удивляются потомъ такой перемѣнѣ, не разсуждая путей Божіей правды, которая всегда неизмѣнна. Мы смѣемъ васъ предостерегать въ этомъ дѣлѣ, братья наши Сербы; потому что нѣкоторые изъ васъ, какъ извѣстно, привыкая къ жизни другихъ народовъ, привыкаютъ и къ хитрости ихъ, особенно въ сношеніяхъ дипломатическихъ, и думаютъ черезъ нее послужить своему отечеству. Обманчива такая надежда. Въ хитрости нельзя побѣдить ни Іезуита, ни Австрійца; но хитрость его легко побѣдить прямодушіемъ и простотою: въ нихъ сила, и сила истинная.

Вы создали у себя власть. Повинуйтесь ей и укрѣпляйте ее, дабы не впасть въ безначаліе и безсиліе; но охраняйте также у себя свободу, и особенно свободу мнѣнія, какъ словеснаго, такъ и письменнаго. Она созидаетъ силу духа, царство правды

и жизнь разума въ народѣ. Безъ нея глохнутъ и умираютъ всѣ добрыя начала, какъ видно изъ опыта многихъ народовъ, и отчасти изъ нашего собственнаго. Она нужна гражданамъ и, можетъ быть, еще болѣе нужна самой власти, которая безъ нея впадаетъ въ неисцѣльную слѣпоту и готовитъ гибель самой себѣ.

Мы говоримъ: охраняйте свободу мнѣній, и охраняйте ее не только отъ власти, но и отъ самихъ себя. Пусть высказывается всякое сужденіе, какъ бы оно ни было противно вамъ самимъ! Если оно справедливо, оно распространится къ благу общему; если оно ложно, оно обличится также ко благу общему: ибо правда всегда разумнѣе лжи. Что же бываетъ тамъ, гдѣ мнѣнія не высказываются изъ страха? Справедливыя пропадаютъ, потому что они любятъ свѣтъ, а ложныя, которыя любятъ тьму, не будучи обличены, разрастаются, какъ скрытая язва, и заражаютъ собою самые источники жизни. Выслушивайте все, обличайте неправду, и вы побѣдите ее своею вѣрою въ силу истины, которая есть отъ Бога.

Не говорите много о правѣ и правахъ и не очень слушайте тѣхъ, которые говорятъ о нихъ, но слушайте охотно тѣхъ, которые говорятъ объ обязанности, потому что обязанность есть единственный живой источникъ права. Знаніе собственнаго права въ сильномъ ничего не значитъ, освящая только его волю, а въ безсильномъ оно ничтожно, по самому его безсилію. Знаніе же обязанности связываетъ сильнаго, созидая и освящая права слабыхъ. Себялюбіе говоритъ о правѣ, братолюбіе говоритъ объ обязанности.

Уважайте своихъ пастырей духовныхъ! На нихъ лежитъ великая отвѣтственность передъ Богомъ, и справедливо, чтобы они имѣли великій почетъ у людей; но не дозволяйте, чтобы они величали себя Церковью отдѣльно отъ народа. Будьте въ этомъ ревнивы къ своей чести, ибо вы всѣ члены Церкви Божіей. Латинское духовенство называетъ себя Церковью, отстраняя мірянъ, или считая ихъ стадомъ безсловеснымъ; за то у нихъ нѣтъ и Церкви истинной. Патріархъ и епископы Восточные еще въ недавнемъ времени обличили эту Латинскую ложь и тѣмъ заслужили великую и вѣчную благодарность отъ всего Православнаго Христіанства, хотя, къ сожалѣнію, многіе изъ

нихъ на дѣлѣ остаются не совсѣмъ вѣрными своему собственному ученію, стѣсняя права народа, и через такую невѣрность даютъ сами противъ себя оружіе иновѣрцамъ въ Болгаріи.

Наконецъ всячески пекитесь объ образованіи и распространеніи знанія во всемъ Сербскомъ народѣ. Старайтесь, чтобы оно могло быть доступно всѣмъ. Распространеніе всякаго знанія въ народѣ требуется не только пользою общественною, но и самою справедливостью; ибо существованіе богатыхъ и безъ того уже много имѣетъ преимуществъ передъ жизнію бѣдныхъ: справедливо ли, чтобы богатые одни удерживали у себя и это великое сокровище—знаніе? Любите и поощряйте науку не только ради прямой пользы, которую она приноситъ обществу и частнымъ людямъ въ жизни общественной, но гораздо болѣе ради того, что ею расширяется и укрѣпляется разумъ, великій Божій даръ. Знайте и то, что тамъ, гдѣ наука пользуется свободою и почетомъ ради самой себя, тамъ она доброплодна и сильно содѣйствуетъ общественному благу; тамъ же, гдѣ ее принимаютъ какъ наемную работницу, тамъ она безсильна и не приноситъ никакихъ плодовъ самому обществу. Это мы отчасти сами испытали и испытываемъ даже и теперь.

Сохраняйте же и развивайте у себя всѣ добрыя начала! Будьте вѣрны Православію и едины въ просвѣщеніи духовномъ! Не измѣняйте никогда братскому равенству и будьте едины въ цѣльности народной! Стремитесь къ образованности и правдѣ и будьте едины въ достиженіи всякаго общественнаго блага и разумнаго совершенства!

Остальное, что справедливо и вамъ полезно, скажетъ вамъ собственный вашъ умъ; мы же сочли своимъ долгомъ сказать вамъ то, что узнали изъ опыта, и предостеречь васъ отъ ошибокъ, въ которыя легко можетъ впасть народъ, входя въ неизвѣданную имъ область умственныхъ сношеній съ другими Европейскими народами. Другія племена Славянскія ранѣе васъ вступили въ это общеніе; некому ихъ было предостеречь отъ предстоящей опасности, и тяжела была судьба ихъ. Чехи и Поляки пали подъ власть чужую, мы спаслись, но и то теперь только начинаемъ оправляться отъ болѣзни, которая грозила намъ духовною смертію. Насъ спасли, какъ мы уже сказали, стойкость народа, святое Православіе и милость Божія;

но нескоро еще исчезнутъ слѣды болѣзни, нескоро еще будемъ мы истинно-Русскою землею, живущею въ духѣ Русской самобытности. Грѣхъ было бы и стыдъ, если бы нашъ опытъ не послужилъ въ пользу младшимъ братьямъ нашимъ, вступающимъ въ новое поприще жизни общественной, вамъ, и кого еще Богъ призоветъ: ибо мы надѣемся, что день милости Божіей взойдетъ и для всѣхъ другихъ.

Можетъ быть, мы многаго вамъ не досказали, или сказали неясно, или даже съ ошибками. Вы, братья, пополните недосказанное, поймите сказанное неясно, исправьте ошибочное, а слова наши, слова отъ сердца и любви, примите съ любовію и благоволеніемъ.

Да будетъ Сербія счастлива и сильна, радостью для всѣхъ Славянъ и предметомъ уваженія для всѣхъ народовъ!

Примите нашъ братскій поклонъ.

Въ Москвѣ, въ 1860 году.

Алексѣй Хомяковъ.
Михаилъ Погодинъ.
Александръ Кошелевъ.
Иванъ Бѣляевъ.
Николай Елагинъ.
Юрій Самаринъ.
Петръ Безсоновъ.
Константинъ Аксаковъ.
Петръ Бартеневъ.
Ѳедоръ Чижовъ.
Иванъ Аксаковъ.

ЕЛЕЦКАЯ БИБЛІОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ

Цѣна ДВА рубля.

Stanford University Libraries
3 6105 012 274 093

PG3337
K4
v.1

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

MAY 28 1996
MAY 5 1996